

С. КОНДРАШОВ

**АМЕРИКАНЦЫ В
АМЕРИКЕ**

МОСКВА 1970
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ



От автора

Эта книга — нечто вроде отчета человека, который с конца 1961 по середину 1968 года работал корреспондентом «Известий» в Нью-Йорке и привык отчитываться на газетных страницах. Они, как известно, тесны, а впечатлений у меня накопилось много, равно как и желания подробнее рассказать о них. Теперь газета дает мне возможность заключить свой отчет в твердый книжный переплет, пополнив его более пространными материалами («Недалеко от Нью-Йорка», «Смерть Кинга», «Яростная Калифорния»). Отобранные мною очерки и репортажи расположены в хронологическом порядке, и через эту хронологию гулом, подчас драматическим и грозным, проходят события и явления Америки «взрывчатых 60-х годов». В общем, это книга об американцах на фоне их страны, их общества, их проблем. Об американцах в Америке.



ГРАНИ ХАРАКТЕРА

ОТКИНУВ ВУАЛЬ ТРАУРА

Джон Кеннеди пошутил однажды, что к концу первого или второго срока своего президентства ему, пожалуй, придется столкнуться с проблемой неразрешимой: слишком стар, чтобы попробовать новую карьеру, и слишком молод, чтобы сесть за мемуары. Пули, сразившие президента в возрасте сорока шести лет, лишили шутку смысла. Он был так молод и энергичен, а смерть его так нелепа, внезапна и трагична, что многие американцы в глубине души все еще сохраняют первоначальную реакцию: не верится.

Траурные дни здесь не тянулись, а летели — по-американски. Вспомнили, что после убийства Линкольна в 1865 году тело его пятнадцать дней везли из Вашингтона в Спрингфилд, штат Иллинойс, к месту погребения. У двадцатого века иные темпы и иные виды транспорта. От Далласа до Вашингтона — дальше, чем от Вашингтона до Спрингфилда. Но прошло лишь четыре часа с момента смерти Кеннеди в «Парклэнд госпитал», как бронзовый гроб уже был доставлен в столицу на борту президентского «Боинга». К тому времени весь мир знал, что тридцать шестым президентом США стал Линдон Бейнс Джонсон.



Ночью тело покойного было в военно-морском госпитале Бетесда. А через семнадцать часов после убийства, ранним субботним утром 23 ноября, в колеблющемся смещении света и теней от лампад-светильников в плошках, расставленных близ парадного въезда, в ворота Белого дома медленно въехала санитарная машина с гробом. Перед ней ритмично отбивал шаг почетно-траурный эскорт — два десятка солдат морской пехоты.

Живой, улыбающийся, говорящий, жестикулирующий, делающий политику Джон Кеннеди исчез. На телевизионных экранах нация увидела закрытый гроб, задрапированный звездно-полосатым флагом.

Он стоял вначале в Белом доме — для именитых, а с воскресенья в Ротонде Капитолия — для народа. Купол Капитолия освещался, белым светом горел над Вашингтоном. Под куполом бронзовый Линкольн сурово смотрел на гроб, перед которым вскинулся президентский штандарт.

Это можно было увидеть на телеэкране. Но люди не довольствовались экраном. Мы приехали к Капитолию в понедельник в четыре утра, передав в Москву свою корреспонденцию. На холме упавшие листья шуршали под ногами, было темно, холодно, ветрено, печально. Густая очередь растянулась километра на три-четыре. Долго ехали вдоль очереди, задерживаемые светофорами. Было много молодежи, дети пришли с родителями. Сотни людей добирались издалека и теперь, укрывшись пледами, ночевали в машинах вокруг Капитолийского холма. Они приехали на похороны своего президента.

Наконец наступил понедельник — день похорон и национального траура, день ясного холодного солнца, заплаканных глаз, печально размеренной дроби барабанов, торжественной медленной поступи воинских частей и — в тишине — цокота шестерки лошадей, везущих гроб на простом, свежеевыкрашенном черном лафете. Восхищались мужеством, с которым перенесла испытание Жаклин Кеннеди, вдова покойного. Сын президента Джон — в день похорон ему исполнилось три года — отдал честь гробу. Привыкнув к многолюдным торжественным церемониям, мальчик вряд ли догадывался, что означает эта, особенно торжественная.

25 ноября в четвертом часу дня тело президента было предано земле. Бывший командир торпедного катера присоединился к 126 тысячам рядовых, офицеров, генералов и адмиралов, похороненных на Арлингтонском кладбище.

Во вторник к могиле на склоне холма пускали публику. Стоя на кладбище под мелким морозящим дождем, глядя на неугасимый огонь

над свежей могилой, заваленной венками, и слушая попеременно пронзительно скорбные трели горниста и резкие свистки военных регулировщиков, я подумал, что прошло лишь четыре дня с того момента, когда пересеклись пути президента Кеннеди и его убийцы. Какими долгими оказались они.

Теперь прошло еще три дня. Америка вернулась к повседневности. Новый президент уже обратился с речами к конгрессу и народу. Традиционной индейкой и парадами для детей американцы уже успели отметить День благодарения. Однако у многих индейка не смогла отбить невеселых размышлений, душевного замешательства, мучительных вопросов: как же такое могло случиться? Кто убийца президента? Что происходит со страной?

В скорби, как и в праздниках, виден национальный характер. Траур приспущенных флагов и искренней печали перемежался здесь с деловитостью и даже буффонадой. Тщеславно гордясь, газеты пишут, что это были самые торжественные похороны на Западе с 1910 года, когда хоронили английского короля Эдуарда VII. Предлагают выдать специальную медаль конгресса Жаклин Кеннеди — за достоинство в траурные дни. Душок коммерции неистребим. Театры на Бродвее не хотели отменять спектаклей в дни траура, так как покойный президент был-де театралом и не одобрил бы этого шага. Бизнесмены от футбола заявили, что Кеннеди был болельщиком, и вывели команды на поле. В понедельник, через три часа после похорон, засверкали огни вашингтонского ночного клуба «Спикизи» и полуголые девицы в дверях уже заманивали прохожих. Трудно поверить, но я видел это собственными глазами.

Это отвратительно, и не просто само по себе, а как симптом гораздо более серьезных болезней: меркантилизма, выхолащенных душ, безразличия к судьбе других и государства. Это рождает тревогу думающих американцев. В краску стыда их вогнало не только убийства Кеннеди, но и линчевание Освальда перед телевизионными камерами. Священник Френсис своей речью президента Вудро Вильсона, сказал проповеди: «Нашим молчанием, нашим бездействием, нашим желанием, чтобы тяжелую ношу нес кто-то один, нашей готовностью называть зло добром и добро злом, нашей продолжающейся терпимостью к древним несправедливостям мы все приняли участие в устройстве».

Не секрет, что обстановка в стране, особенно на Юге, в последние месяцы была накалена в связи с одной из вопиющих «древних несправедливостей» — угнетением негров. Ряды борцов за равенство выросли (вспомним августовский «марш на Вашингтон»), но выросло и

ожесточение расистов (вспомним сентябрьский взрыв негритянской церкви в Бирмингеме). Когда Джон Кеннеди предложил конгрессу свою скромную программу борьбы за гражданские права, для расистов он стал «негролюбом». После убийства в редакциях южных газет раздавались телефонные звонки: «Итак, они кокнули этого негролюбца». Расисты спешили поделиться своей радостью.

Преступление трагическим светом осветило природу Далласа, техасского города, где расизм Юга переплелся с разбойничьими нравами Запада. Это американская разновидность городка Окурова, причем в принципе ничего не меняет ни шестисоттысячное население, ни пятидесятиэтажный небоскреб ведущей местной фирмы, ни, конечно, воспитанные на свой манер реакционеры и расисты. Вот из далласской хроники В 1960 году в отеле «Адольфус» оплевали — буквально — Линдона Джонсона, баллотировавшегося в вице-президенты. 24 октября 1963 года, в День ООН, оплевали и ударили представителя США в ООН Эдлая Стивенсона: богатые дикари, разъезжающие в машинах последних марок, считают ООН «коммунистической организацией». В последнее время, как свидетельствует журнал «Ньюсуик», разговоры о том, что нужно «кокнуть» президента, сходили в Далласе за юмор В день приезда Кеннеди «шутники» разбрасывали плакаты с его фотографией: «Разыскивается за измену!» Отец

Холмс, далласский пастор, рассказал о таком факте: «Ученики четвертого класса хлопали в ладоши и радовались, когда в прошлую пятницу учитель сообщил им об убийстве президента».

В этой атмосфере просвистели пули.

Техасский закон чуть ли не поощряет владение огнестрельным оружием. Винтовка, из которой, как утверждает следствие, убили президента, куплена по почте в Чикаго за двенадцать долларов 78 центов. Впрочем, такую же можно купить и в Нью-Йорке. Сколько раз требовали контроля над продажей огнестрельного оружия? Атаки отбивались торговцами, у которых, по данным компетентных властей, запасов оружия на продажу больше, чем в арсеналах иных государств. Винтовка — это мелочь. За триста долларов можно купить 37-миллиметровое противотанковое орудие шведского производства, которым оснащены армии скандинавских стран.

Не знаю, верно ли, что похороны Кеннеди уступают лишь похоронам Эдуарда VII, но сомнения нет, что это самые «телевизионные» похороны в современной истории. Работая круглые сутки, телестанции приблизили миллионы людей к событиям.

Превосходно! Но они же стерли грань между скорбью и сенсацией, трагедией и зрелищем. Более того, далласская полиция, забыв о своей ответственности, работала не столько на правосудие, сколько на телевидение и прессу. Нежась в лучах всеобщего внимания, — а что лестнее для американского полицейского! — тамошние пришибеёвы будто забыли, каким важным делом они занимаются. На следующий день после ареста Ли Харви Освальда окружной прокурор Уэйд, не располагая достаточными уликами, лихо заявил, что может послать его «на электрический стул», как уже послал двадцать три человека. Шеф полиции Кэрри в угоду корреспондентам (и только ли им?) заранее объявил о часе перемещения Освальда из городской тюрьмы в тюрьму графства и тем самым навлек на него смерть от пистолета Джека Руби — на глазах у миллионов телезрителей. А Джек Руби, неведомо как попавший в тщательно охраняемый подвал полицейского управления? Джек Руби, человек с темным прошлым, друг гангстеров и полицейских (и еще кого?), любивший раздавать вн-зитные карточки — «Джек Руби из «Карусели». Из тюрьмы он справлялся по телефону, как идут дела в его стриптизном заведении. «Карусель» вертится, как ни в чем не бывало. Теперь ей сделана громкая реклама.

Расправа с Освальдом вызвала массу подозрений о причастности полиции, о заговоре ультраправых. Федеральные власти изъяли дело из рук далласских властей, передав его ФБР. Но это произошло через двое суток после убийства — не слишком ли поздно? Если ключи к разгадке были у Освальда, они погребены в его могиле на кладбище Роуз-хилл, охраняемой сторожевыми собаками и полицейскими.

Позорен факт убийства президента великой державы. Позорно, когда в угоду рекламе расследование ведут на допотопном уровне, едва ли не хуже, чем расследование любого из ста трех далласских убийств прошлого года.

Президента Джонсона охраняют сейчас с удесятеренным рвением. В траурной процессии, тянувшейся на Арлингтонское кладбище, были десятки машин. Лимузин президента узнавали сразу: по бокам шло с десятков агентов секретной службы. В среду, когда по Пенсильвания-авеню Джонсон ехал в конгресс, его личный врач следовал в третьей машине, сразу же за машиной охраны, а не в конце, как бывало раньше.

Президенту США, видимо, уже не ездить в открытом автомобиле.

Но только ли в этом урок трагедии? Откинув вуаль траура, Вашингтон видит урок в борьбе с экстремизмом как справа, так и слева. Не тот урок. Ставить экстремизм слева на одни весы с экстремизмом справа значит маскировать или недооценивать угрозу «ультра»

расистов, бешеных. Урок, очевидно, в том, чтобы преодолевая сопротивление твердолобых, идти к «новым рубежам» мира на земле и справедливости внутри страны, которых так и не сумел достичь покойный президент.

Ноябрь 1963 г.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ БЫЛЬ

Поезд, следовавший из Нью-Йорка в Вашингтон, был забит до отказа. Даже в тамбурах стояли — черные лица, черные головы. В ночь под рождество последним поездом негры ехали с Севера на Юг.

Этим поездом я добрался с коллегой до Вашингтона. Рождественским утром мы полетели на Запад, в глубины Аппалачей, на двухмоторном кургузом самолетике авиакомпании «Лейк сентрал эйрлайнс». Три с половиной часа... Кларксбург... Парксбург... Городишки Вирджинии и Западной Вирджинии... Самолетик сел и взлетал, и под крылом длились пологие горы в темных пятнах редких лесов или под плотным покровом белого, как на заказ, рождественского снега.

Наконец сели в семнадцати милях от города Портсмут, штат Огайо. Небольшое чистенькое здание аэровокзала. Пусто. Автобусов и такси нет — рождество. Служащий аэродрома помог вызвать такси из города. По дороге таксист — худой и жилистый старик в очках — «вводил в курс». Портсмут — провинциальная глушь на берегу реки Огайо, на стыке штатов Огайо, Кентукки и Западная Вирджиния. Тридцать пять тысяч жителей. Тридцать четыре церкви. Одна публичная библиотека. Сталелитейный завод, который и на рождество пускал в небеса нежно-желтый дым. Завод дает работу многим, но не всем, и потому не остается без дела также контора по трудовой занятости. Недавно закрылись обувная фабрика, железнодорожные мастерские. У моста через Огайо расширяется местное Бауэри — район одичавших алкоголиков.

Но главный разговор не о портсмутских болячках, а о Russian family — о русской семье. Она-то и привела нас сюда.

В декабрьские дни, когда по-весеннему пригревает солнце, а на

улицах Портсмута — веселые ручьи, здесь проходит популярная и глубоко отрадная операция «Мир на земле». Портсмутцы попросту, без дипломатии хотят доказать советской семье из Москвы, как привилась идея хороших мирных отношений с Советами.

О москвичах говорят: русская семья, ибо кто запомнит трудные русские фамилии. Хотя фамилия проста. Виктор Позднеев, 39-летний инженер Московского завода малолитражных автомашин, его жена Нина, преподавательница английского языка, сын Анатолий и шестилетняя дочь Ольга прожили неделю в доме совладельца портсмутской страховой компании Деймса Маккензи, его жены и пяти детей. Они превосходно мирно сосуществовали, и об их визите говорил весь Портсмут. Почти все жители считали их своими гостями; в домах, барах, магазинах как бы проходило голосование — за или против?

Девяносто девять процентов — за, — сказал нам, подбивая итог, владелец ресторана «Камео». И пренебрежительно махнул рукой в сторону одного процента, обозвав несогласных «свихнувшимися», вроде местного безумца, который утопил двух своих ребят.

«Мир на земле» — несколько велеречивое, но подходящее название для этой операции. Еще в сентябре торговая палата Портсмута решила пригласить на рождество советскую семью. Рональд Маккоуэн, адвокат, ставший «директором операции», рассказывает, что идею предварительно провентилировали в госдепартаменте и среди сотрудников Белого дома. Согласилась и Москва. Тогда палата открыла кампанию по сбору денег.

— Хорошо потрачены эти деньги, — сказал старик таксист.

Он считает, что не надо жалеть долларов на дело мира.

И вот 19 декабря Позднеевы прилетели за океан В нью-йоркском аэропорту их встретили Рональд Маккоуэн и Джеймс Маккензи, приготовивший для русской семьи свой вместительный двухэтажный дом. У прибывших в глазах зарябило от репортеров. Пересадка в Нью-Йорке, еще одна в Вашингтоне, и участники операции «мир на земле» высадились на заснеженном портсмутском аэродроме под аплодисменты трехсот собравшихся жителей. По пути в город среди реклам и разных дорожных знаков, которыми заставлены обочины шоссе, промелькнул совсем свеженький высокий щит, «Желанный», — крупно значилось на нем по-русски. Этим словом портсмутцы, видимо, исчерпали весь запас русских слов, потому что ниже шло по-английски: «Добро пожаловать в Портсмут, мистер Позднеев с семьей!»

Не пустые слова. Гости «отдыхали» с утра до вечера? визиты в разные дома, приемы, посещения школ, фабрик, баскетбольного матча,

церкви, местной газеты, пожарной команды, суда... Велик был спрос на этих необычных рождественских гостей. О них много писали газеты, их часто показывали по телевидению.

— Прошла неделя, а будто целый год, — говорит Виктор Позднеев.

Мы наконец-то застали их дома. Сидим у камина в гостиной. В углу рождественская елка, наряженная русскими и американскими детьми. Под ней подарки, которыми с утра, как положено, обменивались семьи. Сосед Маккензи играл роль Санта Клауса и деда-мороза. Позднеевская Ольга — с детьми Маккензи. Анатолий пытается разоружить собаку, бегущую по комнате с игрушечной гранатой в зубах. Хозяйка хлопочет на кухне. Тут же фоторепортер из местной газеты — он хочет заснять праздничный стол.

Да, о тихом рождестве в семейном кругу остается помечтать. Зато сколько поздравительных открыток на веревочках, протянутых у камина! Сотни. Еще больше поздравлений пришло в адрес Торговой палаты: из Калифорнии и Нью-Йорка, Детройта, Филадельфии, из Флориды, Нью-Мексико. Телефон звонил так часто, что Маккензи временно сменил номер. Да и дверной звонок не умолкает. Приходят новые и новые люди — полюбопытствовать, поздравить. Накануне вечером пастор Тейлор явился с церковным хором, исполнял под окнами рождественские гимны. Из соседнего города Ханнингтон приехала целая делегация.

— Мы надеялись на успех, но удивлены таким откликом, — признается директор операции.

— Прекрасная семья. Мы в восторге от их визита, — говорит хозяин, высокий ладный мужчина.

Виктор и Нина рассказывают, что приняли их «от души и искренне». Перед поездкой они волновались, но все устроилось отлично, даже незнание языка не очень мешает детям.

...Мы пришли в дом Маккензи и на следующий день, но опоздали. Хозяева и гости уехали с визитами. Привечая их, портсмутцы как бы делали большую политику мира.

С помощью тысяч и тысяч людей католики Маккензи и атеисты Позднеевы творили рождественскую быль в маленьком городке, среди покрытых снегом, но истекающих весенними ручьями Аппалачей. Эт невероятной еще вчера. Сегодня она возможна, и, разумеется, не потому только, что Торговую палату Портсмута осенила хорошая идея. Семена пали на почву, подготовленную Московским договором о запрещении ядерных испытаний. Недаром прошел этот год, и пусть будет портсмутская история добрым знаком на будущее.

Декабрь 1963 г.

ТЕХАС БЕЗ КОВБОЕВ

Нелепо было бы улетать из Техаса, не увидев ковбоев и ковбойской жизни. Мы с корреспондентом Московского радио Александром Дружининым ухватились за приглашение Фрэнка Стэнуша, владельца ранчо в сорока милях от города Сан-Антонио. Когда с ним знакомились накануне, это был типичный городской американец. Теперь мы увидели ковбоя — в клетчатой рубашке тесных брюках, подпоясанных тяжелым, с причудливой пряжкой ремнем, в большой «десятигаллоновой» шляпе с загнутыми вверх полями, в остроносых крепких полусапожках на высоком каблуке. Его жена и сын-студент были одеты на тот же манер.

«Ковбой» без долгих слов уселся за руль «шевроле» и по отличной федеральной автостраде помчал нас к своим владениям. Ехал он с поистине ковбойской скоростью в сто и более километров в час.

Был конец ноября, но солнце изрядно припекало голубое небо и холмы, поросшие вечнозелеными дубками, дышали идиллией Южного Техаса.

Свернув с автострады, Фрэнк неся, не снижая скорости, по дорогам местного значения. Мелькали проволочные загородки ферм, и у раскрытых ворот под колесами автомашины громыхали металлические решетки — их как черт ладана боится скот.

В просторном доме Стэнуша на стенах охотничьи трофеи. Через широкое окно видны были холмы, пастбища, рощи, олени на дальнем лугу и бездонное, чуть подсиненное приближавшимися сумерками техасское небо.

Фрэнк понял наши желания слишком буквально. За два часа нам был выдан весь набор техасских удовольствий: пили пиво, примеривали техасские шляпы, потом взгромоздились на пару оседланных лошадей. Если Стэнуш пришлет обещанные фотографии, мы увидим единственных ковбоев на лошадях, встреченных за неделю пребывания в Техасе, — самих себя. Потом — не пешком, конечно, а в «джипе», — переехав каменистое ложе ручья, отправились на поиски оленей. Охотничий сезон открылся в середине ноября, и сын Фрэнка, купив за три доллара лицензию, хотел показать, как техасцы любят и умеют охотиться. Но быстро стемнело, и олени были пощажены.

Всю дорогу обратно в Сан-Антонио Стэнуш молча сидел за рулем. Гостей он принял, не теряя времени, сугубо по-деловому. Обещал — показал. И до свиданья.

Милях в двадцати к северу от его ранчо, там, где шумит на перепадах речушка Педерналес, лежат владения Линдона Джонсона, президента США. Дорожный щит у въезда в крохотный городишко возвещает: «Джонсон-сити—родной город Линдона Б. Джонсона». Кафе «Сельский парень» рекламирует копченых индеек, ветчину, сосиски и бекон, «подходящие для президента». Фрэнк Стэнуш считает президента приятелем-фермером. Своих более именитых гостей этот приятель развлекает той же техасской жизнью, которую Фрэнк Стэнуш показал нам.

Но в ковбойский костюм Фрэнк наряжается лишь по уикэндам. В будни он делает деньги на нефти в Западном Техасе, в страховом бизнесе и т. д. Сын его, симпатичный застенчивый малый, уже играет на бирже и мечтает стать не ковбоем, а биржевым маклером. Основной капитал президента-приятеля заключен не в ранчо, а в крупной радиотелевизионной компании в городе Остин, которую оценивают в несколько миллионов долларов. Монопольное положение компании в Остине породило толки и пересуды. Техасские недоброжелатели Джонсона любят такую шутку:

— Как найти Остин? Проще пареной репы. Летите и летите на юго-запад от Вашингтона, пока не увидите маленький город с большой и единственной телевизионной вышкой.

Ковбои, конечно, не перевелись в Техасе, как и ковбойские лошади, умеющие отделять бычков или коров от пасущегося стада. В Америке штат Техас на первом месте по поголовью всего скота, и в частности крупного рогатого скота, а также на первом месте по производству хлопка и хлопковых семян, риса, сорго. Отчаянные хвастуны и патриоты своего штата, по территории самого большого после Аляски, техасцы говорят, что если из всех их свиней составить одну, то она, дважды копнув пяточком, выроет нечто вроде Панамского канала. А если из хлопка, произведенного за год в Техасе, сделать один матрац, то на нем хватит места для всех трех миллиардов земных жителей.

Но чем больше сводный техасский бык и свинья, тем меньше остается от бывших героев американских прерий. Они превращены в винтики в механизме капиталистического товарного производства, оснащенного превосходной техникой и раздираемого жестокой конкуренцией.

Темп работы на техасских фермах, пожалуй, не уступит нью-йоркскому — никакой развальцы. Вот Дик Мур, управляющий ранчо неподалеку от города Хьюстон, тридцатидевятилетний здоровяк с румяным лицом и седой головой. Он как заведенная пружина

Разумеется, на нем ковбойские штаны и ботинки, но он тоже джигитует в машине. Из машины же показывает нам ранчо. Говорит коротко и на невероятном техасском жаргоне, проглатывая слова крепкими челюстями, жующими резинку. 5800 акров, 1700 голов племенного скота. Считанные рабочие руки. Идеальная чистота на лугах.

— Если скотина пала, мистер Смит поймет и простит. Но если бумажку на поле увидит, не простит, взгрееет.

Кухня с надраенной до блеска большой плитой.

— Здесь мистер Смит угощает своих гостей жареными косточками по-техасски. Бывают и королевские особы.

Угрюмый тучный бык с воспаленными глазами.

— Мистер Смит заплатил за него сорок тысяч долларов.

Кто такой мистер Смит? Р. И. Смит — владелец этого и еще пяти ранчо. На них около десяти тысяч голов скота, на продажу и на племя. Там, где продается скот мистера Смита и где мы тоже побывали, фабрика кормосмесей механизирована, кажется, до предела. На пульте управления кнопки и рецепты кормосмесей для каждого вида скота, лишь нажимай. О мистере Смите Дик Мур говорит с собачьей преданностью и благоговением: один из десяти богатейших людей в США. Шесть ранчо для него — забава, хотя и здесь он не упустит ни цента.

А Дик Мур помнит, как двадцать четыре года назад он работал на мистера Смита мальчишкой на побегушках, за доллар в день. Смит ездил тогда в развалившейся машине. Дверца ее привязывалась веревочкой. Машина и веревочка окутаны теперь умильным дымком легенды. Мистер Смит, ныне семидесятидвухлетний старик, начал делать деньги на нефти. Потом пришло остальное — страховые компании, недвижимость. Купил с потрохами даже хьюстонскую бейсбольную команду. Услаждая болельщиков, бейсболисты играют на карман мистера Смита. В 1948 году он скупал землю для своего ранчо по двести долларов за акр, а сейчас акр стоит около четырех тысяч долларов.

Верноподданнические биографии основателей долларовых империй пишутся обычно после их смерти. Но в Хьюстоне нам шепотком рассказывали, что одной земли у мистера Смита сейчас на девятьсот миллионов долларов. Он, например, удачно и вовремя скупил землю вдоль судоходного канала, связывающего Хьюстонский порт с Мексиканским заливом. Цена этой земли фантастически растет вместе с фантастическим ростом города. Спекулянт? Разумеется. Но как мелко в Америке это понятие рядом с другим — миллиардер. Мистер Смит, как

Хант и Гетти, — из «новых» миллиардеров.

Нефть и Смиты сделали нынешний Техас, оттеснив ковбоев и, кстати, дав другой идеал молодым рыцарям наживы. Эти рыцари едут сюда из “тесных” северо-восточных штатов, хотя и на техасском просторе развернуться сейчас не так легко. Нефть — прародительница современного индустриального Техаса. На каждого пятьдесят шестого из десяти миллионов техасцев приходится действующая нефтяная скважина. И это, пожалуй, уже не хвастовство, а статистика. По добыче нефти и запасам природного газа штат стоит на первом месте в стране. Нефть дала самую крупную отрасль техасской индустрии — нефтеперегонные заводы, а также капиталы для развития других отраслей промышленности и торговли.

Крупные техасские города растут очень быстро. Что мы знаем, например, о Хьюстоне? В начале сороковых годов он, насколько я помню, не значился в наших школьных учебниках географии. А теперь этот город в юго-восточном углу Техаса шестой по населению — после Нью-Йорка, Чикаго, Лос-Анджелеса, Филадельфии и Детройта. В собственно Хьюстоне более миллиона жителей, в районе Большого Хьюстона — полтора миллиона. С начала века население города увеличилось раз в пятнадцать, с 1950 в два раза. Г-н Джон Джонс, один из и влиятельнейших людей Хьюстона, объяснил нам, что своим ростом город обязан сочетанию двух факторов: богатые природные ресурсы плюс положение морского шоссе и воздушного транспортного узла на стыке Соединенных Штатов и Центральной Америки.

Хьюстон неуютен, словно весь из перекрестков. По городу гуляют сквозняки мощных автострад. Развивается энергично, но хаотично — достойное, бесплановое произведение дельцов. Небоскребы растут как грибы, самый высокий — на сорок четыре этажа. Рядом с их стеклом и дюралем — невзрачные старые домишки — это местные Смиты ждут, когда еще больше вздорожает земля.

По вечерам во дворе превосходного мотеля «Холидэй Ин» зажигаются газовые светильники. Они кажутся здесь данью подземной силе, которая двинула вперед этот край. В номере мотеля — извините за неизящную, но характерную деталь — есть телефон даже в туалете.

Время — деньги, и туалетным телефоном Хьюстон как бы говорит, что эту американскую истину здесь усвоили лучше, чем где-либо. Приезжих хьюстонцы убеждают, что в отдаленном будущем их город будет самым большим в мире. Видимо, это из области техасского хвастовства. В настоящем есть один частный и достоверный факт, о котором сообщают не без душевного трепета: Хьюстон — мировая

столица... по числу ежегодных убийств.

Новый толчок экономике Хьюстона дал Центр космических полетов. Его здания выстроены за последние два года в двадцати трех милях от города. Здесь живут и тренируются американские космонавты, готовясь к запускам со стартовых площадок мыса Кеннеди, в штате Флорида. Космонавт Скотт Карпентер бережет для новогодней ночи подарок Германа Титова — кувшинчик в виде пингвина, в котором неведомый ему напиток.

Мы путешествовали по крупным техасским городам: Хьюстон, Сан-Антонио, Остин. От Сан-Антонио, третьего по величине в штате, американцы в таком же восторге, как от Сан-Франциско и Нового Орлеана. Сан-Антонио привлекает их мексиканским колоритом. Тамошнюю крепость Аламо почему-то называют «мавзолеем независимости Техаса», хотя она пала под натиском мексиканцев в марте 1836 года, а все ее защитники погибли. Мексиканцы составляют более трети населения Сан-Антонио (их там больше четверти миллиона) и на расово-национальной лестнице стоят ниже «чистых» американцев, но выше негров. Негров в Сан-Антонио, кстати, намного меньше, чем в Хьюстоне или Далласе: на черную работу годятся мексиканцы.

Близость Мексики видна в домах, парках, живописной речушке Сан-Антонио. Крупный архитектор О'Нил Форд, с которым мы там познакомились, борется с бездушием «функциональной архитектуры», отстаивая — с небольшими шансами на успех — парки и речку от наступления всепоглощающих автострад и бизнеса.

По общему мнению, техасская напористость и техасская дикость больше всего сконцентрированы в Далласе. Увы, для советских граждан Даллас закрыт. Лишь на расстоянии семи миль, с аэродрома, мы видели небоскребы этого динамичного и амбициозного города, успешно конкурирующего с Хьюстоном. По числу этажей, — а они символ для корпораций, — Даллас уже перещеголял Хьюстон, поставив у себя в центре пятидесятиэтажную коробку страховой компании «Саутдэнд Лайф». По населению вплотную приблизился к Хьюстон ну. Привлекая новые капиталы, Даллас рекламирует себя как город, который превосходит все города южной части США к востоку от Лос-Анджелеса по числу занятых в перерабатывающей промышленности, по оптовым продажам, вкладам в банках, числу и размаху операций страховых компаний, тоннам авиапочты, числу компаний с капиталом больше миллиона долларов, по важности в качестве центра астронавтики и электроники.

В отличие от Хьюстона Даллас обязан своим экономическим

возвышением не матери-природе, а отцам города — дельцам. В семидесятых годах прошлого века они, подкупив за пять тысяч долларов железнодорожную компанию «Хьюстон энд Тексас», добились, чтобы железная дорога прошла через заштатный Даллас с четырьмя тысячами жителей. Так было положено начало. А в 1936 году уже за три с половиной миллиона долларов местные бизнесмены купили право провести в Далласе шумевшую выставку-ярмарку «Сто лет Техаса». Ярмарка принесла обильную денежную жатву и сделала Далласу рекламу как фактической столице Техаса (официальная столица — город Остин). Даллас круто пошел в гору. С 1936 года им правит никем не избираемый и никому не подотчетный совет граждан. Сейчас в совете около двухсот членов. Все они — руководители крупнейших местных корпораций. В составе совета нет ни одного доктора, адвоката, писателя художника, газетчика, преподавателя, церковника социолога, не говоря уже о рабочих. А фактически всем вершат за своими ленчами и обедами от силы десять членов совета. Об этом с фактами в руках пишет Уоррен Лесли, автор интересной книги «Даллас — публичный и частный».

Отцы города знают, что слава, она же реклама, — тоже деньги. И вдруг пришла слава на весь мир — постыдная слава. С далласского аэродрома «Поле любви» президент Кеннеди отправился в последнее путешествие, чтобы пасть жертвой ненависти. Оправившись от шока, отцы города первым делом схватились за карман: не отразится ли трагедия на процветании? Не отразилась. Бизнес процветает по-прежнему, бодро рапортует газета «Даллас морнинг ньюс». Я читал этот рапорт в далласском аэропорту «Поле любви» 22 ноября 1964 года, ровно через год после убийства Кеннеди. В годовщину трагедии «Даллас морнинг ньюс» так и не сказала ни одного доброго слова о президенте, которого она травила в роковой день его приезда в Даллас. Газете важен лишь экономический пульс города.

Уоррен Лесли считает, что в Далласе все измеряется на доллары и центы. Создали симфонический оркестр и каждый год приглашают из Нью-Йорка «Метрополитен опера», но не потому, что в совете граждан заседают меломаны. Один из владык Далласа, крупный бизнесмен Боб Торнтон, ныне покойный, собирал деньги на симфонический оркестр, выставив одно условие: чтобы его не таскали на концерты. Просто его убедили, что культура поможет привлечь в Даллас новые капиталы и новых людей. Когда запахло негритянскими «беспорядками», далласские олигархи провели совещание. Они подсчитали, сколько стоили «беспорядки» дельцам Бирмингема и Нового Орлеана, во

сколько они могут обойтись им. Постановили: провести для отвода глаз кое-какую десегрегацию в школах и кафетериях, чтобы сбить негритянскую волну. Эта операция обошлась дешево. Сейчас собирают деньги на памятник Джону Кеннеди. Может быть, и памятник окупит себя, привлекая в Даллас туристов.

Но трущобы Западного Далласа, в которых живут десятки тысяч человек, остаются. Заботиться о бедствующих согражданах — это «социализм». В богатом городе лишь одна из каждых двадцати девяти незамужних матерей получает какое-либо пособие, из каждых трех беременных негритянок одна ни разу не навещает врача.

Там, где признают лишь один счет — на доллары и центы, неизбежно идет и счет морального одичания. По преступности Техас удерживает первое место в мире. Джон Бейнбридж в широко известной книге «Суперамериканцы» пишет, что ежегодно в Далласе совершается больше убийств, чем во всей Англии. А Даллас отстаёт от Хьюстона, хотя на каждого далласского судью приходится сейчас в среднем 1157 нерешенных уголовных дел. Пока дела ждут решения, свидетели частенько ликвидируются. Бывают годы, когда после 1200 или 1300 убийств только три или четыре человека попадают на электрический стул.

Таковы техасские парадоксы.

Ковбойская Мекка перемещена в студии Голливуда. А на техасской земле подвизаются деловые, очищенные от романтики и сантиментов люди, приумножившие хваленый «пограничный дух» колонистов, — умение постоять за себя и свою корысть, даже если придется схватить за плотку соседа.

Наш знакомый Фрэнк Стэннуш обронил неслучайную фразу о том, что в Америке «слишком много ленивых людей», которые «не хотят работать». Это прямо по Голдуотеру: топчи тех, кто не сумел подняться. В Сан- Антонио пенсильванец, делавший деньги на стали, признался нам, что переменил профессию и подался биржевиком в Техас, потому что здесь не тревожат профсоюзы. Действительно, техасские законы препятствуют объединению трудящихся. А негритянка—уборщица в хьюстонском мотеле — жаловалась на мизерность зарплаты: платят мало не только потому, что она «цветная», но и потому, что предпринимателей не держат в узде профсоюзы.

В таком техасском климате растут не только хлопок и быки, города и небоскребы, но и крайние реакционеры, которых я бы назвал не только бешеными, но и дикими. О них много писалось, повторяться я не хочу. Вблизи картина вырисовывается, однако, более сложная, чем издалика. В Далласе 3 ноября избиратели «прокатали на вороных» реакционера

Брюса Олджера, которого «отцы города» четырежды посылали в конгресс США. Голдуотеровцев очень много, но на выборах в штате Техас победил Джонсон, хотя и с меньшим большинством, чем в восточных штатах. В то же время и сторонники президента отзываются о нем сдержанно, может быть, потому, что в Техасе слишком хорошо знают Линдона Джонсона, историю его возвышения, его радиотелевизионную компанию.

Среди техасских миллионеров — не все реакционеры.

Джон Джонс из Хьюстона разумно судит о мире — считает, например, что наши страны должны и будут торговать. Принадлежащая ему газета «Хьюстон кроникл» придерживается либерального направления, а некоторых ее сотрудников травят как «красных» и «коммунистов».

Не где-нибудь, а в Техасе мы услышали одну злую историю. На далласском аэродроме пропали три обезьяны из партии, пересылаемой в центр космической медицины в Сан-Антонио. Куда они делись? Ответ: их повели голосовать за Голдуотера. А с другой стороны, нигде, кроме Техаса, я не видел такие дорожные «знаки», как рекламные щиты берчистов, призывающие техасцев присоединяться к обществу Джона Берча, а Соединенные Штаты — порвать с ООН.

Альберт Фей, член Национального комитета республиканской партии от Техаса, широко известен. Он рьяно агитировал за Голдуотера, собирал деньги на его кампанию. На деревянных панелях его кабинета фотографии хозяина с Эйзенхауэром, Голдуотером, снимки парусных яхт. Бизнес у Фей — нефть, а хобби — парусный спорт. Упоминание об Африке подействовало на крепкого лысого старика, как красная тряпка на быка. Тут он выложился весь: и о «кучке каннибалов», и о «зверях», у которых нет «финансовой ответственности».

Он говорит напрямик:

— Мы верим в старую политику «большой дубинки» Тедди Рузвельта.

Альберт Фей — не воздушная фея. Он вырос из техасских нравов, из техасского образа жизни, и даже — что очень существенно — из того, на капиталистический манер, экономического прогресса, который наблюдается в этом штате.

У Альберта Фей, разумеется, масса единомышленников с огромным влиянием. Они меряют мир мерой своего невежества и хотят судить его по мандату своих миллионов, что им не удастся, но что несет большие опасности.

ОН ВИДЕЛ ХИРОСИМУ СВЕРХУ

Бродвей суетился, судорожно набирая темп перед уикэндом. Как всегда по пятницам, толкотня и оживление царили в холле многоэтажного мотеля «Сити скваиер мотор инн».

— А, бомбардировочная команда, — с легкой усмешкой сказал мне дежурный клерк и на память назвал номер мистера Джейкоба Бисера.

На 22-м этаже в конце коридора открытой была дверь большой светлой комнаты с балконом. Двое цветущего вида мужчин сидели на диване. Мистером Бисером назвался тот, что был в белой рубашке с галстуком «бабочкой», низенький и энергичный, густые брови, подвижное лицо.

— Чарльз Макнайт, — представился другой, высокий и сильный.

Оба сегодня «селебрити» — знаменитости, им непрерывно звонят, их интервьюируют, записывают на радио, снимают для телевидения. Мистер Бисер говорит, что всего их — с женами и детьми — будет человек 75—80. В мотеле зарезервировано 26 комнат. Они приехали в Нью-Йорк на три дня. Программа разработана: в пятницу вечером «коктейль-парти», в субботу вечером — банкет. На «индивидуальной основе» — экскурсия по городу, магазины и увеселения, осмотр Всемирной выставки, где так много любопытного и для взрослых и для детей. В воскресенье утром они снова соберутся на торжественный завтрак, а потом разъедутся, условившись о новых встречах.

Я знаю, когда они встретятся в следующий раз

6 августа, в очередную годовщину атомной бомбежки Хиросимы.

Какая, однако, связь между бомбежкой Хиросимы и Бисером, Макнайтом, другими постояльцами двадцати шести комнат многоэтажного мотеля «Сити скваиер мотор инн»?

Самая прямая и трагическая. Это они сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Двадцать лет назад они носили форму ВВС США и входили в специальную «509-ю сводную авиагруппу». Американские ученые-атомники заканчивали тогда первую бомбу, а 509-я авиагруппа приступила к тренировочным полетам, на «летающих сверхкрепостях», на которых удлинители бомбовые люки и сбросили для экономии веса все вооружение, кроме хвостовых спаренных пулеметов.

16 июля 1945 года ученые и военные испытали первую бомбу в безжизненной пустыне штата Нью-Мексико. 6 августа 509-я испытала вторую бомбу на десятках тысяч жителей Хиросимы. 9 августа третью

бомбу сбросили на Нагасаки.

После войны жизненные пути участников 509-й группы разошлись. Теперь, как и все ветераны, они создают свой, так сказать, клуб — самый избранный на земле, которую они столь трагически ввели в атомный век. Их клуб не имеет отношения к борьбе за мир.

Итак, мое имя внесли в тетрадь учета посетителей, и я сижу на диване, бок о бок с Джейкобом Бисером, единственным участником и очевидцем обеих атомных бомбежек. Он-то и выступил инициатором и организатором этой встречи. 24-летним военным инженером Бисер отвечал за электронную часть «Little boy» — «Малыша», сброшенного на Хиросиму, и «Fat man» — «Толстяка», повергнувшего в прах Нагасаки. Сейчас он преуспевающий делец, один из руководителей «оборонительного и космического центра» крупной корпорации Вестингауз. У Бисера жена и четверо сыновей, глаза живые и чуточку усталые, без всякого, впрочем, трагического отпечатка.

Радио сообщило, что в Хиросиме у памятника жертвам собралась тридцатитысячная толпа, отметившая годовщину минутой молчания. А для чего встретились эти в самом центре вечно шумного Манхэттена? Я спрашиваю о целях встречи. Мистер Бисер, избегая экспромтов, берет со стола текст речи, которую заготовил на субботу. Часто мелькает слово rejoice — радоваться, праздновать, веселиться. Да, радоваться И праздновать, но не в связи с тем, что они сделали Двадцать лет назад, а потому, что они снова вместе, и потому, что Соединенные Штаты первыми заполучили ядерное оружие, а это, как они считают, спасло мир от войны. Оба атомных ветерана не ели с утра: нет ^{время}дела пресса. Прервав разговор и извинившись, они считают центы, чтобы каждый внес поровну, и отправляют Эрика шестнадцатилетнего сына Бисера, за кока-колой и сандвичами. Потом разворачивают сандвичи, упакованные в полупрозрачную бумагу, жуют, продолжая рассказывать, как это было. Больше говорит мистер Бисер. Атомную бомбу держали в секрете: Им говорили о «специальной бомбе».

Знал ли он, что это за «специальная бомба».

— Да, кое-что мы знали. Нам сказали, что она побольше обычных. Накануне прочли лекцию, и мы более или менее знали, что случится. А Нагасаки, наступившее после Хиросимы, вообще не было сюрпризом для меня. Когда я взглянул на Хиросиму с самолета, я увидел, что с ней покончено. В центре города ничего нельзя было разглядеть, а по краям все было охвачено пламенем.

Самолет Чарльза Макнайта пролетел над Нагасаки «за час до бомбы». Он обеспечивал метеорологическое наблюдение и дал «добро»

на бомбежку.

— Мы ждали потом над морем, милях в двухстах от Нагасаки, на высоте сорока тысяч футов, — рассказывает Макнайт. — Видели, как расцвел «султан».

Атомный гриб он называет «павлиньим султаном».

Спрашиваю Бисера, как он чувствует себя сейчас, когда известны масштабы хиросимской катастрофы, все еще уносящей людей в могилы, и фактами доказано, что применение атомной бомбы не диктовалось военными соображениями. Он «восхищен жителями Хиросимы, которые так быстро восстановили свой город». А факты признавать не хочет, так удобнее Он говорит о воинском долге, о том, что у него не было выбора.

— Моя совесть несколько не беспокоит меня

Бисер сочувствует Клоду Изерли, «пилоту Хиросимы», болезненно переживающему свою вину, но сам не отягощен «психологической проблемой». То же говорят и остальные. Мистера Бисера не найти среди тех американцев, которые протестуют сейчас против войны во Вьетнаме. Он «полностью симпатизирует» вашингтонской политике, хотя, если воспользоваться его выражением и «не видит возможностей» для применения атомной бомбы во Вьетнаме.

А сейчас у него счастливый день, и он купается в лучах газетного и телевизионного паблисити, которое, конечно же, поднимет престиж Джейкоба Бисера в «оборонительном и космическом центре» корпорации Вестингауз.

Я спешу закруглиться, потому что Джейкоб Бисер один на весь мир, а корреспондентов много и американские коллеги уже ждут своей очереди, толпясь с аппаратурой в номере мотеля.

Уступаю им место.

Джейкоба Бисера усадили на залитой солнцем веранде перед телекамерами Эй-Би-Си. Повесили ему на шею крохотный микрофон, и тем же деловым и обыденным голосом он повторил свой уже отрететированный рассказ. Жена его покрикивала на шаловливого младшего сынишку. Старший Эрик не без жеманства жаловался, что аспирин ему понадобится, пожалуй, раньше, чем отцу: голова идет кругом от людей и праздничной суматохи.

Пока корреспонденты разделявали Бисера-старшего, я спросил Эрика, что он думает о Хиросиме.

— Я горжусь своим стариком, — ответил он. — Он делал историю, как полковник Гленн. Знаете, тот, что первым побывал в космосе...

На том и кончилась моя встреча с людьми, которые 6 августа 1945 года видели Хиросиму сверху. Я не стал втолковывать Эрику, что не

Гленн сделал историю в космосе, а Гагарин. Этот парень знает американский вариант истории — и с Гленном, и с Хиросимой.

1965 г.

ЧЕЛОВЕК ИЗ „ВОСТОЧНОЙ БАШНИ“

Есть в Нью-Йорке такие кооперативные дома: швейцары и лифтеры — во фраках и белых перчатках, а в жильцах не признаешь миллионеров, пока не увидишь собственными глазами, как шоферы усаживают их в роллс-ройсы, стоя навтыяжку у дверей. Там кооперируется элита, покупая квартиры, а то и целые этажи за десятки и сотни тысяч долларов.

В доме под названием «Восточная башня», —а титулованы они почти все, на шумном углу Третьей авеню и 72-й улицы живет писатель Джон Стейнбек. Здесь его зимняя квартира, и с 34-го этажа он показывал мне свой бывший дом, маленький и старый. Сыновья выросли и разлетелись, с годами лестницы все тяжелее давались ему и жене, без присмотра дом опасно было оставлять. Вот и переехал в серо-стеклянную, красивую и недоступную «Восточную башню». А летом дом на Лонг-Айлэнде, океан, яхта, рыбалка. И земля совсем рядом, под окнами.

— Я вырос на земле, — говорит писатель, — и чувствую себя несчастным, когда не опускаю в нее руки.

Земля поднялась и в его высотную квартиру. Темная, маслянистая, она лежит в десятке горшочков на подоконнике. Хозяин привычно прилаживает специальную лампу, чтобы дать свет и тепло нежно-зеленой травке.

В гостиной тянется к солнцу новозеландская пальма. В кабинете сосуществуют три листочка американского дубка и крохотная сибирская сосенка.

Когда по телефону я договаривался об интервью, Стейнбек предупредил — не больше получаса. Он должен был с кем-то встречаться.

Я приехал до назначенного срока, предвидя осложнения со швейцарами. Лишь внешне они похожи на дирижеров, нутро у них алмазной крепости, как у пограничников, а бдительности у подъезда

«Восточной башни» позавидует и контрольно-пропускной пункт.

— К кому? К какому часу?

По внутреннему телефону привратник — рядовой, а не старший, потому что их было несколько, — пытался связаться с квартирой Стейнбека, но не получил ответа. Меня усадили в уютном холле, на виду, чтобы, чего доброго, не прорвался без спроса к лифту. Я сидел и смотрел, как от стеклянных дверей через холл мимо почтительно-монументальных лакеев шествовали кооператоры. Внутренний телефон опять не ответил. Я нервничал, потому что подпирало время.

Ну что ж, на КПП как на КПП, За десять минут я заявил два протеста. Тогда начальник погранзаставы «Восточная башня» решился. В торжественном молчании поднялись мы с ним и с лифтером на 34-й, предпоследний этаж. Но и там он не оставил меня одного, кланялся перламутровой кнопке звонка и льнул ухом к двери ровно настолько, чтобы вовремя отскочить, если она откроется.

Он решительно отказался звонить больше трех раз, ибо нельзя же, черт побери, потрясать основы. И мы уже поплелись назад к лифту, как вдруг дверь открылась. Полная негритянка вышла в коридор с мусорной корзиной. Оказалось, что наши деликатные звонки перебивались жужжанием пылесоса.

Прихожая была чистой, светлых тонов. Через окна гостиной входило нью-йоркское небо, каким его редко видишь, — большое, не загроможденное другими домами, вольно дышавшее весной. Было начало марта.

Вышел хозяин. Он высок, хотя, впрочем, шесть футов — стандарт для американца. Сутуловат — шестьдесят с лишком лет. Скребница годов и жизни безмятежной прошла горизонтальными морщинами по лбу и вертикалями по щекам — бурым и обвисшим, а некогда красным щекам, доставшимся от матери-ирландки. Остатки волос непокорно топорщились к затылку. Жесткая бородка, как щетина давно не брившегося мужика. И сложные глаза матерого человека. Они пытливы, даже недоверчивы, многое видели, много работы задавали мозгу и отразили ее.

На 34-м этаже было проще и сложнее, чем на первом. На Стейнбеке были хлопчатобумажные штаны, ковбойка, домашние туфли. Простецкая одежда, грубое лицо, щетина бороды дорисовывали облик бродяги, которым он, собственно говоря, гордится. «Однажды бродяга — бродяга на всю жизнь», — писал он о себе, *и* при всей искренности это признание включает не очень простую иронию большого писателя, который посмеивается над собой.

Мы прошли в кабинет.

— Хотите выпить? — спросил он.

— Как вам угодно, — смутился я.

— Не как мне, а как вам угодно, — отпарировал он хриплой скороговоркой. С непривычки она задевает.

Потом узнаешь что, жена его не всегда понимает и часто жалуется на быстрое и маловнятное бормотание человека, который письменное слово давно предпочел устному.

Пока в гостиной хозяин готовил виски с содовой, я разглядывал кабинет. На стене старые литографии с городскими видами, написанный маслом портрет Линкольна, в рамке диплом. Медали свободы “Медали свободы”. Это высокая американская награда. Озадачивал микроскоп на столе у окна. Но центр этой небольшой комнатки явно был в углу, где на низеньком столике стоял электрическая пишущая машинка, а за столиком было светло-зеленое, широкое, совсем не кабинетное кресло с откинутой назад высокой спинкой. Возле машинки лежала стопа линованной желтой бумаги, исписанной четким почерком.

Принеся стакан с виски, Стейнбек устало опустился в кресло, потер лоб, беспокойно тронул желтые листы рукописи, потянулся за тоненькой, как сигарета, сигаркой, щелкнул зажигалкой. Снова встал и двинулся по комнате качающейся походкой, что-то разыскивая.

— Вечно теряю очки, — бормотал он. Очки были рядом с машинкой и рукописью. Зажигалку, чтобы не терять, он вешает на шею.

Он нацепил необычные очки с двойными стеклами, — наружные стекла можно поднимать, и тогда они створками нависают над внутренними. И в очках стал похож на старого мастерового, часовщика-ювелира. Мастеровой имеет дело с капризным, требующим точной обработки материалом. Не «упакованное» слово на конвейере телевидения и газет, а индивидуальное слово художника.

Да, на 34-м этаже все было проще и сложнее чем на первом, чем на улице. Там я без труда запасаю книгами для автографов. В аптеке у «Восточной башни-» его очерки «Путешествие с Чарли» были среди обязательного ассортимента, как и лезвия «Персона» зубная паста «Колгейт» и аспирин «Бейер». Там внизу был всемирно известный писатель, и спрос на продукт гарантирован так же, как на продукты знаменитых корпораций. Здесь, в тишине высотной квартиры куда не доходит, замирая на нижних этажах, городской шум, где отжужжал пылесос в руках домработницы, был старый хмурый человек, как каторжник на галерах, прикованный к бумаге, шариковому карандашу и

пишущей машинке, обязанный вновь и вновь защищать перед собой и читателем звание всемирно известного писателя.

Сегодня с утра разыгралось еще одно сражение. Какое за тридцать с лишним лет? Победил ли он? Не знаю. Но на столике лежал аккуратный, без помарок, текст, и до моего прихода он перепечатывал его на машинке.

Устал ли? Да. И когда он признался, что вот так каждый день с утра, то в словах были и усталость, и горечь, но и упорство человека, который не может иначе.

С гордостью упорного работника Стейнбек говорил о тяжести писательского труда, с насмешкой — о блестящих дилетантах-любителях, которые «все знают».

— Чем старше я, тем больше не люблю дилетантов, тем больше люблю профессионалов.

В негритянке Аннет, чей пылесос отжужжал в гостиной, он видит коллегу, она—«настоящий профессионал». Аннет приходит раз в неделю убирать квартиру, делает свое дело весьма основательно. Я вспомнил замечание Стейнбека о легковых машинах, рассчитанных на быстрый снос, и о долголетию тяжелых грузовиков. Когда речь идет о писателях, он за грузовики.

Над чем работает Стейнбек? Он отвечал неохотно, и дело не только в так называемых творческих секретах. Говорить, над чем работаешь, пока слово не отлилось на бумаге, значит исказить и даже предавать слово. Стейнбек ругал не только дилетантов, но и болтливых писателей.

— Очень плох тот писатель, который много говорит. Такой мало напишет. Слишком много развелось писателей, которые слишком много говорят.

Он вообще ершист и колюч, с какой стороны ни подступишься. Литературных критиков решительно не жалуется:

— Они всегда глубоко заблуждаются. У них, надо полагать, есть своя цель, но какая, я не знаю. Во всяком случае, эта их цель отношения к писателю не имеет. Я не могу говорить о своей книге, когда пишу ее. Критик же пишет о моей книге, когда она закончена уже не интересует меня. Я думаю о новой. О новой книге он думает и сейчас, но категорически отклоняет вопросы на эту тему.

— Новая книга? Кто не надеется на нее.

Он замыслил эту книгу несколько лет назад, уже провел, как он выразился, «исследование». Сейчас щ одна книга в работе, и Стейнбек изменяет своему праву молчать о незавершенном труде, потому что почти на две трети она написана. Собственно, не книга, а «зоологический» очерк об американцах объемом на сто пятьдесят

страниц. Идея очерка пришла ему в голову, когда его издатель решил выпустить альбом выдающихся фотоснимков об Америке и американцах. Издатель собрал уникальную коллекцию: природа, люди, плоды их труда. Но фотографии все-таки мертвы: «даже сфотографированному клопу не заглянешь в мозги».

— Это книга об американцах как народе, отличном от других народов. Какие черты присущи только американцам? Представьте, что вы пишете о русских, пытаясь проанализировать их, и не только проанализировать, но и объяснить другим. У каждого народа свои недостатки и свой героизм. Критика иностранцев может быть и хороша, но она не адекватна, потому что иностранцы не все понимают.

— Итак, это не художественная литература. Скорее зоологический метод: как будто вы обнаружили новых особей и изучаете их. Вашему государству в его нынешнем виде около пятидесяти лет. Мы, как нация существует почти двести лет, а как группа людей живущих в одном районе, — около трехсот пятидесяти. За это время мы стали походить друг на друга, создалась так сказать, порода.^{Б'}

— Ну, к примеру, я, американец, приезжаю в Италию, живу там. На мне костюм, сшитый итальянским портным из английской шерсти, французская рубашка и галстук, и даже допустим, что мой дед приехал в Америку из Италии. Однако все безошибочно угадывают во мне американца. Американского негра, приехавшего в Африку, никто не спутает с негром африканским. Из него выпирает американец. Та же история происходит с американцем японского происхождения, попавшим в Японию. Почему так? Разве не интересно ответить на этот вопрос?

— Я хочу поговорить об этом непредубежденно, не делая выводов, хотя в конце концов тенденция, наверное, выявится. Я не люблю обобщений и вижу свою цель в точности и конкретности. Мне кажется, что чувства иностранцев к американцам скорее похожи на жалобы. Впечатления посторонних — не то, чем американцы являются в действительности. Моя книга не претендует на глубину и не предлагает лекарств для лечения наших болезней, хотя правильные наблюдения — лекарства сами по себе...

Стейнбек говорил, что работа ладится и идет быстро, что книга скоро увидит свет.

Мне показались странными поиски общности в тот момент, когда нация столь разобщена. Потом я подумал, что предмет поисков — национальный характер, а черты его бывают одинаковы у людей из разных социальных и расовых групп. Негры, как и их союзники —•

белые американцы, борются за свои права с тем же американским упорством, с каким алабамские расисты отстаивают бесчеловечное статус-кво неравноправия.

Писатель поглощен своей страной. По собственному его признанию, он заново открывал Америку в своем «Путешествии с Чарли». Не собирается в новые заграничные поездки: «Хочу пожить дома».

Телефонный звонок, ожидавшийся хозяином, запаздывал. Мы пробеседовали часа два.

Он показывал мне квартиру, которая не так уж велика: гостиная, спальня, второй кабинет, совсем крохотный, тоже с горшочками на подоконнике. Из окон Нью-Йорк открывался на восток, юг и запад — Ист-Ривер и громадные мосты, скопище небоскребов центрального и нижнего Манхэттена, Гудзон и даже сосед-» ний малоэтажный штат Нью-Джерси, утопавший в дымке.

Напряжение работы отпустило старика. Он еще раз наполнил мой стакан и себе налил виски с кока-колы.

— Доктор советует пару стаканчиков к вечеру, — приятно, хотя я пил бы и без его совета.

Мы перешли в гостиную. Небо густело и темнело, сумерки начали восхождение по этажам, зажигались огни большого города. Но мы долго сидели без света, желая продлить весенний день, и Стейнбек признался, — что любит поэзию нью-йоркского вечера на 34 м этаже — слушать музыку и из окон темной квартиры любоваться гипнотической игрой света в домах и на улицах.

Теперь он делился мыслями об американских тревогах.

— Люди в тревоге, — говорил он, — они чего-то опасаются, хотя на поверку выходит, что часто пугаются лишь теней.

Стейнбек видит причину в растущей усложненности жизни, в том, что человек, оторвавшись от природы, оказался в пугающей зависимости от вещей и явлений, ему не подвластных, зачастую не понятных. Фермер, выращивающий капусту, больше уверен в себе, говорил Стейнбек, потому что зависит от рук своих и собственных усилий. А окажись городской любитель бифштексов среди стада отличных быков, и он не знает, как забить и разделать быка. Нация автомобилистов, но барахлит мотор, и автомобилист топчется перед задранным капотом, растерянный и беспомощный.

— Я-то знаю, как починить машину, как зарезать быка и приготовить бифштекс, — утверждает Стейнбек свою закваску бывалого человека, умение противостоять напору могущественных сил и защитить индивидуальность в стране, которая, как он однажды

выразился идет к «конвейерному производству» даже человеческих душ, обкатывает людей до гладкости и безликости голыша на морском берегу.

Но он любит эту страну, и из нашего разговора я понял, что он совсем не хочет давать ее в обиду перед журналистом из другой страны, из другого мира.

Спорить со Стейнбеком об американцах? Я не отважился на это.

Тепло вспомнив о своих московских встречах, он высказал надежду, что войны между нашими странами не будет. Писатель верит в миролюбие фермеров, занимающихся капустой, верит и в политиков, но призывает остерегаться азартных генералов и их рискованных игр.

Мы еще раз взглянули на электронеоновую фантастику вечернего Нью-Йорка. Она заполонила уже весь Манхэттен, до 102-го этажа «Эмпайр стейт билдинг». Фары тысяч машин залили Третью авеню дьявольски красивой, светоносной рекой.

Стейнбек включил свет в гостиной, потушив очарование городских огней. Я понял, что пора уходить.

Провожая меня, хозяин открыл дверь квартиры. У двери, подброшенная лифтером, лежала свежая газета. Огромный заголовок на первой полосе кричал о новом американском воздушном налете на Северный Вьетнам.

На тревожной ноте оборвалась наша встреча. Но эта тревога не задевала его. Мне показалось: Джон Стейнбек слишком благодушно смотрит на то, что делают американцы во Вьетнаме.

— Я не верю в подход, при котором видят лишь белое или черное, — заявил он, акцентируя полутона и отказываясь осудить бомбежки.

О чем расскажет нам в будущих книгах житель манхэттенской «Восточной башни»?

1965 г.

ПЕРО, ОТДАННОЕ ПЕНТАГОНУ

До своей смерти в 1968 году Джон Стейнбек так и не написал новых книг, кроме очерка «Америка и американцы», о работе над которым он рассказывал мне при встрече. И были у него еще вьетнамские очерки,

побудившие меня в самом начале 1967 года взяться за своеобразное послесловие к рассказу о нашей встрече. Я привожу здесь текст своей корреспонденции, опубликованной в «Известиях» 9 января 1967 года под заголовком «Перо, отданное Пентагону».

Среди американской пишущей братии в Южном Вьетнаме из которой комплектуется вспомогательная пропагандистская служба захватчиков, появился недавно один новый доброволец. Он быстро превзошел многих своих коллег в смысле повторения всего, что подсовывают и показывают генерал Уэстморленд и его пресс-помощники в хаки. Его ненависть к партизанам так же необузданна, как и его восторг перед американскими солдатами, которых он поднял на высоту благородных суперменов. Его политическая философия где-то на уровне наемных антикоммунистов из херстовских бульварных газет, хотя пишет он не для мистера Херста, а для малоизвестной, но преуспевающей газеты «Ньюсдей», издающейся под Нью-Йорком.

Вот последние три из «Писем к Алисе», то есть к бывшей издательнице газеты А. Паттерсон, опубликованные в субботу. Первое — с американской базы в Плейку. Это идиллическая картинка южновьетнамского поселения, очастливленного постоем тысяч американских солдат: «Получив стимул от пребывания войск, бизнес растет как грибы — прачечные, базы, лавчонки...» Другие американские корреспонденты замечали в Плейку и даже показывали на телеэкране несчастных детей, роющихся в отбросах, среди гор консервных банок, выпотрошенных американцами, жалкие лачуги вьетнамских семей. Автор «Ньюсдей» не видит всего этого, зато живописует о том, как он был приглашен на чай генералом Вин Локом, командующим 2-м корпусом марионеточной армии: «Его штаб выглядит как дворец и очень красив, и мне думается, что никогда больше я не попробую такого изысканного чая, как тот, которым он меня угостил» Мы узнаем, что генерал Вин Лок — «титированный принц», «эксперт в области истории и культуры» горных племен и знаток английского языка, «столь же ароматичного, как его чай».

Второе письмо написано после рейда на военном вертолете в районе Плейку. Письмо написано, как признает автор, в экстазе, который невозможно было удержать. Отчего же экстаз?

«Я видел их руки и ноги на рычагах управления. Точность координации напомнила мне об уверенных, внешне медлительных руках виолончелиста Казальса... Поймете ли вы эту мгновенную вспышку гордости, которую испытываешь лишь оттого, что принадлежишь к тем же особям, что и эти люди? Мне кажется, что это

чувство прямо противоположно той дрожи стыда, которую я иногда испытываю дома, когда вижу вьетников, их грязные одежды, грязные умы...» Автор прибегает к жаргону бер- чистов: вьетники — это их кличка для противников войны.

В третьем письме, отправленном из Сайгона, корреспондент «Ньюсдей» переходит к обобщениям. Он не стесняет себя в выражениях, его ненависть брызжет через край, она почти неприлична. Многие его коллеги, пообтесавшись в джунглях, пришли, несмотря на всю их «лояльность», к выводу, что в Южном Вьетнаме имеет место гражданская война и что Армия освобождения связана с народом теснейшим образом. Корреспондент «Ньюсдей» называет эти факты, признанные даже Вашингтоном, «чистым дерьмом собачьим». Партизаны для него — «бандитская мафия, их оружие — террор и пытки». Обращаясь к своим критикам в США, которые шлют ему «письма ненависти», он пишет: «Упрощать так упрощать, товарищи. Чарли — просто сукин сын». Он, как видно, любит жаргон не только берчистов, но и солдатни. «Чарли» — это бойцы Армии освобождения.

Кто же автор этих творений, уподобляющий убийц в чужом небе виолончелистам и гордый оттого, что принадлежит к «тем же особям»? Имя его Джон Стейнбек. Нет, не однофамилец. Тот самый, 64 лет от роду знаменитый писатель добровольно отправился в Южный Вьетнам, чтобы поставить свое перо и свою репутацию на службу грязной войне. Желанный гость генерала Уэстморленда, он не просто пишет. Стейнбек еще и стреляет. В канун Нового года ему позволили пальнуть из 105-миллиметровой гаубицы в распоряжение партизан под Сайгоном. Он счел это за «большую честь». «Это был гордый момент», — писал он Алисе. Снарядную гильзу, как сувенир на память, он хочет взять домой. Ему позволили пальнуть, он охотно позволяет себя фотографировать. Его письма иллюстрированы в газете фотографиями: вот Стейнбек позирует у миномета, вот он выходит из вертолета, вот он склонился над военной картой.

Что же произошло со Стейнбеком? Некоторые дают такое объяснение - он не мог занять другой позиции, потому что сын его служит в американских войсках во Вьетнаме. Наивное объяснение, выдающее следствие за причину! Причина в другом. Как кардинал Спеллман, благословляющий заокеанских убийц на «войну победы», писатель Стейнбек верен старому принципу американских шовинистов: «Это моя страна права она или не права». Этот принцип привел его в духовный лагерь империализма, а теперь и к отвратительным «письмам Алисе». Его голоса никогда не было слышно в антивоенных протестах,

он не звучал вместе с голосами американских интеллигентов, осудивших грязную войну. Не их ли он имеет в виду, обрушивая презрение на «вьетников» в грязной одежде и с «грязными умами»? Напалм и бомбы не присутствуют в его письмах в «Ньюсдей» потому, что он всегда был за бомбежки ДРВ: он говорил вашему корреспонденту об этом еще в марте 1965 года, через месяц после начала бомбежек.

У Стейнбека не отнимешь откровенности. В Сайгоне он заявил: «Я никогда не испытывал симпатии к невинным созерцателям. Если нужно, я хочу быть созерцателем виновным». Он стал таковым, замавав себя в грязи несправедливой войны.

Приобретение для Пентагона, потеря для американцев с чистой совестью!

ДАВЯТ ЛИ НЕБОСКРЕБЫ?

Четвертый прилет в Нью-Йорк... Базарная летняя сутолока в международном аэропорту Кеннеди, в воздухе липкая влажность близкой Атлантики, знакомые дорожные указатели на Нью-Йорк, Лонг-Айленд и Бруклин, мелькание ультрамодерных вокзалов и ангаров авиакомпаний, и тебя уже, как щепку, подхватил неумолимый поток автомашин, пронес мимо приземистого Куинса, мимо местного работяги — аэропорта Ла Гардиа, и, ныряя под виадуки и в разные туннели, ты вынесся наконец на громадную горбатую поверхность моста Трайборо, откуда открылись нью-йоркское небо и небоскребы Манхэттена, не скребущие, а, скорее, прокалывающие его.

В конце платного моста четвертак, как мзда на въезд в Манхэттен, и по крутому виражу — на автостраду вдоль Ист-Ривер. Знакомый поворот на 96-ю улицу, и вот она началась, привычная нью-йоркская игра со светофорами — скорее, скорее на зеленый свет через Первую авеню, мимо наружных лестниц и крылечек пуэрториканского Гарлема и людей на этих крылечках, все еще чего-то ждущих. И мимо фешенебельно притихшей, ушедшей в себя Пятой авеню, через вечернюю пустыню Центрального парка вниз, к Бродвею,

сверкнувшему огнями, в темноту Вест-Энд-авеню и к свежести Риверсайд-драйв, где Гудзон напомним о себе дуновением в лицо. Нырок в подвальный, гараж. Упруго-пружинный взлет крышки багажника. Приехали...

Заметки о Нью-Йорке писать нелегко из-за обилия фактов. На улицах, в домах, в душах и мозгах своих жителей Нью-Йорк каждый день пишет о себе толстенные фолианты, да только ни одному Нестору не дано занести их на бумагу. Но факты фактами, а я думаю, извинительна и капелька эмоции. Психологически этому городу очень трудно сопротивляться. Не спрашивая и не признавая возражений, он навязывает свой темп, свой ритм, свое сумасшествие и напряжение. Его лучшие «позывные» — это телевизионные джентльмены, рекламирующие таблетки от головной боли и нервного истощения. Город проделывает всю необходимую работу, а спаситель, появившись на телеэкране, лишь натягивает нервы до последнего предела размеренными, беспощадными, холодными словами: стресс... теншн... стресс... теншн (что по-русски звучит не так металлически и означает давление, напряжение).

Впрочем, способы избавления от нью-йоркского темпа есть самые разные (хотя и специфические): от отчаянной иглы наркомана до самого распространенного — автомобильного. Американец вышибает клин клином. Садись в машину, когда выдалас свободная минута, и выжимай пятьдесят миль там, где максимум скорости определен в сорок, шестьдесят — где пятьдесят и семьдесят — где шестьдесят. Такой рецепт выписан не телевизором и, конечно, не полицией, поймав, она оштрафует тебя по твердо определенной таксе доллар за каждую милю сверх разрешенной скорости.

Но игра стоит свеч. Автостреды отличные, с односторонним движением, по три разлинованных ряда в каждую сторону. Выходи в крайний левый ряд, будь осторожен, обгоняя грузовики с прицепами, и, если нет проклятых пробок и не приходится чертыхаться, вместе с автоматизмом реакций, свистом рожденного тобой ветра и шелестом шин соседних автомашин на гладкой и плавной дороге к тебе придет желанное состояние «релаксэйшн», т. е. расслабления, разрядки.

А кругом несутся, — если семьи, то на заднем сиденье дети, бывает, даже лежат, высунув ноги в окно; если парочки, то в обнимку. Американец отдыхает, веселится и любит на большой скорости.

В летние уикэнды это как стихия. Сотни тысяч машин рвутся из города в пятницу вечером и в субботу утром. Полицейские на земле и с

воздуха на вертолетах организуют стихию, радируют автомобилисту о густоте движения, рассыпают заторы на дорогах, на мостах и в длиннющих, по два-три километра, туннелях под Ист-Ривер и Гудзоном.

Нью-Йорк цепко держится за своих детей. Но вот они вырвались на оперативный простор где-то на окраинах Куинса, Бронкса, Бруклина, перемахнули через мост Джорджа Вашингтона в соседний штат Нью-Джерси И понеслись — поминай как звали!

Движение здесь — все, а цель — если не ничто то лишь нечто второстепенное. Пожалуй, цель — в самом движении. Так дорога вырастает в символ Америки Только на той символической дороге рядов больше тормоза не регулируются, правила обгона нарушают чаще и нужна пропасть горячего, чтобы бежать и бежать всю жизнь, чередуя «теншн» и «релаксэйшн»...

Но вернемся к Нью-Йорку. Есть такой типовой туристский вопрос: давят или не давят небоскребы? Времени у туриста мало, но психологическая эта задачка кажется простой, и, в общем, уезжает он, как правило, со своим миниатюрным, но категорическим открытием: враки все это, не давят небоскребы, напротив, прелестное зрелище... Когда проживешь в Нью-Йорке несколько лет, то и задачка, и ответ кажутся наивными. Все зависит от времени года и дня, от места и настроения.

На меня небоскребы давят в час дня в июльскую жару на центральных авеню или в нижнем Манхэттене, когда попадешь в мышеловку легковых автомашин, автобусов, грузовиков и, вдыхая бензинный чад, завидуя скорости черепахи, с тоской и бессилием озираешь уходящие ввысь стенки домов, в который раз думая, как же здесь живут люди и что этот дьявольский город вытворяет с ними. (Замечу в скобках, что лишь вдыхание загаженного машинами, домовыми котельнями и предприятиями нью-йоркского воздуха также увеличивает ваши шансы на рак легких, как выкуривание двух пачек сигарет в день. Это официальный подсчет городских властей и официальная их расписка в собственной беспомощности.)

А когда стоишь в восьмом часу вечера на Овечьей лужайке Центрального парка, от небоскребов вдруг веет поэзией.

Автомобильные потоки реют приглушенно, вдалеке. И небо над городом безмятежно и огромно.

Уходит день, ясный, невлажный, прохладный.

Воздух на западе зеленеет, и в нем все нарастает лимонный, чистый, словно процеженный свет, который скоро запылывает тревожными красками заката. Дома в таком воздухе становятся благородными,

резкими, отчетливыми. И небоскребы на юге, за границей парка, вздымаются неровными уступами, от них исходит щемящая красота и романтика. Какие-то братские узы неожиданно связывают их с тревожным закатом, разгорающимся над Гудзоном.

Сумерки гуще, огней больше, небоскребы таинственнее и прекраснее.

Но вот и тревога все полнее, и это уже не грустная тревога, навеянная мимолетной гармонией вечернего неба и вечерних небоскребов. Это уже иная тревога. Парк быстро пустеет, влюбленные и старики спешат к самым его краям, где меньше зелени и уединения, но больше безопасности.

Центральный парк — настоящая улада днем: дети в колбочках, прыгающие белки, голуби, на скамейках старики с газетами, на лужайках играют в бейсбол, а ночью — это легендарная преступная «малина». Но давят уже не небоскребы, а нравы города. Лишь машины продолжают безостановочное движение по дорогам, разрезавшим парк вдоль и поперек, да тихо шастают полицейские автопатрули.

Таков парк — разный парк. Таков Нью-Йорк.

Любящий делать бизнес на всем, в том числе на самом себе, Нью-Йорк в среднем принимает в год шестнадцать миллионов гостей. Одним он запомнится большим комбинатом развлечений — Радио-сити, где крутят новейшие, самые шикарные и глупые фильмы. Других удивят магазины и рестораны. Третьи припадут к напряженно бьющим родникам творческой мысли. У четвертых останется в памяти сумрачность Уолл-стрита.

И многим в тиши тоже автомобильной, но не такой беспокойной Америки будет сниться грохочущая преисподняя города-гиганта, который надо обязательно посмотреть, хотя бы для того, чтобы убедиться в прелестях провинции. Этот город ожесточает, но скажу в его защиту, что Нью-Йорк не уместается в рамки узкой дилеммы — нравится или не нравится. Смотри что? Не раз я бывал в старом и знаменитом «Медисон-сквер гарден», огромном сараеобразном здании, пошедшем теперь на слом. Нравится? Не нравится? Мне понравился «Медисон-сквер гарден», когда восемнадцать тысяч человек собрались там, чтобы протестовать против американской войны во Вьетнаме. А однажды туда пришли восемнадцать тысяч Голдуотеровцев, берчистов и полуфашистов на «антикоммунистический митинг Большого Нью-Йорка». В программе митинга была даже «молитва за спасение мира от коммунизма». Восемнадцать тысяч густо встали, чтобы выслушать анафему коммунизму. Мы с товарищем остались сидеть, ловя

недоуменные, косые и злобные взгляды. Такой «Медисон-сквер гарден» мне не по душе.

В Нью-Йорке, как и вообще в Америке, можно и нужно учиться многому, в частности высоким стандартам обслуживания населения, вопрос о которых так остро стоит в нашей повестке дня. Я бы не стал далеко ходить за примерами, лишь завернул бы за ближайший угол на Бродвей в рядовые супермаркеты «Фуд сити» и «Фе-руэй», два из сотен, разбросанных по Нью-Йорку. В них лишь один этаж, но удивляют они не меньше, чем небоскребы, и, главное, нужны большому числу людей.

Супермаркеты — это очень рационально организованные продовольственные магазины самообслуживания с ценами, доступными широкой массе. Большой торговый зал супермаркета уставлен стеллажами и открытыми холодильниками с широким выбором мясных и молочных продуктов, фруктов и овощей, хлеба, специй, пива. Кроме фруктов, все расфасовано, на всем указана цена. Продавцов в магазине нет, лишь кассиры у четырех-пяти кассовых аппаратов, рядом стоящих у выхода. Берешь металлическую колясочку и катишь ее в проходах между стеллажами, накладывая продукты. Потом — к кассе. Выкладываешь набранное из колясочки на небольшой транспортер перед кассовым аппаратом, кассир нажатием кнопки или ножной педали подвигает продукты к себе, выбивает цифры, аппарат автоматически выводит итог. Все складывается кассиром в бумажный пакет, и в обнимку с пакетом покупатель идет к выходу, где дверь сама распахивается перед ним — ведь в наши дни несложно «обучить» ее, что руки у покупателя заняты. На всю операцию у домохозяйки, знающей наизусть, где что лежит, уходит пятнадцать—двадцать минут. Миллионы, а может быть, и миллиарды часов сбереженного человеческого времени.

У супермаркета есть, конечно, своя социально-историческая подоплека. Американский путь к супермаркету был крут, это путь капиталистической конкуренции. От разоренных мелких ферм к крупным хозяйствам типа Гарета с их миллионными оборотами и умением считать каждый цент, от раздавленных фабричонок к гигантам-монополистам пищевой индустрии, которые приучили американца гигиенично и безвкусно «заправляться», соблюдая при этом контроль за собственным весом, от прилавка магазинов с их томлением очередей и ничтожной пропускной способностью к стеллажам расфасованных продуктов, где экономят уже на продавцах, потому что рабочая сила дорога и снижает конкурентоспособность. Однако покупатель, двигаясь с колясочкой вдоль стеллажей, осязает не

подоплеку, а готовый результат, который его устраивает.

Город строится, меняется, модернизируется. Знаете о прославленных сан-францисских «Золотых воротах»? Теперь дуга весом в миллион с четвертью тонн — но какая изящная! — повисла на двух опорных башнях высотой с 80-этажный дом между Бруклином и Стейтен-Айлендом. Длина — почти полтора километра. Под мостом не стесненно проходят самые большие в мире океанские суда, которые Европа шлет в Америку. Мост — красавец, но на нем даже не оглядишься толком. Америка настолько автомобилизирована, что на мосту не сделали пешеходной дорожки. Когда сдадут второй ярус, машины будут идти в двенадцать рядов. Пропускная способность — 18 миллионов автомашин в год. Вот вам один из нью-йоркских штришков!

Через несколько лет поднимутся небоскреба-близнеца в нижней части с Гудзоном. Они войдут в комплекс Всемирного торгового центра, затем нансистер. Шестая авеню интенсивно застраивается 40—50-этажными зданиями корпораций и гостиниц. На Третьей авеню рушат старые и вполне крепкие строения и возводят 25—35-этажные жилые дома. Земля с каждым годом дороже, здания — выше, ставятся впритык.

Большое видится на расстоянии, но слова поэта неприменимы к новым небоскребам, — и на расстоянии они загораживают друг друга.

Турист-урбанист, транзитом проскочивший через Нью-Йорк, млеет от восторга. А любители эстетики и многие архитекторы в ужасе от поступи внушительной но однообразной шеренги небоскребов. Несколько лет назад нью-йоркские архитекторы вышли в пикеты возле вокзала Пенсильвания-стейшн, спасая от слома его классические колонны. Но колонны распилили на куски и вывезли на какой-то пустырь в штате Нью-Джерси. Доллар теснит эстетику. Не так уж многочисленные памятники не столь уж седой нью-йоркской старины идут на слом, уступая место холодно сверкающим и прибыльным граням модерна.

Известный архитектор Уоллас Гаррисон, создававший великолепный комплекс ООН и здания Рокфеллер-центра, негодует против высотной стандартной монотонности. На него небоскребы давят, хотя он их строил. Гаррисон видит связь между архитектурным обликом города и его язвами социальными. «Мы пытаемся избавиться от преступников и наркоманов, а они — результаты бетонных джунглей, — говорит он. — Мы постоянно вторгаемся в наше пространство и вид неба. Теперь в Нью-Йорке с трудом увидишь луну».

Однако рядового жителя угнетают не небоскребы и отсутствие

луны. Старые дома сносятся, но здесь, увы, нет горсоветов, которые обязаны обеспечить жильем выселяемых. Квартиры хороши, ничего не скажешь, позавидуешь и отделке, и ванным, вместительным стенным шкафам, бесшумным лифтам. Но цены... Я зашел в один новый дом на манхэттенской Вест-сайд. Трехкомнатная квартира на 20-м этаже с видом на соседнюю крышу стоит 370 долларов, такая же квартира с видом на Центральный парк и, вероятно, на луну — 450 долларов. Да не в год, а в месяц. Я живу в не новом, но приличном доме. Квартира из трех комнат с видом на Гудзон стоила сначала 305 долларов в месяц. Через три года, по новому контракту с домовладельцами, — уже 315 долларов. Еще через три года — новый контракт.

Квартиру найти — не проблема. Правда, нужны две рекомендации от надежных лиц, удостоверяющие, что денежки у вас есть. Домовладельцы проверяют ваш счет в банке, чтобы убедиться, что денежки не переводятся. Потом, разумеется, залог, равный плате за два месяца, причем его не вернут, если вы съедете до истечения контракта. Первого числа каждого месяца, будь это даже праздничное 1 января, из-под двери вылетает утром аккуратный пакетик. Это счет за квартиру — платите вперед. Однажды я замешкался, не заплатил до 10-го числа — прислали напоминание, пригрозили штрафом.

Мне помогает редакция (в квартире расположен и корпункт). А товарищу моему — корреспонденту ТАСС не помогали, он платил 170 долларов за одну комнату с кухней, ванной и видом на грязный двор. Однажды вечером его чуть не придушили в лифте, а в день, когда он съезжал с квартиры, пропали два фотоаппарата. Наверное, поживился управдом: у него были ключи. Заявление в полицию, разумеется, ничего не дало — пропажа шла по разряду мелких краж, а в Нью-Йорке таких краж - сотни тысяч в год.

Оговорюсь, что «средний американец» неплохо зарабатывает, знаетходы и выходы на своей земле, платит меньше, устраивается лучше. Увы, и он бежит из Нью-Йорка, не вынося его атмосферы и квартирных цен. И как бежит! С 1950 года 800 тысяч жителей, принадлежащих к так называемому среднему классу, покинули Нью-Йорк, переселившись в пригороды. За те же годы в Нью-Йорк двинулись 800 тысяч негров и пуэрториканцев, иными словами, почти поголовно бедняки. Не мечтая о 400-долларовых квартирах, они селятся в гетто, и под напором массы «цветных» незримые, но вполне реальные стены гетто рушатся, белое население удирает из соседних кварталов. А домовладельцы-ростовщики разгораживают квартиры на клетушки, ибо «цветным» все равно некуда податься, и расширяют районы трущоб.

Эти печали не касаются жителей кооперативных домов на Пятой

авеню. Они защищены миллионами, позволяющими снимать целые этажи, а в смысле безопасности — бульдожьей хваткой швейцаров во фраках, манишках и с тренированными бицепсами. Но с вымыванием среднего звена контрасты богатства и бедности обостряются. Растут небоскребы корпораций и дорогие жилые дома, а рядом — трущобы, и от этого близкого напряженного соседства в городе огненно проскакивают искры гарлемских мятежей. Можно без конца подыскивать разные определения Нью-Йорку, и ни одно из них не будет исчерпывающим. Так много вместил этот город, так пестр он в сотнях своих измерений. Самый большой город в Западном полушарии. Самый мощный финансовый центр капиталистического мира. Самый разноплеменный город в Америке евреи ирландцы, итальянцы, немцы, французы, поляки японцы, русские, китайцы, чехи, арабы и прочие, и прочие переплавившиеся в американцев, но в общей сложности говорящие, как утверждают справочники, на 75 языках. Самые важные морские и воздушные ворота Америки. Самый большой в мире центр автобусных линий. Первый в мире город по объему почты. И т. д. И т. п.

Говорят, что Нью-Йорк — это не Америка. Это верно, потому что Нью-Йорк уникален, а Америка — преимущественно одноэтажная страна, и две трети американцев живут в собственных домах. Но все же Нью-Йорк — самая концентрированная Америка с большими достижениями и мучительными антагонизмами ее цивилизации.

Здесь больше миллионеров и бедняков, чем в любом другом городе США, больше акционеров и больше наркоманов. В «Эмпайр стейт билдинг» 102 этажа, но сколько условных этажей в подполье нью-йоркского преступного мира? Их не сосчитать даже ищейкам из ФБР. Здесь столица гигантского преступного синдиката «Коза nostra». В Нью-Йорке развернулся Вито Дженовезе, «босс боссов» этого синдиката, сидящий сейчас в тюрьме, и в Нью-Йорке же выросли два современных американских героя и мученика — Майкл Швернер и Эндрю Гудмэн, два белых юноши, погибших летом 1965 года от руки миссисипских расистов, потому что защищали права негров. Во время предвыборной кампании 1964 года Голдуотер знал, что обречен на поражение в Нью-Йорке, а сейчас трудно найти в Америке город, где так же активна и сильна оппозиция вьетнамской войне,

В Нью-Йорк бегут сотни тысяч пуэрториканцев, меняя одну нищету на другую — нищую родину на так называемый испанский Гарлем Манхэттена. И сюда же, спасаясь от воспоминаний или политических крушений, бегут миллионеры. После трагической смерти брата бостонец Роберт Кеннеди добился избрания в сенат США от штата

Нью-Йорк и сделал Нью-Йорк плацдармом для нового семейного наступления на Белый дом. В богатом кооперативном доме на Пятой авеню живет миллиардер Нельсон Рокфеллер, в богатом кооперативном доме на Третьей авеню — писатель Джон Стейнбек. В Гринвич-виллидж, где обитает богема со всей Америки, в одном кафе собираются популярные антивоенные певцы, в другом — гомосексуалисты. Нью-Йорк многое терпит и многое перемалывает своими долларовыми жерновами. В отполированном до зеркального блеска корпусе «роллс-ройса», принадлежащего миллионеру, порою отражается небритое, воспаленное, гниющее заживо лицо бродяги-пропойцы с Бауэри, и таких одичавших полулюдей-полузверей не найти, пожалуй, ни в одном городе мира.

Нью-Йорк можно назвать городом на все вкусы. Поговорка гласит, что о вкусах не спорят.

Нью-Йорку эта истина кажется недосказанной. Он по-своему дополняет ее: о вкусах не спорят, на вкусах делают деньги.

Восемь миллионов его причудливо перемешанных, но сохранивших какие-то национальные и расовые особенности жителей, разные привычки и традиции, разные потолки доходов, чувств и мыслей — все это открывает необыкновенный простор для предприимчивости и фантазии дельцов. Чеховский герой утверждал, что в Греции все есть. У него, видимо, были скромные запросы, и, конечно, он не видел Нью-Йорка, а потому и не догадывался, как глубоко заблуждался.

В ряду стандартно скучных американских городов Нью-Йорк стоит как уникум, над созданием которого специально потрудились история, природа и общество. И если историю не повернуть вспять, если природа благоволила к Нью-Йорку, расположив его на реках и удобных океанских заливах, а потом, стеснив теми же реками и заливами территориальный рост, заставила его тянуться ввысь небоскребами, то обществу Нью-Йорк предъявляет свой приговор. Но о приговоре потом, сначала о городе на все вкусы.

На вкусах делают деньги, а страна настолько развита экономически, что может удовлетворить любую материальную нужду и прихоть человека, имеющего доллары, — от рыболовных крючков до автомашины, собственной яхты или самолета. Были бы деньги — за качеством и выбором дело не станет. Амплитуда велика — от куска мяса, смачиваемого для «свежести» окрашенной жидкостью, до французского хлеба, «доставляемого ежедневно реактивными самолетами из Парижа» (такой деликатес рекламирует продовольственный магазин Забара). От дорогих причуд моды до массового ширпотреба по разным ценам.

На вкусах делают деньги — по этому принципу удовлетворяется и духовный спрос. Хотите Гомера, Толстого, Хемингуэя? Они в любом мало-мальски крупном книжном магазине. Хотите серию порнографических романов издательства «Трэвел компаньон»? Они там же, лишь на более видном месте.

Хотите сонеты Шекспира? Пожалуйста. Хотите специальные стишки для ватер-клозетного чтения? Есть и такие — с цепочкой, чтобы можно было повесить на гвоздик над унитазом.

Дешевыми детективно-садистскими историями торгуют в любой аптеке, они также нужны многим, как таблетки от бессонницы и нервного напряжения. Есть кинотеатры, где идет мировая классика, например и наши шедевры. Есть кинотеатры, где круглые сутки и годы крутят лишь секс-фильмы. В одном музее сплюснутая под прессом автомашина выступает как шедевр абстрактной скульптуры, в другом — выставка работ Родена.

Бизнес на вкусах обнаруживаешь, сравнивая нью-йоркские газеты. «Нью-Йорк тайме» — буржуазная газета с огромным объемом информации, внимательно читаемая политиками, бизнесменами, интеллигентами как консервативного, так и либерального, даже про-грессивного толка. «Дейли ньюс» — бульварная газета с ужасами, убийствами, результатами скачек на ипподроме, с крикливой антисоветчиной, изъясняющаяся на полублатном жаргоне. Тираж «Нью-Йорк тайме» — 800 тысяч экземпляров, у «Дейли ньюс» — более двух миллионов. Утром в переполненных вагонах подземки в глазах пестрит от «Дейли ньюс». В чем дело? В том, что вкусы формируются не в безвоздушном пространстве, а атмосферой общества. Это факт, с которым надо считаться, если хочешь понять мир американца. Может быть, именно начитавшись «Дейли ньюс» и книжонок из аптек, студент Альфред Гонзак совершил тридцать изнасилований за полтора года. И, может быть, не без влияния «Дейли ньюс» и ее многочисленных сестриц в городах и весях Америки многие американцы поддерживали эскалацию во Вьетнаме, хотя растет оппозиция и тревога за будущее.

О вкусах не спорят — на вкусах делают деньги. Оказывается, на продукции «Трэвел компаньон» можно делать денег больше, чем на Льве Толстом, на антисоветском кинобоевике «Из России с любовью» больше, чем на превосходном, антирасистском фильме «Всего лишь человек», на пустых музыкальных комедиях больше, чем на серьезной драме.

Торгуют, а на рекламную приманку годится все.

Культ молодости и красоты — производное от коммерции.

Красавицы, рекламирующие шампунь фирмы «Клей-рол», так похотливо-застенчиво расчесывают волосы на телеэкранах, что сомнения испаряются, перед «Клейрол» не устоит ни один мужчина.

А в гарлемских барах по старинке торгуют молодыми негритянками. Хотя проституция официально запрещена, бармен Джимми невозмутим: «Мы не боимся налета полиции. Наши лучшие клиенты — полицейские, белые полицейские».

В модном танцклубе «Артур» госпожа Сибил а Бартон одно время успешно торговала биографией. Она была женой известного английского актера Ричарда Бартона, но он, покинув беднягу Сибилу, женился на кинозвезде Элизабет Тейлор. Соломенная вдова недолго оскорблялась. В скандальной бракоразводной рекламе тайлся хороший шанс подзаработать. Но где? Разумеется, в Нью-Йорке — городе на все вкусы. Перекочевав за океан, Сибила Бартон открыла клуб «Артур», зная, что к ней потекут сливки общества, падкие на сенсацию. И сливки потекли.

Городские политики увертливы, как ужи, особенно перед выборами, когда приходится лавировать между Сциллами и Харибдами разных групп избирателей. Сегодня кандидат в мэры встречается с деловой элитой города, изыскивая средства на свою кампанию, а назавтра, лучезарно улыбаясь, является народу в одних трусах на пляже Рокавей среди тысяч купающихся — ему не чужды простые удовольствия. Сегодня на митинге нью-йоркских сионистов он обещает еще больше отточить острие анти арабской политики Вашингтона, а завтра жмет руки неграм на гарлемских улицах и излагает в радиорупор свой план ликвидации гетто.

Порой мэру Нью-Йорка труднее, чем президенту США или губернатору любого штата. «Мэр вступает в прямой контакт с большим числом людей, которые не согласны друг с другом по очень широкому кругу вопросов, а согласны — лишь по очень узкому», — сочувствует мэру «Нью-Йорк тайме».

Эти головоломки мэра лишь отражают чрезвычайно сложное положение в городе, где идет постоянная война всех против всех. Город одновременно развивается в двух противоположных направлениях, и их хорошо иллюстрируют две излюбленные фразы нью-йоркских обывателей.

— Не ваше дело, — вот охранный грамота собственника, и он немедленно предъявляет ее, когда кто-то посягает на его интересы.

— А кому это нужно? — изрекает он же, когда дело касается интересов города.

Культивируя, с одной стороны, эгоизм, погоню за долларом, чего бы она ни стоила окружающим, с другой — общественную апатию и равнодушие, Нью-Йорк душит сам себя, порождает проблемы, с которыми ему все труднее справляться. Газета «Нью-Йорк геральд трибюн» взялась изобличать пороки, опубликовав серию статей «Нью-Йорк в кризисе». Сделано это было не без эгоизма: газета дышала на ладан и хотела вернуть читателей. Пять месяцев положение в Нью-Йорке исследовалось дотошно и под весьма тревожным заголовком: «Величайший город мира... и все в нем идет не так».

Что же идет не так в этом городе? Вот некоторые цифры и факты, приведенные газетой. Почти пятая часть жителей живет в условиях нищеты, «в стесненных, плохо отапливаемых, антисанитарных, кишаших крысами квартирах».

Полмиллиона существуют на пособия от города. Без этого пособия, каким бы мизерным оно ни было, им попросту не прожить. На каждого вычеркнутого из списка получающих пособия добавляются три или четыре новых нуждающихся.

Десятки тысяч молодых людей вне школы и без работы томятся на улицах — резервная армия преступного мира.

Публичные школы, охватывающие миллион детей, «переполнены, преподавание ниже принятого стандарта, особенно в районах трущоб». О школах в Манхэттене и Бронксе, где 65 процентов составляют дети негритянских и пуэрториканских бедняков, один учитель говорит так: «Теперь уже не думаешь об обучении этих детей. Ты просто удерживаешь их от того, чтобы они не убили друг друга и не убили тебя».

В судах ждут разбора 125 тысяч гражданских исков, для многих очередь подойдет лишь через пять лет. Неуклонный рост преступности — одна из острейших городских проблем.

Автомобильное движение при полутора миллионах машин, зарегистрированных в городе, плюс 600 тысячах проезжающих ежедневно, стало чудовищной проблемой.

Предлагают такое радикальное средство от автомобильных пробок: все вылезает из машин, а потом задают их цементом. Шутка не лишена смысла — в часы пик пешеход без усилия перегоняет автомашину. Сеть пригородных электричек, перебрасывающих в Нью-Йорк 200 тысяч человек каждый день, близка к финансовому краху.

Много мелких и крупных бизнесменов бежит из Нью-Йорка, не находя его прибыльным, а рабочих выбрасывают на улицу: за пять лет

занятость в промышленности сократилась на 80 тысяч человек.

Таково обвинение — очень и очень неполное, отклики? Газета дала отдушину, и в нее хлынул чаемый перечень бед, болей, обид, тысячи писем телефонных звонков.

Читая отклики, недоумеваешь — куда делись ты Нью-Йорка?

Конечно, патриоты не перевелись, но в массе выражают неприязнь и даже отвращение к городу, к его властям, бессилие и неверие в будущее.

— Верно, что все идет не так в нашем городе, — соглашается Рут Данмор. — Я уже не осмеливаюсь выходить вечером одна... Подземка? Я боюсь ездить в ней... Другими словами, по вечерам я фактически стала пленницей в своей квартире.

Одни ищут простых решений.

— Удвойте численность полиции. Поставьте лифтеров в любом и каждом многоквартирном доме, — требует некий Рубен Фрид.

Другие совсем отчаялись.

— Нью-Йорк является самым продажным городом в мире, и никто никогда не принимает мер после разных расследований, в том числе и вы, — писал в газету мистер Эл Барри.

Если вернуться в этом смысле к вопросу о том, дают ли небоскребы, если вспомнить, кто в них сидит, то ответ будет вполне определенным: дают, да еще как!

1965 г.

КЕТЧУМОСАЯ ИСТОРИЯ

Кетчум (штат Айдахо) — нас. 746.

Высота 5821 фут. Известный в США пункт по перегону овец, находящийся в миле от Солнечной долины, популярного курорта.

*(Из путеводителя Американской
автомобильной ассоциации)*

**Эрнест Миллер Хемингуэй,
июль 21, 1899 — июль 2, 1961.**

*(Одна из надгробных надписей
на Кетчумском кладбище)*

Холмы, облака и солнце. Но прежде всего высокие холмы. Ничего нет картинного в этих холмах. Они покоряют мягкостью, простотой и покоем. Они не теснят друг друга, стоят вольно, и пологие их склоны плавно спускаются в долину. Тени от облаков умиротворенно скользят по холмам. Солнце заливает долину светом и теплом до круглых верхушек холмов.

Потом три дня шли затяжные тихие дожди, чередуясь с полосами солнца и света. Ели молча темнели и мокли на склонах холмов. Вода пузырилась на крышах машин. Мокро блестел асфальт 93-й дороги, и за решетчатыми перекрытиями двух мостов шумела в каменистом ложе Биг Вуд Ривер — Большая Лесная река, совсем не большая, но в лесных берегах.

Дождь падал на подстриженную траву сельского кладбища, на редкие —здесь просторно мертвым — надгробные камни и на большую плиту из серого мрамора.

И от Кетчума до аэродрома в Хейли холмы открывали глазу скрытую магию своих линий, и человек охотно сдавался перед ней.

Холмы и небо, солнце и облака, дожди и Биг Вуд Ривер свободно входят в огромные окна дома Хемингуэя на северной окраине Кетчума. Дом стоит у восточного подножия холма. Еще не успев окрасить долину, первые лучи восходящего солнца вливаются в гостиную. Внизу переплеск реки, бегущей через заросли. Последние лучи падают на другой холм — за рекой, за железнодорожной веткой, за шоссе номер 93. На другой холм, к подножию которого прильнуло кладбище. А еще дальше по-отцовски над холмами темные горы Сотуф.

С Мэри Хемингуэй, вдовой писателя, я стоял во дворе дома. Наступали сумерки и их особая тишина. загоне ласково повизгивали две собаки.

Что это за кустистая зеленовато-пепельная трава растет на склонах холмов?

— А вы не знаете?—укорила Мэри. — Это наш знаменитый шалфей.

Мы нарвали стебельков шалфея. Когда разотрешь их в пальцах, от

травы исходит резкий, отрадный и горький запах. Такой же, как от всей этой истории, которую я узнал в Кетчуме, истории о том, как впервые приехал туда и как через двадцать два года застрелился там Эрнест Хемингуэй...

В «известном пункте по перегону овец» аэродром принадлежит ассоциации овцеводов. Летное поле не обременяет себя бетоном, — как пастбище, оно покрыто зеленой травой, а неподалеку — овечий тракт. Старый двухмоторный самолет касается травы после полутора часов потряхивания над горами. Самолет принадлежит бедненькой компании «Вест Кост эрлайнс», и губернатор штата Айдахо грозит прикрыть ее, ежели она не наладит сервис. Дорога номер 93 принадлежит штату. А вообще-то еще лет тридцать назад эти далекие от обжитой земли края входили в империю железной дороги «Юнион Пасифик», и она практически расшифровала магию холмов, открыв в 1936 году в миле от Кетчума зимний курорт Солнечная долина—для горнолыжников. Со временем жители Кетчума перенесли деловой акцент с овец на курортников, а империя «Юнион Пасифик» была сокрушена автомашиной и самолетом и недавно продала курорт земельной фирме «Джейнс корпорэйшн оф Лос-Анджелес».

Вернемся, однако в 30-е годы. Помните старый фильм «Серенада Солнечной долины»? Его заказала «Юнион Пасифик» —для рекламы своего нового курорта. Для рекламы же разные знаменитости зазывались в холмы десятками. Так в поле зрения председателя правления «Юнион Пасифик» Аверелла Гарримана, миллионера, а потом губернатора и дипломата, попал известный писатель и известный охотник Эрнест Хемингуэй. Тогда он писал и охотился на юге штата Монтана, в небольшом городишке Куки-сити. По указанию Гарримана трех сотрудников курорта, молодых еще парней, ставших потом близкими охотничьими друзьями писателя, отрядили ранней осенью 1939 года в Куки-сити, чтобы «заманить» Хемингуэя в Солнечную долину и «прикрепить» его там. Об этой истории рассказал мне Ллойд Арнольд, один из троих, старый фотограф и охотник. Он отвечал тогда за фоторекламу курорта.

Гарриману нужны были фотоснимки охотника Хемингуэя в холмах Солнечной долины. Хемингуэю нужно было спокойное уединенное место для работы и хорошая охота осенними полуднями и вечерами. На том они и поладили, даже не зная друг друга.

Плюс холмы. Может быть, в холмах-то и лежит разгадка. Чем-то похожи они и на зеленые холмы Африки, и на испанские, словно белые слоны, холмы. Милях в тридцати к югу от Кетчума, где холмы переходят в предгорья, каменные и белые, Хемингуэй часто вспоминал

горы Гвадалахары. В округе жили и живут до сих пор баски- пастухи, завезенные по контракту из Испании айдахскими овцеводами. А Хемингуэй работал тогда над своей «большой книгой» о гражданской войне в Испании — романом «По ком звонит колокол».

В курортное межсезонье 1939 года он жил один в большой и удобной только что выстроенной гостинице «Лодж». Вставал с рассветом и в пижаме прямо в спальне брался за работу. Он любил сосредоточенную рабочую тишину. Его никто не тревожил. Трое жили в соседнем отеле «Челленджер». Их охотничьи ружья стояли в гостиной хемингуэевского номера. Бывало, в полдень Ллойд Арнольд осторожно входил туда, забирал ружья. В спальне молчали. Если было нужно, Арнольд пробирался и в спальню. Хемингуэй не говорил ни слова. Трое ждали в гостиной, когда раздастся последняя дробь пишущей машинки или стук карандаша, отчаянно брошенного о кипу бумаги. Баста!

Он выходил к ним, высокий, могучий, сорокалетний.

— Доброе утро, черт побери!

Они садились в машину и ехали по дороге 93, туда, где холмы напоминали Испанию и где на Серебряном ручье возле городка Пикабо водились дикие утки, или еще дальше к Гудингу, где была охота на фазанов, или на фермерские поля стрелять плодовитых и прожорливых кроликов. Вел машину один из трех. По словам Арнольда, Хемингуэй был «самым плохим шофером в мире».

Иногда он рассказывал им о Роберте Джордане и Марии, о том, как не ладится характер Пабло. Рассказывал, когда хотел. Он не любил расспросов о своей работе, они знали и уважали эту привычку. А молчаливая спутница - дорога номер 93 раскрывала перед ними неровный строй холмов, пока машина не сворачивала влево на сельскую 23-ю дорогу, и та узкой стрелой неслась вдоль старых телеграфных столбов, петляла вокруг маленьких деревушек и выводила к низкому мосту, под которым, стесняя себя, отливая темным серебром, Серебряный ручей, а потом ручей брал свое, захватывая широкое пространство островков, рукавов и заводей.

Кругом были тишина и безлюдье, высокая трава по берегам и желтые ромашки. Гремели выстрелы.

— Говорят, что он был неуклюжим, — с усмешкой вспоминает Ллойд Арнольд. — Только не с ружьем. Он был дьявольски метким, быстрым стрелком. Я сам из охотничьей семьи, с малых лет имел дело с ружьем, знал сотни охотников, по такого, честно скажу, не видал.

Вечером они садились за сытный, с разговорами и вином ужин в гостинице «Челленджер», и Хемингуэй, ценивший охотничье

товарищество, забирал их потом к себе в «Лодж» на night car — «ночной колпак», последнюю стопку перед сном.

А с утра он снова был одинок и усилием воли впрягал в одну упряжку талант и труд в поисках «четвертого измерения» — самой достоверной правды.

— Я, любящий лишь слово, пытающийся сделать фразой и предложением то, что не поддастся ни одному бомбардировщику, то, что останется, когда все мы уйдем, и еще долго после этого, так сказал он о себе в двух «стихах к Мэри», написанных в 1944 году и опубликованных уже после его смерти.

Третий роман «По ком звонит колокол» была написана в Солнечной долине. Большая книга шла хорошо, и перед тремя своими спутниками Хемингуэй называл ее «нашей книгой». Так его прикрепили к Кетчуму. Для трех история началась с административного распоряжения босса кончилась мужской дружбой. Мистер Хемингуэй стал Эрни, а потом — Папой. Когда в октябре 1940 года роман вышел в свет, писатель был в Кетчуме. Туда шли поздравления.

— Если бы не это место, не вы, ребята, и не охота, я не написал бы книгу за полтора года, — говорил он.

Хемингуэй ничего не забывал. У него была слоновья память, говорит Мэри. Не забыл он кетчумских друзей и холмы, уток на Серебряном ручье, хотя любимым домом его была Куба и он много путешествовал по Африке и Европе. В 1946—1948 годах он с женой несколько раз приезжал в Кетчум. Жил в арендованных домах. Потом был перерыв в десять лет, но один из троих, главный егеря курорта и страстный рыбак Уильямс Тейлор, почти каждый год гостил у Хемингуэя на Кубе и, возвращаясь, рассказывал, что Папа часто вспоминает Кетчум. В 1958 году Тилли и Ллойд Арнольды получили письмо от Мэри: Папа собирался в Кетчум и хотел знать, не изменились ли места. Арнольд ответил как на духу, без уловок, которых не терпел Хемингуэй: места, увы, стали многолюднее, но охота такая же, только поработать придется усерднее.

Хемингуэй вернулся в Кетчум в октябре 1958 года, пробыл до марта 1959 года. Он шлифовал книгу воспоминаний о Париже 20-х годов — «Праздник, который всегда с тобой». Охота по-прежнему была отличной. И в 1959 году писатель купил дом и заросший шалфеем участок земли на склоне холма за Биг Вуд Ривер, самый крайний, самый отшельнический кетчумский дом. Он справил новоселье в ноябре 1959 года, провел в Кетчуме рождество и уехал в лютый январский мороз. И, наконец, вернулся с Мэри осенью 1960 года.

Думали, что селиться насовсем. Оказалось — помирать.

Близкие заметили плохие признаки. Хемингуэй был подавлен физически и душевно. В горькие минуты говорил, что с ним кончено, что он исписался. В минуты хорошие был прежним Папой, так же метко стрелял и веселился.

В конце 1960 года он лег в клинику в Рочестере, штат Миннесота. Вернулся в конце января, писал, охотился. Но в апреле 1961 года снова и надолго отправился в Рочестер.

И вот в пятницу 30 июня их с Мэри привез в Кетчум на машине Джордж Браун, старый друг, бывший боксер, владелец гимнастического зала в Нью-Йорке. Вечером и в субботу их видели втроем в городке. А потом раннее воскресное утро. Никто не знает, какими были последние минуты. Хемингуэй всегда вставал с рассветом. Мэри еще спала в спальне на втором этаже. Джордж Браун - в гостевом домике на дворе. За массивной дверью в маленькой прихожей, обитой деревянными панелями была стойка для охотничьих ружей. С Кубы он привез двустволку английской фирмы «Скотт».

«И никогда не спрашивай, по ком звонит колокол»...

Большому, грохнувшемуся навзничь телу было тесно в маленькой прихожей.

Самоубийство или роковая случайность? Там, где похоронен Хемингуэй, нет двух мнений на этот счет. Все уверены, что он покончил с собой. Я не спрашивал Мэри. Но в разговоре мельком, сторонясь этой темы, она обронила:

— Он застрелился вон там.

И показала на прихожую.

— Шок был громадным, но мы не удивились, — говорит Ллойд Арнольд. — Я знал, что если Папа решит это сделать, он сделает это основательно.

И он сделал это основательно, как любил делать все в своей жизни.

Местный шериф, осматривавший труп, считает, что оба дула были вставлены в рот. Немногое осталось от большой, седой, красивой головы. Он ушел из жизни, как жил, добавив последние две пули к полдюжине головных ран, двумстам следам от шрапнели, отстрелянной коленной чашечке и ранам в руки, ноги и живот.

...Один из трех кетчумских друзей-охотников знал Папу лишь шесть недель. Его звали Джин Ван Гил-дер. Он погиб в 1939 году на охоте от случайной пули неопытного стрелка. Смерть часто ходила рядом с Хемингуэем но он был потрясен нелепой гибелью 35-летнего красивого и здорового человека, которого успел полюбить Вдова попросила его сочинить эпитафию. Хемингуэй не сразу согласился — у него были

свои суеверия. На потемневшей уже бронзовой дощечке, врезанной в могильный камень, отлиты простые, пронзительные слова: «Он вернулся к холмам, которые он любил, и теперь он станет частью их навеки».

В 1959 году рядом лег еще один камень: Джон Уильямс Тейлор.

В 1961 году — большая мраморная плита: Эрнест Миллер Хемингуэй.

«Он вернулся к холмам, которые он любил, и теперь он станет частью их навеки».

Дважды я приезжал в этот дом. Поворот налево на северной окраине Кетчума, железнодорожный переезд, мост через Биг Вуд Ривер и первый поворот направо. Три жерди вместо ворот, выбитая щебенчатая дорога среди густой травы, площадка для машин перед домом, внизу гараж, над ним огромное окно гостиной. По бетонным ступеням к двери с металлическим кольцом...

Со странным чувством переступаешь порог во второй раз, уже зная, что за этой дверью в последние мгновения своей жизни стоял Хемингуэй, а потом, слившись в один, грохнули два выстрела и одинокое лежало мертвое тело. На прощание я привез бутылку водки мисс Мэри, — так звал свою жену Хемингуэй и его друзья, — и хотя у меня нет такого права, трудно звать иначе немолодую, но легкую, как птица, женщину.

— Русская водка сладковата, — сказала мисс Мэри. Я не согласился.

— Давайте попробуем по глотку, — сказала она. — Давайте нарушим все старые буржуазные традиции и выпьем с утра.

Мы нарушили традиции, а потом с чашками чая в руках вышли на веранду. И снова были солнце и холмы, тишина, подчеркнутая воркованием реки, и неуловимая грусть осени, которая не за горами. Мэри говорила, как красива осень в Восточной Африке, в Испании, в Италии. Я думал о кетчумских осенних месяцах Хемингуэя...

Он не строил дома, в которых жил. На Кубе его вилла «Финка Вигия» была когда-то сторожевой башней. Дом в Кетчуме выстроил миллионер Топпинг для медового месяца с молодой женой, с которой вскоре развелся. Хемингуэй выбирал не столько дома, сколько место. Может быть, в этом капитальном, из бетона, доме больше всего нравились ему огромные, без переплетов окна, в которые легко входит окрестная природа. Дом не успели обжить, в нем почти нет «материальных следов» покойного. Он любил работать в спальне на втором этаже, у окна, выходящего на юг, — там лишь три старых тупых карандаша напоминают о Хемингуэе. Столик с наклонной доской, за

которым он писал стоя, увезен в Нью-Йорк. В спальне мисс Мэри есть уголок, где прямо к стене припилены любительские фотографии. Папа ест из одного блюда с любимой кошкой. Папа, веселый, оживленный, сидит за столиком в тесном вагонном купе с Мэри и каким-то молодым человеком. Мисс Мэри точно помнит, когда была сделана эта фотография: в тот день русские запустили свой первый спутник. В гостиной над камином две пары красивых рогов — антилопы импала, подстреленной Хемингуэем на охоте в Африке, и малой куду — трофея Мэри. Иа полу тонко выдубленные шкуры. Деревянный шкаф крестьянской работы из Испании. Кофейный столик, на котором глазурью сделаны сцены боя быков.

И в простенке, у зловещей прихожей, как открещиванье от смерти и тягостных воспоминаний, — знаменитый портрет бородатого, молодого духом хозяина.

Большая библиотека Хемингуэя (девять тысяч томов), личные вещи, коллекция картин остались на кубинской вилле, превращенной в музей.

— О чем вы хотите поговорить?— спросила Мэри, когда, созвонившись, я приехал в первый раз.

О чем? О многом...

Мы беседовали долго, пока на востоке не повисли над холмами окрашенные закатным солнцем последние дневные облака. Ходили по пустынному дому, она — хозяйкой, а я осторожно, как в музее, срывали стебельки шалфея на дворе, и мисс Мэри замедляла речь, если я не успевал записывать.

Ружья так и не изгнаны из этого дома. Ружье лежало на кушетке в спальне. В округе пошаливают, на бензостанции в центре Кетчума висит объявление, обещающее пять тысяч долларов за поимку убийцы, и Мэри Хемингуэй, вдова знаменитого охотника и опытный стрелок, готова к самозащите.

Она встретила Хемингуэя в 1944 году. Вскоре поженились. Легко ли быть женой большого человека? Мэри Хемингуэй сослалась на Софью Андреевну Толстую. У Хемингуэя был свой сокровенный мир художника. О работе не любил говорить даже с женой. Мисс Мэри отводит себе скромное место: помощница. Стерегла тишину, создавала условия для труда, оберегала от ненужных, грубых вторжений. К своему делу Хемингуэй относился свято. И конечно, никто не скажет о нем лучше, чем его книги с их мужественно-трагическим ритмом.

А вне рабочего стола? Он любил веселье, каламбуры, розыгрыши, людей с легким сердцем. Восхищался Италией и итальянцами, обожал

«национальную способность кубинцев к музыке и танцам». С Мэри они все время разыгрывали и дурачили друг друга.

Но, оценивая людей, выявляя человеческую суть, человеческое ядро, он был серьезен и беспощаден, как за письменным столом.

Какие качества Хемингуэй больше всего уважал в людях?

— Думаю, что больше всего он уважал людей с внутренней грацией, людей, которые даже перед лицом опасности и смерти ведут себя так непринужденно, как будто этих трудных ситуаций не существует. Поэтому он так любил бой быков.

— Второе качество — честность, и его определение честности было более суровым, чем обычно. Говорят, честный человек. Но как честный, до какой степени? Он был самым честным человеком из тех, кого я знала. Разумеется, если при нем похвалят мое платье, а оно ему не нравится, он мог сказать «да». Но, за исключением таких мелких вещей, он всегда говорил правду. Он стремился видеть людей отчетливо, резко, в верном свете. Презирал людей неправдивых и тех, кто не глядит прямо в лицо жизни. Ненавидел все фальшивое и притворное.

Мэри вспомнила случай с книгой о второй мировой войне американского «хорошего писателя» (фамилию не назвала). Рекламируя ее, издатели писали в предисловии, что книга выше «Войны и мира». Хемингуэй был взбешен оттого, что писатель позволил prostitute истину: «Рядом с Толстым он как шавка рядом с бульдогом».

После двухгодичного траура мисс Мэри — живая, легкая память о Хемингуэе. Но не только. За несколько лет З. С. Кондрашов.

до смерти в завещании, написанном от руки, писатель сделал «любимую жену Мэри Хемингуэй» единственной наследницей своего состояния — литературного и прочего.

Хемингуэй, конечно, увековечен в книгах, переведенных на десятки языков. Есть музей на Кубе, хотя нет пока памятника в Соединенных Штатах. Вдова говорит, что кубинское правительство хорошо к ней относится, что она рада, как хорошо содержат там хемингуэевский музей. В Соединенных Штатах средства собирает комитет памяти Хемингуэя, в который входят его близкие друзья. Скоро откроют «Памятную тропу» у горной речки к северу от Солнечной долины: бронзовый бюст писателя, лесные дорожки у извилистых берегов. Память о Хемингуэе как бы сольется с природой, которую он любил.

Хемингуэю не нравилось имя Ллойд. Ллойда Арнольда он звал

Паппи (Папочка). «Вон идут Папа и Паппи», — посмеивались работники курорта, видя их вместе. Паппи ростом был ниже Папы и моложе на семь лет. Сейчас ему пятьдесят девять. Зоркие глаза охотника и фотографа- профессионала и любовная улыбка, когда он рассказывает о Папе. Это как бы внутренняя улыбка — друг оживает в его сознании, великая пора его жизни. Ллойд Арнольд видел в Солнечной долине сотни «больших людей», но для него они — тени рядом с «простым гигантом».

Ллойд Арнольд и его жена Тилли не претендуют на многое. У Хемингуэя были друзья в разных странах, а они скромные люди: отец Арнольда был рабочим, Тилли

из фермерской семьи. Оба оговариваются: «Если бы не было хорошей охоты и хороших мест, он не приехал бы сюда». Однако зовут его Папой без фальшивой фамильярности. Он сблизился с ними, сидел не раз вот в этом широком плетеном кресле, за этим вот столом. Тилли хлопотала на кухне, еда была неизысканной, но здоровой, были вино и друзья-охотники, и Папа, «плохой собеседник» с малознакомыми и малопривлекательными людьми, здесь так и сыпал забавными историями, — смеялись до слез. В морозные дни они стреляли по глиняным тарелочкам прямо на дворе, и Паппи — он усмехается — ни разу не удалось обставить Папу, хотя случалось, что они шли наравне. На книжной полке стоят книги Хемингуэя, а в них автографы — «Паппи и Тилли с большой любовью». Подписано шутливо — Доктор Хеминг Стайн.

В то июльское воскресное утро они встали в семь, собираясь навестить Папу и мисс Мэри. И вдруг телефонный звонок. Когда они приехали, тело уже убрали. Сейчас острота трагедии ушла, Ллойд и Тилли говорят: «Раз Папа решил это сделать, он сделал бы это наверняка, его не остановить».

Остались воспоминания, и Ллойд Арнольд, фотограф в отставке, пишет книгу о Хемингуэе в Кетчуме.

Он может часами рассказывать о «бриллианте с 56 гранями», «очень, очень хорошем человеке», «добром и нежном». Как он был прост и честен, любил простые вещи и простых людей, сошелся с больным отцом Ллойда — старым рабочим, главой семьи, где единственной роскошью были охотничьи ружья. И как сложен: пресекал неделекатность, панибратство. Как однажды незнакомца, залихватски подкатившегося с вопросом о том, что он пишет, отбрил свирепо: «Книгу!» Как в баре какой-то парень принял Хемингуэя за шахтера — Папа одевался небрежно. Как через несколько недель после

первого приезда в Кетчум, получше узнав тех троих, сказал им почти застенчиво: «Хотите, подарю вам вот эту книжку». И подарил роман «И восходит солнце». Как был он «величайшим человеком привычки»: каждый охотничий сезон начинали с одного и того же места, после первой охоты обедали у одного и того же фермера, до дыр износил свою кожаную охотничью куртку и скреплял ее булавками, не желая заводить новую. И как он крут был на охоте, не терпел неосторожных стрелков и небрежного обращения с оружием. Однажды разругал журнал «Лайф»: там поместили снимок Хемингуэя на охоте и сообщение, что он охотился десять дней и ни разу не промахнулся. Осрамили, говорил Папа, любой охотник скажет, что это вранье.

И как у него словно был «кристальный шар между глаз» — тот самый магический кристалл, умение разгадывать людей, вытягивать всю их подноготную.

— У нас были отношения охотников, а не литераторов, — оговаривается Ллойд Арнольд. — Но иногда Папа делился и своими мыслями о литературе: — Писать, как говоришь, — короче. Самое сложное можно выразить кратко. Помни, в английском языке лишь пять гласных, всего пять, а они дают ему всю музыку.

Хемингуэй был скромнен, но знал себе цену. Сожалел, что не смог поехать в Стокгольм в 1954 году получать Нобелевскую премию; это было вскоре после того, как он попал в авиационную катастрофу в Африке. Иногда он, впрочем, говорил, что получил Нобелевскую премию поздновато. Переживал, что критика плохо встретила роман «За рекой, в тени деревьев». Хвалил своего «Старика и море».

В физическом мире существует три измерения, любил говорить Хемингуэй, и задача писателя — максимально приблизиться к четвертому. Считал, что в «Старике и море» к этому четвертому измерению он подошел ближе, чем где-либо...

С аэродрома Хейли я ехал в Кетчум в черном допотопном, но резво еще бегающем сельском такси. На заднем сиденье лежало два мешка почты — в городок Хейли и в Кетчум — и запчасти для бензоколонки, которые доставил самолет. Таких таксистов я не встречал в больших американских городах — седая женщина в очках, этакая бабушка-домохозяйка. Зовут ее Лорита Мэлл икс, или просто Рита. Рита и ее муж — владельцы единственного в округе такси были знакомы с мистером Хемингуэем. Похороны были «тихими,

приятными», они попали в число полусотни приглашенных, Рита хранит это траурное приглашение. Она не пожалела времени, привезла меня на кладбище, показала, где дом Хемингуэя и где дом Арнольда.

— Он был очень милый человек.

Бедная женщина, по 16—18 часов в сутки пасущая свою черную мрачную автокормилицу, Рита оценивает Хемингуэя очень характерно: для него неважно было, кто ты — бедный или богатый. Я спросил, читала ли она его книги. Рита ответила уклончиво. Мисс Мэри подарила ей «Праздник, который всегда с тобой», — посмертную книгу писателя. По уклончивости ответа я догадался, что и эту книгу Рита не читала. Проведя три дня в крохотном Кетчуме, я обнаружил: все лично знали или хотя бы видели Хемингуэя, но почти никто не читал его книг. Встречали на улице, здоровались, уважали его privacy — право на уединение, считали «милым человеком» и были безразличны к делу его жизни.

Официантка в кафе «Шато», подавая мне радужную форель, говорила шепотком:

— Вы никогда бы не поверили, что он пишет книги. Он выглядел как бродяга.

Она тоже не читала Хемингуэя, но в простоте душевной полагала, что книги пишут так называемые «приличные люди».

Я говорил с администратором мотеля «Олпайн вилла»; с барменом, привиравшим для рекламы, что Хемингуэй два-три раза в неделю заходил к нему; с продавщицей магазина сувениров, где торгуют широкополыми шляпами «вестерн», узорными ковбойскими поясами и брошюрками о Кетчуме эпохи «фургонных дней» и где ничего нет на память о Хемингуэе; с работником гаража; с парнишкой из аэропорта Хейли; со спортивным курорта. Лишь инструктор читал книги великого жителя Кетчума, да аэродромный парнишка похлопал классика по плечу: «Неплохой был писатель».

В местной аптеке, которая по совместительству торгует и книгами, я перерыл весь стандартный детективно-сексуальный набор на вертящемся стеллаже, разыскивая Хемингуэя. Его не было. Для верности осведомился у продавца. Хемингуэя действительно не было.

Озадаченный и раздосадованный, я рассказал о своих изысканиях Мэри Хемингуэй. Она шутя ответила, что уважает свободу, даже свободу быть глупыми, а всерьез — «большинство американцев недостаточно образованно, чтобы читать хорошие книги».

— Раскрыть книгу для них все равно что раскопать могилу, —

вспомнила мисс Мэри чьи-то слова. Она уверена, что в половине здешних домов вообще не найдешь ни одной книги...

Кетчум живет курортом, а не памятью, не кладбищем. Жалуются на дожди — курортный бизнес не ладится.

Ловят форель. Охотятся. Пьют пиво в бараку где завсегдатаи окликают друг друга: Хай, Джон! Хай, Мэри! Машины у тротуаров ставят наискосок, как деды ставили лошадей. Мокнувший под дождем дорожный щит манит на юг, в игорный клуб «Гарольд» в невадском городе Рено, суля «больше смеху, чем где-либо».

К вечеру Главная улица вымирает. Лишь на бензоколонке «Коноко» Лорита Мэддикс угрюмо ждет рейсовый автобус, запаздывающий из Твинс-фоллс. Да хлопают двери баров и вместе с бешеными звуками джаза вырываются на улицу нетвердо стоящие на ногах парни, — словно герои хемингуэевских рассказов.

Днем изредка шуршат машины по щебенке дороги, полукругом разрезавшей кладбище, и на минуту-две останавливаются у большой серой плиты. Люди дорожат временем и удобствами, вот и дорога на кетчумском кладбище, хотя обойдешь его за пять минут.

Жизнь идет своим чередом. И все-таки невообразимо. Жить по соседству с Хемингуэем, видеть его, стоять близко к трагедии — и не погрузиться в его книги, остаться так равнодушно далеко. А вечера здесь долги. Читать, наверно, все умеют...

1965 г.

ХРОМОСОМЫ БЬЮТА

Миля вверх, миля вниз —

и все на уровне.

(Девиз города Бьют, штат Монтана)

Мистер Том Уайгл из компании «Анаконда», увидев нас в то прекрасное утро, насторожился, и тень досады пробежала по его челу: не хватало еще этих «красных»! Но мистер Уайгл — public relations man, а сие означает, что ладить с публикой и прессой, какого бы цвета она ни была, —его прямое занятие. Через минуту

на лице его же играла знаменитая flash smile, — знаете, такая профессиональная улыбка типа фотовспышки, которая всегда наготове в служебное время — с девяти до пяти.

Так вот, мы вместе спустились со знаменитого шестого этажа, где находится контора «Анаконды», и на машине мистера Уайгла заныряли вниз и вверх по знаменитому Бьютскому холму — колыбели «Анаконды». На срезанной верхушке холма были копры шахт, шахтные дворы, железнодорожные пути, пыльные дороги. На склонах лежал город Бьют, но шахты хозяйничали и там, врывались в город, мелькали за поворотами его крутых улиц.

Коронным номером в бьютском концерте «Анаконды» звучит теперь «Беркли пит» — гигантский карьер, крутым амфитеатром обрывающийся в недра. По его неровным ярусам крохотными пчелками ползут многотонные грузовики. Пчелки несут не мед, а медь. Жужжание их доносится из-за ограды. «Беркли пит» держат за решеткой: так дерзко развернул человек землю. С чем бы сравнить этот котлован? Діне пришел на память Гранд-каньон йеллоустоунского национального парка. Из немыслимой глубины под нашими ногами вздымались скалы, на все цвета радуги. А на самом дне изумрудом и разводьями отшлифованного малахита билась крохотная речка Йеллоустоун.

Котловану «Беркли пит» пока далеко до Гранд-каньона. Ну что ж, человек позднее начал. Но, как горная река, он велик своим упорством. Миля вверх, миля вниз — так говорят в Бьюте о запасах медной руды на холме. Геологи утверждают, что в земле ее больше, чем выбрано, хотя и выбрано — ой как немало! На милю вниз уже ушла одна бьютская шахта. «Беркли пит» тянется за ней. Словом, мистер Уайгл, рекламный человек «Анаконды», мог быть доволен: он вырвал у «красных» возгласы восторга.

Но сейчас, сидя за письменным столом, я думаю не столько о человеческом упорстве, сколько о его природе, о назначении. И странное дело, «Беркли пит», величественный в своей неотесанной, рабочей красоте, заслонен 12-летним мальчишкой Бобби Чейсом.

Тогда Бобби Ченс стоял у деревянного навеса, с которого обозревают котлован. На маленьком столике, покрытом клеенкой, лежали кусочки бьютских минералов. В ящике у столика тоже были образцы руды, приклеенные к крашеным аккуратным квадратикам картона, на которых сверху было оттиснуто: «Богатейший холм на земле. Бьют. Монтана». Бобби торговал этим товаром.

— Знакомься, Бобби, — сказал Уайгл не без игривости. — Двое

коммунистов, газетчики из России.

Бобби метнул на нас взгляд из-под своей финской фуражки, такой же взгляд, как Уайгл при первом знакомстве на шестом этаже «Анаконды». Но, как и Уайгл, он быстро оправился: надо было делать дело. И затараторил с придыханиями, мальчишечьим голосом, облизывая губы и трогая руками камешки на столе.

— Все эти минералы с Бьютского холма... Бьютский холм... самый богатый на земле... За 82 года, с 1880 по 1961-й включительно... здесь было добыто меди... 15 миллиардов 459 миллионов... 962 тысячи 615 фунтов... Цинка...

— Постой, Бобби, — сказал я.

Хотелось поговорить с пацаном. Но не тут-то было. Бобби работал, как автомат, как механическая игрушка, которую не остановишь, пока не кончится завод.

— Цинка 4 миллиарда 584 миллиона... 104 тысячи 699 фунтов... марганца 3 миллиарда 667 миллионов 17...

Когда завод иссяк, я купил за полтора доллара картон с приклеенными образцами. Я смекнул, что вместе с картоном можно купить и право на разговор с Бобби. Он отвечал нехотя, привычными словами на надоевшие вопросы, руки приклеивали камешки к новому куску картона, а глаза его искали новых покупателей. Когда подъезжали машины и люди шли взглянуть на котлован, Бобби, обрывая себя и нас на полуслове, начинал выкрикивать свою короткую, начиненную цифрами сагу о Бьютском холме.

На нас он уже сделал бизнес — теперь важны были другие.

У этого 12-летнего мальчишки психология дельца, сведенная к желанию использовать другого для своей выгоды, была как на ладони, выпирала в первородной сути, еще не замаскированная хитрыми виньетками возраста и опыта. И тут же круглое детское лицо, мороженое на палочке, и он стыдился этого мороженого, пряча его за спину. И тут же в хмурых глазенках неприязнь к ироническим взглядам взрослых. Он был занят не шуточным, а серьезным делом, занят убежденно. Наша ирония и снисходительность оскорбляли его. В Бьютс он был избалован восхищением.

Итак, перед нами стоял маленький, но вполне сложившийся делец, упорству которого позавидует и речка Йеллоустоун. Семья у Бобби Чейса не бедствует, отец работает на шахте, мать — клерком в банке. С трех лет он, как все бьютские мальчишки, собирал камешки на холме. С девяти начал торговать ими. Камешки уже не только находит, но и выменивает, среди мальцов у него свои поставщики. Украшение Боббиного лотка — слиток почти чистой меди в 4 фунта весом — был

куплен за 5 долларов. Теперь Бобби продает его за 25. Сам заказал в типографии кусочки картона.

Бобби — человек известный. Мальчишки, торгующие камешками у шахты «Келли», отчаянно ему завидуют. Да, Бобби Чейс, прищелкивают они языками, ведь прошлым летом он заработал 2300 долларов. Не верите?..

Том Уайгл, видимо, давно понял, что ему самому звезд с американского неба не хватать. О Бобби он говорит с взрослым уважением: этот, пожалуй, схватит.

Когда «шестой этаж» хотел прогнать малолетних торговцев с площадки перед «Беркли пит», Бобби один сумел доказать, что он не помешает, а поможет — даст свой колорит.

А родители Бобби? Они потрясены упорством отпрыска. Отец запретил ему выстаивать у котлована, больше четырнадцати часов. Но Бобби торчит здесь по шестнадцать часов, весь долгий летний день, все летние каникулы.

К сожалению, это не мелкая философия у глубокого котлована. Мне хочется всерьез подчеркнуть: Бобби Чейс — это целое явление. Это тип, открывающий Америку нагляднее, чем многие отвлеченные рассуждения. Есть умилительная полуправда: ах, бедняжка, он мечтает стать горным инженером в стране, где, увы, так много платных колледжей, и вынужден копить деньги на образование. Но он перерос эту полуправду за время трехлетнего стояния у «Беркли пит». Есть жесткая правда: от одного поколения к другому Бобби Чейс передает хромосомы и гены американского капитализма.

На что заведен бьютский мальчишка? А судя по фанатичности, с которой он свел свою жизнь к торговле, заведен он надолго, если не навсегда. Повернем историю другим концом, отойдем от семени и приглядимся к бьютскому дереву — к дереву «Анаконды».

«Миля вверх, миля вниз — и все на уровне». В этом залихватском афоризме потайная усмешка, ибо исторический разрез Бьютского холма — разрез американского капитализма. Стоял Бьютский холм сто лет назад на юго- западе несуществовавшего еще тогда штата Монтана, стоял нетронутым, как стоят и сейчас его окрестные собраты. Катилась на запад лихая орда золотоискателей и набежала на крупницы желтого металла в узких ущельях Дублин и Миссула. Золотая лихорадка недолго трепала здешние места; подобрав крупницы, орда рванулась дальше. Потом нашли обнажения серебра, и снова на Бьютском холме был короткий пьяный азарт и игра фортуны. Эпоха пенкоснимательства оборвалась круто, как и возникла. Паутина принялась за бревенчатые

избы, брошенные искателями и кабатчиками. Невада-сити (в нескольких десятках миль от Бьюта), где в те годы тоже был лагерь золотодобытчиков, теперь лишь утеха туристов, так называемый город-призрак. В старой лавке, ставшей музеем, кинешь десять центов в щелку автомата, и голос из прошлого расскажет тебе, где, когда и кого убивали и как на смену самосуду пришло правосудие.

Но Бьютский холм, лишь слегка оцарапанный любителями благородного металла, ждал своего долгого медного века. Настоящая история Бьюта началась в 70-х годах прошлого столетия, когда приступили к добыче меди. Это кровавая история, хотя в стране, не только продолжающей, но и освятившей ее, корысть и насилие прикрыты романтикой и яркостью характеров. Кости «медных баронов» хрустели в объятиях двух «медных королей» — Маркуса Дейли и Вильяма Кларка, но и двое не могли поделить «богатейший холм на земле». Кларк долларами избрал себя в сенат США, Дейли при помощи долларов настиг его и в столице, вышвырнул из-под купола Капитолия и в конце концов с Бьютского холма.

Шахтерам, нахлынувшем со всех концов страны и мира, доставались тяжелый труд, увечья, силикоз, демагогия хозяев, замешанная на крепком жаргоне романтика вонючих баров «Кладбище» и «Выгребная яма», и проститутки в кварталах красных фонарей. Вот прелестный штришок из нравов того времени. Серебряные доллары проститутки прятали в чулки. К концу их смены чулки, бывало, рвались, и серебро, заработанное на меди, звонко скакало по брусчатке.

Под этот звон Маркус Дейли и основал в 1879 году меднорудную компанию со змеиным названием. «Анаконда» хозяйничала не только в Бьюте. Она десятилетиями владела штатом Монтана — с его выборными губернаторами, законодателями, судьями, с газетами и адвокатами. Она глушила голоса протеста и душила конкурентов, которые пытались сманить ее горняков. Она обескровила штат и экономически, и в смысле людских ресурсов: четвертая по площади Монтана стоит на 41-м месте по населению среди штатов США (около 700 тысяч человек).

Потом «Анаконда» выползла из монтанских гор в пятнадцать других штатов, где у нее есть шахты, заводы, фабрики, и на международную арену, обвинив своими кольцами Чили, Мексику, Канаду. Заговорили уже о меднорудной империи. Удобнее было обозревать ее с небоскрегов Уолл-стрита, куда и переместилась главная штаб-квартира компании. В Бьюте остались ее «западные операции». Потом...

Но вернемся в сегодняшний день и в город, который даже в названиях своих улиц увековечил геологический срез холма: Медная,

Гранитная, Кварцевая, Платиновая, Серебряная, Золотая... Бары поскучили, проститутки повывелись, азартные игры запрещены.

По вечерам Бьют пуст, тих, темен.

Горняки покупают дома в рассрочку и после работы сидят перед семейными телевизорами, где, как убежден президент местного профсоюза Реджинальд Дэвис, им «промывают мозги» программами, оплаченными Национальной ассоциацией промышленников.

Мэр города Томас Пауэрс дипломатничает с заезжими журналистами, уверяя, что «Анаконда» стала покладистой. Его дипломатия, однако, не отрывается от бьютской меднорудной земли.

— Не скажу, что «Анаконда» была за меня во время выборов, — говорил нам мэр в своем чистом сумеречном кабинете, — но она не была и против. Если бы ее люди были против, они, конечно, подыскали бы другого. Они очень могущественны...

В помещении профсоюза горняков висит над сценой выцветший портрет активиста, зверски убитого агентами компании еще до первой мировой войны. Это напоминание и предупреждение. У лидеров профсоюза настроение, как у солдат на фронте. Они смущены затишьем, гадают, какие подвохи готовит противник.

На видном месте в городе стоит памятник Маркусу Дейли — победителю Кларка и прочих, прародителю корпорации-змеи. Он бронзово незыблем и бессмертен.

Да, он бессмертен, если служит героем и примером для Бобби Чейсов.

Но не будем оскорблять Бьют, отождествляя его с «Анакондой».

Есть города, к которым трудно быть равнодушным. Бьют в их числе, со своими хулителями и приверженцами.

Джон Гантер, американец, объездивший весь свет, в книге «Внутри США» поставил свою галочку против Бьюта жестко и раздраженно: «Самый грубый, непристойный город в Америке, за возможным исключением Амарилла, штат Техас... По ночам кладбище здесь залито электрическим светом. При дневном свете Бьют — одно из самых безобразных мест, которое мне довелось увидеть».

Г-н Нельсон редактирует бьютскую газету «Монтана стандарт». Он говорил нам, что Джон Гантер и носа не высунул из отеля «Финлен», а все грязные сведения о Бьюте подобрал в баре «Ружейная комната». Нельсона в самое сердце уязвила расправа с Бьютом.

А Билл Бурке сотворил умильный миф в стихах: ангелы на небесах

рисовали шедевр для салуна «Земля», беря краски с щедрой палитры летней радуги, и бог, полюбив их шедевр, нарек его Бьютом. У Билла Бурке наивное воображение. Он был шахтером, внуком шахтера, сыном шахтера и отцом шахтеров. На старости лет взялся за перо, а для него это непривычно тяжелое орудие труда. Не ищите изящного слога в его «Ритмах шахт». Но сколько несентиментального тепла, сколько неуклюжей гордости за грубоватых верных земляков, которые спускаются каждое утро под землю на Бьютском холме, а выйдя из «дыры», хлопнут по стаканчику «Шон О'Феррел» в знакомом баре, присоединив и второй — «на одном крыле птица не летит»; раз в год, 13 июня, собираются на шахтерский парад, страдают и радуются и, вырастив пополнение для шахт, уходят наконец в землю — под кресты на равнине, — потомки ирландцев и финнов, немцев и сербов, итальянцев, греков, шотландцев, норвежцев, шведов...

По национальной пестроте Бьют — Нью-Йорк в миниатюре, даже со своим «Китай-городом».

— Русский? — спросил меня старик в лифте отеля «Финлен». — Откуда?

— Из-под Горького.

— Это не в Киеве ли?

Его предки из Киева, а он уже успел забыть — город это или страна.

Отцы вышли из разных стран, а дети стали патриотами Бьюта. Американцы — народ мобильный, легки на подъем. А в Бьюте кого ни спросишь — родился и вырос на холме. Их держит здесь любовь к большому небу Монтаны, к просторам этой «божьей страны». Уехавшие часто возвращаются. Но «Анаконда» вносит коррективы и в эту любовь. Густав Хастведт, шахтер с 25-летним стажем, рассказывал нам, что шахтерские сыновья покидают Бьют — нет работы.

Кто же прав — Джон Гантер или Билл Бурке? Что же такое Бьют — самый непристойный город или божий шедевр? Каждый прав и неправ по-своему, и холодный сноб-всезнайка, и непомерно пылкий старый горняк.

Лидеры профсоюза говорят, что отношения горняков с «Анакондой» двояки. «Анаконда» жалит, и пребольно. Но она дает работу. Горняки вынуждены и воевать, и сосуществовать с «Анакондой». У профсоюза, одного из самых старых и боевых в США, славные традиции и немалые заслуги. Он не раз добивался увеличения зарплаты, улучшения условий труда. Но если взять всю затяжную войну, всю историческую кривую Бьюта, то победителем выходит компания.

Из-за механизации добыча руды растет, а число горняков сокращается. В 1915 году в городе жило около 100 тысяч человек,

сейчас — около 45 тысяч. Шахтеров было 15 тысяч, теперь 2,3 тысячи. В 1959—1960 годах

«Анаконда», ловко сманеврировав, вынудила профсоюз на изнурительную шестимесячную забастовку, чтобы избавиться от излишков меди и провести массовый локаут. Число горняков сократилось с 5,6 тысячи до 1,4 тысячи. Экономический кризис охватил город, торговцы бежали, потому что с безденежных бастующих шахтеров взять нечего, строительство было резко свернуто. 8 тысяч человек покинули Бьют.

Конечно, районная трагедия философски видится издалека, но у нее были свои жертвы, которые падали и уже не поднимались.

Сейчас период неуверенного бума. «Анаконда» расширяет бьютские операции, в городе открываются новые банки, оживилось дорожное строительство. Лидеры профсоюза гадают: что это означает? По их предположению, компания боится национализации в Чили и заранее готовит запасные позиции в Бьюте.

Ах, Чили, Чили, далекая страна! Бьютские горняки думают о ней чаще, чем о землях, откуда пришли их отцы. Что там в Чили? Они слепы и изолированы, лишены всяких контактов с чилийскими горняками. Оправдывая жесткую политику в Бьюте, «Анаконда» внушает им, что теряет здесь деньги, что делает их лишь в Чили, где труд намного дешевле. Бьютские горняки не верят в такую благотворительность.

— Там они, конечно, утверждают обратное, — говорит Джон Глейс, секретарь профсоюза. — Мы уверены, что всюду «Анаконда» лишь берет, а не дает.

Миля вверх, миля вниз — и все на уровне.

Том Уайгл, человек «Анаконды», был на уровне своих задач, когда повез нас в «Колумбии гарденс». Кто сказал, что ничего не дает компания? Вот она подарила горожанам и их детям целый парк. Неплохо, не правда ли? Но, по мнению лидеров профсоюза, это жалкие откупные, всего лишь капля из миллиардов долларов, которые «Анаконда» добыла на холме.

Джимми Шей, бессменный мэр шахтерской окраины Уокервилль, взялся показать нам другие подарки медных королей: странные, пустые улицы почти в самом центре Бьюта, брошенные здания с разбитыми пыльными стеклами, жилые дома в трещинах, провалившиеся тротуары. словно следы землетрясения. Это «Анаконда» десятилетиями вела подземную войну против горожан, подкапываясь проходками шахт под улицы. Дома рушились и давали трещины,

тротуары ходили ходуном, когда динамитом рвали руду вблизи от поверхности. Горняки с шахты «Эмма», добывая хлеб насущный в «дыре», не знали, что, может быть, роют под собственное жилье. А поди добейся правды, если у компании услужливые адвокаты и геологи и весь штат Монтана в кармане.

Джимми Шей показывал нам улицы, а говорил о людях. Он ненавидит «Анаконду» как бесчеловечное чудовище, Джимми Шей — истинный друг народа.

— Привет, Джимми! Как дела, Джимми? — только и слышишь, шагая с ним по бьютским улицам.

— Хэлло, Джимми! — как сверстнику, кричат мальчишки Уокервилля этому человеку с седыми висками.

Его знают все. Еще бы! Джимми сражался с «Анакондой» и заставил ее отступить.

Миля вверх, миля вниз, Джимми — действительно на уровне.

Это почти эпопея, но Джимми называет ее войной — излюбленное в Бьюте слово. В 1958 году «Анаконда» начала разрабатывать котлован «Эллис пит» — буквально под окнами жителей Уокервилля, в семи метрах от его окраинных домов. Медь снова пожирала людей. Бульдозеры смели шоссе, порвали трубы водо- и газоснабжения. Расчет был таков: сделать жизнь невыносимой, создать угрозу обвала домов и всучить жителям грошовую компенсацию, когда цены на дома и земельные участки покатятся вниз.

Но сын шахтера, страховой агент Джимми Шей, принял вызов от имени 1400 жителей Уокервилля. Он арестовал бульдозеристов и подал на компанию в суд. «Анаконда» лишилась дара речи от такой дерзости, а потом местная газета, служанка компании, начала травлю мэра Уокервилля и его избирателей. Их гнусно обвиняли в том, что они-де хотят сократить занятость в городе. По ночам Джимми срывали с постели телефонные звонки. В звонках были угрозы и непристойности. На его жену науськивали шахтерских жен: твой муж хочет лишить работы наших мужей. Джимми уговаривал их: будьте людьми, поставьте себя на место тех, у чьих домов роют котлован.

Джимми Шей сделал ставку на солидарность и не сдался. Ему заткнули рот в Бьюте, он пробился в газету другого монтанского города — Грейт-Фоллс, на телевидение. Смело ввязался в двухлетнюю судебную тяжбу. Дело кончилось почетным компромиссом: дома выкупили за приличную компенсацию, котлован для безопасности обнесли загородкой.

Джимми возил нас в свой бедный Уокервилль. Котлован теперь

заброшен, от Виллис-стрит остались лишь обвалившиеся фундаменты домов. Мы поднялись на отвал. Внизу, почти под насыпью, стояло коричневое здание школы. Камни низвергались чуть ли не на головы детей. Давнее дело, но мэр Уокервилля как будто и сейчас видел самосвалы, идущие по этим покинутым колеям.

— Жизнь детей была в опасности!

Ты хороший человек, Джимми Шей, и прости меня, пожалуйста, за этот прямой комплимент. Кем мы были для тебя? Всего лишь двумя незнакомыми журналистами из далекой страны, которой к тому же пугают твоих соотечественников. Но ты полон человеческой солидарности. У тебя были дела в твоём страховом агентстве. Ты волновался, потому что в тот день твоя дочь должна была прилететь из Парижа, из первой своей заграничной поездки. Но ты бросил свое дело и не поехал встречать дочь. Двум русским ты хотел дать ту информацию о Бьюте, которую утаивают люди «Анаконды» с их flash smiles.

Вот дитя Бьюта, выросшее под боком у «Анаконды», но сохранившее простодушную святую веру в справедливость. В 1960 году, когда компания измором брала бастовавших горняков, Джимми Шей слал телеграммы в Вашингтон: дети голодают!

Дети голодают? Этой фразой не очень растрогаешь чиновников, которые знают, что тысячи детей голодают и в шахтерских поселках Аппалачей и в негритянских гетто по всей стране. Но Джимми Шей не знает ничего сильнее этой фразы.

И тогда же министру информации Чили полетело телеграфное предупреждение от безвестного мэра Уокервилля: будьте бдительны, не верьте «Анаконде»! Наивно? Может быть, наивно, но он не мог иначе.

Жители Уокервилля, видимо, понимают что такие чудачки украшают мир, и крепко держатся за своего эра, с 1941 года неизменно выбирают его. Джимми дважды пробовал отказаться: в конце концов, надо кормить семью, а мэру крошечного Уокервилля жалованья не положено. Но оба раза его вписывали в бюллетени и избирали.

— Это все еще Америка! — повторяет Джимми, ведя местные войны за справедливость. Он имеет в виду демократические традиции своего народа, умение американских рабочих постоять за свои права. Но когда друзья предлагают Джимми баллотироваться куда-нибудь повыше, например в губернаторы Монтаны, он опускает руки.

— На это нужно слишком много денег, — говорит он, — а у меня их нет.

Он весь состоит из простых истин, и это, увы, одна из них...

И вот, когда я вспоминаю Бьют, я думаю об упорном мэре Уокервилля и упорном 12-летнем мальчишке, который в летних сумерках под большим небом Монтаны — «божьей страны» возвращается домой, шевеля долларами в мозгу и карманах. Да, это все еще Америка, где духовные наследники Маркуса Дейли сильнее шахтерского сына Джимми Шея.

1965 г.

ПРОЦЕСС О ПОЛУТОРА МИЛЛИОНАХ

Князь Феликс Юсупов, убивший в ночь с 17 на 18 декабря 1916 года «друга» российского трона Григория Распутина, внезапно вынырнул из глубин истории 14 октября 1965 года в комнате 355 Верховного суда штата Нью-Йорк. Оказывается, Юсупов жив, и жив достаточно, чтобы совершить путешествие из Парижа в Нью-Йорк и возбудить иск против радиотелевизионной компании.

Си-Би-Эс, показавшей 5 июня 1963 года фильм об убийстве Распутина. Здесь ради полутора миллионов долларов, которые он надеется получить по иску, перед судьей, сидящим под американским флагом, князь Юсупов открывает руками участника и очевидца одну из последних страшных страниц истории царской России.

Это старческие, немощные руки. 78-летний князь дряхл, глух, поражен глубоким склерозом. От него одна оболочка — негнувшийся стройный стан, изящно очерченный голый череп, к скамье свидетеля его подводят под руки. Адвокат князя Герберт Зеленко напрягает голос и становится мимом, чтобы донести до слабого слуха и сознания очередной из десятков своих вопросов. Юсупов плохо знает английский язык, но судья Уолтмэйд безжалостен и лишь в редких случаях разрешает услуги французского переводчика.

На передней скамейке сидит с палочкой в руках хромая старушка с живым умным лицом под мохнатыми бровями. По бокам какие-то приживалки, очень деятельные. Она — княгиня Ирина, жена Юсупова,

а приживалки появились, видимо, не раньше, чем вчера, и рассчитывают на вознаграждение завтра.

Княгиня — активное лицо в деле. По совету адвокатов Феликс Юсупов обвиняет создателей фильма и компанию Си-Би-Эс, во-первых, «во вторжении в личную жизнь», во-вторых, в клеветническом намеке на то, что, заманивая Распутина в свой петроградский дворец на Мойке, он использовал красавицу жену как «сексуальную приманку».

В комнате суда воздух пропитан сенсацией и ностальгией по давним, почти неправдоподобным временам. Княгиня вспоминает, что от Санкт-Петербурга до Крыма было двое с половиной суток пути, князь — о дворцах «по всей России». Среди полусотни зрителей странные персонажи. Мужчина с гривой волос и окладистой седой бородой похож на лубочного купца, но отшатнулся от меня: нет, не русский! Два фоторепортера уговаривали его сфотографироваться, найдя, что он вылитый Распутин. Мужчина колебался: обидеться или согласиться? Но какой прок от обиды? Согласился. Некто в черном пальто с глазами наркомана или кого-то еще почище церемонно отвешивает поклоны Юсуповым, когда они прогуливаются в коридоре между заседаниями. Пышногрудая шизофреничка от тирольской шляпы до живота увешана дюжинами значков. Значки агитируют за Бима, кандидата демократов в мэры Нью-Йорка, а один, громадный, категорически зовет: «Стоп!» Кому стоп? Зачем? Подскочив к оторопевшему князю, дама жмет ему руку, а княгине жалуется пару своих значков.

Я имел неосторожность подойти к этой даме. Жуя резинку, колыхаясь от волнения, она вылила ушат мнений и сведений: князь — великий человек; как солдат, он защищал свою страну и трон; дело получило такое паблисити, что, конечно, он выиграет.

— Вы знаете, я люблю историю. Я из Кентукки. Я первая женщина, баллотировавшаяся в вице-президенты США. У меня сорок вторая часть индейской крови. Вы знаете, что индейцы пришли сюда из России, точнее, из Монголии, но через Россию. Когда Черчилль умер, я обзванивала всех в Цинциннати, приглашая на похороны. В 1946 году я пригласила на конские скачки в Кентукки королеву английскую. Князь такой благородный, он похож на моего отца....

На четвертом заседании князь Юсупов, буквально вставленный судебным распорядителем за пюпитр свидетеля, рассказывал об убийстве Распутина, неграмотного, развратного, вечно пьяного монаха, провозглашенного исцелителем царского наследника и империи, над которой уже навис кулак революции. Участники убийства — князь

Юсупов, великий князь Дмитрий Павлович, член Государственной думы Владимир Пуришкевич и доктор Лазоверт — хотели спасти трон, убрав «старца».

Адвокат Герберт Зеленко пытается вопросами последнего живого заговорщика. Пытает не потому, что Юсупов не хочет помочь своему защитнику, а потому, что глубокому^ старику невозможно далек, почти уже не помнится 29-летний блестящий дворянин и та глухая декабрьская ночь, о которой написаны десятки книг в разных странах.

Чуть ли не после каждого вопроса Зеленко встает с очередным протестом защитник Си-Би-Эс Карлтон Элдридж, и судья решает их споры.

Зеленко: Можете ли вы рассказать о плане убийства?

Юсупов молчит. Зеленко повторяет вопрос.

Юсупов по-французски: Я не понимаю слова «план».

С разрешения судьи переводчик объясняет вопрос.

Юсупов: Заманить Распутина ко мне домой.

Зеленко: Князь, какие еще детали вы можете сообщить?

Юсупов: Мы хотели его убить.

Зеленко: Как?

Юсупов: Отравить.

Зеленко: Отравить каким методом?

Юсупов не понимает.

Зеленко разъясняет: Каким ядом?

Юсупов долго думает: Не помню названия яда.- Зеленко: Где вы собирались его отравить?

Юсупов: В моем доме.

Зеленко: В каком из ваших домов?

Юсупов: В Санкт-Петербурге.

Зеленко: Кто доставил его к вам в дом?

Юсупов: Я.

Зеленко: На автомобиле?

Юсупов: Да.

Зеленко: Кто был шофером?

Юсупов: Доктор Лазоверт.

Зеленко: Бывали ли вы до этого в доме Распутина?

Юсупов: Много раз.

Зеленко: Где была квартира Распутина?

В тишине слышится четкое, по-русски произнесенное, русское слово: Го-ро-хо-ва-я.

Из Юсупова мучительно вытягивают историю.

Дело было за полночь. Распутин, к которому Юсупов с Лазовертом

явился на машине, хотел ехать к цыганам. Юсупов уговорил его заглянуть в свой дворец на Мойке. Там прошли в столовую, не в обычную, а в специально оборудованную в погребе. Яд был наготове, и доктор Лазоверт подмешал его в вино, чай и пирожные. Великий князь Дмитрий Павлович и Пуришкевич были наверху. Оттуда доносилась граммофонная музыка.

— Что играли? — спрашивает Зеленко.

Юсупов улыбается: «Янки Дудль дэнди»...

В комнате суда оживление.

Что было дальше? Распутин попросил Юсупова спеть, и тот спел.

— Что было дальше? — не унимается адвокат.

— Мы говорили.

— О чем?

— Я убеждал его уехать из Санкт-Петербурга.

— Что было дальше?

Распутин пил отравленное вино и чай, ел отравленные пирожные.

Зеленко: Что с ним случилось после этого?

Юсупов: Он кашлял и просил меня еще спеть.

Зеленко: Что он делал дальше?

Юсупов: Он пошел в туалет.

Смертельный яд не действовал на Распутина, хотя он выглядел больным и пьяным. Наверху шумели, и Распутин спросил, откуда шум.

— Я сказал, что у жены гости. (На самом деле жены Юсупова в тот день не было в Петербурге.) Они опять пили вино. Потом Юсупов пошел наверх докладывать. Узнав, что яд не произвел ожидаемого эффекта, великий князь Дмитрий Павлович дал Юсупову свой револьвер. Когда Юсупов вернулся в погреб с револьвером, Распутин сидел в кресле. Подойдя к нему, Юсупов сказал: «Тебе следовало бы помолиться».

Выстрелил в упор.

Зеленко: Сколько выстрелов вы сделали?

Юсупов долго думает: Два...

Распутин упал.

— Он был еще жив, — сообщает судье Юсупов.

На бесстрастном лице старика изумление. Распутин был не просто жив. Он поднялся, бросился на Юсупова и хотел... Не найдя английского слова, старик, раскрыв ладонь, подносит ее к горлу. Жест протоколируется. Юсупов повалил Распутина и опять пошел наверх. Заговорщики спустились вчетвером. В погребе Распутин снова бросился на Юсупова. Упал. Потом выбежал на двор, Юсупов за ним, за Юсуповым — остальные.

Годы выжали соки из старика и из его истории. 78-летний Юсупов не помнит, что рассказал 40-летний Юсупов в книжке под названием «Распутин», вышедшей в Париже в 1927 году. Хотя его нью-йоркская версия в основном совпадает с парижской, в деталях, иногда существенных, они расходятся. Начать с того, что был пятый заговорщик - капитан Сухотин. Доставка Распутина на автомобиле во дворец на Мойке, погреб, спешно оборудованный под столовую, отравленные вино и пирожные остаются. Ядом был цианистым калий. В книге Юсупов пишет, что выстрелил в Распутина один раз. Сразу после выстрела спустившись вниз, остальные заговорщики решили, что пуля прошла через область сердца и что Распутин мертв. После этого, если следовать книге, Дмитрий Павлович, капитан Сухотин и доктор Лазоверт уехали. Один из них, надев шубу Распутина, маскировался под «старца». Таким путем хотели отвести подозрения полиции. Они должны были сжечь шубу, вернуться на другом автомобиле за трупом и сбросить его в Неву. Юсупов и Пуришкевич остались в библиотеке дворца.

Но вскоре Юсупов, мучимый предчувствиями, снова спустился в погреб. Пульс у Распутина не прощупывался, но вдруг затрепетало левое веко, открылись оба глаза и уставились на убийцу с такой дьявольской ненавистью, что загипнотизированный Юсупов не мог ни двинуться, ни крикнуть. Будто вернувшись с того света, Распутин встал и бросился на Юсупова, который уже вернул револьвер великому князю. Юсупову удалось убежать вверх, к вооруженному Пуришкевичу.

Они увидели, что Распутин поднялся по лестнице из погреба и выбежал во двор. Пуришкевич пустился вдогонку, сделав три или четыре выстрела. Через парадное Юсупов бросился к главным воротам, чтобы преградить Распутину дорогу на улицу. Но тот уже недвижно лежал в снегу. На выстрелы явился городской. Став так, чтобы городской не заметил трупа, Юсупов объяснил, что дурачились его пьяные гости.

Городовой ушел, и после потрясений страшной ночи супов в остервенении полосовал мертвое тело тростью, пока сам не упал в беспамятстве.

Потом вернулись трое и, забрав труп, выбросили его с моста в Неву. Так по книге.

... Когда Юсупова под руки выводили из комнаты суда, я

подошел к нему. Он обрадовался русской речи:

— А что вы скажете?

— Сказать, однако, я ничего не успел.

— No talking! Никаких разговоров! — оборвала меня суровая дама, конвоировавшая Юсуповых, и быстро скрыла старика в служебном коридоре.

— No talking! — снова предостерегла дама на улице, где Юсуповы позировали перед полдюжиной фоторепортеров и кинооператоров. Княгиня опиралась на тросточку, негнувшийся князь щерился в улыбке. Подкатил арендованный черный «кадиллак», и негр-шофер в форменной фуражке вставил князя в машину.

Вечером я позвонил в отель «Шератон Ист», назвав телефонной операторше фамилию, но не сказав, кто я и откуда. Русская фамилия помогла. В трубке послышался трескучий голос Юсупова. Я сказал старику, откуда я, и попросил о свидании. Он не возражал, но у него сидел адвокат, и вообще ему запрещают с кем бы то ни было встречаться, пока идет суд.

— Нас так берегут... Они прямо как церберы... Вы знаете, ни я, ни жена сейчас не принадлежим себе, — услышал я в трубке.

Кто это «они»? Видимо, и адвокат Герберт Зеленко, и его помощница Фанни Хольцман, специализирующаяся по делам о «вторжении в личную жизнь» знаменитостей, и решительная дама «Никаких разговоров!», и деятельные приживалки на час. Им-то принадлежат сейчас Юсуповы.

В комнате 355 на Фоли-сквер пахнет сенсацией и ностальгией. А сильнее всего — полутора миллионами долларов. Кто и зачем надоумил Юсуповых в глубокой старости отправиться за океан, высиживать долгие часы судебных заседаний? Ведь еще месяц назад они слыхом не слыхали о телевизионном фильме, против которого теперь возбудили иск.

Телекомпания Си-Би-Эс, как и положено, замешала на сексе свой рассказ об убийстве Распутина, подставив тем самым бока «защитникам знаменитостей». Те привычно свели дело к долларам. Сколько уже лет Юсуповы живут на убийстве Распутина? В марте 1934 года лондонский суд в аналогичном процессе против кинокомпании «Метро-Голдуини» присудил Ирине Юсуповой 125 тысяч долларов.

Князь счел, что теперь наступила его очередь. Он оказался не так удачлив, как его жена, и проиграл процесс.

ОГОНЬ ПРОТЕСТА

Во вторник 2 ноября в шестом часу вечера 31-летний квакер Норман Моррисон облил себя керосином и, чиркнув спичкой, вспыхнул факелом у Пентагона. В субботу 6 ноября во втором часу дня пять молодых пацифистов сожгли свои военные билеты на Юнион-сквер в Нью-Йорке. Это тот же огонь протеста против варварской войны во Вьетнаме.

Неделя драматически показала, как жжет этот огонь сердца американцев, которым стыдно за свою страну. Самосожженец Моррисон уснул вечным сном у стен Пентагона, чтобы разбудить совесть соотечественников. Вчерашние пятеро идут на угрозу ареста, суда, тюрьмы и разлуки с близкими. По закону, который принял конгресс в конце августа, уничтожение военного билета карается тюремным заключением до пяти лет и штрафом до десяти тысяч долларов. Уже ждет суда Дэвид Миллер, сотрудник журнала «Католический рабочий», порвавший свой билет месяц назад.

...Площадь Юнион-сквер. Скупое ноябрьское солнце отбрасывает тени от колоннады парка. Черные формы и щеголеватые фуражки полицейских. Привычная суeta репортеров телевидения и газет. Стук молотков — сколачивают помост. На помосте пятеро будут сжигать белые бумажки военных билетов. Сжигать публично. На этот раз они все сделали для максимальной гласности: от городского департамента парков получено разрешение использовать Юнион-сквер. Департамент полиции прислал пеших и конных «фараонов». Агенты ФБР в штатском, с опознавательными треугольниками на лацканах пиджаков и пальто — разгуливают в толпе, тренируя зрительную память. У них немало хлопот: три недели назад министерство юстиции предупредило, что будет широко расследовать — и преследовать — движение протеста.

На маленьком столике у помоста лежат скрепленные листочки бумаги. «Программа церемонии сжигания военных билетов». Биографии пятерых. Их письменные заявления. Это для журналистов.

Пятеро тут же, в густеющей толпе. С пристрастием пытаются их перед оком телекамер: как смеют они идти на нарушение закона?

В толпе воронки спорщиков.

— Закон? — насккивает молодой человек на своего оппонента. — Помните, когда-то федеральный закон обязывал выдавать бежавших рабов. Кто же был прав — те, кто выдавал рабов, или те, кто восставал против этого закона?

Подхожу к Марку Эдельману, девятнадцатилетнему краснодеревщику. У него красивое лицо с усталыми от бессонницы глазами. Через полчаса Марк сожжет свой военный билет. Сегодняшнее — его идея. Он рискует больше других, потому что, единственный из пятерых, подлежит призыву. Остальные четверо — тоже военнообязанные, но пока освобождены от призыва. Они жгут свои билеты в знак солидарности с Эдельманом.

Спрашиваю Марка: «Чего вы хотите добиться своим актом?»

Он отвечает четко: «Я хочу отмежеваться от всякого военного насилия, особенно от военного насилия, творимого администрацией Джонсона во Вьетнаме. Надеюсь, что мой протест будет одной из искр, а вместе они в конечном счете приведут к изменению всей внешней политики США».

...Когда на помост взошел председатель митинга доктор Гордон Христиансен, с края площади раздались выкрики. Там в пикетах два десятка «патриотов». Тупые физиономии — действительно тупые физиономии не-привыкших думать людей. Среди пятерых — ни одного коммуниста, трое католиков. Но у пикетчиков старая песня на плакатах: «Бейте красных во Вьетнаме и Нью-Йорке!», «Самый хороший красный — это мертвый красный!»

Из глоток знакомое: «Предатели! Труссы!»

А четверо «труссы» вообще могли бы отсиживаться по домам, ведь их не призывают в армию. «Труссы» идут на риск тюрьмы, избрав беспокойную жизнь и спокойную совесть.

На помост, как на эшафот, — по деревянным крутым ступеням, один за другим. Но не их казнят, они творят гражданскую казнь над Вашингтоном. Уже тысячи людей на площади. Одни аплодируют, другие кричат «бууу»...

Томас Корнел...

Марк Эдельман...

Рой Ли и екер...

Джеймс Вильсон...

Дэвид Макрейнольдс...

Кратенькие заявления, и шаг в сторону от микрофона.

Последний, Дэвид Макрейнольдс, бросает в толпу горячие слова:

— Изменники не мы, изменники сидят в Вашингтоне. Они изменили американским традициям. Я говорю Джонсону: я голосовал за вас, и вы меня предали. Нынешнее правительство открыто нарушило Устав ООН как во Вьетнаме, так и в Доминиканской республике. Президент Джонсон уничтожил свои торжественные обязательства. В ответ я уничтожаю эту осязаемую связь с правительством — мой

военный билет. Таким образом я заявляю, что правительство в Вашингтоне, приказывающее сбрасывать напалм на южновьетнамские деревни, — мой враг, враг каждого американца...

В руке Эдельмана вспыхивает огонек зажигалки. Крохотный, но все видят его, потому что все на него смотрят. Площадь умолкает, и снова сталкиваются крики одобрения и возмущения. Торжественные и строгие, пятеро протягивают к огоньку белые полоски билетов. Язычки огня лижут бумагу.

Вдруг упругая струя воды летит в зажигалку, в билеты, в пятерых. Кто-то припрятал портативный баллон.

Пламя гаснет, вода бежит по лицам и одежде ребят. Площадь ахает. Возня у помоста. Полицейские уводят провокатора.

Накаленная эпизодом толпа, затаив дыхание, смотрит, как пятеро снова разжигают свой костер. Мокрые лица, спутанные волосы... Зажигалка... Спички... Не горят мокрые бумажки...

— Разорвите их!—это кто-то на площади не выдерживает напряжения.

Нет, не разорвать, а именно сжечь, как обещано, сжечь и развеять. И бумажки наконец горят, завиваются бахромой пепла, обжигают пальцы.

И в толпе заводят песню, прекрасную песню. Сотни голосов подхватывают ее. Оживают окаменевшие лица пятерых. Они включаются в песню, и, заглушая все, песня властвует над Юнион-сквер: «Мы преодолеем».

пятеро счастливы. Счастливы, что бы там ни было завтра.

«В глубине сердца я верю: мы преодолеем...»

Толпа расходится.

Уходят и агенты ФБР — люди с треугольниками на лацканах, молча стоявшие за помостом. Федеральное бюро расследования вершит аресты не на народе.

1966 г.

МИР ЗА СЕМЬ ЦЕНТОВ

Нью-Йорк. Девятый час вечера. Неумолчное шуршание шин.

Зеленые и красные глаза светофоров. Автофургон скрипнул тормозами на перекрестке Бродвея и 72-й улицы, где есть станция подземки и четыре газетных киоска. Шофер в фартуке перекидывает через борт кипы газет. На фартуке, на фургоне, на газетах слова — «Дейли ньюс».

Подземка втягивает и выталкивает тысячи людей. Машины замедляют бег у киосков. Семь центов, и рука, протянутая за газетой. Семь центов — газета... Семь центов — газета...

Это бульварная газета, но самая массовая, первая по тиражу в Америке: два с лишним миллиона в будни, три с лишним — в воскресенье. Ее читает больше американцев, чем любую другую газету. Как ни кощунственно это звучит, «Дейли ньюс» в известном смысле — народная газета, она подает духовную пищу к столу «среднего американца». И из тысячи семисот ежедневных американских газет большинство, с какими-то допусками плюс-минус, делается на уровне «Дейли ньюс». Можно сказать, что под разными именами эту газету читает большинство американцев. И, пожалуй, большинство из этого большинства не читает ничего другого.

Так что же за мир выпускают в сверкающем великолепнейшем небоскребе на 42-й улице, где свила себе гнездо эта очень американская газета?

Читатель, хотите совершить путешествие в мир «Дейли ньюс»? Одного дня, конечно, мало. Один день может оказаться случайным. Месяц нам не дадут — у нас не так много места, как у «Дейли ньюс». Берем семь дней, недельный цикл с понедельника по воскресенье. Берем неделю с 18 по 24 апреля, наугад, первую попавшуюся. Вот они передо мной — семь номеров, 672 страницы половинного формата.

Отбрасываем 433 страницы коммерческой рекламы, приносящей основную прибыль газете. Оды свиным котлетам по 79 центов. Дифирамбы уцененным дамским прическам по 1 доллару 95 центов, панегирики автомобильным шинам, гарантированным на 40 тысяч миль хода при любой скорости, погоде и манере езды.

Отбрасываем некрологи, сообщения о помолвках, свадьбах, кроссворды, комиксы, «блестящие изречения» детей (пять долларов награды за лучшие), «моменты конфуза» у взрослых (пять долларов приманки), ежедневные обзоры штатных сплетников, докладывающих, кто куда уезжает и приезжает, с кем встречался, завтракал, обедал, ужинал и — намеком — спал.

Жертвуем советами по игре в бридж, программами кино, телевидения и радио, театральными рецензиями и результатами забегов на ипподроме.

Сосредоточимся в нашем турне на духовных свиных котлетах —

текущих новостях и комментариях. Тут не обойдем ни одной мало-мальски заметной достопримечательности.

Итак, в дорогу! Впрочем, еще одно замечание. Кое-что может покоробить вас, читатель, но что поделаешь; смотреть так смотреть. Наше путешествие не блажь и не поиски сенсаций, хотя они, конечно, будут. У нас серьезная цель — поиски среднего американца. Ведь мир «Дейли ньюс» — это мир ее читателей. Разве не они покровительствуют «Дейли ньюс», сделав ее самой популярной газетой? Разве не для них старается «Дейли ньюс»? В конце концов, не очень отойдя от истины, можно перефразировать поговорку так: скажи мне, что ты читаешь, и я скажу — кто ты. Итак...

Понедельник. День первый. На первой полосе две главные темы—война и «сладкая жизнь». Сверху крупно, огромным шрифтом: «Американский налет—самый близкий к Ханою». Внизу, тоже крупно, — снимок. Сияющие улыбки двух холеных красавиц. Подпись: «Они правят в Испании». Не Франко и его министры. Именно две сияющие красавицы. Жаклин Кеннеди, вдова убитого президента, и княгиня Грейс, бывшая кинозвезда, дочь американского мыловаренного короля, а ныне жена князя Монако: «Они похитили внимание публики, посетив почетными гостями благотворительный бал для 61 международной дебютантки в Севилье, Испания».

Лейтмотив доллара на второй полосе. Мэр Джон Линдсей предупреждает нью-йоркцев: либо ему позволят повысить налоги на 520 миллионов долларов в год, либо он уволит 13 тысяч муниципальных служащих, которых не может больше содержать самый богатый город мира с хронически дефицитной городской казной.

Третья страница знакомит нас с доктором медицины Тимоти Лири. Доктор в наручниках. Рядом позирует седой дюжий агент ФБР. А вот доктор Лири без наручников, на фоне собственного особняка необаварского стиля на 60 комнат. Метаморфозы на фотоснимках и в жизни бывшего профессора Гарвардского университета объясняются его экспериментами с «психоделическими» лекарствами. Доктору Лири тесно, тошно и тяжело в этом мире. Будучи альтруистом, он намерен и других переселить в иной, просторный, лучший мир галлюцинаций и «научной религии» — посредством лекарств, меняющих сознание. В последнее время доктор увлекся препаратом ЛСД. Проглотите на кусочке сахара меньше миллиграмма ЛСД, и вам уже не тесно, не тошно, не тяжело. Лица и вещи пляшут буйными цветами и пятнами, вы вышиблены из узды сознания, захвачены галлюцинациями. Результаты? 16 сыщиков, нагрянув в особняк с ордерами на арест, задержали 30 последователей профессора в «разной степени раздетости», среди них

шесть детей в возрасте до 12 лет.

Переворачиваем страницу. Снова цветные пятна. Снова доктора. Но пятна организованы в фильм, а доктора без наручников. Большой заголовок: «Спальня, построенная для 694 человек, заснята на цветное кино». Некто Ричард Лайонс пишет: «Самое обширное за всю историю исследование полового акта опубликовано сегодня в набитой фактами книге «Половая реакция человека». Книга передает в деталях душевные и физические переживания 382 женщин и 312 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет. Они все участвовали в исследовании, предпринятом университетом Вашингтона в Сент-Луисе. Это самые разные люди — от университетских профессоров и супружеских пар до проституток. Некоторым платили, но большинство согласилось добровольно. Занимаясь половым актом в университетской лаборатории, объекты изучения были подключены к записывающим инструментам, одновременно аппараты цветного кино фиксировали их реакции». «Мы играли с динамитом», — признает глава проекта доктор Уильям Мастерс, предвосхищая возможную критику. «Дейли ньюс» тоже не прочь поиграть с таким динамитом — секс, да еще под научной приправой, хорошо идет.

Поспешим. Сколько еще впереди! Специальное сообщение из Филадельфии. Рональд Синглтон, «спокойный, интеллигентный» подросток 16 лет, убил клещами мать, сестру и бабушку. Он начал с матери — ведь это она помешала ему позвонить по телефону знакомой девушке. Затем одиннадцатилетнюю сестру и бабушку — чтобы не выдали. Потом, спрятав клещи и порезав ножом руку, вызвал полицию и изложил версию о незнакомом убийце, ворвавшемся в дом. Полицейские быстро раскололи сосунка.

Вторник. Первая полоса отдана «сладкой жизни». «Ребенок на миллион долларов для смешной девушки» кричит газетная шапка. Певица Барбара Стрейсанд сделала славу и миллионы, участвуя в музыкальной комедии «Смешная девушка». Теперь она вот-вот станет матерью Две сияющие улыбки - звезды и ее мужа- «Они ждут ребенка в середине декабря, объявила вчера Бав- бара, находясь на гастролях в Лондоне. Она вынуждена отменить концертное турне, которое принесло бы ей больше миллиона долларов».

На второй полосе вьетнамские новости. Голдуотер ру гае г Джонсона: «Мы не используем полностью нашу воздушную мощь». Корреспондент в Сайгоне предсказывает «более жесткие» бомбежки ДРВ. Солдат Рональд Гендельсон, приехавший на побывку, жалуется на партизан: «Они нападают тогда, когда их меньше всего ждешь».

Редакционная статья подсказывает Джонсону: «Наилучший способ

опровергнуть обвинение Голдуотера состоит в усилении войны, в эскалации. Именно этот язык понятен красным. Еще более важно то, что его одобряют американцы, настроенные на победу».

Среда. Первая страница — полицейская. Герой-полицейский Майкл Телеско пострадал, выполняя долг. Вот он лежит в пижаме, облокотившись на подушку. На другом снимке сияет улыбкой его невеста Джоан Ди дли. Их свадьба должна быть в субботу, но, увы, раненому полицейскому не разрешено покидать дом. «Дейли ньюс», верный друг полиции, добилась исключения для Телеско, о ч€лМ и сообщает на первой полосе.

Драма Бернара Зовлука и его жены Аиды. Хиромант Зовлук лечит скаковых лошадей и крупно играет на скачках. Жена — беженка с Кубы. Женились три недели назад. Хиромант поверил, что у эмигрантки шесть миллионов долларов, эмигрантка прельстилась выигрышами хироманта. Обоюдный просчет. Теперь эмигрантка жаждет алиментов — полторы тысячи долларов в неделю.

Неугомонный мэр Линдсей дирижирует оркестром пожарных. Музыканты подозрительно глядят на дирижера. Оркестр стоит городу 400 тысяч долларов, и ходят слухи, что Линдсей хочет его прикрыть.

«Хорошо одетый» Рональд Виссел найден мертвым в машине в центре Манхэттена. Ему всадили две пули в спину, одну в шею и одну в висок. 25 детективов ищут убийцу.

Передоивая клеймит «двух голубей в полете» — сенаторов Фулбрайта и Мэнсфилда. К слову вспоминают Трумэна, который обозвал Фулбрайта «сверхобразованным сукиным сыном».

Еще один совет Линдону Джонсону: «Было бы превосходно, если бы в своей речи Джонсон подчеркнул, что только тот коммунист хорош, который мертв. Мы считаем, что это и есть истинная правда».

Четверг. Семейная картинка на первой полосе. Нельсон Рокфеллер, миллиардер и губернатор штата Нью-Йорк, держа детскую книгу в руках, объясняет цифры Йорк, держа детскую книгу в руках, объясняет цифры двухлетнему сыну: «Рокки-младший учится считать у эксперта... Может быть, папа читает сказку о трех медвежатах потерявших штанишки на бирже».

«В костюме цвета морской волны, белой рубашке и голубом галстук мэр Линдсей спокойно, но внушительно изложил городскому совету свою программу повышения налогов на 520 миллионов долларов, не отступив ни по одному пункту».

Роберт Макнамара, министр обороны, держит ручку в зубах, как кинжал. Вашингтонский корреспондент газеты сообщает:

«Макнамара разбомбил сенатскую комиссию по иностранным делам грузом статистики, который не поднять и бомбардировщику «В-52». Он указал, что американские самолеты гвоздят вьетнамские мишени сильнее, чем корейские, и разгружают на Вьетнам почти такой же месячный тоннаж бомб, как на европейском театре во время второй мировой войны».

Судебная хроника, как всегда, обильна. В шантаже и вымогательстве обвинен глава бюро по борьбе с мошенничеством, помощник прокурора штата Нью-Йорк Джером Глаксен. Два почтенных джентльмена в наручниках—«мусорные магнаты» арестованы за связь с преступной империей «Коза ностра». (По давней «традиции», уборка мусора в Нью-Йорке находится под контролем крупных гангстеров, так как это огромное прибыльное дело с оборотом в десятки миллионов.) Президент «лаковой» корпорации Ирвинг Липпман судится с женой. Жена требует алиментов — тысячу долларов в неделю.

Пятница. Сенсацию дает наука. «Пластическое сердце бьется в человеке» В Хьюстоне оперировали 65-летнего шахтера Марселя Руддера. Доктор Майкл де Бейки впервые применил пластическую помпу, перегоняющую кровь. (Помпа помогла, но через несколько дней шахтер умер от разрыва сердца.)

«Сверхсекретный доклад» о реорганизации нью-йоркской сыскной службы, который раздобыла «Дейли ньюс». Детективы объединяются теперь в шесть централизованных отделов при департаменте полиции: по убийствам и сексуальным преступлениям, грабежам, кражам похищениям автомашин, контрабанде наркотиков и «прочим преступлениям».

Еще одна дивизия запланирована к отправке в Южный Вьетнам, сообщает сайгонский корреспондент газеты.

Посадили «почетного полицейского» Фредерика Эйзенбаха. Не раз отмеченный благодарностями за борьбу с вымогателями в продунивермагах, герой разоблачен как главарь этих вымогателей и грабителей.

Манекенщица Эрин Голдстейн вышла замуж за слепого торговца, а потом увлеклась торговцем зрячим и стоит перед угрозой развода и лишения ребенка. На фотоснимке слепец с собакой-поводырем. Судья разрешил ему свидание с девочкой в зверинце Центрального парка. Слепой, боясь, что ребенка украдут, берет с собой в зверинец двух нанятых им охранников.

В наручниках, под руку с детективом, солидный мужчина в черном. Джон Диогарди, он же Джонни Дио, арестован вместе с приемным сыном, племянником и другом- мясником. Мошеннически объявив о банкротстве мясной фирмы, они положили в карман двести тысяч долларов, показав кукиш остальным акционерам.

Во время хирургической операции у Джоан Рейли сфотографировали «неприкрытую верхнюю часть тела». Вылечившись, она подала в суд, требуя негативы и 50 тысяч долларов за «моральный ущерб».

Суббота. «Десять профсоюзов поддерживают газетную забастовку». Тут же на первой полосе Жаклин Кеннеди в андалузском костюме, верхом на лошади. Она же пьет шерри. «Госпожа Кеннеди, эскортируемая испанскими аристократами, совершила верховую прогулку по красочной ярмарке».

«Большая победа союзников во Вьетнаме — убито 522 партизана».

Еще один мужчина в наручниках: Уэндел Холтерман, демобилизованный ветеран вьетнамской войны, убил свою жену.

Патриотическая история, написанная циником, которому надо выжать слезу: история Дэвида Каллиса, двадцатилетнего калифорнийского парня, убитого в джунглях. «У него была добрая улыбка, он хорошо делал все, за что брался... Почему он пошел в армию? Все, у кого есть сыновья и нет сыновей, хотят знать: почему?» Не знал этого и Дэвид Каллис. Заимствуя фразы из прочитанных романов и Вашингтонских речей, он писал накануне боя: «Завтра утром я отправляюсь в свое первое путешествие в неизвестность... Мы все знаем, что в этой войне ставки высоки, выше нашего понимания».

Воскресенье. Последний день. Номер из трех секций на 240 страниц, из них 185 страниц — рекламы.

Кричит заголовок на первой полосе: «Четыре маленькие сестры погибли в огне. Второй пожар в Бруклине довел число жертв до семи». На снимке мэр Линдсей с шестилетним братишкой четырех сестер.

Вторая полоса. «Сексуальный взрыв в студгородках. Наркотики и нападения на девушек вызывают скандалы во многих колледжах».

Сияет улыбкой инженер Дональд Бренчак. Сияет его жена, лишь их младенец орет, испугавшись фоторепортера и не разделяя счастья родителей. Инженер Бренчак разгадал самый замысловатый кроссворд «Дейли ньюс» и выиграл пять с половиной тысяч долларов.

Дама в темных очках спускается по лестнице. За нею двое в наручниках. Раскрыта воровская «малина» в Бруклине, взято 16 человек, найдено краденого добра на сотни тысяч долларов. Дама в

темных очках заправляла «малиной».

81 человек погиб в авиакатастрофе возле Оклахомы. Сияют улыбками трое спасшихся.

На 138—139-й страницах большой репортаж о «двойном убийстве» в Техасе. В одно прекрасное утро студентки из Далласа Ширли Старк и Сьюзан Ригоби решили навестить друзей в городе Остин. Ширли уговорила подругу заглянуть на часок к знакомому студенту Джеймсу Кроссу. Студент одну из них убил сразу. Другую изнасиловал, а затем задушил. Отнес трупы в чулан. Там трупы и были все время, пока студент развлекался со своими приятелями. Позднее полиция, арестовавшая убийцу, нашла трупы закопанными на пустыре.

И снова Макнамара, и снова бомбы в воскресном обзоре. Макнамара расправляется со своими критиками- сенаторами. «Вся эта ерунда о нехватке бомб лишь вводит в заблуждение. О какой нехватке бомб может идти речь, если по инвентарному списку у нас числится 61 тысяча тонн бомб в Южном Вьетнаме». И дальше: «50 тысяч бомб было сброшено в марте, — сказал Макнамара, — а боевые вылеты в первые 18 дней апреля превышали мартовские». Он сказал также, что общий бомбовый груз в 50 тысяч тонн «благоприятно» выглядит в сравнении с 48 тысячами тонн бомб, которые сбрасывались ежемесячно в Африке и Европе в годы второй мировой войны, и в сравнении со среднемесячным уровнем в 17,5 тысячи ТОНН (В годы корейской войны...»

Наше время истекло, читатель.

Мы расстаемся с этой каруселью. А она крутится, крутится все быстрее, — из дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Ротации выплевывают два с лишним миллиона плевков. И плевки не пропадают. Мир мещан и «таф гайз» — крутых бессердечных парней, которые если и лезут в карман, то не за словом — за оружием. Причудливый мир манекенщиц и наркоманов, адвокатов и миллионеров, «звезд» и гангстеров. Человеческий загон, где порядок обеспечивают детективы с наручниками, кольты полицейских и суды, суды, суды. Где люди разделены и одиноки, как волки. Где люди объединены разве лишь необходимостью платить налоги и охранять свои деньги, даже на дальних подступах, за тысячи миль, во Вьетнаме.

Где добро, читатель, где человеческое тепло? Зато *сколько* холодного отчуждения и насилия. Мораль смешна и наивна — есть лишь «моральный ущерб». На красоте, на таланте проставлена точная цена в долларах.

Откуда же берется вся эта прорва сенсаций, убийств, судебных

процессов, добровольных галлюцинаций? Общество — да. Капитализм — да. Не будем, однако, умалять и индивидуальные заслуги «Дейли-ньюс». Ведь мы узрели великое открытие, решение задачи, над которой трудились века. Перед нами неожиданный феномен вечного двигателя. «Дейли ньюс» собирает то, что посеяла раньше, и снова сеет, сеет и сеет, и снова собирает урожай на своих страницах. А сколько их, этих сеятелей, пакостных газет, пакостных фильмов, книжонок и журнальчиков? Сколько семян запало в душу Рональда Синглтона, который, помните, убил клещами свою мать за то, что она не подпустила его к телефону, а сестру и бабушку — чтобы они его не выдали?

«Дейли ньюс» сделала откровенную ставку на то, что человек низок. И хочет удержать его на этом уровне. Для нее это вопрос жизни и смерти. Если человек поднимется, ей — крышка.

ШИРПОТРЕБ БРОДВЕЯ

Есть минимум два Бродвея. Бродвей обыкновенный начинает свой извилистый путь у южной оконечности острова Манхэттен, по соседству с Уолл-стрит, и тянется десятки километров, теряясь где-то в неизвестности, на северной окраине Нью-Йорка. Это самая длинная нью-йоркская улица. И есть Бродвей-коротышка, часть обыкновенного Бродвея. Это «тот самый» Бродвей — синоним, символ. Вечерний Бродвей. Десяток кварталов в центре Манхэттена, между искристыми небоскребами Шестой авеню и убогими потемками Восьмой, Девятой, Десятой. С севера он огражден вечерней пустотой Центрального парка. И с юга тоже обрывается пустотой. Взорвавшись сиянием 42-й улицы, «тот самый» Бродвей упирается на юге в пустынную тьму торговых кварталов на тридцатых улицах, где днем кишмя кишат машины и люди, а вечером лишь задвинутые железные решетки на дверях и витринах, молчаливые манекены, невидимые, но бдительные сторожа, невидимые, но гарантированные сигнальные системы.

Этот Бродвей знаменит электронеоновым переплясом своей рекламы. Перепляс ироничен. Бродвей подмигивает миллионами своих лампочек и трубок: чего уж проще, я весь на виду, весь наружу.

Отбивает электрические секунды, минуты и часы реклама часовой фирмы «Аккутрон». Фирма «Бонд» грандиозными сияющими буквами доводит до сведения невежд, что никто в мире не производит больше нее мужского готового платья. Журнал «Лайф» опоясал бегущими последними известиями треугольник башни «Эллайд кемикл». О башню, словно о волнорез, разбиваются огни Бродвея и Седьмой авеню. Сверкают козырьки театров и кинотеатров. Чисто вымыты и шикарно освещены огромные окна кафе, закусочных, магазинов. За этими окнами люди беззвучно говорят и смеются, разевают рты над стаканами и тарелками.

Все на виду, все на месте. Исчез лишь тот неутомимый электрический курильщик сигарет «Кэмел», который три десятка лет подряд пускал дым изо рта, соблазнительный дымок колечками.

Вечерний Бродвей по-павлиньи пышно распустил хвост своей рекламы. А что, кроме хвоста, есть у этой птицы? Реклама — лишь введение к Бродвею. При чем тут часы «Аккутрон»? И костюмы этой — как ее? — фирмы «Бонд»? И даже тот облюбованный фотографами курильщик, ушедший ныне на пенсию? Все они нищие, берущие подачки у Бродвея, готовые дорого платить за право добавить еще одно перо к павлиньему хвосту. У старика тяжкая, ответственная служба. В изощренном XX веке Бродвей реализует вторую часть древней, но живучей и емкой формулы: «Хлеба и зрелищ!»

Зрелищ! В огненных берегах течет людская река. Морячки в белых клешах и форменках качаются после океана и знакомства на брудершафт с бродвейскими барами. Рыскают отутюженные американские командировочные: где бы и как встряхнуться? Оробевшая заграница, сотнями своих путей попавшая в Нью-Йорк. Лупоглазая американская провинция любопытствует, как живет и развлекается современный Вавилон. Молодые парочки доверчиво ныряют в бродвейскую реку. А завсегдатаи плавают так глубоко и так долго, что их мутит лишь от кислорода. Вот он, завсегдатай, аванпост темного глубинного Бродвея, вынырнул по своим делам, торчит на тротуаре. Озираясь по сторонам, бормочет прохожим: «Хотите герл?»

И постовые полицейские на перекрестках вручную полируют свои дубинки. Темное тело дубинки раскручивается на ремешке, ловко перехватывается тяжелой полицейской ладонью. И р-раз... И два... Глаза, как пограничные прожекторы, не спеша, без суеты обшаривают горизонт. Всезнающие нью-йоркские «копы». Истинные академики Бродвея...

Бродвейских академий я, признаться, не проходил. Профессионально жаль — не хватает глубинного знания предмета.

Однако прогуливался по Бродвею, глазел. Вникал в нелегкое томление этого «великого белого пути»: простак несет сюда свои ожидания, а чем сильнее ожидания, тем вернее риск разочароваться. Кое о чем думал. Бродвей подкидывает пищу для мозгов. Может быть, это тоже интересно?

Вот перекресток Бродвея и 42-й улицы, «главный перекресток мира», как его — без всякого международного жюри — самовольно нарекли американцы.

Здесь океан огней, напряженный, добела раскаленный космос огней.

Здесь думаешь, чего, собственно, ради старался Прометей, а вслед за ним Эдисон, похищая огонь у матери-природы?

Для этих вот, что ли, утыканых дивизиями электролампочек козырьков кинотеатров? Там на экранах похабная дешевка. Или для этих ослепительных лавчонок? Там стеллажи уставлены сотнями замусоленных фотожурналов с максимально голыми девками и парнями, учебниками лесбийской любви и наставлениями по гомосексуализму. Или для этих, уже в натуре, беспощадно освещенных неприкаянных рож, на которых жизнь поставила печать подонков? Отчетливую печать, не ошибешься. Просто пройти по 42-й улице, между Бродвеем и Восьмой авеню, под слепящими козырьками кинотеатров, мимо порнографических магазинов, под прицелом этих рож, просто пройти — и то уже испытание на выдержку, на безгливость. Взгляды ощупывают чужака — не наш ли?

«Главный перекресток мира» держит рекорды по густоте электросвета и человекотьмы на квадратный фут площади. Здесь самая ярко освещенная в мире клоака.

А как же бродвейские академики с дубинками? Их много, но на Бродвее свои правила игры...

Толпа — повелитель Бродвея. Исчезни толпа, погаснут его огни. Но толпа не исчезает, потому что она — раб Бродвея.

Он властвует над ней, разделяя ее своими зрелищами.

Он берет ее в плен по частям, призывая себе в союзники обилие и убожество американского буржуазного века. Приметами века Бродвей забит сверху донизу, от ожерелий рекламы до днищ своих витрин. Планета сужена и спрессована торговлей, планета охоча до доллара: эбеновые божки из Кении, ацтекские маски, японские плетеные изделия, гонконгская посуда, полинезийские, итальянские, французские рестораны. Фотоаппараты и кинокамеры, магнитофоны и транзисторы, грампластинки и портативные телевизоры — поразительные чудеса техники. Бродвей умеет превращать их в амулеты на шее дикаря: сгинь, злая сила скуки, пустоты и бессмысленности существования, сгинь с

поворотом колесика на транзисторе.

Технически век обилен, а духовно человек убог — вот рабочая ставка Бродвея.

Все проходит и все остается — вот его кардинальная надежда.

Бродвейская концепция развлечений и зрелищ стара как мир — ширпотреб жестокости и женщин. Жаль, что гладиаторов нельзя терзать живьем на аренах. Но их выволакивают на потеху миллионам в голливудских супербоевиках. Костры инквизиции не разожжешь. Но кое-чем можно и тут поживиться. Покинем душный тротуар и заглянем в так называемый «Парижский восковой музей», тут же на Бродвее.

Здесь прохлада, обеспеченная аппаратами «эр кондишн». Чистота, наведенная пылесосами. Ковры. Восковые фигуры в стеклянных отсеках. А за другими стеклами чуть тронутое налетом ржавчины натуральное, страшное инквизиторское железо. «Ошейник еретика» с железными шипами внутрь: «Использовался для жертв, которые не хотели идти в камеру». Подobie медицинской «утки», но железное: «Приспособление для вливания кипящего масла в рот жертве». Опецмеч для отрубания пальцев... «Протыкатель плоти»... «Спиноломатель»..., Железо для «сокрушения» запястий... Опять для плоти. Для выкалывания глаз... Для клеймения...

А вот и венец всего. «Железная дева» любезно распахнула свое нутро, усаженное универсальным набором шипов. Еретика вставляли внутрь, поднатужившись захлопывали половинки «железной девы». Зрелища искроманного трупа не выносили даже палачи. «Самый знаменитый в мире инструмент пытки и смерти».

Неужели так жесток Бродвей? Нет, это он шутит.

Орудия пыток экспонированы не для экскурсии в историю, а как зрелищный ширпотреб.

А женщины? Сколько угодно. Из кинозвезд делают современных куртизанок, секс-идолов, секс-бомб. Это счастливый удел больших кинокорпораций. Но есть фирмы победнее, помельче, товар не того качества, зато порнографии больше. Вот «непревзойденный, смелый, проникающий в суть» кинофильм «Девушки в аренду» — 45 минут сплошного садизма, полминуты — назидательный «хэппи-энд».

Может быть, нечто материальное, не на экране? Бродвей предусмотрел все. Вот темные изваяния подпирают стены — негритянки, вытолкнутые сюда пучиной гарлемской нищеты и отчаяния.

А если по душе ширпотреб дансинг-холлов? В их зевы тоже текут струйки от бродвейской реки. Гони монету, выбирай платную

партнершу — отказа не будет. Танцуй. И снова гони монету. За каждый танец. Дансинг-холл старомоден. Он отвергает современные танцы. Дансинг-холл — за плотную близость танго.

Бродвей необъятен, как эпос, как стихия. Амплитуда от проституток до проповедников и противников войны.

Старушка с крепкими зубами и смущенной улыбкой тараторит о «спасении» на углу 45-й улицы. Старушка самоотверженно защищает Иисуса Христа, которого вновь и вновь со знанием дела распинают на бродвейских экранах, делая деньги на библейских сюжетах. В руках у старушки какие-то нелепые гобелены: сатана в трико, словно герл из бара, Адам и Ева, ангел с тяжелыми крыльями. Как и дансинг-холл, старушка против модерна, современных небоскребов, современных епископов. Она за апостола Петра: «Не тленным серебром или золотом искуплены вы будете от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровию Христа, как непорочного и чистого агнца».

Старушку слушают. Слышат ли? Ее напарница раздает прохожим религиозные листовки. От листовочек отстраняются.

На Бродвее царит свобода. Можно быть кем угодно — в бродвейских рамках.

Три парня-гомосексуалиста идут по тротуару, вихляя задами. Парни завиты и напояжены, у них накрашенные губы и подведенные глаза. Глаза смотрят вызывающе. Парни тоже зарабатывают хлеб на Бродвее.

Бродвейская свобода? Как часто это лишь свобода человека выворачивать себя наизнанку. Это осознанная торгашами необходимость потрошить человека, если он поддается.

Все легко и свободно сопрягают те, у кого отмычкой к миру и жизни служит доллар. Однажды я остановился у небольшого, на две витрины, магазина грампластинок. Одна витрина была монополено отдана фотографиям старца в пурпурной мантии, с благостным лицом скопца. Это владельцы чествовали кардинала Спеллмана в связи с 50-летием его служения католическому Иисусу Христу. Из другой витрины на кардинала пикантно поглядывала с футляра грампластинки голая сочная красотка. Девушка исполняет песенки под сводным названием «Острый перец». Это соседство означало, что по случаю кардинальского юбилея «Острый перец» подешевел, что объявлена распродажа...

А пестрая людская река течет по Бродвею, потная, жаркая. Нагретые за день дома отдают свое тепло вечерней улице. Самое время пропустить бутылку холодного пива. Баров много. Они в улицах, выходящих на Бродвей. Просто бары — это бутылка пива за 50 центов. Бары с девушками за стойкой — это пиво за 75 центов. Бары с девушками за стойкой и танцующими герлз — это пиво за полтора доллара. Вот

зеваки возле бара на 49-й улице, у аквариумного стекла, через которое с улицы видно двух девиц и бармена за стойкой. Эстраду замечаешь, уже войдя в бар и отрезав себе путь к отступлению. Зоркий бармен манит взглядом к стойке: что угодно? Открывает бутылку, ставит стакан.

За стойкой тесно, все стоят боком, все глаза на низенькой эстраде. Герл в белых сапожках словно натирает пол, вертя ногами и бедрами под оглушительную музыку. Черт побери, тут действительно целое шоу. На эстраде еще четыре джазиста и три девицы с бубнами. Но что за странный ударник? Ба, так это же механический мужнина,двигающийся манекен! А ловко сделано. Он не только двигает руками, но и раскачивает туловище, даже разевает в механическом экстазе рот.

Ловко? Да нет. Пожалуй, ловко-то сделаны три саксофониста. Лишь позднее соображаешь, что трое — тоже роботы. Весь грохот, оказывается, исходит из большого, под пианино, ящика. Живые звуки—лишь ленивые бубны в руках у герлз.

Ну, а девицы? Они-то ведь неподдельно живые? Волосы... Глаза мигают... А герл бесшумно натирает пол, хватая руками за невидимые звенья веревочной лестницы. Черт, но и у нее одни и те же движения. Но вот уходит, сама уходит. Живая все-таки... Ее сменяет другая, потом третья, наконец, четвертая — самая длинноногая. Она в туфлях, а не в сапожках. Каждой по семь минут, танцы без перерыва. Ни души, ни страсти. Чем механичнее, тем больше шик.

Повезло девицам. Заменяли бы и их автоматами, но нет еще автоматов, от которых исходил бы призывный ток женского тела. Изобретут—рассчитают девиц. Автоматы дешевле.

Смотрю на мужчин у стойки. Все их внимание — эстраде. Аккуратно стриженные затылки. Свежие рубашки. Галстуки.

Отвернулся на минуту, не сразу понял, что стриженный затылок передо мной сменился.

Молодой бармен, здоровяк с ястребиным носом, вяло перекачивает во рту розовую, уже изжеванную резинку.

А широкий парень в углу, возле аквариумного стекла, в одиночку, самозабвенно вышаркивает под грохот ногами. Странный парень, не похожий на других. В ковбойке. Пьяный.

И еще один человек в углу. Тоже странный. Не смотрит на девиц. Тяжело навис головой над стойкой. Тычет окурком в пепельницу в такт музыке. Палец постукивает по стенке стакана. В такт музыке. Задумался...

И вдруг у одного из стриженных умный, усталый, грустный взгляд.

Пора! Хватит на сегодня бродвейского ширпотреба.

Внизу, в подземке, полицейский меланхолично поправляет свой

широкий толстый ремень. Тряска вагонов. Грохот вагонов. Людское молчание...

1966 г.

ГЕРОСТРАТ ИЗ АРИЗОНЫ

Этот парень добился своего.

Они примчались, репортеры из близкой и дальней округи, всеядная сошка, примчались в мгновение ока, как по команде «свистать всех наверх». И не только сошка.

Из больших городов и больших газет слетелись асы пера, чье имя одно равнозначно сенсации. Еще две недели назад иные из этих асов мотались на двух пресс-само-летах в хвосте президента Джонсона — самого президента Джонсона! Они описывали Манилу и Бангкок, и красочный ковер, который подарили г-же Джонсон туземцы Самоа, и техасский костюм с президентским орлом на рукаве, в котором Линдон Джонсон предстал перед американскими солдатами на южновьетнамской базе Камран, а теперь они пишут о его, Роберта Смита, рубашке, белой в полоску, и брюках, поношенных, полотняных, блекло-голубых, и о его резиновых тапочках. И рыщут по следам, оставленным этими тапочками в маленьком городке Меса, что в пятнадцати милях от большого аризонского города Феникс, топчутся на дворе школы, в которой он учился, торкаются в двери дома, где он жил с отцом — майором авиации в отставке, матерью — домохозяйкой и младшей сестрой.

И каждый день даже эти снобы, — они все видели и им на все надоело смотреть, — покорно садятся за пишущие машинки и профессионально умело выбивают дробь, гонят строчки, спешат, состязаются, — да, состязаются! — чтобы поярче, получше, поэффектнее осуществить его, вчера еще безвестного Роберта Смита, мечту: попасть в газеты, в заголовки, на телеэкраны, в эфир. И от аризонской, в ноябре еще жаркой, пустыни до Великих, похолодевших уже, озер миллионы, десятки миллионов, а может быть, уже больше сотни миллионов людей читали и слышали его имя.

О, великий миг Роберта Смита! Все вышло, как он «планировал», — это его словцо, и оно оценено пишущей братией.

— Я знал, что должен убить кучу людей, чтобы попасть в газеты

всего мира.

Так заявил он полицейским, увозившим его в тюрьму в Фениксе.

— Я хотел убить человек сорок, — сказал он, — чтобы сделать себе имя. Я хотел, чтобы люди знали мое имя.

Он убил пятерых —трех девушек, молодую женщину и ее трехлетнюю дочь.

Но и этого оказалось достаточно, чтобы вступил в силу неподписанный, но непреложный договор между ним, еще одним «массовым убийцей», и американской прессой. Он выполнил взятые обязательства, поставив сенсацию. И другая сторона шлет своих полномочных представителей в Месу и доказывает, что за ней дело не станет.

Но, стараясь вовсю, полпреды ворчат. Он убог, этот аризонский сморчок, оборвавший пять человеческих жизней. Он сделан на американском конвейере, этот стандартный Герострат. Он лишен страстей и драматизма, гладкий, как бильярдный шар. И потому его нынешние биографы на час с унылым однообразием один за одним, из газеты в газету, из номера в номер цепляются за рубашку белую в полоску, брюки голубые полотняные, тапочки резиновые, пистолет 22-го калибра, двести ярдов нейлоновой веревки и пятьдесят пластиковых мешочков для сэндвичей.

Его трудно разыграть, потому что он уложил себя в предельно сухую, голую схему — убить, чтобы попасть в газету.

Убогий гомонокулос вышел из газет, чтобы вернуться в газеты. Его воспитала злая сила уголовных репортажей, уголовной хроники, сенсационных убийств. Ему всего лишь восемнадцать, но он давно загорелся желанием убить, ибо убить — это самый верный путь прославиться.

Итак, он учился в средней школе Меса и был прилежным первым учеником, почитывал научные журналы и делал самодельные патриотические фильмы о Белом доме. У него не было друзей, но не было и врагов. Он был, по отзывам школьников и соседей, nice boy — приятный парень, и ни к кому не испытывал вражды. Заметьте, ни к кому он не испытывал вражды. А желание убить зрело в нем. Убить не ради любви или ненависти, не из ревности или мщенья, без всякой раскольниковской идеологии. Убить не имярек, не кого-то конкретно, а просто убить.

Побольше убить, чтобы наверняка, крупно попасть в газеты.

Теперь он все охотно рассказывает на допросах. Из показаний видно, что две недавних истории укрепили его решимость и помогли нужным арифметическим подсчетам. Первая произошла в Чикаго, где

некий Ричард Спек, бывший моряк, убил восемь медицинских сестер. Вторая — в Остине, штат Техас, где бывший солдат морской пехоты Чарльз Уитмен забаррикадировался на башне университета и открыл огонь по людям внизу: он подстрелил 40 человек, убил четырнадцать. Обе истории получили «большую прессу».

— Человек сорок было бы отлично, — сказал себе тогда Герострат из Аризоны.

Как просто убить в Аризоне!

У Роберта Смита уже был пистолет 22-го калибра, купленный нежными родителями ко дню его рождения, — не для убийств, они не знали о заветной мечте сына, а чтобы «потренироваться в стрельбе». Они хотели, чтобы мальчик был настоящим мужчиной. А мальчик уже подбирал объекты. Учителя в школе? Но убьешь ли многих? Банк? Банки охраняются, черт побери. Супермаркет? Неважное место для массового убийства.

Он листал коммерческий справочник «Йеллоу пэйджиз» — «Желтые страницы» и... Эврика! «Колледж красоты», дом № 41 по улице Норт Стэпли Драйв. А попросту, без рекламы, небольшие, на 45 человек, курсы косметичек и парикмахерш, к которым приложен—для практики — косметический салон. «Если вы ищете карьеру в области красоты, я предлагаю вам посетить нашу прекрасную школу», — приглашал владделец колледжа. Роберт Смит решил посетить «колледж красоты», чтобы сделать карьеру убийцы.

Теперь другой вопрос: как убить? Стрелять неоригинально. Он предпочел бы удушить свои жертвы. Тогда сенсации больше. Он купил пятьдесят пластиковых мешочков для сэндвичей: пластик не пропускает воздуха. Пятьдесят—в расчете на сорок человек плюс десять запасных, на всякий случай. Он купил еще двести футов крепкой нейлоновой веревки, чтобы вязать свои жертвы. Запасся также патронами (не проблема в Аризоне!), и все это вместе с пистолетом и двумя охотничьими ножами аккуратно уложил с вечера. Правда, потом, примерив мешочки на себя, он обнаружил, что человеческая голова больше сэндвича и что мешочки не годятся.

И вот в прошлую субботу он встал рано утром в родительском доме (цена — 15 тысяч долларов, «цвет персика») и по тихим улицам, обсаженным финиковыми пальмами, направился к зданию «колледжа красоты». И в это время туда же, на свидание с глупой аризонской смертью, шли и ехали семь человек, которых он не знал и не видел до этого субботнего утра и которые не знали и ни разу не видели его. Три восемнадцатилетних девушки, избравшие «карьеру в области красоты»: Мэри Олсен, Гленда Картер и Бонита Харрис. Кэрл Фармер, 19-летняя

жена летчика, служащего на Аляске. Джойс Сэллерс, 27 лет, жена владельца мотеля, решившая навестить «колледж красоты» по случаю уикэнда, была с двумя дочерьми — трех лет и трех месяцев. Их не на кого было оставить дома.

Он вошел в здание вслед за миссис Сэллерс с детьми и, оглядев собравшихся, приказал всем перейти в заднюю комнату. Уцелевшая Бонита Харрис рассказывает: «Мы думали, что он просто шутит». Они еще не подозревали, что он всерьез решил прославиться.

Роберт Смит вынул из мешка пистолет и пальнул в воздух, и тогда они выполнили его приказание. Он был спокоен и улыбался, но мозг его работал, придумывая оригинальное. Он приказал им лечь на линолеумный пол веером, как спицы в колесе, головами к центру.

— Мы легли, — рассказывает Бонита Харрис. — И женщина с двумя детьми была с нами. Ребенок заплакал, и это вывело его из себя. Мэри Олсен опросила, кого же он собирается убить или он собирается убить всех. Он сказал, что мы все умрем и что он не планировал убивать детей, но убьет, раз они очутились здесь, и что «ведь они тоже станут взрослыми». Девушки заплакали, и Мэри спросила его: «Вы это всерьез?» Он сказал «да», и она начала молиться. Он спросил, что она делает, и Кэрол Фармер сказала, что Мэри молится, «если вы не возражаете». Он сказал, что возражает, и начал стрелять. Я думаю, что вначале он выстрелил в Гленду, потом в меня, и я притворилась мертвой, чтобы он не выстрелил снова. Потом он застрелил остальных, и это все, что я помню.

Как просто убить в Аризоне!

Когда прибыла полиция, из-под мертвого тела Джойс Сэллерс доносился плач трехмесячной Тамары, — спасая младенца, мать закрыла его собой.

Все заняло мгновения, все свершилось на протяжении одного телефонного разговора. Миссис Каммингс, директорша колледжа, вышла в боковую комнату на телефонный звонок как раз до прихода Смита. Когда она повесила трубку и вернулась в салон, она увидела молодого человека с пистолетом и, незамеченная, бросившись назад, вызвала полицию.

Полицейского Гэри Джонсона встретил улыбающийся убийца. Он вел себя смирно. Перестрелка с полицией не входила в его планы: она могла бы лишить его жизни и долгожданных лучей паблисити.

— Я тут убил несколько человек, — небрежно оказал Смит полицейскому. — Пистолет в этом мешке.

Потом полицейский Джонсон спросил Смита, что бы тот сделал, если бы мать его, Смита, и сестра вошли в тот момент, когда он, ходя по

кругу, отсчитывал две пули каждой жертве, трижды перезаряжая пистолет.

— Думаю, что я их тоже застрелил бы, — ответил Смит. — Ведь я хотел убить человек сорок, чтобы сделать себе имя.

И телеграфные агентства, самые оперативные, первыми сделали ему имя, еще до того, как он очутился в тюрьме. Фотографии и изречения смазливового чернявого паренька со смутной улыбкой украшают первые полосы газет. И газетные следопыты какой уже день шлют пространные донесения из Месы, умело выжимая этот лимон, вышаривая, вынюхивая все, что годится в дело. И полицейские охотно дают интервью, адвокаты и психиатры делают умные заявления, красуясь в периферийных лучах геростратовой славы Роберта Смита.

А впереди еще первое слушание дела, а потом судебный процесс, а потом, чего доброго, обжалования и апелляции и даже дорого купленные мемуары из тюремной камеры — сколько еще поживы, сколько смазки для колес сенсаций, пока этот вечный двигатель не крутанет новый «массовый убийца», идущий по следам Роберта Смита, как Роберт Смит пошел по следам Ричарда Спекса и Чарльза Уитмена.

Она не нова, эта трагикомическая пляска, новы лишь ее жертвы. Она настолько стара, что писать о ней — значит повторяться. Но страшно не это повторение, страшна ее неостановимость. Попробуйте крикнуть этим газетам, этому телевидению: что вы делаете! Ведь вы плодите убийц. Ведь вот перед вами классический образец вашего собственного чудовищного рукоделья!

Даже услышав, не послушают. Не запретят продажу оружия, с газетных и книжных страниц не исчезнут пособия по подготовке убийц — и то, и другое приносит прибыль. И не исчезнет соблазн убивать и разрушать. У Смитов из Месы он сильнее, чем у Герострата из Эфеса.

1966 г.

У ИНДЕЙЦЕВ НАВАХО

Навахо — самое большое индейское племя в США. Насчитывает 110 тысяч человек. Резервация навахо находится на северо-востоке штата Аризона. Площадь — 16 миллионов акров.

Из справочника

В торговой палате Флэгстафа я видел уникальный рекламный проспект — фельетон Арта Бухвальда. Самоуверенный житель Нью-Йорка прилетел в этот маленький северо-аризонский городок поделиться с провинциалами плодами своей учености. Он начал ворчать уже на аэродроме: «Что у вас за воздух? Как вы только им дышите?» Он разевал рот, как рыба, безжалостно лишенная родной стихии. Он грозился немедленно улететь. И успокоился лишь тогда, когда шофер грузовика-великана, сжавившись, дал ему за пятерку прильнуть к выхлопной трубе, как к материнской груди.

Так вот, Флэгстаф знаменит наисвежейшим, лучшим в Америке воздухом, чистейшим небом, аризонским обилием солнца, близостью к Гранд-Каньону, который здесь по знакомству, фамильярно, зовут «самой большой дырой на земле», да еще к планете Плутон. Упомянутая планета была выслежена именно в Флэгстафе в 1930 году телескопом известной обсерватории Лоуэлла. Обсерваторий здесь пять, и теперь они укрепляют связи с Луной, картографируя ее для американских астронавтов. К северу от Флэгстафа находится «национальный монумент» — кратер Сансет, проклокотавший в последний раз девять веков назад. Лава вспахала землю и застыла ноздреватым пепельным шлаком, на котором сам черт может ногу сломать. Здесь тренируют астронавтов, готовя к лунным прогулкам.

Делая бизнес на чистом небе и космосе, Флэгстаф сторонится заводских труб. Он предпочитает обсерватории и Северо-аризонский университет. Но интересоваться космосом советскому корреспонденту в Америке опасно — чего доброго, примут за шпиона. Я держался в стороне от астрономического холма.

Я съездил в Гранд-Каньон — захватывающее дух зрелище мавзолеев природы, а потом в университете расспрашивал об индейцах навахо. Как ни близка к Флэг-стафу Луна, навахо еще ближе. Туба-сити, западная граница резервации, лежит всего в 75 милях к северу. Оказалось, что мили ничего не решают. Профессор Джустин, хлопотавший за меня, был слегка смущен, когда некто на другом конце

провода объяснил ему, что хлопоты эти непонятны и что красному не резон встречаться с краснокожими студентами. Мои собеседники либо мало знали, либо встречали расспросы об индейцах насмешливыми улыбками — экий оригинал. Плутон и Луна оставались двумя утвержденными достопримечательностями Флэгстафа.

Но все-таки и там нельзя было миновать индейцев. Они стояли у дверей баров на авеню Санта-Фе, в джинсах, ковбойских рубашках и шляпах, твердо прилаженных на голове. У них были широкие лица, не красные, а желто-землистые. Прямые короткие волосы, черные с синевой. Коренастые фигуры.

Оши стояли на виду, прямо на тротуаре, а рядом, через шоссе, со свистом и частым лихим перестуком рвали воздух бесконечные грузовые составы железной дороги «Санта-Фе».

И их никто не замечал. Как пустоту, их свободно пронзал тот знаменитый взгляд белого, который описал один негр, назвавший свою книгу «Невидимка». Это взгляд, когда глядят, но не видят. Так смотрят на лакеев. На негров — пока они не заставят смотреть на себя иначе. На тротуарную тумбу — ее не видят, ее машинально обходят.

На авеню Санта-Фе невидимками были индейцы.

Особо щедрую дань цивилизации они приносят по уикэндам. Потом пьяных индейцев грузят в полицейские фургоны, везут в суд, штрафуют и препровождают (ненадолго) в тюрьму. Их вяло, привычно презирают за неквалифицированное обращение с «огненной водой».

Больше других презирают их полицейские, брезгливо выворачивая индейские бумажники и карманы и перекладывая зеленые доллары в карманы и бумажники собственные. Недавно был еще один громкий скандал в департаменте полиции, но он так и не решил индейскую загадку: как доказать судье, белому судье, что тебя обчистил не только шустрый бармен Джо в накрахмаленном переднике, но и дюжий Боб — блюститель порядка?

— Боже мой, кому нужны идейцы? Разве что профессору Фоксу и другим чудакам, которым до всего на свете есть дело.

Эти слова я услышал в кабинете Байрона Фокса от университетского социолога. Они были сказаны с иронией, прикрывшей нежность и обожание. Старик Фокс сутулился под бременем комплимента. Квакер, пацифист, местный Иисус Христос, а по роду занятий — профессор международных отношений. Когда он призвал студентов и преподавателей выйти на марш протеста против вьетнамской войны, его распинали звонками телефонных угроз. Шествие на Голгофу — от студгородка до почтамта — пришлось отложить.

Кому нужны индейцы?..

Друг Фокса мудро заметил, что для успеха любого дела в Америке требуются паблисити, реклама^ неугомонные толкачи. У индейцев паблисити нет. Ассоциация по охране домашних животных, пекущаяся о жалкой судьбе собак в толкучке больших городов и защищающая их право шкродить на тротуарах, имеет больше рекламы и толкачей, чем индейцы.

Так, собираясь к навахо, я прочувствовал в Флэгстафе одну из коренных проблем полумиллиона американских индейцев: жестокое равнодушие «Большой земли» к островкам резерваций.

Флэгстаф крепит связи с Луной, а не с Туба-сити, и даже автобусы не ходят в резервацию. Меня отвез туда Джим — он же Яша Элегант, веселый студент, раздваивающийся между двумя иностранными языками, — французский ему дается легче, но преподавателям русского больше платят. Мы пели «Подмосковные вечера», оставив позади липкий апрельский снег Флэгстафа, и чем дальше продвигались на север, тем меньше было кедров и сосен под аризонским небом, и наконец дорога надолго вошла в голые скалы древней пустыни, где для туристов есть даже «тропа динозавров» с трехпалыми неуклюжими отпечатками на камнях.

Близ этой тропы лежит Туба-сити — совсем не город, а так, километр одной-единственной улицы с мостовыми под вязами, школьными зданиями, больницей, домами чиновников, учителей и врачей и штаб-квартирой агентства Туба-сити. Резервация территориально делится на пять агентств, и Туба-сити — административный центр самого западного агентства. Он был основан в 1878 году мормонами, незаконно отхватившими часть договорной индейской земли. В начале нашего века их попросило оттуда федеральное правительство, и они ушли, наверное без сожаления, из этой пустыни, где жизнь висит на волоске ключей-оазисов. От мормонов осталась крепкая каменная кладка мотеля «Туба-сити», который сразу воскресил у меня в памяти рестхауз в городке Эль-Обейд, утонувшем в песках крайнего юго-запада Судана. Дело не в подслеповатых окошках, старой мебели и драных простынях. Вам знаком запах колониализма? Здесь пахло им.

И из-за шаткой двери с красной стрелкой, протянутой к пуговке звонка, явился ко мне управляющий мотелем, а также бензоколонкой, кафе и факторией, чрезвычайный и полномочный посол какой-то большой корпорации, не гнушающейся и индейскими грошами. «Посол» был в летах. По-домашнему — без галстука. Жил он здесь уже семнадцать лет.

Он был заинтригован первым русским в Туба-сити. И с ходу начал о том, как нужно взаимопонимание нашим странам, окинув меня опытным взглядом и выводя на бланке регистрации цифру семь; паршивая комнатенка стоила никак не больше четырех. (Забегая вперед, скажу, что взял он все-таки четыре.)

— Здесь вроде бы другое государство. Словно Мексика, а не территория США, — сказал он, подкрепляя мою аналогию с Эль-Обейдом.

Затем я отправился на свидание с мистером Хоуэллом. Я устроил небольшую засаду, и мистер Хоуэлл все-таки принял меня, поняв, что странный гость, добравшийся в Туба-сити от самого Нью-Йорка, не отступит. Он смотрел на меня подозрительно.

— Вы обратили внимание, что у нас нет ни КПП, ни заборов, — сказал он, настороженно глядя через свой полированный стол. — Вы заметили, где началась территория резервации? Не заметили? Так вот, они свободные люди и могут в любое время уехать из резервации и приехать в нее.

Он акцентировал слово «свобода».

У мистера Хоуэлла самый солидный кабинет в этой части индейской пустыни, секретарша и должность начальника агентства Туба-сити. В его жилах течет три восьмых ирокезской крови, и позже, смягчив свою подозрительность, он нарисовал на блокнотном листке родословное древо, небрежно изобразив предков квадратами.

Мистер Хоуэлл — чиновник Бюро по индейским делам (БИД), которое является верховным опекуном индейцев и находится в Вашингтоне. Ирокез на три восьмых, он жестко очертил единственную тропу, по которой, на его взгляд, дано идти индейцам и которую они во многом уже прошли — растворение в американской массе, смерть собственной культуры, традиций, образа жизни.

Он снял телефонную трубку.

— Мисс Джоргенсон? Говорит Хоуэлл. У меня здесь репортер из России. Да, да, из России. Покажите ему

вашу школу. Что? Покажите все, что он захочет. У нас ведь нет секретов, не так ли?

Это была большая школа-интернат на 1100 детей навахо со светлыми классами и коридорами, двухэтажными рядами коек в общежитии и чистой механизированной столовой, где кормят три раза в день. Бесплатная восьмилетка, где все расходы — от учебников до похлебки из баранины — берет на себя БИД. Основательная школа, куда приходят дети из нищенских хоганов, слепленных из глины и камней, где обучают их английскому языку и другим предметам,

прививают им навыки гигиены, делают их бойскаутами и герлскаутами, возят их на вокзалы, аэродромы, в города, открывая мир за пределами пустыни, прикрытой кустиками шалфея.

Там не было секретов, за исключением одного, но и его не скрывала откровенная мисс Джоргенсон. Это — санпропускник, пункт по ускоренной ассимиляции.

Вступая в него, навахо подписывают, сами того не ведая, акт отречения от своего народа. Начинается с отречения от языка — преподавание ведется только на английском. Из 42 учителей лишь три навахо.

У самого большого индейского племени в США нет своей письменности, и никто не заботится о ее создании. Нет своих историков, писателей, поэтов — ничего, кроме устного фольклора, хранимого знахарями.

В школе маленький индеец лишается корней. Позднее он поймет, что это такое.

После школы он обнаружит, что ему нет ни работы, ни места, ни покоя среди нищеты резервации, и кинется в большой мир, но там надо уметь биться за свое место под солнцем, уметь конкурировать с теми, кто из поколения в поколение усваивал искусство выжить, там он сталкивается с равнодушием, презрительной кличкой «чиф» и с недоумением, внушенным телевизионными фильмами: индеец, а без перьев...

Мы ходили по классам и из одного школьного дома в другой, и мисс Джоргенсон первой приветливо здоровалась с нянечками в общежитии и поварами в столовой. Но в них была нелюдимость и недоверчивость, словно еще продолжалась война с «англо» — так зовут навахо белых американцев.

Мы проехали мили две на юго-запад, к другому форпосту «господствующей культуры» — к торговому посту Керли. Он совмещает функции сельмага, фактории и ломбарда. У входа в желтый приземистый дом сидел древний индеец в черной шляпе, с морщинистым старушечьим лицом. Он оглядел двух «англо» исподтишка, не унижая достоинства любопытством. Кассой заведовала миловидная индианка. Еще несколько женщин навахо в цыганских оборчатых юбках и шалях присматривались к пестрым, броским, как из другого мира, этикеткам на жестянках и картонках. У заднего входа была навалена шерсть, и в подвешенном над ямой двухметровом мешке, спрятанный чуть ли не по шею, плясал худой индеец, уминая состриженную овечью дань. Здесь, с заднего хода, навахо сдают шерсть и мясо.

Над всем властвовал холеный голубоглазый здоровяк в тугих штанах и шляпе «вестерн» на красивой бритой голове. Владелец торгового поста. Надо ли говорить, что это был чистокровный «англо».

Он провел нас за складную металлическую решетку и обитую сталью дверь ломбарда. Стены были увешаны в три ряда ожерельями, браслетами, бусами, драгоценными поясами. В шкафу лежали кольца и серьги.

Я впервые увидел поэзию навахо, их любовь к неброской, но истинной красоте, к благородной скупой игре чеканного серебра и бирюзы в древних бурых прожилках.

Как шерсть и мясо, красота обменивалась на хлеб, соль, крупу, консервы.

Красота текла неиссякаемым ручьем: по 20 — 30 навахо в день, из ближних и дальних мест, а то и просто проезжие наведываются к ростовщику.

Здоровяк покачал на ладони ожерелье с большими камнями бирюзы, уложенными на серебре подковой — на счастье.

А вот это старинная вещица. Долларов на пятьсот потянет...

Я посмотрел на ярлык, привязанный ниточкой к ожерелью. Его заложили за 18 долларов. Здоровяк не смутился.

— Ну что ж, и выкупят его за восемнадцать плюс пять процентов.

— А если не выкупят, за пятьсот продадите?

— Да.

Он объяснил, что дает своим клиентам полгода ороку и может отложить выкуп еще на два-три месяца, случись что-нибудь, — свадьба, там, либо смерть, либо рождение. С хладнокровием коршуна, знающего, где подстергать добычу, он ответил на вопрос, почему же они несут ему свои семейные реликвии.

— Они не заботятся о завтрашнем дне. Есть сегодня доллар — истратят, а завтра — что бог пошлет.

Не раз я слышал потом эти слова, уверенные и доверительные слова торгашей-суперменов, делающих бизнес на нерасчетливости «краснокожих».

— Значит, прибыльное у вас дело?

— Работать много приходится. С утра до вечера на ногах. И живешь тут же.

— А дело-то все же прибыльное?

— Работать много приходится...

Он проводил нас к выходу сквозь оробелый строй покупателей.

По пути обратно мисс Джоргенсон говорила о нем с почтительным

уважением: богатейший человек в округе, за разумную цену продает учительницам невыкупленные драгоценности.

Школа гордилась мирным сосуществованием с ростовщиком.

Вечером, поужинав в кафе возле бензоколонки, где музыкальный автомат наигрывал «Арриведерчи, Рома» и три парня переглядывались с тремя девушками, я вернулся в свой колониальный мотель. Было темно и тихо, и лишь за стеной беспокойно ворочался школьный инспектор, обещавший захватить меня завтра в Уиндоу-Рок — административный центр всей резервации.

Я листал сочинения учеников седьмого класса, которые дал мне учитель истории. Сочинения были о Советском Союзе. «У России есть большая страна под названием Советский Союз, — писала Кэти Спинсер. — Никто точно не знает, сколько людей живет там. Свобода в России не всегда так свободна, как в Соединенных Штатах...» Сэкли Кли подхватывал эту тему: «Им не разрешают читать газеты, слушать радио, смотреть телевизор и делать другие вещи, которые мы делаем в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах мы можем учиться столько, сколько захотим, и работать на разных работах...»

Это был сплошной смех сквозь слезы, но приходилось удерживать и то, и другое, дабы не разбудить школьного инспектора за стеной.

В Нью-Йорке, примериваясь к карте штата Аризона, к границам резервации навахо, в которую вписан четкий прямоугольник резервации хопи, я представлял, каким интересным может быть это путешествие от Туба-сити до Уиндоу-Рок, с запада на восток, почти через всю землю навахо. Но школьный инспектор, милостиво взявший меня в свою машину, очень торопился. Получились 153 асфальтированных, хорошо уложенных и молчаливых миль по дороге номер 264, и в конце их Уиндоу-Рок, где волею госдепартамента я превращался в подобие козы, привязанной к колышку: с правом щипать травку информации лишь в радиусе 25 миль.

Земля навахо, потом хопи, потом снова земля навахо струилась за стеклом машины со скоростью 70 миль в час, дымчато розовела знаменитая «крашенная пустыня», приманка для туристов и предмет фотографического честолюбия Барри Голдуотера, который неплохо снимает аризонские пейзажи и сетки морщин на лицах старых индейцев, мелькали крошечные поселения — Хотевилла, Орай-би, Поллака, Джеддито, мелькали и уносились назад, неразгаданные,

неведомые, зря подразнившие. Пустынное плоскогорье с независтливым величием сурового простора. Слоеные пироги песчаника. Скупа здесь кухня природы. И суха. Обнаженные русла, как след доисторического ящера. Вода дорога. Природных водоемов мало. Артезианские колодцы — по 10 тысяч долларов за штуку.

Мы сделали лишь две остановки. Один раз, вняв моим уговорам, инспектор свернул с асфальта на пыльный щебенный пустыни, к деревне хо́пи — в отличие от навахо индейцы хо́пи живут оседло.

Улиц в деревне не было. Глинобитные дома сбежались толпой, да так и замерли друг перед другом, установив свое родство через окошки-бойницы. Деревня была ближе

к Арабскому Востоку, чем к Америке с ее пестрыми рекламными красками. Нищие женщины смотрели на нас как на оккупантов. Мужчин не видно. Развернувшись, мы отбыли восвояси.

Вторая остановка была подольше. В современном здании у дороги, принадлежащем артели художников хо́пи, инспектор заказывал украшения для жены. На какие-то части своей крови он тоже индеец, хотя не хо́ли и пе навахо.

Опять я увидел эту красоту без крика и моды, вечную, а не образца 1967 года, незнакомую, но принимаемую сразу. Опять достоинство, свое чувство меры и цвета в плетеных тарелках и корзинах, в домотканых коврах, в соседстве серебра с бирюзой.

А навахо так и не было близ дороги номер 264, тех кочевников-овцеводов, что лепят свои временные хоганы из глины, веток и камней, изгоняют злых духов хвори на сложнейших церемониях, дирижируемых знахарями, исповедуют своеобразную гармонию с природой и даже не подозревают, что кто-то зовет их навахо, так как себя они зовут «дине» — «народ». Народ поглощала пустыня. По дороге встречались лишь их соплеменники, кочующие уже на высоких сиденьях грузовичков «форд» и «шевроле».

К концу третьего часа пути пустыня ожила приземистыми крепкими соснами и довольно щедрыми, хотя и никчемными, с овечьей точки зрения, зарослями шалфея. Миновав круглое здание «сивик сэнтер» — нечто вроде дома культуры, и комбинированное здание суда и тюрьмы, мы въехали в Уиндоу-Рок. На окраине громоздилась массивная скала с большой дырой на вершине. Уиндоу-Рок в переводе с английского означает окно-скала, окно в скале.

Инспектор, затормозив машину у мотеля «Уиндоу-Рок лодж», пошел за стойку кафе есть «хэ́мбургер», словно и гнал всю дорогу лишь ради своевременной встречи с пресной котлетой, всунутой в круглую булку и политой кетчупом.

Я снял комнату в мотеле, получив на четверо суток кровать, стол, стул, поломанную лампу, завывание ветра и аккуратные барханчики кремowego песка под дверью. 165 миллионов лет назад, в мезозойскую эру, эти ветер, песок плюс вода высверлили окно в скале, не подозревая, что в наши дни для навахо оно станет символическим окном в Америку. В 1936 году Бюро по индейским делам создало здесь административный центр резервации. После второй мировой войны в Уиндоу-Рок разместилось и правительство племени.

Была пятница, конец рабочего дня и канун уикэнда. Уиндоу-Рок вымирал с автомобильной скоростью. Индейский служилый люд разъезжался по домам, усаживаясь возле канцелярий в машины с надписью на бортах: «Чиновник. Племя навахо». В кафе при мотеле наглаженный полицейский навахо болтал с красивой официанткой навашкой. У нее была прическа а-ля Софи Лорен и взгляд, позаимствованный с обложки журнала.

В коридорах главного административного здания было чисто и пусто, левое крыло отведено правительству племени, центральная часть — сотрудникам БИД. В самом большом кабинете под портретом председателя совета племени Раймонда Накаи сидел пожилой, почтенного вида человек — мистер Грэм Холмс. «Англо».

— Догадываюсь, что эта резервация у меня под началом, — так насмешливо, но твердо определил свое положение мистер Холмс, директор резервации, главная здешняя рука Вашингтона.

В его штате 4500 человек. Сам он — адвокат из Оклахомы с 18-летним стажем службы в БИД. А у кресла мистера Холмса более давняя история.

В 1863 году, замиряя воинственное племя навахо, генерал Карлтон отдал приказ: мужчин — убивать без разбору, женщин, детей, овец, лошадей — захватывать, урожай — уничтожать. (Девушек сбывали работоторговцам, толкуя приказ расширительно.) Девять рот добровольцев полковника Кита Карсона и натравленные на навахо окрестные племена уте, зуни, хопи выполнили задачу. Потом была «долгая прогулка» за 300 миль, в юго-восточный угол Нью-Мексико, в «загон для навахо» — форт Семнер. Туда под конвоем пригнали 7 тысяч, «растеряв» многих по дороге. Потом три голодных года, тощий рацион, разграблявшийся на две трети офицерами и чиновниками БИД и дополнявшийся крысами и дикими кореньями, холодные зимы без топлива и крова, тоска по родине. В 1868 году, отчаявшись в эксперименте, Вашингтон вернул навахо на их родную землю меж четырех священных гор.

Они пришли с крепкими зарубками в памяти и с бумагой на

неведомом им английском языке, на которой стояло также восемнадцать крестов — подписи неграмотных вождей племени. И память, и бумага до сих пор остаются в силе, определяя моральные и юридические отношения навахо с «англо». Бумага была договором о создании резервации. Племенная общинная земля и само племя переходили под опеку Вашингтона.

Грэм Холмс — далекий преемник свирепого полковника Кита Карсона. Интеллигентный преемник. В его голосе не свинец, а добродушная снисходительность опекуна и наставника. Под его началом не солдаты, а учителя: 92 процента расходов БИД идет на образование и профессиональное обучение.

— Мы, конечно, делаем ошибки, — признает он и добавляет философично: — Все делают ошибки.

К ошибкам он относит, например, то, что для навахо не создано письменного языка.

— Индейцы боятся ассимиляции. Они хотят сохранить свое лицо, свой уклад жизни, — говорит Грэм Холмс. — Мы тоже хотели бы сохранить их образ жизни, но как быть с экономикой? Мы развиваем зачатки городских центров с тем, чтобы постепенно на резервацию пришла индустрия. Мы оставляем для них выбор. Хочешь ассимилироваться — поезжай в Чикаго или еще куда. Хочешь оставаться — твое дело... Конечно, вне резервации им бывает трудно. У нас много экстремистов. Индейцев дискриминируют. Их боязнь понятна: а примет ли белый человек в свою среду? Проблемы разные, в том числе проблема доброты. Индеец не может отказать в помощи соплеменнику, даже если эта помощь чревата финансовым ущербом для него...

В жизни проблемы еще жестче, чем в кабинете Грэма Холмса. Одну из них — «проблему доброты» — облек в житейскую плоть американец Нельсон, менеджер мотеля «Уиндоу-Рок лодж». Со мной он говорил откровенно, «как белый с белым».

— Мозги, что ли, у них иначе устроены. Уж если навахо завел пикап — в кредит, конечно, — то встает он с утра на час раньше и едет за пять-шесть миль забирать своих приятелей, чтобы подвезти их на работу. Бесплатно. Бесплатно, вот в чем штука! Потеха. А я ему говорю: почему же не возьмишь с них? Ведь тебе это кое-что стоит. Куда там! Отказывается. Ничего, говорит, ведь это мои приятели, ведь у них пикапов нет. Ей-богу, они меня уморят...

Я услышал и другие были о чудной, непонятной «англо» доброте индейцев. Об индейской семье, которая купила, опять же в кредит, большой холодильник и продуктов на два-три месяца, а родственники и

члены клана, узнав о покупке, пришли поглазеть, и через четыре дня в холодильнике были одни эмалированные стенки. О навахо, который, вздумав стать бизнесменом, взял заем в банке, арендовал бензоколонку у корпорации и быстро прогорел, потому что рука у него не поднималась брать с родственников и знакомых, а их сотни — племенное родство обширно. О том, что индейцы не умеют «аккумулировать» вещи, копить деньги и пускать их в оборот.

Не один Нельсон рассказывал такие истории. Хохоток его стоит у меня в ушах.

Усталое лицо. Шнурочек галстука «вестерн» пропущен через индейскую брошь — серебро с бирюзой. Старый холостяк. Ресторан собственный в Фармингтоне, на севере штата Нью-Мексико. В Уиндоу-Рок уже два года управляет мотелем, принадлежащем племени навахо. А до него шесть менеджеров, все белые, бежали в течение двух лет. Мотель неприбыльный, но мистер Нельсон получает жалованье, сократил дефицит, за него в Уиндоу-Рок держатся. Он имеет дело с индейцами с 1955 года.

— Они ненавидят нас, белых, — откровенничает он. — Скажу вам, у них есть на это свой резон. Они помнят ту «долгую прогулку» в форт Семнер, и старики передают молодым: «Помни!»

Нельсон работающ, практичен. Говорит, что, будь у него официанты, повара и уборщицы белые, а не навахо, он обошелся бы восемью—десятью, а не восемнадцатью работниками. Верность навахо «индейским путям» вызывает у него уважение.

Но все заглушает хохоток супермена.

Современный поэт озорно и проникательно воскликнул: «По наитию дуй до берега! Ищешь Индию? Найдешь Америку!» Конечно, не эту ситуацию имел в виду поэт. Но там, в Аризоне, не случайно вспомнились мне его слова. Я искал индейцев навахо, но в Уиндоу-Рок, та этом отчетливом стыке двух образов жизни, нашел Америку в лице типичного мистера Нельсона.

Ту Америку, которая накопила на ресторан в Фармингтоне и смеется над чудачком индейцем, ставящим товарищество выше расчета. Смеется, будучи уверена, что смех ее подхватят все «белые люди». С одной стороны, общинные традиции навахо, коллективизм и взаимовыручка. С другой — американский образ жизни, акцентирующий индивидуализм, чистоган и славящий так называемую конкурентоспособность, известную в обиходе под названием «крысиные гонки». Нелепо защищать нищету и пасторальных овечек против индустрии и высокой производительности труда. Но если бы

дело обстояло так просто, то была бы проблема большая, мучительная, но не трагическая. А трагедия индейцев в том, что племенной строй идет под экономический и психологический пресс американского капитализма, самого высокоразвитого и жестокого.

Чем труднее индейцам вписаться в «господствующую культуру», тем легче частному бизнесу облапошивать их. «Американский образ жизни» работает на щук и акул, промышляющих на территории резервации и вокруг нее. Из 150 лавчонок, торговых постов, бензоколонок и других коммерческих заведений в резервации индейцам принадлежат лишь 40. На территории резервации запрещена продажа спиртного — раздолье для бутлегеров. Нет продовольственных магазинов, принадлежащих племени, — раздолье для белых торговцев, которые дерут вдвое и втрое.

Гэллап — городок на 17 тысяч человек, в 26 милях к юго-востоку от Уиндоу-Рок — называет себя всемирной столицей индейцев, хотя населен в основном белыми и лежит вне резервации. Реклама не без иронии восхваляет его как лучший город для бизнеса между Канзас-сити и Лос-Анджелесом. Хотя обе заявки преувеличены, Гэллап умело вытягивает индейские доллары, и круглый год, и в августовский межплеменной праздник. Здесь процветает все, чего лишена или почти лишена резервация: бары, магазины, прачечные, доктора, кредиторы. Флэг-стаф на юго-западе, Гэллап на юго-востоке, Фармингтон на северо-востоке — резервация взята в кольцо частного бизнеса.

Я запомнил субботнюю, смешную и грустную, экспедицию в Гэллап с индейцем Чарли Гудлаком, 68-летним отставным бухгалтером племени, мощным мужчиной в старом макинтоше и сандалиях на босу ногу.

Первая ловушка была в двух милях от Уиндоу-Рок, прямо на границе резервации, — винный магазин. Чуть подальше, где язычок резервации снова пересекал дорогу, у обочины стояла мусорная бочка—там выбрасывают банки из-под пива; и пустые банки улика, если на территории резервации их обнаружит полиция.

Гэллап встретил нас мертвыми глазами заброшенных домов там, где некогда жили шахтеры, и коммерческой активностью Коул-авеню (Угольной улицы), которая переориентировалась на навахо и зуни после того, как шахтеры ушли с закрывшихся шахт. Фирменной эмблемой города на многих магазинах висели вывески: «Ломбард и займы».

— Сейчас увидите индейцев в действии, — оказал Гудлак саркастически и безнадежно.

И я увидел. Это был набег на Гэллап давно замиренных навахо, и он сопровождался щелканьем касс в магазинах и барах, а у касс стояли

усердные белые леди и джентльмены.

И чем оживленнее становились Коул-авеню и перекресток возле «Шлитц-бар», чем яростнее раскручивалась эта карусель из индейцев в шляпах и штанах чертовой кожи, тем чаще мелькали зеленые полицейские машины с зоркими белыми стражами порядка. А порядок в том, чтобы сдавать доллары гэллапским купцам по возможности без шума и пьяных драк.

Здесь вершилось то же самое, что и в Флэгстафе, но масштабы были пошире: ведь Гэллап — всемирная столица индейцев.

Одним из эпизодов нашей с Гудлаком экспедиции был откровенный разговор с видным чиновником племени навахо, имя которого я не назову, потому что я встречался с ним позднее, уже в его кабинете, и он сидел сконфуженно, словно сожалел о той субботней откровенности. А тогда он сказал, что в Гэллап идут индейские деньги и скот, ковры, ювелирные изделия и что индейцев грабят на многочисленных торговых постах в городе, получая не меньше ста процентов прибыли, и что нет ни одного торгового поста, принадлежащего навахо.

— А почему?

— У белых деньги и влияние. Даже если бы у меня были доллары, чтобы купить лицензию на открытие торгового поста — а их у меня никогда не будет, — все равно мне ее не дали бы. Суды и влияние у белого человека.

В Гэллапе вершили разбой среди бела дня, причем под охраной судов и полиции. А где-то рядом обитал мистер Грэм Холмс — директор резервации, опекун и просветитель навахо. Каков бы он ни был, ему не сладить с гэллапской субботой — там работала система.

1967 г.

УСМЕШКА ХИППИ

Когда мы пришли, на улице Святого Марка между Второй и Третьей авеню уже собралось тысячи три юношей и девушек. Джинсы. Юные усы и бороды. Волосы по плечи даже у ребят. Вечерняя темнота затушевала помост, но видно было, что он двухярусный. И на первом ярусе у микрофонов стояли ребята с электрогитарами, а на втором, узком и шатком, — девушки, готовые задавать «вибрацию» толпе. На

крыше невысокого дома, возле которого поставили помост, белели в темноте два лица. Над лицами угадывались полицейские фуражки. У нью-йоркских «копов» тоже бывают свои забавы, но тут была служба, долг.

Перед микрофоном возник тщедушный Джим Форетт — слабый подбородок подростка, нимб нечесаных волос, синий свитер. Он призвал толпу расступиться. Потом резко ударили гитары и электронные резонирующие звуки рок-н-ролла заметались в узком коридоре улицы под темным, беззвездным нью-йоркским небом. Толпа «завибрировала». И девушка перед нами, «вибрируя», вынула из пакета горсть черешен и раздала тем, кто был рядом. Нам тоже досталось по ягодке на тонком черенке, и, осторожно помяв в пальцах нежную кожицу, я вспомнил и сказал коллеге:

— А ты что мешкаешь, Боря?

— Ах да, — вспомнил и Борис, — в самом деле.

Он вынул из кармана цветок и галантно протянул его девушке. Надо было, конечно, исполнить ритуал до конца, но на это ни Бориса, ни меня не хватило. Надо было сказать: Love... Любовь...

Мы пробились к Третьей авеню, где толпа была пореже. «Вибрировали» многие. Молодой негр выделял рок-н-ролл самозабвенно, с африканским чувством ритма. Какой-то парнишка, положив гитару на мостовую, не Спеша — свой в этой толпе — обрызгивал ее краской из пульверизатора, и гитара оранжево-празднично засветилась в темноте.

В конце улицы Святого Марка был деревянный полицейский барьер, и возле него Джим Форетт раздавал простейшие плоские палочки, которыми помешивают кофе в бумажных стаканах. Пять минут назад эти палочки, незамеченные, небрежной грудой лежали на мостовой, а теперь Джим раздавал их, подняв с асфальта на уровень символа. Проходя, мы взяли по палочке, и я — о проклятая недогадливость! — спросил Джима:

— А это зачем?

Но Джим не обиделся и ответил мягко:

— Может, для чего-нибудь пригодится...

В Нью-Йорке тысячи разных Нью-Йорков, и почти за каждым своим углом город меняет декорации человеческих трагедий и комедий.

Рокк еще слабо гудел в отдалении, но мы уже шли по совсем пустой улице, где не было ни черешен, ни цветка, ни животворящего тока молодости, ни ожиданий. Разметав ноги в драных штанах, упершись всклокоченной, далеко не юной, не модной бородой в собственную грудь, мучительно таращил на нас глаза одинокий человеко-зверь,

пропойца, умирая — в который раз! — от неутолимой жажды. Ложем ему служил асфальт, а изголовьем — стена, и какое было ему дело до разных палочек, если пуста была валявшаяся рядом стеклянная фляжка. Тут простирались отроги знаменитой Бауэри, улицы ночлежек и алкоголиков, самой незамаскированной самой откровенной улицы Нью-Йорка...

Я накидал вам шарад, читатель. Что поделаешь? Итак, психоделия. Это не наука, а скорее практика расширения сознания», причем все более массовая. Расширяют прежде всего при помощи марихуаны, а также других наркотиков и «вибрируя» под звуки рок-н-ролла. Длинноволосых молодых людей зовут хиппи, хотя это хлипкое словцо рождено не ими и не всем им нравится. Обмен цветками, черешенками, палочками, а то и самодельными сигаретами с марихуаной несет символическую нагрузку — это как бы таинства их религии. Это идея дележа, но не такого, когда акционеры делят дивиденды, а бескорыстного, из чувства симпатии. Это идея братства и общности. Хиппи протягивает цветок даже полицейскому.

Джим Форетт — связной между анархичными «племенами» и «коммунальными семействами» хиппи. Познакомил нас Дон Макнил, репортер а-ля хиппи, бросивший среднюю школу на Аляске и приехавший в Нью-Йорк за работой и жизненным опытом. По дороге в кафе «Фигаро», где назначена была встреча, Дон завел меня в подвальный магазинчик. Там пахло индийскими благовониями и шла бойкая торговля ширпотребом, расширяющим сознание. Я примерил очки из ограненного стекла. Мир стал многоцветным. Мир, преломляясь через грани, радужно сиял.

Много ли надо, чтобы увидеть небо в алмазах?

Это были психоделические очки.

При первой встрече Джим Форетт уловил во мне иронию. Он огрызнулся. Когда я спросил его о родителях, Джим ответил зло: отец — миллионер, а мать — проститутка, знаете, как обычно бывает в семьях миллионеров...

При четвертой встрече мы лучше поняли друг друга. Он из богатой семьи, отчим — преуспевающий бизнесмен. С детских лет над Джимом шефствовала организация «Юношеское достижение», которая — куй железо, пока горячо! — учит подростков, как заводить самостоятельный бизнес, а заодно и взглядам берчистского толка. Потом Джим был в привилегированном Гарвардском университете. Там он понял, что в нем развивают дельца и умерщвляют человека. Там он возненавидел универсальную мерку меркантилизма: «Самое быстрое — значит самое экономичное, самое дешевое — значит самое практичное».

Кто увел его из ортодоксальной буржуазной Америки? Представьте себе, Станиславский Константин Сергеевич. Джим увлекся сценой, и «Метод» (то есть система Станиславского) позволил ему «взглянуть в себя» и убедиться, куда ведут «юношеские достижения». Он бросил университет. Стал актером и хиппи.

Вот кредо, которое я слышал не только от Джима, но и от Дона, и от Пола, и других хиппи: в этом обществе нас заставляют делать машинную работу. Но пусть машины делают машинную работу. Мы хотим чего-то более значительного, творческого.

Это не пустые слова, это — крик молодой души, над которой нависла угроза уничтожения.

Старосветские помещики, как нам известно со школы, не жили, а растительно существовали.

Новосветские бизнесмены очень динамичны. Но и они не живут. Они функционируют, как машины, они запрограммированы на манер электронно-решающих устройств.

На разных полюсах не только наши социальные системы, читатель. Разные полюса бывают и у наших нравственно-этических проблем. Поэтому так непонятна Америка со стороны, тем, кто в ней не жил. К примеру, мы за то, чтобы повышалась деловитость наших людей, наших работников. Ура деловым людям! Но если они остаются людьми.

Вот так называемое «интервью под давлением», усовершенствованный метод проверки качеств бизнесмена.

«— Предположим, что либо вы, либо ваш ребенок должны умереть завтра, но от вас зависит — кто? Кого вы выберете?

— Пожалуй, я выберу себя.

— Почему?

— Трудно сказать. Наверное, потому, что я жил намного больше, чем он, и ему предстоит жить больше.

— А не думаете ли вы, что это довольно глупый ответ? Как вы примирите его с вашей ролью мужа, отца и кормильца?

— Но мой ребенок молод и...

— Какое это имеет значение? Я вас не понимаю. Что вы этим хотите доказать?

— Не знаю... Я полагаю...»

Этот диалог взят из журнала «Лайф», где опубликована рекламная статья о методах работы одного процветающего частного агентства по подбору высших кадров для ведущих корпораций. Кандидат в большие боссы уже колеблется, почти готов «убить» своего ребенка. Ему уже стыдно за эмоции. Поздно. У него обнаружили остатки души и, следовательно, недостаток «эффективности». «Его шансы зацепить

работу на 50 тысяч долларов в год практически испарились», — резюмирует журнал.

Оскар Уайлд заметил однажды, что американцы знают цену всему, но абсолютно лишены представления о ценностях. В его время не было ни Пентагона, ни кадрового агентства Курта Эйнштейна, бракующего глупых бизнесменов, у которых атавизм отцовской любви берет верх над расчетом. Но с тех пор в мире чистогана так развились невежество по части человеческих ценностей и эрудиция по части цен, что поэт Аллен Гинсберг собирает тысячные аудитории для обсуждения поистине гамлетовского вопроса: живы ли мы? Или лишь функционируем?

Статья в «Лайфе» написана не о хиппи, но она помогает понять, откуда они берутся и почему они быстро «размножаются». Их около 15 тысяч в Нью-Йорке. В сан-францисском районе Хэйт-Эшбери, их «мировой столице», — от 50 до 150 тысяч. Их колонии возникают всюду. В массе — это отпрыски «среднего слоя», зажиточных, а то и богатых семей.

Вот мстительная усмешка хиппи — идеалы дельцов ниспровергают их дети. Они выросли среди автомашин, телевизоров, акций, кредитов, скрупулезных домашних grossбухов, а когда пришла пора созревания, усмехнулись в лицо родителям: вы знаете цену всему, а как насчет смысла жизни?..

И переступили отчий порог, поняв лишь одно: не в том смысл жизни, чтобы на новом витке спирали повторить своих родителей...

Их идеал негативен — экстравагантное стопроцентное отрицание стопроцентного американца. С босых ног на асфальте городских улиц, со стоптанных сандалий до бород, запорожских усов, длинных волос, кустарных бус и коровьих бубенцов на юношеских круглых шеях. Их босяцкая небрежность в одежде бросает в дрожь торговцев: что будет с прибылями, если аскетизм придет на смену потребительской вакханалии и заразит всю молодежь.

Стопроцентный пунктуален: время — деньги. Хиппи отвергает эту философию вместе с изделиями часовой индустрии и мечтает жить вне времени.

Стопроцентный — индивидуалист, «одиноким волк». Самая активная секта хиппи — «диггеры» — берет за образец тех английских фермеров, которые безвозмездно раздавали плоды своего труда нуждающимся.

Бог стопроцентного, будь он Христом или Иеговой, работает мелким клерком в штате у Маммоны. Хиппи, потеряв всякую надежду на отечественных богов, ударяется в атрибуты зен-буддизма, который,

как ему кажется издалека, оберегает «цельного» человека и не усекает его до дельца.

В модный американский спор на тему: жив ли бог?— хиппи вносит позарез нужную иронию. «Бог жив, но ему просто негде припарковаться», — пишет он на своих круглых разноцветных значках. «Бог жив, но на бархатный сезон выехал в Майами».

«Цветочные ребята» не любят политику, не верят ни в республиканского слона, ни в демократического осла, ни в двухпартийного идола антикоммунизма. Они и воз- никли-то во многом как незапланированный Вашингтоном результат вьетнамских эскалаций, жестокости и цинизма грязной войны.

Я набрел однажды на психоделическую лавку, размещенную в старом автобусе. Автобусные бока украшала живописная политическая реклама «художника, философа и поэта» Луи Аболафия. Он предлагал себя в президенты США. Под фотографией нагого крепкого мужчины, прикрывшего срам шляпой-цилиндром, стояла надпись: «По крайней мере, больше мне нечего скрывать».

В другой раз я вернулся домой с записями музыки, популярной среди хиппи, и долго крутил одну и ту же понравившуюся мне песню. Спокойные начальные такты гитар, короткий скрытый разбег — и вдруг неистовый, хриплый голос и, как выламывание двери, как таран, слова: «Беги! Скрывайся! Прорывайся на другую сторону!!!»

Накатом, лавиной, отчаянной попыткой рвется рефрен: «Прорывайся на другую сторону...»

Какая она, эта другая сторона?

Мы с товарищем наблюдали один из экспериментов «прорыва» — показательную свадьбу хиппи. В покоем на сарай танцзале «Палм гарден» психоделический дым стоял коромыслом. Щекотало ноздри пряным, горьковато-сладким фимиамом. В полутьме вспыхивали сигаретки с «травой» — марихуаной. Разрывая барабанные перепонки, грохотал джаз племени «Групповой образ». Девушка лет шестнадцати, тонкий стебелек в мини-юбке, самоотверженно «вибрировала» на сцене, воодушевляя зал. Розовый луч искусно бродил по психоделическим панно на стене, зажигая их фантастически яркими красками — то светящийся венчик как бы луны в затмении, то сияние какой-то пушистой огромной зеленой молекулы. Не покладая кинокамер, работали две операторши подпольного кино. Бармен-негр, философски озирая эту суету сует, снабжал желающих пивом и виски.

Гудела толпа... Гудел джаз...

Потом разверзлись двери, выходящие прямо на мостовую, и загудели, заурчали увитые цветами мотоциклы. И мы увидели Джима

Форетта в белых индийских одеждах, фосфоресцирующих синим огнем. Он сидел, ухватившись за черную куртку мотоциклиста. За ним на других мотоциклах фосфоресцировали жених и невеста. Потом Джим умиротворенно стоял на площадке посередине зала, взяв молодых за руки, — буддийский монах-любитель родом из Новой Англии. Светились не только его одежды, но и ноги в сандалиях, помазанные каким-то составом.

Так «расширяли сознание» на 52-й улице Манхэттена между Восьмой и Девятой авеню, рядом с Бродвеем, где по-вечернему фланировали любители привычных зрелищ.

Одна нью-йоркская газета, описав эту свадьбу, вывела стандартно-ехидную мораль: у молодоженов было лишь 25 центов, и жених не мог угостить невесту даже кока-колой.

А мораль сложнее. Хиппи знают, откуда бежать, но, увы, не туда прорываются, хотя и их прорыв красноречив.

Почему оглушающий джаз? Он нужен, чтобы отнять у человека язык, голос. Словам нет веры, слова лживы, язык скомпрометировал себя. Музыка — без обмана. Неистовый ритм рокка будит заснувшие души и тела.

Почему пиршество красок, таких странных, радужных, непривычных? Америка ярка, как лубок, расписанный современной, самой мощной в мире химией, но только не для своих детей, чьи эмоции омертвели. Надо растормошить их, встряхнуть невиданными взрывами цветов.

¹⁴Зачем марихуана? Зачем эти добровольные галлюцинации? Уход в себя, «отключение» внешнего мира, в котором ты вынужден функционировать с девяти утра до пяти вечера, индивидуальные «поездки» в мир галлюцинаций при помощи наркотиков стали массовым явлением в Америке.

«Внутреннее путешествие является новым откликом на электрический век. Веками человек предпринимал путешествия внешние, типа Колумбова. Теперь он направляется внутрь себя», — это слова Маршалла Маклюэна, профессионального теоретика таких путешествий.

Улица Святого Марка, с которой я начал свои заметки, расположена на юге Манхэттена, в районе Ист-Виллидж. Бурное нашествие хиппи случилось летом 1967-го. А вообще-то Ист-Виллидж — давний район бывших украинцев, русских, поляков. На соседних авеню перспективно ширится новое, пока еще компактное пуэрториканское гетто. Наш брат навещается к бывшим славянам за душистым хлебом, колбасными изделиями «братьев Стасюк» и за яблоками, которые, в отличие от

других американских яблок, не опрыснуты какой-то чудо-штукой, предохраняющей их от гниения, но убивающей витаминное, благоухающее яблочное первородство.

В Ист-Виллидже контрасты не просто соседствуют, они наложены друг на друга. Бывшие славяне в разное время и по разным причинам бежали в Америку. А теперь сюда бегут, добровольно селясь в трущобы, молодые американцы, которые могут проследить свою родословную чуть ли не до «Мэйфлауэр», первого корабля с пилигримами-англосаксами. Они бегут сюда не к славянам, а из Америки своих благополучных пап и мам. Какая пестрая картина, поистине расширяющая сознание!

Хиппи высаживают древо любви в городе, где любви меньше на квадратную милю, чем в любом другом месте земного шара. Пуэрториканцы, приехав за призраком счастья и попав в трущобы, накапливают ненависть и по примеру негров подумывают о бунтах. Хиппи проповедуют «партизан любви», а негритянские радикалы — реальную партизанскую войну в гетто американских городов.

Одной встречи, честно говоря, я не ждал во владениях хиппи. Но она произошла — в магазине на улице Макдугал, где все стены от пола до потолка покрыты сотнями плакатов. И среди киноактеров, и пророков хиппи и разной цветной психоделии я вдруг увидел Ленина. Знаменитый портрет, которому, помните, докладывал Маяковский.

Товарищ Ленин, работа адова
Будет сделана и делается уже...

В магазине это был портрет как портрет — со скромным местом на стене, под номером 116, рассчитанный лишь на любопытство. Я подумал о Маяковском. Желтая кофта футуриста дразнила российского обывателя, как сейчас дразнят американского бубенцы на шее хиппи. О Маяковском, которого организовали — в высочайшем смысле этого слова — Ленин и революция. О Блоке, призывавшем слушать «музыку революции». Можно отрицать американский мир и посредством марихуаны, по переделать его таким путем нельзя.

1967 г.

КИНОЭКСКУРСИЯ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

Дом-небоскреб темной громадой заполнил весь экран. Ранним, непроницаемым еще утром пусто отсвечивают его темные окна. Дом без судьбы, с которым вот-вот расстанутся строители и встретятся жильцы. Но на самом верхнем этаже, в пентхаузе, чьи-то окна уже освещены, чья-то жизнь уже светится. Две темные фигуры смотрят на пентхауз, входят в подъезд. У одного в руках баул типа докторского. В бауле две бутылки виски, палка колбасы салями и мотки разноцветных лент, которыми в магазинах окручивают подарки. Баул, как и самих себя, они раскроют позднее. Сумасшедшие алкоголики. Уголовники. Наверху тоже двое. Он — средних лет агент по продаже недвижимости. Она — молоденькая продавщица из магазина. Любовники. В пентхаузе комфорт и утренние разговоры. Мелодичный звонок, голос за дверью: «Газопроводчик...»

Через четверть часа он сидит в вертящемся кресле, накрепко скрученный подарочными лентами. Она стаканами хлещет виски, обнимаясь с незнакомцами. Ему жутко оттого, что ей весело. Потом еще час искусно сделанного садизма, стриптиза, порнографии под омерзительно ласковые усмешки «гостей», считающих, что они устроили вечеринку. Одежки спадают не только с нее, но и с их душ и отношений. Одежек совсем немного. Она предает его. И сам он — податливый трус и предатель. Когда, поигрывая маслянистым от салями ножом, преступник перебирает связку извлеченных из пиджака жертвы ключей, агент по продаже недвижимости выдает не только место, где припаркована его машина, но и адрес дома, где живут его жена и дети.

Конец почти благополучный. Алкоголики исчезают, уложив свой баул. Любовники покидают пустой дом, ненавидя друг друга.

Мораль? Молодой режиссер англичанин Питер Коллинсов ошарашивает, а не морализует. Кинофирму «Парамаунт», арендовавшую его талант, интересуется не мораль, а выручка от лошадиной дозы садизма. Мораль, если все-таки на ней настаивать, очевидно, в том, что нормальные люди подлее сумасшедших уголовников. У тех по крайней мере есть свой кодекс верности, и агент по продаже недвижимости обнаруживает этот кодекс, когда хочет их рассорить...

«Пентхауз» — художественный фильм, смутивший даже издававших виды рецензентов. Его рекомендуют зрителю с крепкими нервами Ну что ж, таких много, в этом плане нервы закалены.

«Чудачества Титиката» высоко оценены профессиональной критикой. Это тоже фильм о сумасшедших уголовниках, но они, слава богу, под стражей, за крепкими решетками тюремной психолечебницы в Бриджуотере, штат Массачусетс. Это фильм документальный от начала до конца, от странно жуткого госпитального джаза с сардоническим именем «Чудачества Титиката» до отвертки, которой завинчивают шурупы в крышку гроба, навеки упокоившего строптивного заключенного. Режиссер Фредерик Вайсман целиком полагается на жестокий эффект кинокамеры, не ослабляя его текстом.

Серые картины тюремно-больничного двора, одинокие, ушедшие в себя люди. Бессвязно-страстный монолог об Иисусе Христе; рядом с головой оратора мелькают мослы ног любителя часами стоять на голове. Спор о Вьетнаме — и тут свои «патриоты» и противники войны. Стража функционирует в наилучших традициях, дюжие ребята эффективны и бестрепетны. У них есть, однако, занятия для души. Вот неумоимо, хладнокровно дразнят они одного пациента. Тот огрызается, рычит как зверь, меряя камеру нервными шагами — совершенно голый в совершенно пустой камере. Так заведено, одевают их лишь для прогулок.

В штате Массачусетс картина разбиралась в суде и подкинула политикам и политикам материал для междоусобной борьбы. Но дело не в этом.

Случайна ли перекличка между вымышленным «Пентхаузом» и документальными «Чудачествами Титиката»? Практически тот же вопрос: кто же ненормальнее — психоуголовники или их нормальные стражи? Где грань? Неужели она так неуловима? Да, неуловима, настаивают Коллинсом и Вайсман.

Вот еще один фильм — «Отражения в золотом глазу» (режиссер Джон Хастон, производство компании «Уорнер бразерс»), Зрители привлечены прекрасным актером Марлоном Брандо и таким созданием рекламы, как известнейшая кинозвезда Элизабет Тейлор. Высокий технический стандарт, отличающий американскую кинематографию, этаким режиссерским снобизм в игре золотистых тонов. Действие происходит в армейском гарнизоне на юге США. Слабовольный майор (Марлон Брандо) учит молодых офицеров искусству побеждать, но не может совладать со своей женой — откровенной самкой (Элизабет Тейлор), которая любит галопировать по окрестным лесам на белом жеребце в компании полковника — солдафона и животного. Об их связи знают все. Измученная жена полковника наконец бежит от этой тоскливо-скотской жизни. Полковник уверен, что она сошла с ума, и помещает ее в замаскированную под роскошный отель лечебницу, где

она умирает. Несчастный майор утверждает себя, застрелив солдата, который испытывает загадочное влечение к его жене.

Странные фильмы. Самое странное в том, что они типичны. Список можно продолжить. Вот картина «Подождите до темноты», в которой шайка садистов измывает над слепой девушкой (артистка Одри Хэпберн), разыскивая у нее в квартире куклу, начиненную героином. Вот «Инцидент»: в поезде нью-йоркской подземки два головореза терроризируют пятнадцать добропорядочных и безответных граждан.

Мне не надо поднимать архивную пыль. Это все кино- премьеры, сошедшие с конвейеров Голливуда.

Я проделал нечто вроде киноэкскурсии по Нью-Йорку. Критерий был один — новые фильмы, так или иначе обратившие на себя внимание критики, а не откровенная дрянь. Итог? По-прежнему популярны болезненные поиски грани, которая отделяет нормальное от ненормального. Грань, однако, остается неуловимой. Привычны эти поиски, как привычны и обоснованы упреки в -патологии, садизме, спекуляции на вульгарном вкусе публики. В таких упреках нет недостатка и в здешней кинокритике.

Но где кончается вина художника и начинается вина действительности, от которой он не может абстрагироваться? Он отражает свой мир, или, по крайней мере, свое видение этого мира. Возьмите документальные свидетельства газет, всю эту бесконечную уголовную хронику — она не противоречит свидетельствам фильмов. В конце концов, эти режиссеры-середняки берут лишь сенсационные детали той большой темы, которую глубоко копают такие крупные художники, как Феллини, Антониони, Кремер.

Так основательно перевернуто все с ног на голову в этом мире, что клоунада и безумие выступают как естественная норма жизни, а безумцем в глазах окружающих рискует стать тот, кто усомнится в этой норме. Разве не в этом суть блестящего фильма Антониони «Блоу ап»?

Одна и та же реальность человеческого распада одним дает материал для проникательного обобщения, другим — для наперченной комбинации «секса и шока» .'(если взять двуетидную формулу нью-йоркского кинокритика Босли Кроузера). Последних — большинство.

На сексе, вытеснившем старомодную любовь, дальше, казалось, и ехать некуда. Однако едут дальше. Сейчас Голливуд занят невиданной «сексуальной революцией». Политически она нейтральнее других революций, коммерчески — более выгодна. Журнал «Ньюсуик» возвестил победное шествие эпохи, в которой «все дозволено», поместив на обложке голые спину и зад молоденькой киноартистки.

«Секс и шок» оккупировали первые экраны, а не только околобродвейские кинозакутки, традиционно существующие лозунгом «ближе к телу». Нравы решительно раскрепощены — в сторону постели, и секс-«революционерки» запросто гуляют по экрану в чем мать родила.

Символичен фильм «Улисс» по роману Джойса. Кинокритики объявили его шедевром. Прокатчики, разъясняя понятие «шедевр» для малограмотных, предупреждают, что «абсолютно никто в возрасте до восемнадцати летне будет допущен на фильм «Улисс». Те, кто считает Джойса основоположником современной литературы, акцентируют его знаменитый «поток сознания», при котором герои неразрывно существуют в трех измерениях — реальности настоящего, воспоминаниях прошлого и фантазиях будущего. В фильме «поток сознания» Леона Блюма и его жены Молли действительно развивается в трех измерениях, но, увы, в одном-единственном направлении — секс, секс и еще раз секс.

Авангардисты «подпольного кино» (подпольного в смысле независимости от Голливуда, а не для зрителя, потому что их фильмы идут во вполне легальных кинозалах) пытаются найти свои методы. Один из них критика называет киножурнализмом особого рода. Это не тот традиционный кинодокументализм, который предполагает намеренный отбор и организацию кинодокументов. Это своего рода фетишизация кинокамеры, которая как бы выпущена на волю в расчете, что она не подведет и не обманет своей бескомпромиссностью и объективностью. Это попытка положиться на стихию жизни и сознательный отказ от ее интерпретации. Один критик определил этот метод такими словами: «Человек за камерой не извиняется за то, что он там присутствует, но признает в то же время, что мир слишком велик и слишком сложен, чтобы кто-то мог его знать».

Этим методом сняты «Чудачества Титиката», а также фильм «подпольной» кинематографистки Ширли Кларк «Портрет Джейсона». Два часа на экране один и тот же человек в одной и той же комнате курит, пьет вино из стакана и прямо из бутылки, ходит, сидит в кресле и на полу, лежит на софе, пьянеет и говорит, говорит, говорит, раскрывая все закоулки, тайники, клоаку своей души. О том, какая это клоака, вы догадаетесь по занятию Джейсона. Он проститутка мужского пола.

В своем марафонском киноинтервью Джейсон признается, что иногда до смерти боится самого себя. Он пугает и зрителей (их немного), и критиков, хотя последние дружно хвалят Ширли Кларк. Кинорецензент «Ньюсуик» Джозеф Моргенштерн пишет: «В конце концов, Джейсон... не более безумен, чем американский летчик

«Скайрейдера», который, сбросив напалм на вьетнамскую деревню, задыхается от восторга: «Смотри, она горит! Она горит, черт побери! Фантастично! Мы таки заставили их бежать! Блеск!».

Вывод неожиданный, но ему не откажешь в логике. Он не оправдывает и не возвышает Джейсона, но напоминает, что у него есть духовные братья, возведенные обществом в ранг патриотов и героев.

Кстати, о Вьетнаме: войны словно нет для Голливуда. Репортажи о войне не сходят с телеэкрана, но на киноэкране войны не видно. Антивоенный протест нашел отражение в литературе, в частности в поэзии, коснулся театра, живописи, но Голливуду, видимо, легче избавиться от моральных табу, чем от шовинистических.

Антивоенная тема сейчас чаще попадает на американский экран из-за океана. На нью-йоркском фестивале был показан фильм «Далеко от Вьетнама» — коллективное творчество известных французских кинематографистов, но он не попал в кинотеатры, а критики дружно расправились с ним как с антиамериканской пропагандой. В греческой комедии «День, когда всплыла рыба» изображен второй Паломарес: американский самолет «обронил» водородные бомбы на греческий остров. Вашингтон, усвоив «урок» Паломареса, держит этот инцидент в тайне, и все кончается трагически. В кинотеатре «Йорк» идет пацифистская картина английского режиссера Ричарда Лестера «Как я выиграл войну». Это злой и меткий гротеск о солдатском взводе времен второй мировой войны. Там уже как о сегодняшнем дне говорят о Вьетнаме, а бравый полковник упоенно кричит в конце: «На Москву!»

Интересно, кто смотрит этот фильм. В зале сплошь молодежь — та молодежь, что мечется и протестует, пытаясь поколебать пирамиду американского образа жизни. У нее свои кумиры, высмеивающие ложь политиков и идеологов.

У нее и свои любимые фильмы. Вот «Не оглядывайся назад» о концертах Боба Дилана, популярнейшего певца и поэта. Кинокамера всюду сопровождает его: в комнате отеля, где он среди товарищей, в машине, за кулисами и — гитара на ремешке, гармоника возле губ на металлическом креплении, черная блестящая куртка — быстрой походкой в темноту сцены, к кругу, выхваченному прожектором, навстречу реву аплодисментов. Дилан получился как антипророк, антигерой. Вся его правда — в отрицании лжи, но и она дорога молодежи.

В документальном фильме «Фестиваль» — о ежегодных джазовых фестивалях в Ньюпорте — народная жизнь разливается в песне. Со своими радостями и горестями, далекая от болезненных отражений голливудского экрана. Как много поэзии, добра, улыбок, любви, а не

секса, сострадания, а не садизма. Как тепло принимают «фолксингеров» — народных певцов. И после одной такой встречи прекрасная Джоан Баез, тоже кумир молодежи, со смущенной, чудесной улыбкой говорит: «Знаете, молодежь хочет чего-то другого. Мне жалко их... Ведь правда и любовь похоронены в этой стране...»

Это было в Техасе в начале 30-х годов — во время жестокого кризиса, массовых банкротств и мелькавших всюду предвыборных портретов Франклина Д. Рузвельта. Маленькие городишки, над которыми свистели ветры экономических потрясений, и безмятежные просторы под теплым солнцем, шерифы со звездой на груди, таборы безработных, кочующих с женами и детьми, фермеры без земли, дела и денег, процветающие жирные и трусливые гробовщики. И были еще Бонни и Клайд, влюбленные друг в друга и в опасные приключения.

Клайд рывком входил в банк с пистолетами в обеих руках («Доброе утро, леди и джентльмены! Спокойно! Спокойно...»), а Бонни за ним следом — с пистолетом в одной руке и сумкой в другой. Леди и джентльмены молчали, зачарованно глядя на пистолеты и такого красивого, черноволосого — кровь с молоком и румяные губы, — такого чистого и симпатичного Клайда. А она, одухотворенная блондинка с прической, забегающей в 1968 год, шарила в столах за стойкой среди перепуганных, как курицы, кассиров и ссыпала в сумку ворохи зеленых бумажек. А когда она и брат Клайда, ибо был у Клайда любимый брат, выбегали из дверей и хромающий Клайд пятился последним, все еще аргументируя смит-веосонами, и последним влезал в машину, где сидел за рулем их хладнокровный соратник Сэм, за дверью гремел сигнальный звонок. Но поздно. Машина трогалась, очерившись дулами на испуганную, толпу. Однажды чересчур хлопотливый банковский клерк кинулся вдогонку, вцепился в бок автомашины, и Клайд всадил ему пулю в упор, и тот предсмертно закричал, и поплыл страшным кровавым лицом через весь экран, и грохнулся на мостовую.

Клайд не любил убивать, но убивать ему приходилось.

Они вызывались на околицу, отстреливаясь от запоздавших полицейских, на пустую дорогу под синим небом, в спасительные техасские просторы. Они были неустрашимы и неуловимы и любили читать в газетах репортажи о самих себе. Грозная слава росла. Уже десятки полицейских охотились за ними, но они уходили сквозь гущу свинца, оставляя позади трупы, исчезали в просторах, чтобы снова как снег на голову обрушиться на очередной банк: «Доброе утро, леди и джентльмены...»

Но как бы веревочка ни вилась... Во время одной засады, когда

полиция подтянула уже и броневик, брат Клайда был смертельно ранен, жена его ослепла от пуль, невозмутимый Сэм еле-еле вывез Бонни и Клайда. Как подбитые птицы, истекали они кровью на заднем сиденье машины. В доме отца Сэма они оправились от ран и на досуге от мокрых дел сполна познали идиллию любви. Но отец Сэма выдал их. На сельской дороге ураган пуль вырвался из листвы, расколов тишину техасского полудня. Бонни и Клайд затрепетали, запрыгали, заплясали, как рыбы на сковородке, под этим градом. Они были уже мертвы, а мстительный град сыпал и сыпал, и дергались от пуль их мертвые тела...

А дальше?

Мертвая Бонни оживает, наводит прическу и со своим адвокатом идет в верховный суд штата Нью-Йорк. Продюсер Отто Премингер возбудил против Бонни иск, считая, что она вообще не имела права быть Бонни для кинофирмы «Уорнер Бразерс» до тех пор, пока не появится по контракту в пяти фильмах его, Отто Премингера, корпорации «Сигма продакшн».

Но Бонни — уже без Клайда и смит-веосона — убеждает судью, что Отто Премингер хочет «нанести ущерб моей карьере и лишит меня средств к существованию».

А адвокат истца доказывает, что Бонни отнюдь не грозила богадельня для бедных и что она вполне могла получать от «Сигма продакшн» две с половиной тысячи долларов в неделю.

Но адвокат Бонни говорит, что ставки Премингера «вызывающе ниже того, что она может получить на сегодняшнем рынке».

И журнал «Лайф», разговаривающий на эсперанто вселенского мещанина, тут как тут в качестве свидетеля защиты. Журнал помещает Бонни на обложке, и это значит, что она действительно дорого стоит на сегодняшнем рынке. Журнал печатает пять страниц Бонни в разных разухабистых позах и, главное, одеяниях, провозгласив ее новой любимицей домов моделей от Рима до Нью-Йорка. Бонни, пишет журнал, «синтезировала» мягкость мод 30-х годов и «голоногость» 60-х.

И на этих картинках всюду за Бонни черными зловещими силуэтами вырастают нарисованные гангстеры с пистолетами. Попробуй не согласишься с таким синтезом.

Однако режиссер Артур Пенн, поставивший фильм «Бонни и Клайд», не несет вины за эту чертовщину. Просто родилась новая кинозвезда — Фэй Данэвей. Ее величину и сияние так раздули рекламой, что она уже зачастила не только к адвокату, но и к психиатру — за советами, как не свихнуться от внезапной славы. Эти визиты не мешают нашей Бонни вполне квалифицированно торговать собой у

модельеров, на страницах «Лайф», в киностудиях и, как видите, даже в суде: Голливудские скупщики и перекупщики тоже поняли, что товар сулит миллионы.

Вернемся, однако, к фильму «Бонни и Клайд». При всех гангстерских аксессуарах это не очередной дешевый боевик, а один из лучших американских фильмов 1967 года. Он сделан как народная романтическая баллада, широко и с удалью, жестоко и, однако, поэтически. Фильм безошибочно американский, национальный по духу, а не синтетично-космополитичный, из тех, что сейчас хоть отбавляй. Фильм со своим подспудным тревожным смыслом, потому что в Клайде схвачен тип чисто американский, да и вся история, вплоть до имен героев, взята из жизни.

Странный даже фильм. Грабитель, убийца, а до чего симпатичен!

Тут начинается чертовщина и с Клайдом. Убивать не любит, но что поделаешь — приходится. Из кровавых оргий ' выходит сухим, как гусь из воды, да к тому же с незамутненной любовью, которая легко перешагивает через трупы. И есть своя дьявольская логика в^ этом характере, идущая от логики той жизни, где каждый кует свое счастье в одиночку и плевать ему на остальных. Художественная ткань фильма столь неподдельно национальна потому, что отражает здешнюю практическую философию: всяко бывает, жизнь настолько множественна и неожиданна, что не судите (даже бандита) да не судимы будете.

Вглядитесь в Клайда! — как бы предлагает этот фильм. Ну что ж, я вглядывался, долго вглядывался.

Разве не Клайд вон тот солдат, который приехал за 10 тысяч миль, чтобы сжечь чужую деревню, а потом — такой симпатично усталый на телеэкране — тютюшкает уцелевшего младенца и сует ему круглый леденец на палочке? Младенец-то ведь ему пока не мешает, а «обезвреженный» отец младенца трупом валяется неподалеку с биркой на груди — «вьетконговец».

В первой части этого очерка я предложил читателю нечто вроде киноэкскурсии по Нью-Йорку, рассказав о модных комбинациях «секса и шока», о текущей продукции среднего качества. Мне хочется теперь продолжить эту экскурсию, изменив ее задачу. 1967 год не принес шедевров, синтез в искусстве дается труднее, чем в модах, но год считают «вознаграждающим». Среди лучших шесть фильмов: «Душной ночью» (кинокомпания «Юнайтед артисте», режиссер Норман Джуисон), «Догадайтесь, кто придет к обеду» («Колумбия», режиссер Стэнли Крамер), «Выпускник» (компания «Эмбаси», режиссер Майк Николс), «Психиатр президента» («Парамаунт», режиссер Теодор

Фликер), «Хладнокровно» («Колумбия», режиссер Ричард Брукс) и уже известный нам «Бонни и Клайд».

Фильм «Душной ночью» получил Оскаровскую премию как лучший фильм года. Он захватывает своим особым ритмом с первых кадров, когда душной ночью под стрекот цикад и бодрую музыку из транзистора лопоухий полицейский Сэм привычно разъезжает по улицам родного миссисипского городка и натывается на труп. Шеф посылает Сэма проверить ночное кафе и железнодорожную станцию. На станции дремлет в ожидании поезда единственный пассажир — негр, а раз негр, незнакомый негр и вдобавок негр с двадцатками в бумажнике, как обнаруживает Сэм, отважно ворвавшись в помещение с пистолетом и поставив негра к стене с вытянутыми руками, он-то уж наверняка убийца. У шефа полиции (его блестяще играет известный актер Род Стейгер) небогатые извилины в мозгу тоже уложены, как у истинного южанина. Но когда он требует от негра признания без задержки, тот бросает на стол металлическую бляху — опознавательный знак полицейского. Этот черный бой, оказывается, служит в полиции Филадельфии, где позволяют разные штучки насчет десегрегации, и к тому же первейший эксперт по расследованию убийств — открытие, потрясающее южного полисмена.

Дальше — больше. Жена убитого чикагского бизнесмена, который намеревался строить фабрику в этом захолустье, грозит забрать капиталы и оставить жителей городка в прежней дреме и безработице, если убийцу не найдут. Обеспокоенный мэр грозит выгнать шефа полиции, если тот не попросит помощи у негра-криминалиста. И приходится несчастному шефу упрашивать черного не уезжать, оберегать его от линчевателей и, увы, постоянно убеждаться в его профессиональном и умственном превосходстве. В детективную фабулу заключен тонкий психологический поединок между двумя героями (роль негра исполняет великолепный актер Сидней Пуатье). К концу фильма негр находит убийцу, а шеф — человека в этом негре и проникается к нему несентиментальным уважением, которое таит не только от окружающих, но, пожалуй, и от самого себя.

«Догадайтесь, кто придет к обеду» берет другой из тысячи аспектов негритянской проблемы. Дочь издателя из Лос-Анджелеса влюбилась в негра. Для девушки вопрос о браке решен, что бы там ни говорили родители, но тайком от нее негр заявляет им, что готов уйти, если они не дадут согласия, причем безоговорочного. Издатель и его жена — честные люди либеральных взглядов, всю жизнь стоявшие за расовое равенство. Тем не менее новость ввергает их в состояние шока. Психологически точно передана вся гамма их смятения. После шока

приходит гордость за смелую дочь и ее избранника — он отнюдь не простой негр, а известный ученый, гуманист, кандидат в нобелевские лауреаты. Жена издателя согласна «а брак ради счастья дочери. Но именно вопрос о счастье смущает издателя, и не потому, что он не верит их любви, а потому, что слишком хорошо знает, какой нелюбовью и неприязнью окружают их «сто миллионов» соотечественников. Вопрос непростой, но в конце концов старый издатель принимает достойное решение: главное — это их любовь, и пусть она побеждает,

В фильме есть трогательные моменты, показывающие честных, умных и глубоко чувствующих американцев наедине с совестью и нелегкими проблемами их страны. Издателя играет знаменитый Спенсер Трейси, скончавшийся до выхода фильма на экран. Он создал образ, исполненный благородной простоты и моральной твердости.

В роли 37-летнего профессора снят Сидней Пуатье, самый популярный сейчас актер-негр (в 1967 году он вошел в десятку киноактеров, приносящих наибольший кассовый сбор, а это значит, что он нарасхват у продюсеров). Обаяние, мужская грация, какая-то своя внутренняя музыка отличают Сиднея Пуатье. И душевная броня — в своих ролях он всегда в среде, где могут уколоть и унижить, как «нигера». Однажды укололи не в кино, а в газете. Негритянский писатель Клиффорд Мейсон заявил, что Пуатье стал голливудским «витринным негром». Актер знает, что в этом упреке есть своя доля горькой правды. В самом деле, негритянская тема дошла наконец до Голливуда, за нее берутся серьезные художники, но — не в обиду будь сказано двум интересным фильмам — подлинные глубины ее еще не затронуты. Какие круги ада, зримые и незримые, прошел американский негр, прежде чем взорваться мятежом на улицах Детройта? Истинный ответ необязательно должен быть прямым, но он по плечу лишь великому мастеру. Чтобы ответить, нужен не только талант, но и гражданская страсть, знание низов, сопричастность к их боли. Важно, конечно, и то, чтобы негры сами сказали о себе выстраданное и правдивое слово. Пока Голливуд не дает им такой возможности.

Итак, два хороших фильма о расовой проблеме. Две картины о преступниках — романтизированная история «Бонни и Клайд» и ледяной реализм фильма «Хладнокровно», поставленного по документальному роману писателя Трумена Капоте о зверском бессмысленном убийстве фермерской семьи в штате Канзас.

И две кинокомедии — «Выпускник» и «Психиатр президента».

Комические стрелы в картине «Выпускник» адресованы оплоту буржуазной Америки, так называемому «среднему классу» с тоскливо-сладким идиотизмом его жизни вокруг голубых домашних

бассейнов, сверкающих кухонь и роскошных интерьеров. Критика расхвалила «Выпускника» как пример «интеллектуальной» сатиры. И, пожалуй, перехвалила. Фильм много обещает в начале своей самостоятельностью, но не выполняет обещаний в конце, переходя с сатиры на галоп сентиментального гротеска, от которого временами уже и позевываешь.

В кинокомедии «Психиатр президента» главный герой—нью-йоркский врач, которого вдруг приглашают в Белый дом, чтобы снимать нервное напряжение у президента. На седьмом небе от счастья, наивный психиатр (актер Джеймс Коберн) попадает в царство фантазмагорических превращений, агентов ЦРУ и ФБР, специальных сигнальных систем, аппаратов для подслушивания и прочее. Обнаружив, что он разговаривает во сне, служба безопасности отбирает у него возлюбленную, нагрузив ее, однако, поручением записывать все телефонные разговоры с ним. Президента не показывают, он остается за дверью, в которую время от времени входит психиатр. После первого визита герой покидает президентский кабинет, млея от восторга, после второго — с недоумением на лице, а дальше — со сбитым набок галстуком, хватаясь за стенки. Он сходит с ума, а помочь ему не могут, так как президентский психиатр, в отличие от психиатров обыкновенных, не имеет права подправить нервишки у другого психиатра.

Любой киногод в США был бы, конечно, не полон без сатиры такого рода. Начало этому киноапокалипсису было положено несколько лет назад великопнейшей комедией «Доктор Стрейнджлав». Доктор Стрейнджлав, ученый маньяк ядерного века, стал с тех пор именем нарицательным и вошел в политический лексикон мира, где наука часто работает на сумасшествие. «Психиатр президента» по-своему разрабатывает эту далеко не оскудевшую жилу.

Я заканчиваю свой неполный и по необходимости краткий кинообзор. По голливудскому ширпотребу узнаешь, какая разновидность мещанства наиболее прибыльна сегодня. Хорошие фильмы идут дальше занимательности, так или иначе приобщают к серьезным проблемам общества. Первых больше, чем вторых, но бьется живая мысль, и многие художники тоскуют по высокому искусству и, если хотите, по высокой проповеди. «У искусства, — говорит Сидней Пуатье, — есть ответственность учить, просвещать, возбуждать мысль, но большинство продюсеров не заинтересовано в том, чтобы кого-либо чему-либо учить».

Идея не новая, но к ней заново приходят, и ее никогда не убьет коммерческий цинизм шоу-бизнеса.

С Сиднеем Пуатье перекликается Род Стейгер, получивший Оскаровскую премию как лучший киноактер 1967 года. «Я стараюсь не обманывать этих людей, — тех, кто приходит ко мне и говорит: «Вы что-то знаете, вы выбираете участие в таких картинах, на которые мы ходим». Да, я стараюсь делать картины достаточно умные, чтобы заинтересовать их, чтобы не тратить попусту их время. Меня волнуют не их деньги, а их время. Понимаете?»

Хоть не ко мне обращен этот вопрос, отвечаю: как не понять, Род Стейгер.

1967 г.

УТРОМ НА ЧЕРЧ-СТРИТ

Что такое «неделя против призыва в армию»? Как она выглядела вчера, в Нью-Йорке?

Это в шесть утра молодые голоса в темноте Батарейного парка, у южной оконечности Манхэттена, где Нью-Йорк отделен от Европы одними лишь волнами Атлантики, где днем, ежась под ветром, туристы глазят на статую Свободы, стоящую среди залива, и где бронзовый толстолапый орел стережет мраморные скрижали с именами моряков, которых скрыла пучина в годы второй мировой войны.

Это в семь утра, когда рассвет едва брезжит, топот молодых ног по пустынному тихому закоулку, и пылающее волнением лицо кудрявого вожака лет восемнадцати отроду, и его крик:

— За мной!

За ним — сотни, и они вливаются в узкий коридор пешеходного мостика, повисшего над выездом из Бруклинского туннеля, по которому идут ленивые редкие утренние машины. Мостик выводит на Черч-стрит, и там уже суматоха и бег ребят и девушек. У них прекрасные лица людей, делающих стоящее, хотя и непривычное и даже рискованное дело.

Льющийся по мостику поток сбивает с меня инерцию утра и покоя, включает в себя, и мне тоже тревожно и хорошо. И у полицейского на

выходе с мостика тоже тревога в лице, но это тревога островка, обтекаемого людским половодьем. Он не один, их много, этих чужеродных вкраплений в темно-синих суконных шинелях, и, поигрывая дубинками, они спешат за толпой, быстро пересчитывающей кварталы Черч-стрит. Конный полицейский, как бы играя, но играя зло, вдруг делает вольт к кудрявому жожаку и хочет огреть его по кудрям рукой в перчатке, но тот увертывается.

И, конечно, пресса—с кинокамерами, магнитофонами и пропусками на груди, этими оранжевыми картонными заслонами от полицейских дубинок. Поток стремительно течет по мостовой и тротуарам Черч-стрит. Поток заговаривает с редкими еще прохожими, вышедшими на работу, но те смотрят ошалело, нейтрально, скрестив руки на груди, отстраняясь. Молчат дома, пусты еще старые и новые модерн-конторы этого банковского деляческого района рядом с Уолл-стритом. А мостовая шумит, но этот шум извне, и сознание ясно разделяет этот шум и отрешенное молчание контор.

По мостовой, уверенные, что им уступят дорогу, едут дюжина полицейских в темных накидках, на гнедых лошадях, и стук копыт, как и молчание контор, мерно падает в шум голосов, олицетворяя власть и порядок среди стихии. Их темные накидки, лошади на улице, с которой не ушла еще ночь, и накрапывающий дождь заставляют вспомнить романс Федерико Гарсиа Лорки об испанской жандармерии: «На крыльях плащей чернильных дождя восковые капли... Надежен свинцовый череп — заплакать жандарм не может; идут, затянув ремнями сердца из лаковой кожи...»

Толпа течет по Черч-стрит на север, в сторону центра. Быстро светает. Прохожих больше. И кто-то из толпы кричит, как декламирует:

— Что мы хотим?

— Мир! — дружно отвечают ему.

— Что мы хотим?

— Мир!

Пантерой крадется полицейская зеленая машина. По тротуару споро шагает детектив в сером пальто с передатчиком уки-токи в руке, прислушиваясь к хриплому командному голосу.

— Что мы хотим?

— Мир!

— Мир, брат, —это бородатый студент с добродушной иронией кидает шоферу, недоуменно застывшему у своего грузовика. «Брат» молчит. А вот я слышу, как еще один «брат» говорит «брату» третьему, кивая на молодежь: «Это дерьмо шумит, чтобы попасть в газеты»...

Полвосьмого утра. Полицейские перегоняют толпу с Черч-стрит на

параллельный Бродвей. Поток, властвовавший на спящей улице еще полчаса назад, выходит на большой перекресток Бродвея и Хьюстон-стрит, к буйству гудящих машин, к тысячам прохожих, в трезвое нью-йоркское утро. Демонстранты уже в меньшинстве. Конные полицейские, ловко маневрируя, теснят их с мостовой на тротуары, но демонстранты не сдаются и поток, уже раздробленный на ручейки, снова стремится на мостовую, чтобы задержать машины, остановить железный грохот и ход железного города, отвлечь его от суеты запрограммированных буден и заставить задуматься о далекой, ужасной, зверской войне...

А в это время неподалеку от Батарейного парка, у старого кирпичного здания на Уайтхолл-стрит было тихо. Тишина говорила, как трудно добиться своей цели тем, кто уходил все дальше на север по Бродвею. Не только само здание, но и прилегающие улицы оплетены сотнями деревянных полицейских барьеров. В грузовиках тоже были барьеры про запас, и еще одним барьером стояли сотни дюжих здоровяков в темно-синих шинелях, с дубинками и сердцами из лаковой кожи, а также их автобусы, их тюремные фургоны, санитарные машины и даже машина «информационная».

В кирпичном доме помещается нью-йорский призывной центр, где новобранцы проходят медкомиссию и оформляют документы. Этот невзрачный дом — мишень всех ранних сборов. Три дня подряд противники войны штурмом шли на этот дом, чтобы сорвать его работу. Эта главная задача «Недели против призыва в армию» еще не выполнена. Во вторник на две с половиной тысячи демонстрантов было две с половиной тысячи полицейских. 264 человека задержали и арестовали. В среду около трех тысяч демонстрантов, двигаясь тремя колоннами, хотели взять кирпичный дом, но их атаку отразили пять тысяч полицейских.

Организаторы «Недели» ищут новую тактику, чтобы запутать полицию. В среду мобильные группы ринулись в центр Манхэттена, к отелю «Уолдорф-Астория», где выступал государственный секретарь Дин Раск, к штаб-квартире ООН, пытались нарушить движение на забитых машинами улицах. Дубинкам нашлась работа. Дух противников войны высок. Их боевой энтузиазм воодушевляет. Они ищут активного действия. И в этих поисках все больше упираются в элементарную истину — им не хватает организованности и авторитетного штаба.

Декабрь 1967 г.

МОЛОДЕЖЬ. ГОД 1967-й

Какое-то поле, какое-то небо на этой внезапно надвинувшейся на тебя телевизионной картинке. Их видишь и не видишь, жутко замороженный грудой мертвых тел. Два солдата с носилками. Р-раз... И два... И три! С носилок, мертво растопырившись, летит в середину груды еще одно тело. Это body count — счет убитых партизан по трупам. Два парня уходят. Вот они снова в кадре, рослые, спортивные, профессионально умелые. Снова носилки в руках. И р-раз... И два... И три!

Потом — вертолет. Он низко завис над солдатами. Они что-то делают, а сделав, отбегают в сторону, закрывая лица от пыли и ветра, закрученного лопастями. Они отбегают в сторону и, спасшись от ветра, машут вертолету: счастливого, мол, пути. Вертолет уходит вверх, и под ним на тросе — ты словно слышишь унылый и жесткий скрип этого троса — грузно колеблется большая прочная сеть, провисшая под тяжестью десятков трупов. Улов молодых парней в солдатских рубашках, по-трудовому выпущенных поверх солдатских штанов. «Найди и убей» — так на языке Пентагона называется дело, которым они заняты в джунглях...

И почти в это время за тысячи миль от джунглей, в самом центре шумного Нью-Йорка, дрожащего от сладкой коммерческой лихорадки предрождественских дней, рядом с начищенным холодным небоскребом «Тайм-Лайф», рядом с «Радио-сити», куда стоят терпеливые очереди тех, кто хочет приобщиться к субкультуре еще одного киновоевика и в провинциальной истоме узреть дюжины три девиц, синхронно вскидывающих ноги на изготовку перед каждым сеансом, — посредине всего этого, бросая вызов этому миру, стоит тоже американский парень, держа в руках флаг тех, кого ищут и убивают в джунглях его сверстники.

Он сделал выбор и не скрывает его.

Он поднял партизанский флаг, желая победы вьетнамским бойцам и поражения американской армии, с которой у него, американца, нет ничего общего. На голове белый шлем мотоциклиста — парень знает, что его могут бить.

И толпа, привыкшая к зрелищам, безразличная толпа, спешащая толпа, роняет из своей массы десятка три-четыре человек, и они завиваются в круг, пружинно колеблясь, как быки перед красным цветом, оплевывая парня взглядами и репликами, и вдруг один, другой,

третий кидаются на знаменосца, и тот увертывается и знамя никнет, и гулкие удары по шлему, и полицейский вспоминает о своих обязанностях, дав толпе потрепать и парня, и флаг...

Солдаты с носилками в джунглях и студент с партизанским флагом в районе нью-йоркского Рокфеллер-центра — это два противоположных фланга. Всем известна история четверых американских моряков, бежавших с авианосца «Интрепид» в Японии и перебравшихся через Москву в Стокгольм, чтобы бороться против войны. Но всем ли известна история, рассказанная Международному общественному трибуналу в Копенгагене западногерманским врачом Эрихом Вульфом? Американские солдаты, флиртуя с немками — медсестрами с госпитального судна «Гельголанд» (ФРГ), приглашали их на «охотничьи экспедиции».

Они кружили в вертолетах над рисовыми полями, высматривая добычу. И когда находили вьетнамца, любого вьетнамца, то пулеметчики свинцовыми очередями «играли с ним, как кот с мышью», а натешившись, расстреливали в упор.

Это все американская молодежь, но это, конечно, не вся молодежь. Если мысленно вообразить гигантскую панораму американской молодежи 1967 года, то между противоположными флангами, между крайними точками будет великое множество типов, оттенков, явлений. Панихиды по «молчаливому поколению» времен маккартизма отслужены давно. Молодежь заговорила — это известно всем. Но даже 1966 год заметно отличается от 1967 года. Молодежь говорит все громче, решительнее, сенсационнее, если хотите, ибо надо произвести сенсацию, чтобы быть услышанным в Америке. Год был бурный, параллельно с вьетнамской войной, часто, как ее эхо, гремели большие события внутри США. В них участвовали люди самого разного возраста, но, не в обиду взрослым будь сказано, именно молодежь была главным участником американских драм. Именно ее действия рисуют коллективный, очень разный и пестрый портрет героя 1967 года.

Негритянские волнения в Ньюарке, Детройте, десятках других городов? Это молодежь. Неистовые Стокли Кармайл и Рэпп Браун, угрожающие партизанской войной в гетто? Это молодежь. Хиппи с их экстравагантным, но красноречивым отрицанием буржуазного общества? Это молодежь. Линда Фицпатрик, 18-летняя дочь миллионера, покинувшая роскошный и духовно тоскливый родительский кров и найденная с разможенным черепом в подвале нью-йоркской Ист-Виллидж? Это молодежь. Скачок преступности на 16 процентов за первые 9 месяцев года? В основном молодежь. Увлечение наркотиками, перерастающее в национальное бедствие? В основном

молодежь. Беспрецедентный октябрьский «марш на Пентагон»? Молодежь на 80—90 процентов. Портреты Че Гевары? В студенческих общежитиях и штабах молодежных организаций. Пикеты, заставившие Дина Раска тайком выскользнуть из отеля «Хилтон» в Нью-Йорке? Молодежь. Осады призывных пунктов? Моральный остракизм, которому подвергают в университетах вербовщиков напалмовой корпорации «Доу кемикл»? Тысячи повесток, публично разорванных и сожженных в знак протеста против войны?

Все это — молодежь.

Недавно электронная машина в министерстве торговли, высчитывающая прирост населения, возвестила о 200-миллионном американце. По этому поводу президент Джонсон заявил, что за 200 лет своей истории американский народ ответил тремя решающими «да» на три решающих вопроса: будет ли он свободной нацией? — во время войны за независимость; будет ли он единой нацией? — во время гражданской войны Севера и Юга; будет ли он гуманной нацией? — во время экономического кризиса 1929 года и рузвельтовских социальных реформ. Риторика Джонсона уязвима с разных сторон. Но сегодняшняя реальность делает излишними экскурсы в историю. Сегодняшние американцы доказывают, что нация не едина, потому что негуманна и несправедлива система, пускающаяся на авантюры типа вьетнамской.

Нация раскола сейчас и сеет семена будущего раскола, ибо будущее несет в себе молодежь. Вьетнамский конфликт мыслился как мимолетная встреча колосса и пигмея с предрешенным исходом, как островок, изолированный от процветания и совести американца. В чем видели высшую доблесть, убедительнейшее свидетельство мощи и богатства Америки? В том, что Америка, которой все нипочем, может одной рукой вести грязную войну, а другой творить чистое «великое общество».

Но верно говорил поэт, что ни один человек не есть остров и что каждый человек есть часть Вселенной.

Вашингтонские прагматисты переоценили фактор грубой силы и недооценили момент диалектической взаимосвязи. В конце концов именно из-за этого просчета одной из «жертв» войны пал сам Роберт Макнамара, первоначальный творец эскалаций, хотя эта жертва не засчитана в полевых body count. Вместо показухи «великого общества» мир увидел муки «больного общества», а Линдон Джонсон не выполнил обещания одновременных «пушек и масла» и получил «домашний фронт» против войны.

Диалектика взаимосвязей мстит тем, что весь климат страны пропитан Вьетнамом. Ее интуитивно ощущает молодой преступник,

которому «охотничьи экспедиции» сверстников в джунглях дают дополнительный побудительный толчок на темной улице. Она сказывается в протесте пытливого студента, критически увязывающего зверскую практику войны с «гуманистическими» теориями антикоммунизма и приходящего к выводу, что его страна экспортирует не свободу и демократию, а разбой, контрреволюцию и империалистическое право сильного. Что же это за страна и что за система?

Конечно, надо испытать многое, прежде чем выразить свой протест динамикой самого популярного антивоенного лозунга: «К черту! Нет! Мы не пойдем!» Не на пустом месте возникла и вьетнамская война, и протест против нее того поколения, над которым с колыбели развесили атомный гриб военного психоза.

«Это поколение не знало сурового экономического кризиса, но оно знало нечто худшее, — говорил Мартин Лютер Кинг. — Это первое поколение в американской истории, которому пришлось испытать четыре войны за двадцать пять лет: вторую мировую, холодную, корейскую и вьетнамскую. Это поколение войн, и оно показывает свои рубцы... И все-таки мы не можем назвать его потерянными поколением. Это мы потерянное поколение, потому что именно мы не смогли дать им мирное общество».

Так что же, конфликт поколений? «Насмешка горькая обманутого сына над промотавшимся отцом», если вспомнить слова Лермонтова? В известной мере да, хотя нет единого поколения детей и единого поколения отцов, особенно в классово-враждебном обществе.

Чьи отцы и чьи дети? Внимательнее всего «большая пресса» приглядывается к студенчеству. Во-первых, там формируется будущая элита нации. Затем, там в массе выходцы из буржуазной среды, на которую в Америке всегда обращено больше внимания. Наконец, там перемены в настроениях наиболее заметны. Дело не только в антивоенных выступлениях студенчества. Есть другие сдвиги, беспокоящие правящий класс.

Большой бизнес тесно связан с университетами, снабжая их деньгами и заказами на научные исследования и рассчитывая на приток молодой крови в корпорации, на свежие мозги талантливых выпускников. Четыре- пять лет назад проблема молодых мозгов решалась легко. Система записывала в свой актив растущую тягу студентов в мир большого бизнеса, в штаб-квартиры ведущих корпораций. Теперь положение изменилось. «Кажется, продавать холодильники эскимосам лишь немного труднее, чем убеждать нынешних студентов в добродетелях службы в корпорациях», — пишет

ГРАНИ ХАРАКТЕРА

газета «Уолл-стрит джорнел». Корпорации пускаются во все тяжкие, дабы доказать, что бизнес «не только делает доллар, но и хочет помочь человечеству», что «корпоративная жизнь может быть богатой и содержательной», но эти доводы находят «обескураживающе малый» отклик. Самую сильную неприязнь к прелестям «корпоративной жизни» проявляет цвет студенчества, а за ним, собственно, и идет охота.

Это новое явление заметили многие. Видный английский историк Арнольд Тойнби, погостив три месяца в американских университетах (его восемнадцатый визит в США с 1925 года), нашел, что «за последние два года случилось больше перемен, чем за все остальные сорок лет».

«Я обнаружил, что молодежь в Америке с отвращением говорит об идеалах родителей», отмечает Тойнби, поясняя, что идеалы сводятся к тому, чтобы делать деньги. Эту перемену он считает «важной, даже драматической».

Действительно, своеобразное уклонение от службы в корпорациях не менее драматично, чем антивоенное движение, хотя оно, конечно, не столь массово и не так громко дает о себе знать. Еще один показатель: заявления о приеме в «корпус мира» сократились на 35 процентов.

Число волонтеров сократилось, потому что молодые идеалисты поняли, каким лицемерием отдает от агитации «корпуса мира» в странах Азии, Африки и Латинской Америки в то время, когда во Вьетнаме «агитацией» занят американский экспедиционный корпус.

Заблудшая дочь буржуа бежит из загородного особняка и курорта на Бермудах в скученные, окуренные марихуаной коммунальные квартиры хиппи. Молодой бородатый радикал, еще наивный, но предельно искренний, мечтает стать революционером и думает о путях превращения демократии богатых, которой он познал цену, в представительную демократию для всех, включая негров Гарлема и безработных шахтеров Аппалачей. Блестящий студент отвергает солидное место и жалованье в корпорации, желая служить не доллару, а на пользу людям. Разные люди, разные формы протеста, но один знаменатель — кризис традиционных идеалов, а вернее, отсутствие идеалов в гуманистическом смысле этого слова. И уж поистине дети переросли родителей, если родителям невдомек, в чем тут дело.

Разумеется, у буржуазного общества есть тысячи прямых и хитрых способов обуздать бунтующее молодое поколение. Движение хиппи, как и следовало ожидать, уже вырождается в наркоманию и коммерцию. Тяга к радикальности, столь характерная для способной, политически активной молодежи, еще не дает гарантии против анархической неорганизованности и нечеткости политической цели, а без них нельзя

обеспечить долголетие протеста и его вес на политической арене. И конечно, для массы молодых людей вполне еще сохраняют свою силу многочисленные приманки «американского образа жизни». Словом, речь идет не о потрясении основ, а о вызове этим основам, о вырвавшихся наружу симптомах болезни.

Эти симптомы имеют не только внутриамериканское, но и международное значение. Молодежь, лучшая ее часть, свидетельствует: тот пример, тот товар — от вьетнамской войны до «свободного предпринимательства», — который Вашингтон хочет сбыть за рубежом, находит все меньший спрос дома.

1967 г.

РАЗГОВОР С ДОКТОРОМ СПОКОМ

Из кармана пиджака он вынимает листок бумаги, разворачивает его, бережно разглаживает крепкими докторскими пальцами.

— Вот, — приглашает он меня наклониться, и я вижу типографский чертежик, поправленный от руки, — тридцати пяти футов длиной. Идеальная для тропиков, для Виргинских островов. Не изящная и не скоростная, но удобная яхта.

— Видите, — водит он пальцем по чертежику, — шире обычной. Высокая. Берет 170 галлонов воды, на две недели хватит. Холодильник есть.

Так же бережно складывает бумажку, прячет в карман и откидывается на сиденье, всласть вытягивая свои длинные ноги. «Кадиллак» величественно шуршит по автостраде. Перед нами широкая тучная спина и черная форменная фуражка шофера. За окном сухой и строгий бег машин между пунктирными линиями на бетоне. А за бетоном — свежая изумрудная зелень штата Нью-Джерси. Она поднялась травой, выбрызнула листочками на деревьях, но бензиновый заслон не пускает на автостраду ее аромат, а скорость превращает эту живую зелень лишь в символ природы, которая дразняще рядом и недоступно далеко...

Человека, сидящего рядом со мной, зовут Бенджамин Спок. Тот самый. Знаменитый педиатр. Видный сторонник мира. Сейчас, когда он был рядом, мне хотелось раздвинуть эти эпитеты фабричного изготовления и вникнуть в живого человека.

ГРАНИ ХАРАКТЕРА

Я осваивал его лицо. Крепкое лицо — вот впечатление. Нет старческой дряблости. Крепкий шишковатый нос, крепкий лоб, крепкий скошенный подбородок. Улыбка частая, но скупая, не конвейерная. Крепкие мелкие зубы. Я заметил, что походка у него по-молодому пружинистая. Сухощав. Подтянут. По-американски следит за весом. Но все-таки 65 лет, и от них никуда не денешься. Недавно вышел в отставку, бросил врачебную практику. Слава давнишняя и прочная, деньгами обеспечен.

Сыновья оперились. Время спокойной честной старости. Яхта, удобная и легкая в управлении, гладь теплого моря, безопасный малый каботаж среди экзотических островов. А какие там, наверное, дни, рассветы, закаты? Словом, знаменитый доктор Спок, осчастлививший американских матерей книгой «Ребенок и уход за ним» (20 миллионов экземпляров, свыше 170 изданий), — на заслуженном отдыхе. «Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой...».

Все это доступно. А между тем он, мятежный, просит бури. Без бури покоя для него нет.

Склонившись, доктор Спок переходит на полусшепот, как бы вступая со мной в некий мужской заговор:

— Жена злилась, когда я увлекся яхтой, а теперь смирилась. Поняла. Теперь сама говорит, что, если бы не яхта, мне бы крышка.

Мы встретились в середине апреля 1968 года. Он сообщил, что первые семнадцать дней мая у него чистые — ни одного митинга, свидания, встречи. Яхта ждала его с женой на Виргинских островах. В мае имя Бенджамина Спока снова замелькало в газетах—начался суд над «бостонской пятеркой». Старого педиатра и четверых людей, с которыми свела его борьба против вьетнамской войны, усадили на скамью подсудимых.

Их обвиняют в заговоре: в том, что они подбивали молодежь уклоняться от службы в армии. Когда Линдон Джонсон объявил об отказе баллотироваться на второй срок, о частичном прекращении бомбежек ДРВ и готовности вести переговоры с Ханоем, доктор Спок обрадовался, полагая, что судебный процесс может быть замят и прекращен. Его адвокат рассеял политическую и юридическую наивность клиента. Он сказал Споку, что власти не отпустят «пятерку», раз они преследуют тех, кто уклоняется от призыва.

Теперь Спок надеется, что на судебное разбирательство, включая апелляцию, уйдет год-полтора, что война тем временем кончится и мстительный раж преследователей утихнет. Но он готов и к худшему. Спокойная совесть этого пенсионера допускает тюремную камеру

вместо уютной квартиры на нью-йоркской Лексингтон-авеню и яхты под освежающим бризом тропиков.

Однако кто кого совратил? Старый врач с воодушевлением поддался примеру молодежи. Как и многие американцы, он видит в молодежи «единственную надежду на перемены к лучшему в американском обществе».

— Мои друзья говорят, что я сошел с ума. Я, действительно, стал воинственным. Я надеюсь, что молодые люди веско скажут: «Давайте прекратим эту чудовищную глупость! Давайте наведем порядок в этом мире!»

— Почему они меня предали суду? Я решил, раз молодые люди готовы идти в тюрьму, чтобы не идти в армию, то мы, старшие, должны оказать им поддержку. Я, конечно, отнюдь не молод. Но меня поощряет одобрение молодежи. И вот сейчас, когда нас хотят судить, в какой университет ни приедешь, аудитории втрое больше, энтузиазма в три раза больше, встречают и провожают овациями. Встают...

Я договорился об интервью, встретив доктора Спока на траурном митинге после убийства Мартина Лютера Кинга. Двух этих по-разному замечательных людей судьба ненадолго поставила рядом — во главе антивоенного движения. Кинга убили через год после того, как они прошли вместе по Пятой авеню в первой шеренге массового марша протеста.

Наспех созванный траурный митинг проходил в Центральном парке Манхэттена. Было солнечно и ветрено. У микрофона распоряжалась негритянка в черной кожаной куртке и мужской шляпе. Волновалась потрясенная аудитория. За гневом угадывалось бессилие: что делать? чем ответить на преступление?

Доктор колокольной возвышался над другими ораторами. Станным, непонятным казалось его присутствие среди молодежи, среди этих свитеров, распахнутых курток, рубаш. Его темная «тройка», платочек из кармана, докторская корректность, крепкий, почти лысый череп не увязывались с бородами, усами и темпераментом молодых бунтарей. Перед микрофоном доктор Спок стоял в своей характерной позе, склонившись, прижав руки к груди, как бы ужимая свой почти двухметровый рост: собеседниками его так долго были дети.

Но главное нынешнее слово доктора Спока не сыскать в лексиконе педиатра. Воинственность — вот его пароль. Говорил он тогда немного, но дельно. Да, Кинг исповедовал ненасилие, подчеркнул Спок, но был воинствующим борцом за мир и справедливость.

Там-то я и условился о встрече. Предполагалось, что мы встретимся в его квартире. Но в назначенный день доктору предложили участвовать

ГРАНИ ХАРАКТЕРА

в телевизионной программе в Филадельфии. Прислали за ним «кадиллак». Доктор пригласил меня с собой, и получилось интервью на колесах длиной в двести миль — от Нью-Йорка до Филадельфии и обратно. Я был рад заполучить Бенджамина Спока на пять часов, без телефона, который имеет обыкновение часто звонить в его квартире, без двери, в которую могли войти другие посетители.

Шофер, краем уха прислушивавшийся к нашему разговору, деликатно вмешался.

— Для меня большая честь везти вас, доктор Спок. Хочу сказать вам об этом, хотя у многих, пожалуй, было **бы** другое отношение. Я за мир, доктор Спок, хотя мой **сын** и получил отсрочку от призыва.

В очереди дам, стоявших перед филадельфийской телестудией, пронесся ропот недоумения, неприязни, робкого одобрения, когда мимо стремительно прошагал высокий человек, знакомый по газетам и телеэкрану.

Длинноволосый парень в кожаном светло-коричневом сюртуке с чувством пожал ему руку:

— Доктор Спок, я питаю к вам величайшее уважение.

Ожидая, когда доктора вызовут, мы сидели в проходной комнатке у телестудии. Туда заглядывали любопытствующие. Доктор Спок представлял им меня. На их лицах нетрудно было прочесть: «Все ясно. Заявился сюда с «красным».

Он как бы пытал своих новых знакомых, поддразнивал их. Рассказал об эпизоде со священником, который имел отсрочку от призыва в армию, но отказался от нее, чтобы без прикрытия выступить против войны. И вот священника вызвали на призывной пункт. От других новобранцев он слышит нелестные реплики: «У, идиот! Пристрелить бы тебя, собака!» Посверкивая глазами, Спок оглядывает собравшихся: что они скажут? Продюсер и его помощник молчат.

Это было шоу некоего Майка Макдугласа, оплаченное корпорацией Вестингауз. Винегрет из негра певца, глубокомысленно рассуждавшего на тему о том, стоит ли улыбаться, когда поешь печальный блюз, из джазового квартета малолетних школьников с двенадцатилетней девочкой-трубачом, вступившей на скользкую стезю коммерческого успеха, из местной манекенщицы, которая доказывала, что и Филадельфии не чужды рекорды по части мини-юбок.

Потом вызвали и доктора Спока. Он исчез из проходной комнаты, и через пару минут я увидел его на контрольном экране. Через эту дешевую суету он, торжественный и даже чопорный, пробивался теперь со своей очень серьезной истиной о Вьетнаме, о напалме, об эскалациях, о том, что мир может «взлететь на воздух», если вовремя не

положить конец вашингтонским рискованным и нечистым затеям.

Корпорации Вестингауз, закупившей шоу Макдугласа, его популярность пригодилась, чтобы обеспечить большую аудиторию своей очередной рекламе. А он согласился приехать, чтобы рекламировать свою только что вышедшую книгу «Доктор Спок о Вьетнаме». Ему было неловко передо мной за такого рода сделку и за телевизионную мешанину, но он шел на компромисс потому, что второе главное его слово — дело.

Дело не в смысле вестингаузовской коммерции. Общественное дело, дело совести, с которым нужно на телеэкран, а если придется — и в тюрьму.

И, глядя на телеэкран, я видел, как терпеливо он отвечал на вопросы — наивные, злые, мещанские:

— Доктор, верно ли, что президентская дочь Люси использует вашу книгу, воспитывая президентского внука Патрика?

— А верно ли, доктор, что американки возвращают вам теперь вашу книгу, не желая растить детей на произведении антиамериканца?

— Доктор, как вы относитесь к тому, что вас называют предателем и коммунистом?

Из вопросов было ясно, какая у него огромная бесспорная слава врача и что слава эта для одних зачеркнута, а для других пополнена новой славой борца против войны. И он рассказывал им, как в 1964 году агитировал за Джонсона против Голдуотера и как через два дня после своей победы Джонсон позвонил ему, поблагодарил за помощь и выразил надежду, что будет достойным доверия доктора Спока.

Я уверен, мистер президент, что вы достойны нашего доверия, — ответил ему детский врач.

— А через три месяца, — продолжал Спок, — он предал всех нас, доверившихся ему, сделал именно то, что обещал не делать...

Он исчерпал свое время, простился с Макдугласом, с сотрудниками студии. На улице нас ждал тот же черный «кадиллак».

На обратном пути я опросил Спока, чем объяснить колоссальный успех его книги об уходе за детьми. Он ответил: во-первых, дешевая; во-вторых, полная; в-третьих, написана очень просто.

Я подумал, что, может быть, тяга к простоте и дает цельность его характеру. Недруги внушали и внушают ему, что в сложное дело войны и политики незачем соваться детскому доктору от коклюшей и пеленок. Но он не согласен, что вопросы войны — монополия политиков и специалистов. Для него сложность не стала теми деревьями, за которыми уже не видно леса, — жестокости и несправедливости войны.

ГРАНИ ХАРАКТЕРА

Не без колебаний примкнул доктор Спок к сторонникам мира, вступив шесть лет назад в либеральную антивоенную организацию «За разумную ядерную политику» («СЕЙН»). Либералы его быстро разочаровали.

— Меня обескуражило отсутствие боевого духа в движении за мир, — говорил он. — Они, конечно, искренни, но так трудно заставить их что-либо предпринять. За последние годы число членов «СЕЙН» выросло с 20 тысяч до 23 тысяч. Если в результате такой ужасной войны организация выросла лишь на три тысячи, то что же это за организация?

Он ушел от либералов к радикалам. От протеста в рамках благонамеренности к антивоенному сопротивлению, к организации массовых кампаний за отказ молодежи участвовать в войне. Его окрыляет массовость протеста, но он видит и рыхлость, разношерстость, иллюзии. Одно время была популярной идея создания третьей партии — партии «мира и свободы» в национальном масштабе, выдвижения Спока или Кинга ее кандидатом в президенты. От идеи быстро отказались. По словам доктора Спока, движение «новых политических сил» в смысле организованности «ужасно слабое».

— Мы собрали бы не больше миллиона голосов. А что дальше? Полное разочарование.

Вьетнамские прозрения привели его к решительному выводу о природе американской политики. Он считает ее империалистической. Но добавляет:

— Большинство американцев не думает, что мы — империалисты. У них такое мнение: мы — хорошие ребята. К примеру, бросили атомную бомбу на Хиросиму, а потом послали туда помощь через Красный Крест. Чем не хорошие ребята?

Я снова и снова смотрю на этого пассажира «кадиллака», спешащего назад, в Нью-Йорк. Мучаю его вопросами, пытаюсь повернуть новыми гранями. Доктор Опок, конечно, не политик. Разумеется, не марксист. Это стихийный, может быть, временный радикал, который интуицией честного человека докапывается до истинных пружин американской политики. Честный сын своей страны. Откровенно говорит с иностранцем о ее промахах и пороках. Это откровенность патриота — ведь такие, как он, а их сотни тысяч, берут на себя гигантский труд смыть черные пятна с образа Америки.

А прежде всего доктор Спок — врач-гуманист, которого влечет не экономика и политика, а человек, общественная психология. Ему есть что сказать людям, и он мечтает о новых книгах, адресованных молодым и взрослым, работает над ними.

И, возвращаясь к своей любимой теме, — теме о молодежи, говорит, как клянется:

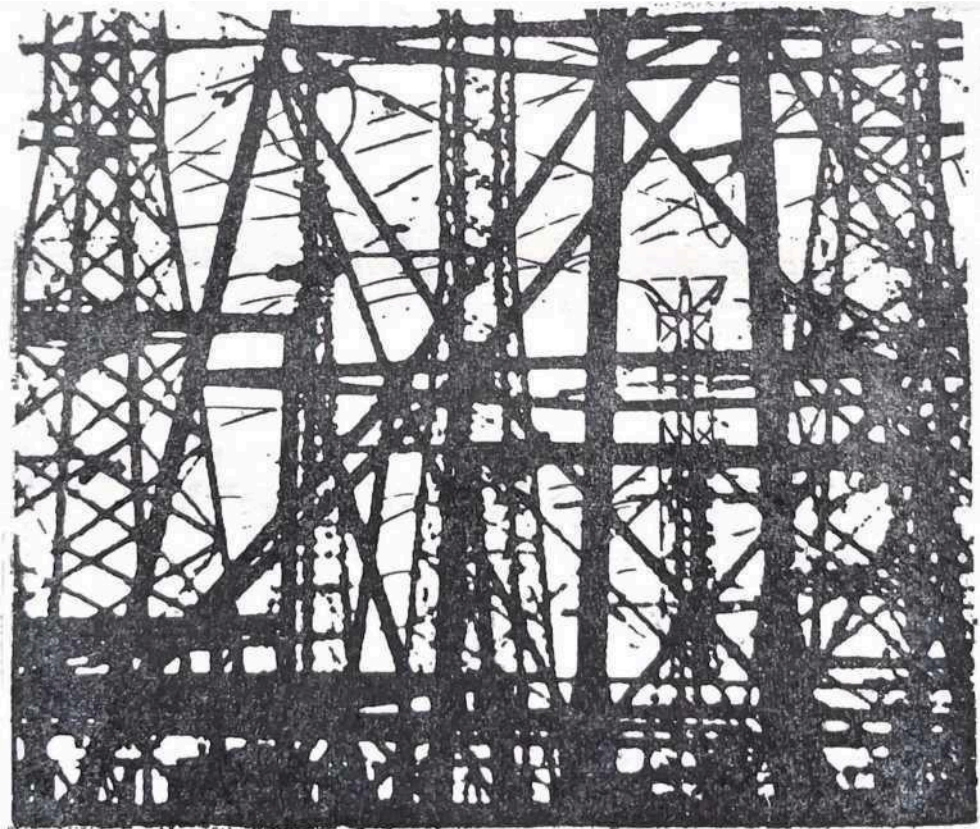
— Все мои книги о том, чтобы внушать молодежи веру в человека, дать ей достойные авторитеты, на которые можно опереться... Дети от трех до шести лет играют в родителей. Девочки изображают матерей, мальчики — отцов. С шести лет они начинают имитировать взрослых посерьезнее. И если у родителей нет высоких стремлений, дети духовно идут на дно.

...Последний поворот возле гранитного утеса, неведомо как уцелевшего на высоком, некогда диком берегу Гудзона среди домов и автострад. И этот знакомый, всегда волнующий миг. Как занавес распахнулся на громадной сцене, и с последнего поворота перед нами панорама Манхэттена — шпиль «Эмпайр стейт билдинг», сияющий под чистым апрельским небом, могучее подразделение небоскребов южной части города, среди которых притаилась Уолл-стрит, несметные порядки домищ, белые, идилические отсюда, дымки над трубами теплоэлектроцентралей. Машина катится вниз, в длиннейшую кафельную нору тоннеля под Гудзоном, и мы с тоской выныриваем под дорожные вывески и светофоры, в цепкий плен манхэттенских улиц. Город поглощает и разделяет нас. Конец пути—конец разговора.

Мы прощаемся у Колумбова круга, где стоит мраморная колонна со знаменитым первооткрывателем Америки. Здесь географический центр Нью-Йорка, отсюда город меряет свои расстояния на все четыре стороны света.

Я жму руку доктору и потом смотрю, как «кадиллак» плывет дальше, быстро теряясь в толкучке машин. Смотрю со сложным чувством. Ну что ж, доктор Спок, не только ваши книги, но и нынешнее ваше подвижничество внушает многим и многим веру в человека. Ах, если бы всю Америку можно было бы исчислять так же точно, как мили от Колумбовой колонны...

Май 1968 г.



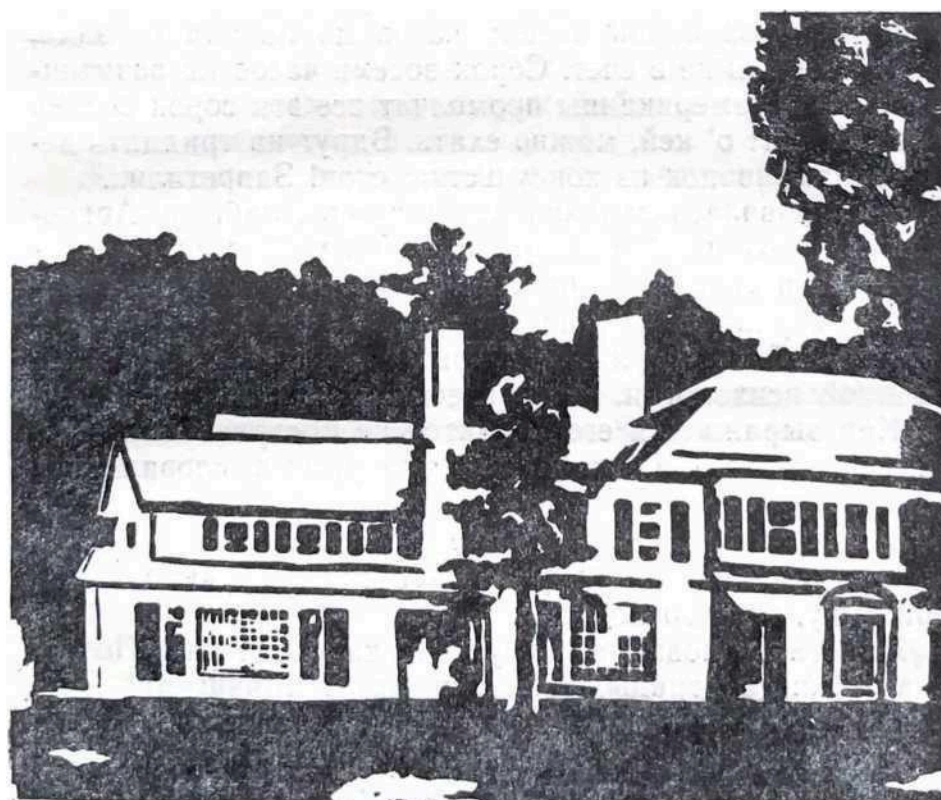
НЕДАЛЕКО ОТ НЬЮ-ЙОРКА

(ИЗ ДОРОЖНОГО ДНЕВНИК)

25—26 МАЯ 1966 г. НЬЮ-ЙОРК — ИТАКА

Политика — не гладкий асфальт прославленных американских дорог. На своем, корреспондентском, уровне я понимаю это всякий раз, когда собираюсь из Нью-Йорка в «поездку по стране». Без политики так просто: спустился в гараж, вывел машину, распрощался с небоскребами Манхэттена на мосту Вашингтона, перекинутому через Гудзон, или под Гудзоном, в трехкилометровом тоннеле Линкольна, и, как здесь говорят, «ударил по дороге» с нужным номером.

Но так как без политики не обойтись, начинать приходится с бумажек, с обновленного в ноябре 1963 года циркуляра госдепартамента, в котором перечислены закрытые для советских граждан графства. Простейшим методом исключения устанавливаешь: открыто то, что не закрыто. Берешь популярный дорожный атлас Рэнд Макнэлли и, сверяясь с циркуляром, штрихуешь закрытые районы. Густо штрихуешь, словно вычеркивая, — для тебя они все равно не существуют. Иногда под штриховкой исчезают целые штаты. Осуществив акт закрытия Америки, ставишь перед собой Колумбов вопрос: что открывать? Так очередь доходит до маршрута поездки. Маршрут подробен: куда? когда? как? насколько? куда дальше? когда? самолетом? поездом?



Если машиной — по каким дорогам: по дороге один до пересечения с дорогой два и дальше по дороге два на юго-запад до пересечения с дорогой три и дальше по дороге три на запад до пересечения с дорогой четыре и дальше, и дальше, и дальше... Приехали... «Ночевка»...

Потом твой маршрут попадает в сферу, дипломатии, не той, высокой, а будничной, консульской. Звонишь в Советское консульство в Вашингтоне, на том конце провода Володя Синицын вооружается своей картой, еще более подробной, путешествуем уже вдвоем: куда? когда? как?.. Ночевка? Есть ночевка! Так... Дальше?

Мое детище, сочиненное за письменным столом на Риверсайд-драйв, восходит по ступеням межгосударственных отношений, — уже не просто маршрут корреспондентской поездки, а дипломатическая нота. Нота идет в госдепартамент. Уже и другая сторона путешествует по карте: кто? куда? когда? насколько? Так... Поехали дальше. И — догадаться нетрудно — звонки в «третьи» учреждения, справки, предупреждения.

Нота должна лечь на соответствующий стол в госдепартаменте за сорок восемь часов до начала поездки, нерабочие дни не в счет. Сорок восемь часов на размышления! Если американцы промолчат все эти сорок восемь часов, значит о'кей, можно ехать. Вдруг на тридцать девятом часу звонок из консульства: стоп! Запретили...

Так сорвалась дальняя поездка — в Алабаму, Аризону, Нью-Мексико. Но ехать надо. Нужен был свежий материал для газеты. Одна тема была на примете: Вьетнам и американцы, война как пробный камень, как хирургический инструмент, вскрывающий глубины общественной психологии, политических взглядов американца. Как выражается его характер не абстрактными процентами опросов Гэллапа, а в конкретных словах конкретных людей?

А другая тема — даже и не тема, а, что называется, свободный поиск, по-корреспондентски, как курочка по зернышку, где что попадет.

Я составил новый маршрут: Итака (штат Нью-Йорк), Ниагарские водопады, Дирборн (штат Мичиган), Питтсбург, Буффало, Юнионтаун (штат Пенсильвания), Вашингтон. В общем, недалеко от Нью-Йорка. Часть пути — машиной. Часть — самолетом, потому что в Дирборн и Питтсбург иначе не попадешь, это открытые города в закрытых районах. И госдепартамент, промолчав все сорок восемь часов, дал «добро».

Вчера утром я спустился в гараж, сел в «шевроле» и на две недели покинул Нью-Йорк. Был дождь и туман, неподвластные циркулярам, на

мосту Вашингтона, дождь и туман на утвержденной дороге № 4 вплоть до пересечения ее с дорогой № 17, дождь без тумана на дороге № 17, а на дороге № 96 дождь иссяк, небо очистилось, и вскоре блеснуло синевой глубокое озеро в крутых берегах и открылся город Итака — первая двухдневная остановка.

Итака прильнула к холму, покорно, как раб к йогом хозяина. На холме Корнельский университет, которым живет городок.

На холме все просторно, мирно, тихо, идиллически приправлено старыми дубами и кленами. Обособленный, сосредоточенный в себе мирок американского университета. Модерн удачно вписан в лже классику старых корпусов — холлов, асфальт дорожек рассекает выхоленную зелень газонов. Свой быт — студенты с книгами на траве, чмокание мяча на теннисном корте, твидовые пиджаки и небрежно повязанные галстуки профессоров, кеды и босаяки, с бахромой, шорты ребят и девушек — последняя студенческая мода.

А между тем корнельские стены несут на себе знак аристократизма — зеленые плетения плюща. Университет входит в так называемую «плющевую лигу» избранных американских вузов. Корнельский диплом — хорошая стартовая площадка к успеху в обществе. Он не только высоко ценится, но и дорого стоит. В преобладающем частном секторе университета студент платит за обучение 1800 долларов в год, а все его расходы (с жильем, питанием, учебниками и проч.) составляют в среднем около трех тысяч долларов. На летних студенческих шортах — босая бахрома, зато на плюще — финансовые колючки, и они помогают регулировать социальный состав питомцев.

Вольница уживается с дисциплиной и практичностью. Дежурный клерк в университетской гостинице «Статлер-Ин» затянут, застегнут, отутюжен — по-американски эффективен. А он тоже студент, из отделения, готовящего управляющих для отелей. Клерк ловко трудился за стойкой, регистрировал прибывших, взимал с отъезжающих, торговал газетами и сигарами. Он был вежлив и холоден. Выдал мне ключи, подозвал коллегу, практикующегося в роли носильщика. Студент-носильщик вполне сошел бы за профессионала. Подхватив чемодан, пропускает меня в лифт, выпускает первым на этаже, раскрыв дверь номера, снова жестом пропускает меня вперед, раскидывает подставку для чемодана, пощелкивает выключателями в комнате и ванной...

И уходя ставит меня перед мелкой, но психологически острой дилеммой: давать чаевые или не давать? Включаться ли мне в игру,

которую он вел по всем правилам? Сунуть или нет четвертак в руку человека, получающего здесь высшее образование за три тысячи долларов в год? Прикинув и так и сяк, я решил, что лучше уж лишиться его четвертака, чем, не дай бог, унизить. По тому, как он странно замешкался у двери, я понял, что ошибся.

Началось: ты в чужом мире, в чужом монастыре, так и не усвоив тонкостей его устава...

Впервые я попал в Итаку год назад. Тогда была туристская поездка вчетвером, наслаждение тишиной, лечащей нервы после Нью-Йорка, завистливые взгляды на студентов, загорающих на огромных голыщах у берега порожистой местной речушки. По холму водил нас Уитни Джейкобс, помощник директора информационного центра университета, насмешливо, но и уважительно рассказывавший об Эзре Корнеле, «человеке от сохи», который нажил миллионы на прокладке первых телеграфных кабелей еще сто лет назад, а к старости заключил удачную сделку с властями штата Нью-Йорк, обменяв полмиллиона и холм возле Итаки на благодарную память потомства — его дар положил начало Корнельскому университету.

Теперь я приехал один и по делу. Еще из Нью-Йорка по телефону я сообщил Уитни Джейкобсу о цели поездки. Он помолчал секунд десять, не больше. Что ж, Вьетнам так Вьетнам. Корнельский университет готов принять корреспондента «Известии», даже если тот хочет выяснять настроения по щекотливому вопросу.

Без обязательности деловой американец так же немислим, как без свежей сорочки, гладко выбритых щек и контроля за весом физическим и фигуральным. Уитни тут же перезвонил мне в Нью-Йорк и сообщил, что подготовлен «довольно хороший подбор» собеседников: два студента — противника правительственной политики во Вьетнаме, два—сторонника, один профессор, который «решительно против», другой профессор, который «неохотно за», готов поговорить, но не хочет, чтобы его цитировали.

Уитни заказал не только собеседников, но и номер в «Статлер-Ин» и пришел ко мне, едва я успел умыться с дороги и оправиться от психологического этюда с практикантом-носильщиком. В руках у Уитни был пакет, в пакете обыкновенное чудо американской организованности — расписанная до минут программа моих встреч, текст резолюции исполкома студуправления, осудившего политику США во Вьетнаме, краткие данные о моих собеседниках, включая копию университетской анкеты профессора Дугласа Дауда, который «решительно против»,

репортаж об аспиранте Томе Белле, устроившем антивоенную сидячую забастовку в кабинете президента университета, последний номер студенческой газеты «Корнел дейли сан» и т. д.

— Вьетнам? Извольте. Нам нечего таиться, — вот что было в жесте, которым Уитни протянул мне пакет. Мы справились о здоровье общих знакомых и опустились вниз, в подвальный бар, где студент-бармен, достав со льда два запотевших замороженных стакана, нацедил нам немецкого пива.

Вьетнам... Он так далек от корнельской райской тишины и покоя. Но он здесь, он отбросил свою тень на холм. Я угодил в самое горячее время. Студенты с книгами на траве готовятся к экзаменам, но самый важный экзамен предложен поверх учебной программы — службой по отборочному призыву в армию. Из области убеждений и совести вьетнамский вопрос переведен в практическую плоскость судьбы и общественной селекции: студенты, которые по результатам этого экзамена попадают в последнюю треть своего курса, могут угодить в солдаты. Кому менять книги на винтовки, газоны на джунгли, профессоров — на сержантов?

Бронзовый Эзра Корнел, стоявший на большой лужайке, не подозревал, что неподалеку, в «Юнион холл», студенты голосовали по вопросу о Вьетнаме. Исполком студуправления устроил референдум, призвав высказаться и против войны, и против экзамена. Его противники тоже вели свою агитацию. На дубе возле «Юнион холл» прибит лист картона: «Исполком истратил студенческие взносы на свои призывы. Мы не нуждаемся в «Правде», диктующей нам партийную линию». (Призыв исполкома опубликован в «Корнел дейли сан» как платное коммерческое объявление, потому что студенческая газета организована на коммерческой основе.)

«Корнел дейли сан» дальше от «Правды» политически, чем Итака от Москвы географически, и исполком, как я выяснил, не тратил взносов на объявление. Просто разгорелись страсти.

Студенческие страсти дали пищу для академических умов, и доцент-социолог Роза Голстен пропустила их через электронно-счетную машину, проведя опрос части студентов, я видел ее подробнейшие папки и слышал вывод: политических активистов справа и слева немного, большинство — апатично и аполитично.

Референдум внес поправки. Апатичных действительно оказалось много, но все-таки голосовало больше пятидесяти процентов студентов и аспирантов (6655 из 12 тысяч).

Пятьдесят пять процентов высказалось за отказ от поддержки сайгонского режима, пятьдесят три процента — за прекращение бомбежек Северного и Южного Вьетнама. Поразили всех сорок восемь процентов голосовавших за «окончательный и полный вывод» американских войск из Южного Вьетнама.

Что означают эти проценты? Солидарность с борющимся Вьетнамом? Критику только войны или вообще внешней политики США? А может быть, осуждение общества? А может, смущение молодых умов, убежденных с детства, что это самое благодетельное общество, несущее во все концы свет великих идеалов, и вдруг обнаруживших позорное пятно на его одежде? Сколько тут процентов «зрелых», а сколько — от игры юнцов в политику?

Нет единого ответа. А вопросы, на мой взгляд, существенны для оценки морально-политического брожения в нынешнем поколении американских студентов, которое, придя на смену молчаливкам времен маккартизма, прошумело на весь мир. Это вопросы не только для Итаки, но и для всего антивоенного движения в Америке. Многое зависит от того, какой меркой его мерить. Если меркой корейской войны, которую часто прикладывают прогрессивные американцы, это — невиданное движение, бурное, широкое, внушающее оптимизм. Если брать мерку практического воздействия на политику, для оптимизма меньше места: антивоенное движение не вынудило правящие круги на реальное изменение политики.

Важно определить политическую и классовую природу движения, избежав упрощенного, но, увы, привычного взгляда, согласно которому, кто против наших противников — тот с нами и нашими союзниками, кто против войны Вашингтона во Вьетнаме — тот за национально-освободительную войну вьетнамского народа. Это соблазнительно, но обманчиво — политическая жизнь Америки куда сложнее.

Четыре студента, предложенные Уитни Джейкобсом! четыре подробные беседы дали мне возможность увидеть три политических цвета. Конечно, журналист — фотограф, а не художник. Я

фотографировал своих собеседников в одном интересующем меня ракурсе — политическом. Уитни присутствовал на всех беседах, но соблюдал нейтралитет, не смущая студентов.

У меня получилось вот что.

Аспирант Том Белл — радикал, лидер университетской группы «Студенты — за демократическое общество» (СДО). Убежденный парень, многое критически пропустивший через себя. Густые усы, как вызов буржуазному конформизму, но главное не усы, а взгляды. Его отправная точка — неприятие капиталистической Америки^ «Удовлетворяет ли наше общество истинные нужды человека?.. Неужели цель жизни — делать деньги и набивать дом пошлыми вещами?.. Наша страна удовлетворяет человека лишь на животном, материальном уровне». С его точки зрения, во Вьетнаме происходит «освободительная, антиколониальная война, связанная с социальной революцией». Его цель? Создание «мощного политического течения для изменения внешней политики США».

Дэвид Брандт — президент студуправления, организатор референдума. По мнению Брандта, референдум доказывает, что теперь в противники войны пошел не только студент-активист, но и «ординарный» студент. Отправная точка его критики? «Американцы нарушают во Вьетнаме тот самый принцип самоопределения, на котором были основаны Соединенные Штаты». Для него Вьетнам-ошибка и случайность, а не политика, вытекающая из системы. Какую он ставит перед собой цель? Исправить ошибку, прекратив войну и выведя войска. Дэвиду Брандту, как и большинству протестующих против войны студентов, чужд радикализм Тома Белла.

Томас Мур и Говард Рейтер — сторонники войны. Оба возбуждены первым «противостоянием» с живым коммунистом. Оба по-молодому наслаждаются правом, которое даровано им американской демократией, — свободной болтовней, которая так часто прикрывает плохие дела и плохую политику. Отправная точка? Школьный антикоммунизм, имперская психология, при которой представляется совершенно естественным право американцев судить, рядить и вершить дела за другие нации

— Коммунисты обманывают народы хорошими обещаниями, — говорит Томас Мур, — но мы не позволим им на этот раз обмануть вьетнамцев.

А Говард Рейтер замечает:

— Если мы уйдем, победит Вьетконг, и во Вьетнаме не будет

свободного общества.

Глядя на меня невинными глазами, он продолжает: — Наша главная задача — найти таких лидеров в Южном Вьетнаме, которые могут осуществлять «гонолулскую программу».

Его нимало не смущает, что «гонолулская программа» сочинена за один присест президентом Джонсоном, который отнюдь не полномочен представлять вьетнамцев, и марионеткой Ки, который представляет в Сайгоне лишь президента Джонсона, и что вообще поиски лидеров Южного Вьетнама — совсем не американское занятие.

Казалось бы, это так очевидно. Но Говард Рейтер начинен другой очевидностью. Мои слова отскакивали как горох от стенки. Он свежий продукт идеологического конвейера — не помятый, не побитый, не обкатанный жизнью. Он полон добра, хочет одарить вьетнамцев своим «свободным обществом», не скупясь на жертвы, преимущественно вьетнамские. Он искренне убежден, что то, что хорошо для него, американца, не может не осчастливить вьетнамца. Это добросовестно заблуждающийся малый, легкая добыча Вашингтона, ибо ошибается тот, кто считает, что массовой опорой империалистов в американском народе служат профессиональные милитаристы из Пентагона и политические ястребы на Капитолийском холме.

Американским бойскаутам положено совершать добрые дела, желательно не меньше одного в день. Говард Рейтер похож на бойскаута из истории, которую однажды вспомнил сенатор Фулбрайт, иллюстрируя внешнюю политику своей страны и имперскую психологию своих соотечественников. История проста, но со смыслом. Три бойскаута с воодушевлением рапортовали скаутмастеру о добром деле дня: они помогли незнакомой старой леди перейти улицу.

— Прекрасно, — сказал скаутмастер. — Но почему вы переводили ее втроем?

— Ну как же, — объяснили бойскауты. — Ведь она не хотела переходить улицу...

Говард Рейтер важен как тип. Он родился в эпоху антикоммунизма и логично вырос империалистом по убеждению, хотя я уверен, что его оскорбит такая характеристика. Как и мольеровский герой, он не подозревает, что говорит прозой. Как им распорядится жизнь, сказать трудно. Но ему легко — он плывет по течению.

Сложнее Тому Беллу и его товарищам. Они плывут против. Они не избавились от мелкобуржуазной утопии, потому что опираются не на классовую силу (по мнению Белла, американский рабочий класс

«подкуплен и консервативен»), а на возраст, на молодых людей, на молодой протест против общества. Не принимая мир, оставленный ей взрослыми, радикальная студенческая молодежь устанавливает даже возрастные потолки для участников движения: тридцать пять лет, а то и двадцать пять, а то и чуть ли не восемнадцать. Это трогательно и наивно. Нынешнюю молодежь не обошел один извечный закон — она тоже стареет. «Шумит, волнуется, кипит» и... идет в сети, расставленные обществом, а они всюду.

Умный парень, Белл понимает, что с годами перед участниками движения встанет неизбежная дилемма: либо продолжать бунтарство, за что общество мстит средствами экономического давления, лишая радикалов теплых местечек и материальных благ, средствами психологического давления, изображая их изгоями и «не американцами» (Говарду Рейтеру последнее не грозит), либо, фигурально выражаясь, обрита усы и бороды, причесать взгляды и вписаться в это общество, признав «заблуждения молодости».

Но вот профессор Дуглас Дауд — далеко не в студенческом возрасте. Он исполняет обязанности главы департамента экономики.

— Использовать напалм против деревень? Это неопишимо ужасно! Я говорю об этом с большой неохотой. Хотел бы я жить в стране, где мог бы кричать «ура» своему правительству.

Это не означает, что профессор против капиталистической Америки. Но он видит пороки американского общества и по-своему борется с ними, как человек либеральных взглядов. Он руководил экспедициями корнельских студентов, ездивших на юг, в штат Теннесси, помогать неграм. Теперь — один из лидеров «межуниверситетского комитета», который устраивал широко известные «тишины» (публичные дискуссии) по Вьетнаму. В Корнельском университете есть своя группа противников войны, в которой активно участвуют тридцать пять профессоров и преподавателей.

— Я убежден, что чем больше люди говорят о войне, тем больше противников войны. Я верю в американский народ. Если его вовлечь в серьезную политическую дискуссию, он примет достойное решение.

Дуглас Дауд против колониальной войны в Индокитае еще с 1947 года, когда французы только-только начали раздувать ее. А прозрение наступило раньше, на Филиппинах, в конце второй мировой войны. Военный летчик капитан Дуглас Дауд командовал тогда специальной авиагруппой, спасавшей сбитых американских пилотов. У него были контакты с филиппинскими партизанами.

— Нельзя было не восхищаться ими, — говорит он. — Многих я знал хорошо. И вдруг, представьте, только кончилась война, и я узнаю, что моих друзей ставят к стенке филиппинские феодалы. И вдруг наше правительство занимает сторону этой верхушки против партизан...

Этих вдруг у молодого летчика было много. Он освобождал военнопленных — англичан, французов, голландцев, захваченных японцами в колониях Юго-Восточной Азии. И вдруг узнавал, что солдаты возвращаются на прежние места службы, чтобы восстанавливать прежние колониальные порядки. Для профессора экономики этих вдруг уже не существует. Он считает, что американский бизнес, а вслед за ним и американское правительство испугались движения за социальные перемены и социальные революции в слаборазвитых странах. Он, правда, объясняет это близорукостью, не больше, и неумением понять, что «просвященный эгоизм» требует от США поддержки национально-освободительных движений.

Любопытно сравнить взгляды профессора Дауда и студента Рейтера, так сказать, через их биографии. Профессор пришел к критике этой войны через участие в другой войне, через встречи с филиппинскими партизанами. Его не испугать коммунистами — «вьетконговцами»: он знает филиппинских патриотов. А Рейтер родился после войны. Он продукт войны холодной. Сколько он себя помнит, столько помнит и разговоры о мифических «страшных коммунистах», которые издавна, исподволь подкапываются под его Америку. Поколение, выросшее на антикоммунизме, — разве не оно воюет во Вьетнаме? И разве не оно же здесь, в США, воюет против войны?

27 МАЯ. ИТАКА —УОРРЕН

С утра рассчитался в отеле. 25 долларов за два дня. «Патроны» здесь не из бедняков: родители студентов, бывшие выпускники, ученые гости, дельцы, связанные с университетом. У университета, кстати, большой бюджет— 124 миллиона долларов в 1964/1965 учебном году. Треть денег идет от федерального правительства — в эпоху «после Спутника» Вашингтон щедр на науку. Правительство, а также корпорации и частные фонды в прошлом году дали корнелцам 55 миллионов долларов на осуществление 1500 разных проектов. По тому, с какой любезной опаской нас водили по территории, можно догадаться, что заказы бывают разные.

...Дремали дома и улицы Итаки, но уже проснулись

бензозаправочные станции — первые петухи Америки. Первый утренний разговор:

— Гуд морнинг, сэр. Сколько залить?

— Гуд морнинг. Доверху.

Американские города, особенно маленькие, нанизаны на дороги, как шашлык на шампур. Путешественнику не нужен язык, здесь глаза доведут его до Киева. Указатели с номерами и направлениями дорог всюду на улицах и перекрестках. Я быстро нашел свою, утвержденную 13-ю, направление — юг, и за полчаса, по утреннему холодку, проскочил пустынные тридцать миль до Эльмира, где надо было съезжать на дорогу 328.

Эльмира не успела проснуться, редкие машины и еще более редкие прохожие на пустых улицах. Два старика на крутящихся табуретках у стойки рано открывшейся закусочной. Официант, еще не заведенный на максимальную скорость breakfast time — часа завтрака, обменивался с ними новостями о погоде и бизнесе.

Местный бизнес не привлек моего внимания. Я искал музей Марка Твена. В дорожном атласе указано, что Эльмира — «место, где родился и захоронен Марк Твен». Меня направили на центральную городскую площадь. Там был старый отель «Марк Твен», но музея не было. Там был сквер, но в сквере стоял памятник не Марку Твену, а солдату с решительным лицом, винтовкой и в тропической шляпе. Откуда эта шляпа на севере штата Нью-Йорк, недалеко от канадской границы? «Ветеранам испанских войн 1898—1902 гг. Куба — Пуэрто-Рико — Филиппины», — гласило посвящение.

Жители Эльмиры по общественной подписке собрали деньги, чтобы увековечить как раз те страницы национальной истории, которые проклинал их великий земляк. Обличая «империалистов 1898 года», Марк Твен писал: «Мы призвали наших чистых молодых людей приставить опозоренный мушкет к плечу и сделать бандитскую работу под флагом, которого бандиты привыкли бояться... Мы надругались над честью Америки».

Как будто сказано вчера на антивоенном митинге.

Музея Марка Твена в Эльмире, оказывается, нет. Но метрах в ста от бронзового солдата, под деревом у дороги — небольшой камень с мемориальной доской. Там раньше стоял дом, в котором жили Марк Твен и его жена Оливия Лэнгдон. Дом принадлежал семье Лэнгдонов. Сейчас на его месте — платная автомобильная стоянка.

В 1952 году семья Лэнгдонов подарила Эльмирскому колледжу

«кабинет Марка Твена» — восьмигранную деревянную беседку с окнами на все стороны, которая стояла раньше на Ист-хилл—на горе неподалеку от Эльмиры, где была ферма Лэнгдонов.

Простенькая беседка скучает у зеленого пруда на территории колледжа. Через окна я увидел небольшой круглый стол, два кресла-качалки, три стула, высоченную пишущую машинку под стеклом, камин и каминные щипцы. В этом кабинете Марк Твен написал «Приключения Тома Сойера».

Если гора не идет к Магомету... Марк Твен вернулся в Эльмиру, на старое и красивое кладбище с тенистыми аллеями.

Я ловлю себя на том, что если не открываю Америку, то повторяю ее, как школьник знакомый материал. То, что в первой поездке было неведомым шифром, в десятой—уже азбука, азбука мотелей, дорог, аэродромов, даже азбука кладбищ. Да, даже на кладбищах это азбука удобства и рационализма. Я догадывался, что мне не надо будет искать автомобильную стоянку возле кладбищенских ворот, что на машине можно подъехать к самой могиле. Так и случилось: стрелки-указатели вывели куда нужно. Марк Твен захоронен на семейном участке Лэнгдонов. На небольшом холме могилы «любимой покойной жены Самюэля Л. Клеменса», его трех дочерей и зятя Осипа Габриловича. Рядом с ними на надгробном граните:

Самюэль Ленгхорн Клеменс

— Марк Твен —

Ноябрь 30, 1835 — Апрель 21, 1910

Тут же, на холме, Клара Клеменс-Габрилович (дочь Марка Твена, скончавшаяся в 1962 году) поставила в 1937 году большой памятник отцу и мужу. Их барельефы высечены на граните.

Американцы не питают и десятой доли нашей эмоциональной и интеллектуальной привязанности к своим великим писателям. Но Марк Твен очень популярен и слава его растет, и мне трудно объяснить, почему Эльмира не развернула бизнес на Марке Твене.

В Ганнибале, сонном городке на реке Миссисипи, где мы побывали три года назад, Марк Твен был на каждом шагу. Поздно вечером мы приехали туда с товарищем, и еще при въезде нас перехватил неоновым сиянием маленький, но чистый мотель «Том и Гек». Утром мы завтракали в городе, в ресторане, где яичницу с беконом ставят на «мемориальную» бумажную салфетку с картой и перечнем твеновских мест. В Ганнибале писатель провел детство, которое позднее стало детством Тома Сойера и Гека Финна. В доме-музее Бекки Тэтчер,

бросив монетку в огромную «оркестроллу», некогда сделанную по заказу писателя, мы слушали его любимую музыку «Марсельезу», «Лунную сонату», гопак.

Мы навестили и пещеру «имени Марка Твена». Теперь она электрифицирована и не так страшна, но гид устраивал трюки со светом и, погружаясь в тьму крошечную, мы проникались страхом и трепетом Тома Сойера. Кстати, рядом с входом в пещеру другой вход — в атомное бомбоубежище. Сколько воды утекло! И страхи стали другими, и трепет.

Недалеко от Ганнибала есть мемориальный парк над Миссисипи, красивый, ухоженный и пустой. Пуста была и река в тот час, ни лодочки, ни парохода, широкая, мощная, подобравшаяся к зеленым островам. В парке памятник Марку Твену от штата Миссури, сооруженный в 1913 году, с хорошей надписью: «Его религией была человечность, и весь мир оплакивал его, когда он умер».

Каннибальский горожанин Курбе, владелец мотеля «Том и Гек», далек от высоких материй. Земляк Тома Сойера, он читал о похождениях твеновских героев, сам лазал в детстве по пещерам, проводил дни на Миссисипи, но тогда же усвоил завет отца «быть лучшим, а не вторым» — в искусстве делания денег.

Мы пригласили его в номер на разговор и стаканчик виски. Виски Курбе отверг—не пьет, не курит. Сидел добродетельный, здоровый, в свежей голубой рубашке. Сидел и рассказывал. Самым памятным был для него 1942 год. Тогда двадцатилетний, только что женившийся парень, он взял ссуду у знакомого торговца недвижимостью и купил дом за двадцать одну тысячу долларов. Через три года, работающий человек, мастер на все руки, он переделал дом и продал его за двадцать семь. Купил другой дом и, переделав, снова продал. Операция повторялась пятнадцать раз. В свои сорок семь лет он владел мотелем за восемьдесят пять тысяч долларов, часть этой суммы уплатил наличными, часть выплачивает взносами, в рассрочку.

Два сына в колледже. Он не подвел своего отца и детям передал ту же эстафету: «быть лучшим а не вторым». Конкуренция стала жестче, быть «лучшим» труднее. Но он уверен, что и сыновья не подведут. А сам рабочий-железнодорожник, бригадир поездной бригады. Приходя домой со смены, помогает жене стирать мотельное белье — в прачечную они отдают лишь простыни, с мотелем управляют вдвоем. Железная дорога дает раз в год право бесплатного проезда с семьей. Курбе не пользуется этим правом. Невыгодно: приедешь, к примеру, в

Канзас-сити на поезде, а там по городу придется ездить за свои деньги — автобус, такси. Лучше уж путешествовать в машине.

Курбе уверен, что постиг смысл жизни, — теперь будет торговать мотелями.

В доме-музее Бекки Тэтчер мы встретились с пожилой учительницей из Чикаго, побывавшей в Советском Союзе. Я записал ее слова: «Мне нравится ваша страна. Там будущее. Ведь раньше его книги здесь считали чепухой. А он был человек великодушно гуманный, великодушно гуманный по-вашему».

А Курбе о Марке Твене говорил снисходительно: «гений с пером», «прославился потому, что писал о детях, а детей все любят». На его взгляд, Марк Твен тоже занимался бизнесом, но другим, и деньги ему доставались легче...

От Эльмиры до Уоррена — около ста семидесяти миль по северной кромке штата Пенсильвания, вдаль от больших городов и закрытых районов. Пять раз пришлось менять номера дорог, но дело это привычное, дорожные знаки искусно переводят с одной дороги на другую, заблаговременно предупреждают о встречах и разлуках автострад. Хорош язык дорожных знаков — четкий, командный, адресованный человеку рядом с опасностью скоростей и несущему опасность: «Не засыпай!», «Лихачи теряют права», «Максимум скорости — 60 миль», «Сократи скорость! Школьная зона!», «Сократи скорость! Городская черта», «Максимум — 30 миль», «Осторожно — впереди светофор!», «Конец зоны! Возобнови скорость!», «Осторожно! Олений переход!».

Порой извинительная нотка: «Объезд! Простите за неудобство».

Но нужда в извинениях крайне редка. Дороги хороши на зависть. Много можно взять от Америки. Машины? Да, конечно, хотя в больших городах они стали проклятьем, в воскресные летние вечера, когда сотни тысяч жителей возвращаются в Нью-Йорк, машины, бывает, стоят бампер к бамперу из трехрядном «Лонг-Айленд Экспресуэй» уже 33 двадцать миль от города. А дороги бери без оговорок. Их так называемые «фермерские куда там нашим районным. И областным, увы, не снились еще автострады, протянутые в американском захолустье между городишками на пять — десять тысяч человек. И все-таки нет покоя дорогам, не от машин — от строителей. Расширяются старые, строятся новые даже там, где, казалось бы, нет больших потоков грузов и людей.

Тут и там оранжевый цвет дорожных работ, броский цвет

предупреждения и тревоги. Большие оранжевые щиты: «Осторожно! Впереди работают!» И звучит сюита дорожных знаков, начавшись за милю-две от места работ. «Сократи скорость! Максимум 40 миль!» Новое указание: «Максимум — 30 миль». Размеренные такты дорожных щитов: «Левый ряд закрыт в полумиле», «Переходи в правый ряд», «Максимум — 20 миль!», «Осторожно! Люди работают!» И после этого наставления, внушающего уважение к работающим людям, — оранжевые бульдозеры, оранжевые грейдеры, оранжевые грузовики, оранжевые жилеты и каски строителей.

И синие большие щиты при въездах на новые, еще не потемневшие от шин широкие полосы автострад: «Ваши налоги за работой». Это работают налоги на дорожное строительство. Великая сеть дорог развилась в тридцатые годы, при Рузвельте, по программе «общественных работ». Она помогла рассосать безработицу после знаменитого экономического краха.

Дорога как песня. Не она ли, по слову поэта, помогает, «что в жизни вспомнить, что забыть»? Даже если это не российская, а пенсильванская дорога, через зеленые невысокие горы, с коротким заездом на местный Гранд-каньон, с взглядом мельком на федеральные и штатные леса, где таблички призывают «охранять свой лес и наслаждаться им», где расчищенные площадки для пикников с грубо сколоченными столами и скамьями и даже краном водопроводным и, непременно, вполне комфортабельным туалетом. Маленькие городки, газончики перед побеленными аккуратными домиками, терраски в тени деревьев, и снова — «Конец зоны! Возобнови скорость!» — рывки автострады в зеленую гористую страну.

«Что в жизни вспомнить, что забыть»... В уникальном, всепоглощающем мире Нью-Йорка, где личность затеряна в восьмимиллионной толпе у подножия холодных сверкающих небоскребов, где круглосуточно режут машины под окнами, а жестокие газеты, которые ты должен изучать хотя бы в силу прямого рабочего долга, отражают жестокую борьбу людей, — в этом городе кажется, что и вся Америка от Атлантического до Тихого океана застроена небоскребами, забита автомобильными пробками и индустриально грохочет, не умолкая ни на секунду. Рассудком знаешь, но сердцем забываешь, что это не так. А вырвешься — и вот она перед тобой, просторная зеленая страна, бегущая вдоль дороги, «Америка красивая», как поется в их песне.

В их песне... В том-то и штука. Убаюкивает дорога. Глаза на

встречных машинах, на желтой разделительной полосе, на спидометре, а память далеко-далеко. И получается, что нет все-таки лучше и милее дороги детства — песчаные косогоры и кривые золотистые сосны на опушке, а за ними корабельный бор по лесной дороге от Саваслейки до Кулебак. Нет красивее, памятнее рассвета, чем тот, что ребенком увидел однажды из кузова грузовика, трясшегося по булыжнику шоссе Горький — Муром — Кулебаки. Мерзли всю ночь, а потом в поле над кромкой леса занялся рассвет, и красное, еще доступное глазу, еще обжигающе холодное солнце прыгало за верхушками деревьев, прыгало вместе с нами...

И вдруг на этом великолепном асфальте, среди ухоженных просторов и красот другой страны, которую распаиваешь ты со скоростью в шестьдесят миль, схватит тоска за сердце... Нет, брат, худо растревлять себя воспоминаниями, когда ты далеко от родных мест, от любимых людей и один как перст.

Я ворвался в Уоррен, и первый же светофор сказал мне своим красным глазом: «Шалишь, брат. Хватит...» Снова улицы, забитые машинами.

«Ночевка в Уоррене», — значится в ноте.

Я хотел тишины, вокруг были леса и река с красивым индейским именем Аллегейни, дорожный справочник манил хорошей охотой, рыбалкой, купанием и даже зимним спортом, но зря я рыскал в разрешенном радиусе двадцать пять миль. Тишины не было. Если бы я приехал сюда четыре года назад, еще новичок в Америке, наверно, восхитился бы: маленький городок, четырнадцать тысяч жителей, а ведь несколько гостиниц и moteлей — честь ему и хвала. Сегодня я думаю о том, что все диктуется бизнесом, и наличие отелей, и то, что все они под носом у ревущих дорог. Не хотят тратиться на асфальт подъездных путей. И суеверны, черти, суеверностью дельцов: а вдруг автомобилист не захочет махнуть и пятьсот метров в сторону от автострады, вдруг нет для него лучше музыки, чем рвущая уши музыка дорог.

И вот приземление — мотель «Тенистая лужайка», три сиротливых деревца, звукопроницаемые кабины-коттеджи из какого-то синтетического псевдокирпича, которые того и гляди сдует воздушной волной от бешеных снарядов-автофургонов на федеральной дороге номер шесть. Дорога стала моим врагом, едва я ее покинул. Но я-то знаю, что она снова будет другом, как только замурлыкает завтра мотор «шевроле».

27 МАЯ. УОРРЕН — НИАГАРА-ФОЛС

Ночью машины утихли.

Сегодня нерабочая суббота, завтра нерабочее воскресенье — американцы давно на пятидневной неделе. А в понедельник Memorial Day — день памяти павших, тоже нерабочий. Итак, долгий уикэнд.

Memorial Day начали отмечать вскоре после Гражданской войны Севера и Юга, теперь поминают павших во всех войнах. Конец мая — могилы в цветах.

В Уоррене тоже есть свой бронзовый солдат — в сквере у реки. В самом центре города, а все-таки в стороне и удивительно незаметный. Горожане семьями, с младенцами в колясках, сновали у магазинов, где шла очередная распродажа, — они бывают перед каждым праздником (распродажи по случаю Дня независимости, Дня рождения Вашингтона, Дня рождения Линкольна, Дня труда и самая главная — перед рождеством Христовым). Зеваки обступили автофургон, длинный, новенький, приютивший мобильный рентгенокабинет: не пода- рить ли себе снимок собственных легких? А скверик с солдатом был пуст и спокоен, и пьяный, единственный обнаруженный миноу пьяный на все четырнадцать тысяч предпраздничных уорренских душ, блаженно похрапывал у постамента, скрашивая одиночество бронзового героя.

Везде здесь памятники солдатам, в каждом почти городе, где мне довелось побывать, — а побывал ведь уже, пожалуй, в десятках, — но странное у них свойство быть незаметными. Оттого, что они одинаковы, как отписки? Или оттого, что они не выстраданы, что есть в них, на мой взгляд, что-то от игры в историю? А может быть, просто оттого, что они чужие? Не знаю.

Меньше миллиона американцев погибло на полях сражений во всех войнах, которые вели США, включая кровопролитную гражданскую, первую мировую, вторую мировую. Как в этой цифре отразилась разность наших исторических судеб, мера жертв и страданий, наконец, национальный характер!

Позавчера, накануне отъезда из Итаки, Уитни Джейкобс пригласил меня к себе домой. Мы сидели на терраске, над деревьями, сбегающими по оклону холма, и Уитни, сбросив официальность вместе с галстуком и пиджаком и облачившись в раскрепощающие домашние штаны и дырявые кеды, потягивал виски-сода и по-домашнему же занимался поисками точек соприкосновения со мной — тем обязательным занятием американца и советского человека, где бы они ни встречались

в наш век, за столом конференции на высоком уровне или интимно, в домашнем кругу, за виски-сода. Мы вдвоем искали эти точки — в детстве, в жизненном пути. И нащупывали кое-что общее, как и люди за столами конференций, но мало. Мы — дети разных стран и, сидя на терраске в тихий и теплый вечер, все время ощущали за своими плечами их дыхание.

Во время второй мировой Уитни был в морской пехоте. Он рассказывал мне, как увидел небо о овчинку на одном тихоокеанском острове, где их отрезали и брали измором японцы. Каком острове? Я не запомнил, а для американцев это была известная битва.

Мелкий факт, но характерный. Мы живем в одно время на одной земле, которая стала очень тесной, мы вместе делали историю во время той, большой войны, и у большинства из нас одна забота — сохранить мир. Но даже одинаковая информация, прошедшая через наши мозги, перерабатывается нами по-разному, потому что мы живем разной жизнью. На народном, на массовом уровне мы не помним их битв, кроме разве что высадки в Нормандии, они — наших, кроме Сталинграда. Я встречал американцев, которые предъявляли нам лишь один счет военного времени — непогашенные долги по ЛЭНД, лизу. Одиннадцать миллиардов долларов — эту цифру они помнили точно, остальное не знали либо забыли. Это подсчет Шейлока, он сух и прост, как и другие азбучные истины американской практичности. Те, кто посовестливее, вздрагивали, однако, когда я упоминал наш вклад в победу. Этой цифры они не знали: двадцать миллионов наших смертей, и двести девяносто одна тысяча американцев, павших во второй мировой войне. \ Кровь кощунственно переводить в арифметику, но настолько меньше страданий, трагедий! А огненный вал, прокатившийся по нашей земле, и целехонькая Америка, претерпевшая на своей территории лишь драму Пирл-Харбора, да и то не на континенте, а на Гавайях. А голодная блокада Ленинграда против лимитов на бензин и шоколад в Нью-Йорке! Войны оставляют зарубки в народной памяти, а тут, в Америке, неизвестно, от чего зарубка глубже: от страданий осиротевших семей или от рекордных прибылей и зарплат военного времени.

Это не абстрактный разговор о делах давно минувших дней. Народная память — зыбкое понятие, она протечет, не задерживаясь, через дырочки перфокарт электронно-вычислительных машин. Но она существует и действует как живая история, записанная в сердцах миллионов. Она формирует национальный характер.

Вот закусочная, она же конторка, при мотеле «Тенистая лужайка». Закажешь чай, а не кофе, — в тебе уже чувствуют чужака. Закусочная грошовая, но вобрала **В** себя характерные черты страны и народа. Никелированная кухня прямо перед носом, через стойку. Меню на стене, перед глазами, велико, как вывеска. Полуфабрикаты и консервы, стерильные и безвкусные, — все под руками у старушки. Вертящиеся стойки для книг — набор дешевки, но выбирай сам, а потом плати той же официантке. Открытые стеллажи для журналов. Маленький автомат, из которого выскакивают почтовые марки, каждая на цент дороже, но не надо идти на почту. Удобно? Удобно. Все удобно. Все рационально.

За псевдокирпичными коттеджами расположен небольшой парк трейлеров — домов на колесах. Трейлеры есть роскошные, но здесь это прибежища для стариковских пар, бездыханные корабли на приколе. Под передние части трейлеров подложены бетонные плашки. У каждого трейлера своя бетонная площадка — изготовленная на заводе имитация двора. В трейлерах живут: аккуратно приставлено по паре больших баллонов с пропаном для газовых плит, окна светятся, легковые машины стоят рядом, готовые в любую минуту снять корабли с прикола.

Но... Проклятое «но» на стыке удобств и образа жизни. Трейлеры словно вымерли. Они в пяти метрах друг от друга, но связи между обитателями нарушены. Суббота перед праздником. Хороший вечер. А все за занавесками. Никто не выйдет посидеть рядышком, перекинуться словом с соседом, забить какого-нибудь своего, американского «козла».

Пусты два столика, врытых под деревом у конторки мотеля.

Я сел за столик, как актер на сцене, охваченный жутким ощущением полного провала. Кожей чувствовал недоуменные взгляды из окон трейлеров: что за посмешище, что за странный чужак?

В трех милях от мотеля — кемпинг у реки. Парк, трава, столы для пикников, шуршание воды. И ни души. Все в палатках либо возле палаток — на людях, но целиком в себе.

Мы — разные, хотя и модно говорить, что русские похожи на американцев. И в той постоянной мысленной прикидке, которой всегда наш брат занят в Америке, — а что можно у них перенять, а что нельзя? — я сделал в «Тенистой лужайке» еще один частный вывод: оборудование закусочной взять можно, трейлеры тоже, пожалуй. Но вот всю эту атмосферу, невидимую, но жуткую, — упаси бог!

А утром я «ударил» по дороге номер шесть, потом — номер 89, через неказистый, заброшенный северо-западный угол Пенсильвании,

через бедняцкие, по-субботному безлюдные городишки и деревеньки, выскочил на великолепный «Сквозной путь штата Нью-Йорк» и, получив разрешение на прибавку скорости, набрав семьдесят миль, понесся вдоль озера Эри, мимо промышленных нагромождений Буффало прямо до светофоров Ниагара-Фолс, где пропал в скоплении машин, рвущихся на водопады.

Ниагарские водопады... Американец Джон Стейнбек увидел их уже на шестом десятке, когда пустился с собакой Чарли в поиски Америки. Он сказал о водопадах двумя словами: *very nice*—очень мило. Что нового скажешь о Ниагарских водопадах?

Но как хорошо в солнечный день на зеленом Козьем рстрове, окруженном рекой, порогами и водопадами. Ниагара — вся в белых гребешках — через хребты порогов несет себя к водопадам. На стремнине вода бурлит, Спешит и рвется, чтобы прославить себя невиданно мощным падением, а в заводах у берега пробирается тихо-тихо, тайком, словно надеясь избежать общей участи.

Стрекочет вертолет — это для желающих вид сверху. «Пещера ветров» выдает желтые плащи тем, кто хочет увидеть водопады снизу, с мокрых деревянных мостков, на которые того и гляди обрушится торжествующая Мощь воды. Они исчезают в лифте, спускаясь в преисподнюю «Пещеры ветров», а потом гуськом, оскользаясь, пробираются по мосткам — блестящая желтая резина плащей рядом с белой, сверкающей лавиной водопада. Возвращаются возбужденные, сплошь в брызгах. Парочки на берегу чаще смеются, крепче льнут друг к другу. И, щедро обнимая этот веселый праздничный мир, дрожит в небе радуга, разорванная посредине вечным облаком водяной пыли.

На другом берегу, отвесном и высоком, напротив трех водопадов, — индустриальный пейзаж соседней Канады. Она под боком, визы не нужны американцам и канадцам, они свободно пересекают границу по мосту.

...Что ни говори, а можно понять смятение некогда здесь живших индейцев сенека. Они и сейчас внушительны, водопады, хотя Ниагара в кольце американской и канадской индустрии. Человек впряг их в дело, но не лишил величия, а сейчас это

величие и охраняет. Козий остров принадлежит государству.

На экскурсионном пароходике «Дева тумана» получили тяжелые плащи, черные и длинные, как монашеские рясы. Пароходик пляшет на мощных разводях у подножия водной лавины. Какая свежесть от несчетных брызг, от сверкающей алмазами водной пыли!

Ночью на водопады наводят красоту, гримируют природу электричеством. Мощная подсветка меняет цвета — лавина воды то фиолетовая, то алая, то зеленая. Эффектно, фантастично, но и глупо. Не лучше ли в темноте слушать трубный глас воды? Ночью же проделывают еще одну операцию — рабочую, а не косметическую. Компания «Кон Эдисон» перехватывает изрядную порцию ниагарской воды (богу — богово, а кесарю — кесарево) и, срезая излучину реки, гонит ее подземными тоннелями под городом, к турбинам своей ГЭС. Операция эта проводится и днем, но ночью соды забирают больше — туристы даже при подсветке не разглядят, как обессилены водопады.

Зашел в редакцию местной «Ниагара-фолс газет». Незнакомые коллеги в незнакомом городе встретили вежливо. Вызвались показать мне ГЭС. Позвонили на ГЭС, там тоже не возражали. Заочно возразил госдепартамент. По карте мы установили, что гидростанция лежит за официальной городской чертой, в закрытом ра^йоне.

Что делать? Чем занять себя? Водопады «прочувствовал». Две массивно-элегантные водозаборные башни (они в открытом районе) осмотрел. Главную, конечно Водопадную, улицу обошел.

Что еще? я вышел из редакции, и ноги уже несли меня к «шевроле», припаркованному через улицу.

И вдруг неожиданный разговор с худым длинноносым незнакомцем у дверей «Ниагара-фолс газет». Начали, как водится, с погоды и, к месту, с водопадов. Он рассказал, что, случается, имеет дело с другими иностранцами, инженерами и учеными, приезжающими сюда, помогает им устроиться с жильем. И вдруг прорвало человека — исповедь с оглядкой, потому что свои — для него чужие, а вот со мной, чужим, можно поделиться. Он повидал мир, во время войны солдатствовал в Африке, Бирме, Индии («В Индии мы, правда, не воевали»), И ему нестерпимо стыдно за свою Америку, за узость, насилие, грубость, меркантилизм американской жизни.

— О йес, сэр. Мы хотим управлять Вьетнамом. А по мне пусть каждой страной управляет ее собственный народ. Пусть они дерутся между собой, не наше дело посылать солдат...

— Знаете, сэр, я думаю, что мы кончим, как французская империя. У нас сейчас так же, как у них было. Все гниет. Насилие, расовые беспорядки, молодежь отбилась от рук. А преступность? Говорят, что это негры. А ведь среди белых тоже самое...

Я сказал ему, что у него такие же опасения, как у сенатора Фулбрайта, вспомнил фулбрайтовское выражение — «самонадеянность силы».

— О йес, сэр. Американцы высокомерны, плевать они хотели на другие нации. Долларовая бумажка — вот господь всемогущий. Только и слышишь: у меня дом за двадцать тысяч долларов, у меня машина за пять тысяч долларов, они мне платят двенадцать тысяч в год. Да разве все в этом?! А где дружба? Где вещи человеческие?..

Меня взволновал этот разговор. Незнакомый человек беспощадно, безжалостно отрицал свою родину. Журналистская удача? Тот самый искомый простой американец, о котором мы так любим писать в пасторальных тонах? Глас народа — глас божий? Соблазнительно сказать «да», но очень уж редки такие разговоры-откровения. Но не буду и списывать эту исповедь — она выстрадана, за ней стоит человеческая жизнь. Мне было радостно и как-то боязно за него: вот он, мой союзник по мироощущению, — и беспомощен в своей среде. А что человеку надо? Не материальная, но какая великая это вещь — сопричастность к великой идее, к идее справедливости.

Не всемогущ доллар. Его страна может дать ему больше долларов, но не купить на них этой сопричастности. И какие бы дома, машины и зарплаты она ни сулила ему — это будет неэквивалентный обмен, потому что такому, как этот человек, мало счастья в одиночку и нужна справедливость для всех. Ему не нужно счастье железнодорожника Курбе, торгующего домами и мотелями. Он не рожден быть кулаком и приобретателем, а между тем кулак и приобретатель — расхожие идеалы.

Я записывал эту неожиданную беседу в номере отеля «Империял», наглядевшись на заgrimированные к ночи водопады. Бедный отель для бедных, мрачный, грязный, \$ утомленным стариком-дежурным, с молчаливыми вялыми постояльцами, так очевидно сдавшимися перед натиском жизни, — до позднего вечера они играют, без всякого шанса на успех, в гляделки с телевизором, смотрят другую роскошную жизнь, которая, может быть, вот здесь за углом, а недоступна, как на Марсе.

«Империял»? Подходящее имечко. А в двух шагах интимный полумрак какого-то ночного заведения, холеные веселые мужчины в смокингах, женщины в вечерних платьях.

Нет сопричастности...

27 МАЯ. ДИРБОРН

Как и положено по ноте, я в Дирборне. В Тулу не ездят со своим самоваром, в Дирборн, по предписанию госдепартамента, наш брат не ездит на машине — пришлось лететь. В автомобильной империи, где правят три конкурирующих корпорации — «Дженерал моторе», «Форд мотор компани» и «Крайслер», — нам открыты лишь владения Форда, а именно Дирборн, предместье Детройта. Но и туда не попадешь иначе, как самолетом, потому что сам Дирборн в кольце закрытых районов.

Последнее впечатление от Ниагара-Фолс — механизация и темп работы в кафетерии на Фолс-стрит. Утренний, воскресный темп кафетерия, когда на двух официанток 30—40 посетителей и никто не должен ждать. Старушка с изношенным, нервным лицом носилась за стойкой и в тесном зальчике. Ей помогала толстая молодуха с невымытыми, покрашенными под седину космами.

И механизация: за стойкой, вдоль стены, впритык друг к другу, электроплита с гладкой стальной поверхностью, двухэтажный тостер, у которого автоматически подскакивали рукоятки, сигнализируя, что ломти хлеба поджарены до нужной кондиции, никелированное приспособление, из которого лилось молоко, еще одно приспособление, где постоянно кипел кофе, третье приспособление, из которого выдавливался кондитерский крем, стеклянные холодильные чехлы, под которыми были пироги — от яблочного до сырного и клубничного. Эти и другие умно придуманные штуки в совокупности превосходно справлялись со своей задачей, превращая в автомат и сам кафетерий, и двух официанток. И это было удобно посетителю и выгодно хозяину.

Официантки заведены с раннего утра и уже вошли в нужный темп. Новый посетитель. Сразу старушка записывает заказ на бланке, автоматически пододвигает ему чашку кофе, сосудик с молоком, сахарницу, и пошло, и пошло — яйца из-под прилавка, металлической лопаточкой плита очищается от масла, откуда-то выхватывается специальная сковородка, два яйца разбиты, скорлупа летит вниз, в специальный бак, кукурузное масло «Мазола» брызгается на сковородку, возникает натертый сыр для омлета. И пошло, и пошло, а в

перерывах — их вроде бы и нет — старушка выбегает из-за стойки к новым клиентам, чистит им стол, дает меню, снова записывает, снова за стойку, снова кофе и сливки. И все крупными шагами, негнущейся походкой на негнущихся ногах — а ноги старые. А нужно еще улыбнуться и бросить «Найс морнинг». И щелк кассы, и щелк кассы — расчеты и последнее «Сенкью».

Так часа два-три, а как схлынет народ, присесть самой в углу над чашкой кофе, вытянуть ноженьки, размять сигаретку — без сигаретки при таком темпе нельзя...

Ниагара-Фолс пользуется аэропортом города Буффало, до него двадцать миль. На самолет чуть было не опоздал. Старик в отеле «Империял» не знал дороги к аэропорту: видно, его постояльцы на самолетах не летают. Помогли будочники, собирающие подать на платной дороге номер 190. В аэропорту чемодан подскочившей услужливой девице из «Америкэн Эрлайнс», машину — на стоянку.

До свиданья, милая! Не исчезай, ради бога, ведь расстанемся на целую неделю.

Проблема стыковки автомашины и самолета в Америке решена удобно и основательно. При аэропортах есть долговременные платные стоянки, где можно оставить машину и на день, и на месяц. Никакой канители — квитанций, документов. Притормозишь при въезде на стоянку — автомат выбрасывает тебе язычок билета, подхватываешь его левой рукой, прямо с водительского места. Потом ставишь машину между двух желтых полос, на любое свободное место.

Правда, у этого сервиса есть свои границы, они без стеснения обозначены там, где материальная выгода переходит для владельцев стоянки в материальный риск. Билетик предупредил, что за кражу машины, пожар и «любой другой ущерб» спрашивать не с кого. Кроме разве что страховой компании, где застрахован мой «шевроле».

От Буффало до Детройта сорок минут лета над белесым озером Эри. В детройтском «международном аэропорту» я не медлил — скорее в Дирборн, от греха подальше, хотя грех санкционирован тем же госдепартаментом — не на парашюте, в конце концов, сбросят меня над Дирборном. Взял такси, и мы понеслись по дорогам автомобильной Мекки, держа курс на отель «Дирборнская таверна». Уж он-то наверняка в Дирборне.

Таксист был негром. Я назвался, спросил, как дела в Детройте.

— Ничего, хотя и без бума.

— Здесь родились?

— Нет, с Юга.

— Ну как, здесь для негров лучше, чем на Юге?

— Лучше.

— А работу небось труднее найти, чем белому?

— О, да. Нужно быть вдвое умнее, чтобы получить ту же работу.

— Отчего ж так? Образование не то или «калар» — цвет?

— Конечно, и образование, но главное — калар. В Дирборне нас особенно не любят.

— Почему?

— Да ведь везде так, — смягчил негр выпад против Дирборна. — Во время войны я был в Англии, Франции, Италии. Везде к негру отношение плевое. А у вас в России как?

Я заверил его, что в России иначе, а с работой для негров полный «о'кэй». Правда, самих негров нет, кроме студентов и дипломатов.

Почему? — В вопросе упрек и обвинение. Дескать, перевели уже нашего брата.

Объяснил, что мы их брата из Африки не ввозили. Он этого не знал. Негру всюду мерещатся другие несчастные негры, а индейцам — индейцы. Я понял это однажды под Канзас-сити, когда к нам с товарищем подсел в машину индеец. Узнав, откуда мы, он начал издаലെка: есть ли в России горы? А леса? А олени? А форель водится? Робкий малый, он сошел, так и не задав коронного вопроса, хотя вопрос этот так очевидно вертелся у него на языке: а есть ли у вас, в России, индейцы и как они, горемыки, там живут?

— А как у вас? — интересуется негр. — В газетах о вас пишут совсем нехорошо. Верно ли?

— Что верно?

— Да как сказать... Вот у нас здесь можно обругать президента. А у вас? Говорят, что вроде бы нельзя.

Негру нужно «быть-вдвое умнее белого», чтобы получить ту же работу, но у него есть утешения, которыми он дорожит: президента он может ругать вдоволь, это безопаснее, чем послать к черту своего босса. Докажи только, что ты лояльный американец, иначе возможны осложнения.

Мы подъехали по роскошной дубовой аллее к «Дирборнской таверне», и она оказалась благополучной современной тоской по старине — в память о Генри Форде — первом и в угоду своим постояльцам. В старомодно-диванно-ковровом холле, в креслах под цветастыми чехлами сидели жилистые, накрашенные, почти бессмертные на вид старушки. От них обманчиво несло богачеством. Нет, не засиживаются на месте такие старушки, богатые и страсть как мобильные. У них

непонятный избыток энергии, который часто выпускается через клапаны консервативной организации «Дочери американской революции». Пережив мужей, отделившись от детей и не испытывая никакой тоски по внукам, эти старушки порхают по своей стране и всему миру, словно проверяя, все ли в порядке с их идеалом, а идеал, впитанный еще на рубеже века, сводится к тому, что бедность есть порок, а богатство — добродетель.

И в расчете на этих зажиточных дочерей давнишней — как будто ее и не было — революции стоят здесь за главным зданием отеля порядка краснокирпичных домиков с палисадничками и идиллически белыми заборчиками.

Тишина... Наконец я добился ее.

Привели в светелку, то бишь комнату в коттедже имени Уолта Уитмена. Здесь еще три комнаты, но все как мыши в норе. Лишь временами за стеной дребезжанье старческих голосов и приглушенная работа телевизора. В светелке полная имитация под старину — потолки сводами, частые переплеты оконных рам, кисейные занавесочки, псевдокеросиновая лампа под потолком, сундук кованный, креслице, кровать, комод — все резное, не мебель, а воплощенная в ореховое дерево ностальгия. Но телевизор и телефон, но туалет и ванная блестящие пластиком, никелем и эмалью. С удобствами и гигиеной в Америке не шутят и не расстаются, даже имитируя старину.

Мне стало вдруг обидно за Уитмена, даже за Форда. Где, кстати, Форд? Ведь таверна входит в его дирборнский комплекс. И Форд явился. Я нашел его в ящике лжестаринной конторки. «Добро пожаловать к Форду в Дирборн!» — воскликнул с шершавой обложки буклета черноволосый мужчина с широким лицом. Сам Генри Форд-второй. Внук прародителя династии.

К Форду в Дирборн! Он выдернул меня из светелки во вторую половину XX века.

И, повинувшись Форду, я вышел на Оквуд-авеню, на бульвар возле таверны, и зашагал в сторону Гринфилд-виллидж, где раскинуты музеи Форда.

День был воскресный. Индустрия молчала. За невысокими решетками вольготно стояли приземистые кирпичные здания фордовских исследовательских центров.

Я шел по тротуару вдоль шоссе. Тротуар был заброшенный, нехоженный, а шоссе потемнело от шин.

И Генри Форд-второй, заглазно приняв меня в гости» разъяснял со страниц буклета: «...Автомобильный транспорт стал важнейшей

экономической и социальной силой в современной жизни, и все мы здесь, в Дирборне, гордимся многолетним вкладом «Форд мотор компани» в дело прогресса и благосостояния нашей страны и ее народа. Пока вы находитесь здесь, мы приложим все усилия, чтобы сделать ваш визит приятным, познавательным и, как мы надеемся, подлинно вознаграждающим».

Это был серьезный разговор. Ох, какой это был серьезный разговор! И Оквуд-авеню была наполнена доказательствами. И я поблагодарил госдепартамент за его вето — за то, что он заставил меня бросить машину в Буффало и лишил права арендовать машину в Дирборне. Идя пешком, я мог лучше оценить, что сделали со своей страной и своим народом старик Генри Форд, его рано умерший сын Эдсел и его внук Генри.

Я был один-единственный пешеход, и не в счет — чужестранец. Кругом машины, все в машинах, машинный шелест под замершими в испуге дубами.

Я был пугалом, дикостью, отклонением от нормы, я вырастал в одинокого бунтаря, бросающего вызов всем.

Я шел и шел, и каждый шаг давался мне все тяжелее, как каждая секунда одинокого сиденья под деревом возле мотеля «Тенистая лужайка». Между мною и людьми в машинах так очевидно возникало пугающее психическое поле, состояние того напряженного, на нервном пределе ожидания, которое чревато взрывом и которое, думается мне, фильмы-ужасы не изобрели, а лишь подсмотрели на американских улицах. Я видел любопытство, недоумение. Я даже видел взгляды, в которых проглядывал страх.

Да, страх. Не может же человек ни с того, ни с сего взять да пойти пешком. Что за подозрительный человек?. Что у него на уме? А вдруг этот чудаков выхватит из кармана заряженную смертью штуку, и нервно вздрогнет и прервется налаженное плавное скольжение машин по глади авеню, и люди сумасшедше заспешат, передавая металлическим телам дрожь, скачки и петляния зайца, спасающегося от погони...

На Мичиган-авеню, центральной магистрали Дирборна, я мог кричать, как Диоген: человека ищущего! какого угодно человека!

В воскресенье она была пуста, как за пять минут до прихода радиоактивной волны, о которой сумели предупредить за неделю. Магазины, банки, рестораны закрыты. В барах почти ни души. У кинотеатра, где шел фильм об «агонии и экстазе» Микельанджело, были лишь два парня и девушка да кассирша скучала в своей стеклянной будочке.

С пяток прохожих на целые мили тротуаров.

Но и тут не дремали бензозаправочные станции. И машины, машины на мостовой — белые и негры, семьями и парами, в одиночку, с собаками, высовывающими морды из окон. Шелест, шуршание машин. Густое шуршание и вскрипывание тормозов у светофоров. Зеленый сигнал — и снова шшш... шшш...

Это после воскресного свидания с телевизором тоска зеленая и неизжитый еще инстинкт общения гнали дир' борнцев на люди. Но люди в машинах совсем не то, что люди в толпе. Их не окликнешь с тротуара, с ними не заговоришь. Раз они в машине, они должны спешить, рабы скоростей. Они близко, а все-таки далеко, в своем металлическом микромире на колесах. Вот он рядом и — фюить! — нет его...

Американец, особенно американец в маленьких городах, не только физически, — из-за недостатка или полного отсутствия общественного транспорта, — но и психологически не может без машины, не мыслит жизни без машины. Уж он-то давно понял, что машина — не роскошь, а средство передвижения. Но машина — и status symbol, символ престижа, удостоверение о положении в обществе: от вконец изношенного, пятнадцатилетнего «форда», который можно купить за пятьдесят долларов и в котором шахтер Восточного Кентукки мыкается в поисках работы, до черного блестящего, по спецзаказу, «кадиллака» с телефоном, телевизором, портативным баром и шофером-негром в форменной фуражке, заменившим арапа на запятках кареты XVIII века. Без машины американец — недочеловек. Он впитывает ее с молоком матери, вернее с baby food — индустриально изготовленной детской пищей в склянках и жестяных баночках, ибо американки давно уже не кормят детей собственным молоком, оберегая молодость и фигуру.

Но все-таки я нашел человека на Мичиган-авеню, и не просто человека, а искомого разговорчивого человека, бодрого, однако сутулого уже старика в воскресном костюмчике. До моего появления он пытался разговаривать с манекенами в витринах да еще, конечно, с собачкой. Была при нем собачка на поводке, и это немаловажная деталь, потому что не будь собачки, не найти мне старика на Мичиган-авеню. Во-первых, собачка, не подозревая о существовании Фордов и собственной цепью эволюции лишенная человеческого комплекса неполноценности, скулила, требуя свежего воздуха и пешей прогулки. Во-вторых, в глазах тысяч людей, спешащих в машинах, собачка оправдывала атавистический инстинкт старика вот так вот взять и прогуляться пешком.

Он не чувствовал себя дофордовским недочеловеком, потому что не сам гулял, а всего лишь прогуливал собачку.

Старик оказался фордовским рабочим, жаловался лишь на своего мастера, а судьбой и Генри Фордом-вторым был доволен. Черноволосый Генри Форд, приветствовавший меня со страниц буклета, был для старика отцом-благодетелем, который понимает свою «ответственность», заботится о занятости населения и строит новые заводы в округе. И, представьте, эта философия старика имела недурной долларовой эквивалент- рабочий высшей квалификации, он получает четыре с лишним доллара в час, 170 долларов в неделю.

Жена у старика давно умерла. Двух дочерей, теперь уже взрослых, замужних, воспитывал один. Два года держал их в частном пансионате.

— Скажу вам, однако, — перешел он на шепот, — что каждый пенни окупил себя.

Но дочери выросли, выпорхнули. Завел собачку — предмет любви, рецепт от одиночества. И постигло однажды старика горе—потерялась собачка. Старик печатал объявления во всех местных газетах. Собачка объявилась через две недели. И женщина, приютившая ее, не хотела брать вознаграждение в десять долларов, обещанное стариком. «Но я сказал: раз я обещал — получите». Старик ничего не привык получать даром. Теперь на собачьем ошейнике телефон и адрес.

А дальше? Что ж дальше. Все благополучно у старика. Давно выкупил свой кредитный дом. Новая машина «Комет-66», жаль, что гаража нет. Строит еще один дом — чтобы сдавать в аренду, для дополнительного дохода, когда выйдет на пенсию. И еще один дом арендовал и сдает в субаренду. Плюс, естественно, кое-какие акции. Что же получается? Рабочий? Городской кулачок? Кто его знает! Цифры убеждают, что счастливый человек. Но с каких это пор счастье можно выразить в цифрах?

У работающих заработки вообще неплохие. Тем не менее многие подрабатывают на стороне. Давешний негр- таксист держит автоматическую мойку для автомашин. Что их гонит? Страх перед черным днем? Тяга к самоуважению, которое так легко исчислять в долларах? Или своего рода боязнь показаться пешком на улице, где все в машинах?

30 МАЯ. ДИРБОРН

Вот и «Мемориал Дэй». С утра я увидел на телеэкране Арлингтонское кладбище в Вашингтоне — самое большое и

знаменитое военное кладбище Америки. Звездно-полосатые флажки и букетики у надгробий. Венок на могилу Неизвестного солдата. Президент Джонсон восславил к случаю «американских парней» во Вьетнаме и американскую свободу. В общем, поминают и павших в новой войне, и тех солдат в джунглях, которых, может быть, придется еще поминать.

Газета «Детройт Фри пресс» печатает на первой полосе «Дневник солдата. Мысли героя о войне». Скупые, торопливые строчки сержанта Алекса Вакзи, рожденного в Детройте 18 июня 1930 года, убитого возле Тиу Хоа, в Южном Вьетнаме, 6 февраля 1966 года. Портретики серьезного черноволосого сержанта и его улыбающейся жены.

Вэн Сангер, сотрудник газеты, пишет: «Мы чтим сегодня Алекса Вакзи и тысячи ему подобных, погибших за нашу страну в ее многочисленных войнах. Если вы не потеряли мужа, сына, отца или друга в одной из этих битв, думайте сегодня об Алексе Вакзи. Кто был он?»

Идут воспоминания сестры. В детстве «он часами играл в игрушечные солдатики». Кончил среднюю школу в Детройте, пошел в армию в 1946 году, скрыв возраст (ему было лишь 16 лет), воевал в Корее и получил награду — «Серебряную звезду». «Алекс никогда не говорил, за что», — сообщает сестра. После Кореи служил в детройтской полиции, «скучал по армии», снова вернулся туда — добровольцем и был послан военным советником в Южный Вьетнам: «Он получил еще одну «Серебряную звезду», но снова не рассказал своей семье, за что». Он мог остаться дома, с женой и тремя детьми, но предпочел джунгли.

Дневник солдата профессионален, краткие описания боевых стычек, изредка мысли. Например: «Я думаю, что наши войска проделали здесь во всем чертовски великолепную работу. Вторая мировая война и Корея дали не больше игры, чем та, которой мы заняты здесь».

Он все еще играл. Но последняя запись эмоциональна. Сержант пишет о бое за деревню, о самолетах «Скай-рейдер», которые «при втором налете за последние три четверти часа сбрасывают тяжелые бомбы теперь уже приблизительно в ста ярдах от нас».

«Я вернулся в маленький деревенский дом, где, как мне показалось, двое скрывались в бомбоубежище. Оказалось, что там четверо подростков, две женщины средних лет и одна старуха. Все они сгрудились на пространстве, где и двое из нас не поместились бы, а ведь они провели там весь день. Я вывел их оттуда на открытое место, так как дом, деревья и т. д. — слишком хорошая мишень для самолетов

и стрелкового оружия. Надеюсь, что наши солдаты, увидев их, хотя бы стрелять не будут. Я боялся, что рота «Си» нагрянет сюда, бросая гранаты во все щели... Я отдал им банку галет и сыр. Кажется, они мне доверились... Вот почему я ненавижу эту войну. Невинные страдают больше всех».

Он пал в том же бою.

Командир роты сообщил вдове: «Вдохновляя солдат, он не прятался от пулеметного огня. Мы звали его лучшим, и он был таковым: лучшим солдатом и лучшим человеком».

Автор статьи заключает: «Может быть, в этот «Мемориал Дэй» вы оставите на минуту свои дела и подумаете об Алексе Вакзи. Ради этого он и существует, «Мемориал Дэй».

Но, позвольте, ради чего этого? Ради чего погиб Алекс Вакзи, написавший перед самой смертью, что он ненавидит эту войну? В ритуальный день такие вопросы неуместны.

На первой полосе, рядом с дневником солдата, газета печатает сообщения из Сайгона: вчера еще одна буддистская монашка, мать двух детей, сожгла себя перед пагодой; буддисты на народе полосуют себе ножами грудь и кровью пишут письма президенту Джонсону, требуя смещения Ки. На второй полосе заметка сайгонского корреспондента «Детройт Фри пресс». Американский сержант, выгружавший из санитарного самолета четырех тяжело раненных американцев, сказал корреспонденту: «Будешь злым, когда видишь, что эти тела приходят каждый день в то время, как эти мерзавцы все еще дерутся друг с другом».

«Мерзавцы» — это о южновьетнамских союзниках США, о тех самых, кого пришли защищать американцы...

После газет и телевизора я вышел на Оквуд-авеню. И снова было противостояние одиночки и тысяч в машинах. Но на полях Гринфилд-виллидж, где находятся музеи Форда, люди покидали свои металлические микромиры, образуя древнюю текучую толпу. Они вылезали из «фордов», «шевроле», «пontiаков», «линкольнов», «кадиллаков», «бюиков», «рамблеров» и т. д. и т. п. и шли в музеи, не пожалев трех долларов, чтобы с умилением поглазеть на прадедушек своих машин и на мощный широкогрудый паровоз «Саузерн Пасифик», на древние пишущие машинки и телеграфные ключи, на газовые рожки, лабораторию Томаса Эдисона, мастерскую братьев Райт и, конечно, отчий дом Генри Форда-первого — тогда прародитель не имел

порядкового номера и был просто сыном фермера, практичным мальцом со страстью к механике. Музейные экспонаты начал к старости коллекционировать сам Форд-первый. Как Эзра Корнел, как многие другие, он сначала делал миллионы, а потом, когда маховик был раскручен и к трудным первоначальным миллионам словно сами по себе липли другие миллионы, он задумался о вечности, благодарности потомства и пьедестале пророка: с миллионами можно вещать на всю Америку.

На площадке у Гринфилд-виллидж стояли сотни четыре трейлеров — не бедных, деревянных, как возле «Тенистой лужайки», а обтекаемых дюралевых домиков на колесах. Возле каждого распряженным конем паслась легковая машина.

Вчера еще я заприметил, как новые и новые трейлеры въезжали на площадку и выстраивались рядами, как развевались на флагштоках над ними американские флаги, Громкоговорители бодрыми голосами распоряжались насчет парковки, воды, электричества.

Сегодня я подошел к двум людям у ворот, — очевидно, дежурным распорядителям. Они были в штатском, но на головах франтоватые пилотки и на пилотках загадочные слова — «Караванный клуб Уолли Байяма».

Что еще за клуб? И один из них не без гордости сообщил мне, что в прошлом году их дюралевые домики побывали аж на самой Красной площади в Москве. А другой вызвался все показать и объяснить.

И он действительно все показал и объяснил мне, Генри Уилер, инженер в отставке, старик с треугольником седых усов и набрякшими веками. Более того, я был прямо-таки находкой для Генри Уилера. Ибо среди всех этих искушенных людей он изнывал по свежему несведущему человеку, которому мог бы показать новенький, за восемь тысяч долларов — за восемь тысяч!!!—трейлер. Какая удача — встретить русского, коммуниста, в Дирборне и ошарашить американским трейлером!

Итак, мы прошли с Генри между рядами других трейлеров, и не предупрежденная милая седая Нинет, его жена, испуганно крикнула с дюралевого порожка:

— Генри, что ты делаешь?! Ведь у меня ковры не постелены!

Вот так, друзья, ковры не постелены. Но и без ковров эта дюралевая кибитка была чудом, и, вежливый иностранный гость, я восхищался ею, не жалея сил. Там был весь набор удобств и удовольствий: газовая плита на три конфорки, газовая жаровня для стейков, холодильник, работающий на газу и электричестве, автомойка для посуды, шкафчики

для продуктов и посуды, три вместительных шкафа для одежды. Туалет. Умывальник. Душ. «Эр кондишен». Один диван — обыкновенный. Другой диван — раздвижной, двуспальный. Столик откидной. Стулья. Вентилятор под крышей. Добавочная сетка у /івери —от насекомых. Откидная приступочка. И много всего другого-прочего было на площади никак не больше 15—18 квадратных метров. А все-таки достаточно просторно, есть где пройти, где посидеть и даже принять гостей.

И я еще раз извинил Нинет непостеленные ковры и поздравил Генри с удачным приобретением.

Я поразился еще больше, узнав, что эта дюралевая кибитка — не хобби, а образ жизни, что этот дом на колесах и есть их единственный дом, что дом-то свой без колес они тю-тю продали. И что вообще все владельцы этих четырехсот трейлеров, поблескивающих на площадке, — кочевники всерьез, навсегда, хотя у многих дома — те, что без колес, не проданы, а лишь сданы в аренду. И что всего в «караванном клубе Уолли Байяма» — шестнадцать тысяч трейлеров, а значит, и семей, а сам Уолли Байям не живет на колесах. Он их верховный покровитель, человек, торгующий трейлерами и идеей о том, что к старости для американца наступает пора не только передвигаться, — этим он занят всю жизнь, — но и жить на колесах.

Да-да, Уолли Байям — не только фабрикант и торговец, но в некоем роде и духовный вождь, основатель целой секты моторизованных кочевников. Он сплотил их вокруг своего знамени, а на знамени значит, что уж если кочевать, то непременно в этих вот дюралевых, обтекаемых, фешенебельных кибитках марки «Эрстрим», выпускаемых фирмой Уолли Байяма. И Уолли Байям неустанно воспитывает в них верность идеалам «Эрстрим» и даже не жалеет ста тысяч долларов в год на слеты, услуги, рекламу, печатные списки членов клуба и т. д. Взамен у него преданные покупатели и по меньшей мере тридцать две тысячи агитаторов, разъезжающих по США, Канаде, Мексике.

Нет предела прогрессу. Дюралевое чудо совершенствуется каждый год, потому что у Уолли Байяма кроме покупателей есть могучие недремлющие конкуренты. Нет предела прогрессу, и Уилеры уже поглядывают с завистью на соседа, у которого к набору мобильных удобств добавился еще и телевизор. А там, глядишь, холодильник станет элегантнее, внедрят автоматику в раздвижной диван и мало ли еще чего придумают. И Уилерам станет совестно показываться со своим устаревшим трейлером на очередной слет. Он вызовет презрительную усмешку: ха-ха, восемь тысяч долларов?! И где наша не пропадала:

мобилизовав стариковские сбережения, они обменяют свой нынешний на еще более сверкающий трейлер, уже за десять тысяч долларов. Ничего больше и не требуется Уолли Байяму.

Из соседнего трейлера Уилеры пригласили знакомую пару на французский кофе, мексиканские орешки и русского журналиста. Мне пришлось признать, что по части трейлеров и стариков кочевников мы отстаем и даже вроде бы не планируем подтянуться.

— Но разумна и полезна ли сама идея кочевья на закате лет? — допытывался я у них. — Какая сила срывает американских стариков с насиженных мест и заставляет катить и катить в преддверии могилы, посверкивая в вечернем солнце дюралевой продукцией Уолли Байяма?

Мне все объяснили. Что странно для нас, для них — логическое завершение жизненного пути,

Американец привычно передоверяет психологические и материальные проблемы старости технике, дороге, дельцам.

Фактор психологический: к старости мир сужается, чувствуешь одиночество и изоляцию. Не хочешь висеть гирей на шее у детей. А в дороге легче заводятся знакомства. Новые места, новые люди стимулируют угасающий интерес к жизни.

Фактор материальный: дешевле. Дешевле без налогов за дом и землю. Плати лишь за бензин и немного за стоянку в кемпинге — за кусок земли под колесами, за подключение к газу и электричеству. Кемпингов много. Вместе с перелетными птицами можно, смотря по сезону, подаваться на юг или север. Можно стричь купоны на разнице в стоимости жизни, ибо американский доллар всегдa полновеснее за границей, чем у себя дома. Обе пары в Дирборне проездом. А жить предпочитают в Мексике, в кемпинге возле Гвадалахары: «разумные цены, приличная пища намного дешевле».

Возник попутный разговор о Мексике и мексиканцах в неожиданном, но не случайном плане — чистоты туалетов, горячей воды и, конечно, долларов. Моим собеседникам было стыдно за тех членов клуба, которые, озирая чужую страну из своего дюралевого чистенького гнезда и обожая ее разумные цены, честят мексиканцев как «грязных воров».

Я вернул их к разговору о кочевьях. Как же быть совсем в глубокой старости, когда подводят глаза и руки, лежащие на баранке?

О, тогда можно стать на вечную стоянку в каком-нибудь кемпинге.

— Представьте, тогда можно даже газон не 'Подстригать перед трейлером!

Это торжествующе прокричал Генри Уилер, и кочевники загалдели

при упоминании великой благодати.

Вот так, дорогие друзья, — газон можно не подстригать! Я никогда, признаться, не подстригал газоны. Но я напряг воображение, чтобы оценить все величие отказа от этого ритуала. Я понял, что неподстриженные газоны идут где-то на высоком уровне непостеленных ковров, что это бунт против всевластного буржуазного конформизма. И представив себе этот бунт, я вспомнил о старухах из «Дирборнской таверны», тех истуканов на мягких креслах, хранилищах великого идеала. Конечно, добродетель — в богатстве или по крайней мере в *decent life*, в приличной жизни буржуа. А когда тебе не по силам стандарты бестелесной *decent life*, когда соседи уже косятся с презрением на твой ветшающий дом и во весь рост встает гамлетовский вопрос: стричь или не стричь газоны? — отступай достойно. Переходи на колеса. Там стандарты конформизма не так строги. Пополняй клиентуру Уолли Бай-яма. Оригиналам-кочевникам разрешают не стричь газоны...

Конформизм уживается с фрондерством, критика соотечественников за узор и провинциализм — с патриотизмом, национальной гордостью, пропагандистскими клише.

— Я за -свободу и конкуренцию, — говорит Нинет.

Она знает, что такое конкуренция. Кто знает это лучше американцев, для которых школа жизни равнозначна школе конкуренции? А что такое свобода? Это и есть свобода конкуренции. Эти понятия здесь — близнецы.

Генри откровенен, особенно когда нет соседей. Видит много несообразностей в политике правительства, в экономической ориентации страны. Свои претензии к людям в Вашингтоне, не стесняясь, выкладывает перед иностранцем, к тому же «красным»:

— Они тратят 50—60 миллиардов в год на армию и военную технику. Эту сумму даже представить нельзя. Сколько лет это продолжается? Сейчас мы пришли к тому, что от этого все труднее отказываться. А посмотрите, что происходит тем временем? Лезвия для бритвы — разве вы будете покупать американские? Нет. Вы берете английское лезвие — оно лучшего качества. Фотокамеры, телевизоры? У японцев лучше. Европейские машины долговечнее, прочнее, а мы все делаем с расчетом на быстрый износ. А суда? Мы покупаем японские. В Америке такая стоимость рабочей силы, что мы не можем конкурировать с другими странами.

У Генри Уилера страх беззащитного перед большими корпорациями,

мифически сильными и необъятными.

— Давно ли были десятки автомобильных корпораций, — а где они теперь? Осталась «большая тройка», — Попробуйте-ка открыть новое автомобильное дело. Прогорите даже со ста миллионами...

Он родился и сложился в эпоху американского изоляционизма — изоляционизма не только во внешней политике, но и внутри страны (слабая централизация, большие права штатов, озабоченность и традиционная одержимость местными и личными делами и бизнесом). И вот на протяжении каких-то десятилетий его страна берет на себя бремя «опекуна мира», «мирового полицейского». Какую кашу заварило это в мозгу среднего американца, который всегда чихать хотел на все, что происходит не только за пределами его страны, но и за пределами его Города и штата? Он привык смотреть на все, как прагматист, живущий сегодняшним днем, всякую теорию он отрицает в принципе, но мерка узкого прагматиста не годится для истории, а он ощущает себя ее участником, и, выбирая между двумя кандидатами в президенты США, он, может быть, делает выбор между войной и миром (ошибочно или верно — это уже другое дело).

Генри Уилер едет в своей дюралевой кибитке в Мексику и читает там мексиканскую газету, издающуюся на английском языке. И вдруг убеждается, что в этой газете мир выглядит иным, чем в той, которую он всю жизнь Читал на севере штата Мичиган. Он обнаруживает, что ему учиняли brainwashing — промывку мозгов. Он пытается пробиться к истине, пробует исторично смотреть на мир: «Вы позднее начали, а уже достигли больших результатов». Он угадывает угрозу в американском глухом и сытом благополучии, в американском высокомерном — ню принципу богатый к бедному — отношении к другим народам. Он считает, что сто лет без войны и помогли американцам, и развратили их, — они не знают, что такое война, что выстрадали русские, да и остальные европейцы. А это опасно.

И он же опутан мелкими, но сильными категориями американского филистерства, сформированными теми же большими корпорациями представлений о «приличной жизни». Из него хлещет почти ребячья гордость за новенький трейлер, он пылко извиняется за непостеленные ковры...

Кофе был выпит, орешки съедены, соседи Уилеров ушли.. Наступал вечер, и громкий радиоголос, разносив- щийся над лагерем, предупреждал кочевников о грозящей опасности: Гринфилд-виллидж не желала подключать трейлеры к своей электросети. Мои хозяева не на шутку заволновались, я понял, что пора прощаться. Но на прощание

Генри хотел познакомить меня с каким-то выдающимся кочевником.

— Вот это парень, — шептал он мне с тайным восторгом заговорщика.

Парень, однако, куда-то запропал, и наспех Генри рассказал о нем коротенькую повесть — повесть о Настоящем Человеке из «Караванного клуба Уолли Бай-яма».

Повесть эта, одна и та же, писалась заново каждый раз, когда в трейлерный табор, где бы он ни раскинулся, вдруг вкатывался еще один дюралевый домик на колесах, такой, как все, но принадлежащий негру. И не успевал он занять свое место в ряду, как Настоящий Человек уже любезно стучал в негритянскую дюралевую дверку: «Вас не беспокоят? Вам тут не мешают?» И обрадованная семья благодарила недремлющего защитника расового равенства и такого легкого на подъем врага дискриминации. А герой снова стучал через полчаса: «Все нормально?» Его снова благодарили, но это было лишь начало. Настоящий Человек был бдителен, пунктуален и неутомим. Еще через полчаса слышался его бодрый оклик: «Все о'кэй?»

Он не жалел себя ни днем, ни ночью, громыхая по дюралевой дверке: «Все в порядке?» Спустя максимум трое Суток в кемпинге воцарялся наконец полный порядок — черный соотечественник отбывал восояси, уяснив, что Никакие дюралевые чудеса Уолли Байяма не защищают его от «сто процентных» американцев. Я был ошеломлен этой повестью, рассказанной о упоении и мстительным сладострастием.

— Чем же насолдили вам негры, мистер Уилер?

Заходящее солнце холодно играло на обтекаемых боках цивилизованных кибиток XX века, и Генри Уилер шептал мне в ухо сокровенные слова:

— Знаете, есть такое понятие — middle class, средний класс. Так вот американцы хотят попасть в middle class или хотя бы приблизиться к нему. Усердно работают. Сберегают деньги на дом, на машину, чтобы вывести детей в люди, накопить кое-что на старость. Они знают цену каждого пенни и каждым пенни обязаны своему труду. А почему негры не попадают в middle class?

Слова его были сухи, книжны, но шептал он их жарко, как шепчут слова любви и ненависти, Генри Уилер, которому неловко за узколобых соотечественников, третирующих мексиканцев, Генри Уилер — критик больших корпораций и гонки вооружений, Генри Уилер — добродушный толковый старик, с которым приятно поболтать за кофе и

орешками.

— А вот почему. У них другое отношение к пенни. Им плевать на все — заработал, истратил. Они уже сто лет свободны и сами виноваты, что живут в бедности. А что получается? У их детей инстинкт разрушения. Им все чуждо в этой стране...

И он впопыхах распрощался и убежал по своим неотложным электроделам.

Но я оценил торжественность момента и прочность этого кредо. Негры есть разные, с разным отношением к пенни, и, если верить Уилеру, в Детройте три десятка миллионеров негров. Но он берет негритянскую бедняцкую массу, и она внушает ему страх. Она не вписывается в его, американский, образ жизни и уже поэтому посягает на него. Она ничего не получила от Америки и страшна тем, что ей нечего терять. Генри Уилеры — а их миллионы — видят в неграх разрушителей, потому что фактом своей обездоленности и порывом к борьбе негры посягают на экономическое и социальное статус-кво, на трудный, шаткий, но по-своему устойчивый баланс сил в американском обществе. И они выбивают подпорки из-под его прикладной жизненной философии, материально воплотившейся в трейлере марки «Эрстрим». Он опасается, что у них другие критерии ценностей.

Так что же — расист? Пожалуй, да. Но расизм Генри Уилера, судя по его объяснению, — лишь производное. Он глубже, чем расист, шире, чем расист. Он — собственник. И именно с точки зрения собственника негр для него — антипод. Генри Уилер — частичка той самой мелкобуржуазной стихии, которая, по замечанию Ленина, порождает капитализм ежедневно, ежечасно и в массовом масштабе. И питает его круговращение, и сберегает его.

Собственник... Не в этом ли все начала, как бы далеко ни ушли концы — в данном случае в расизм?

31 МАЯ. ДИРБОРН

С утра пешком, как правоверный паломник, — к штаб-квартире «Форд мотор компани» на Южном поле — окраине Дирборна. Сначала по Мичиган-авеню, потом по автостраде, забитой машинами, — сегодня рабочий день и машин еще больше, — через большой, нехоженный, прорезанный автомагистралями луг. Двенадцатизэтажная Главная контора Форда совсем невелика в сравнении с нью-йоркскими небоскребами ведущих корпораций, но красива, чиста, стоит просторно, синее стекла. Синим стеклом собственного производства

Форд снабдил, между прочим, и небоскреб ООН в Нью-Йорке.

Экскурсия на завод Руж — старый, но самый знаменитый у Форда и самый большой в США. Обычная бесплатная экскурсия — для любого желающего. Чего не следует, не покажут, но нет и досадного впечатления закрытых дверей. Чистые, удобные, радиофицированные автобусы отходят от Главной конторы каждый час. В нашем подобрался простой народ: школьники, разбитая параличом девочка с матерью, со специальным складывающимся креслицем на колесиках, старик со старухой — то ли бывшие русские, то ли бывшие украинцы, могучий негр с тремя негритянками, два японца, разумеется, с кинокамерами.

Едем сначала по каким-то перелескам. Гид, красивый, модно одетый парень, рассказывает, что все это фордовские владения, фордовская земля, фордовские леса. Владения велики. Форд, хотя и не фермер, даже получает от правительства кое-какие деньги за неиспользованную землю: в Америке с ее перепроизводством сельскохозяйственной продукции фермерам выплачивают федеральную дотацию за преднамеренно необрабатываемую землю.

Мне, неспециалисту, трудно описывать завод Руж, особенно после мимолетной экскурсии. Завод громаден. Весь цикл производства: автомобиль начинается с железной руды, поступающей в собственный порт на реке Руж, и кончается на конвейере. У причала в порту стояло, между прочим, грузовое судно «Роберт Макнамара». Бывшего фордовского президента, а затем шефа Пентагона еще при жизни «воплотили» в пароход.

Экскурсия — такая же четкая рабочая операция, как сборка машин. Нас покатали по заводской территории на автобусе, потом привели на конвейер. В нужных местах гид останавливался, расставлял нас полукругом, вынимал микрофон из ящичка на стене, барабанил заученное. На взгляд экскурсанта, темп на конвейере не кажется чрезмерным. Некая даже рабочая грация — вроде бы без спешки. С рабочими, конечно, не заговоришь — конвейер. Каждые пятьдесят четыре секунды с конвейера соскакивают модные, полуспортивные «мустанги», приплюсовываясь к восьмидесяти миллионам машин на трех с половиной миллионах миль американских дорог и мостовых.

Цифрами и фактами меня снабдили в Главной конторе. Когда пятьдесят лет назад Генри Форд-первый, уже весьма процветающий автопромышленник, решил строить огромный завод с замкнутым циклом производства, даже друзья его были «скептически настроены», говорится в официальном описании завода Руж. «Враги говорили, что он сошел с ума. Конгрессмены выступили против, когда он обратился к правительству за разрешением углубить и расширить канал на реке

Руж, чтобы принимать морские суда. Акционеры были против, желая, чтобы прибыли компании шли на дивиденды, а не на расширение производства. Землевладельцы фантастически взвинтили цены на землю вдоль реки». Форд одолел всех и вся. В ноябре 1917 года для жителей Дирборна главным событием была, конечно, не революция в России, а закладка фордовского завода.

Сейчас это один из многих заводов Форда, хотя и крупнейший. Каждые сутки пять тысяч грузовиков, двадцать тысяч легковых автомашин и свыше шестидесяти тысяч пешеходов проходят через его ворота. 135 акров автомобильных стоянок обеспечивают место для двадцати тысяч машин: некоторые рабочие живут в семидесяти милях от завода. В 1963 году своим 53 тысячам рабочих и служащих в районе Дирборна Форд выплатил 476 миллионов долларов (на всех предприятиях Форда сейчас работает 330 тысяч человек). Завод производит и потребляет электроэнергию столько, сколько нужно для города с миллионным населением. В 1963 году завод принял 179 тысяч экскурсантов из всех пятидесяти штатов

США и из 107 стран. «Его посещали американские президенты, высокопоставленные иностранные гости, аргентинские гаучо и босые туземцы с острова Фиджи».

«Форд мотор компани» — это индустриальная корпорация, которая по числу выпускаемых автомашин давно и сильно уступает «Дженерал моторе», самой большой промышленной корпорации капиталистического мира. Но Форд, Генри Форд-первый, династия Фордов — это нечто большее в нравственно-историческом плане, это заметный институт современной американской жизни, верховный покровитель рангом много выше Уолли Байяма, поставщик не только машин, но и идей.

«Форд мотор компани», кроме музеев, имеет свой «департамент просветительских дел».

Вот одно из его изданий — апологетическая брошюрка под заголовком «Эволюция массового производства (история вклада Форда в современное массовое производство и того, как оно изменило привычки и мышление целого народа)». Брошюрка не присваивает Форду лишнего, характеризует его не как изобретателя, а как искусного упорного дельца и организатора, детально разработавшего принципы массового производства на основе четырех открытий своих далеких и близких предшественников. Эти открытия — взаимозаменяемость частей изделия, конвейер, дробление рабочих операций, уничтожение лишних движений у рабочего.

Первое открытие, как видно из брошюрки, принадлежит

американцу Эли Уитни. В 1798 году, когда назревала война между США и Францией, правительству в Вашингтоне срочно понадобилось десять тысяч мушкетов. Ружейники-кустари физически не могли выполнить работу в нужный срок — в два года. Эли Уитни решил задачу, создав машину для производства ружейных частей и придя тем самым к принципу сборки.

Второй принцип Генри Форд сформулировал так: «Рабочий должен стоять недвижно, а работа двигаться». Это идея конвейера, которую впервые осуществил Оливер Эванс, изобретатель автоматической мельницы. Конвейер Эванса был прост; один рабочий засыпал зерно из мешков, а другой в другом конце линии принимал помол в мешки. В более раз вйтом виде конвейер появился в 60-х годах прошлого века на бойнях Чикаго. Туши зарезанных свиней вздергивали на движущуюся ленту, что позволяло двадцати рабочим забить и обработать 1440 свиней за восемь часов. Раньше их пределом было 620 свиней.

Третий принцип («дробь рабочие операции и умножай выпуск») был детально разработан американцем Элиху Рут, помогавшим Самюэлю Кольту наладить массовое производство шестизарядных пистолетов «кольт». Элиху Рут раздробил рабочий процесс на множество отдельных операций, «легких, с меньшим шансом ошибиться и более быстрых».

Четвертый принцип, позаимствованный Фордом, вводил в дело не новые машины и механические приспособления, а «человеческий фактор» — экономию времени, а отсюда и увеличение скорости производства, за счет искоренения лишних движений у рабочего, — в конце концов за счет того, что сам рабочий превращался в подобие машины, быстро соединяющей в целый продукт разрозненные его части, произведенные другими машинами. Этот принцип был разработан известным Фредериком Уинслоу Тейлором.

О Тейлоре фордовская брошюрка пишет так: «Именно Тейлор взялся за то, чтобы, во-первых, установить скорость, с которой рабочий мог наиболее эффективно выполнять свои задачи, а во-вторых, целенаправить усилия рабочего так, чтобы он работал с минимумом лишних движений. Целью была, конечно, экономия времени, ибо время — суть прибыли, и каждый потерянный момент рассматривается как прямой финансовый убыток... Тейлор также обнаружил, что рабочие менее эффективны, а продукции наносится ущерб, когда работа чрезмерно ускоряется».

«Правильная скорость, — писал сам Тейлор, — это скорость, с которой люди могут работать час за часом, день за днем и год за годом, сохраняя хорошее здоровье». (Тейлора, разумеется, интересовало то хорошее здоровье, которое обеспечивает рабочему заданный режим.)

Брошюрка указывает, что «к этим принципам, взятым из прошлого, Генри Форд добавил свои собственные практические идеи, создав новый метод автомобильного производства, который позднее приняла вся автомобильная индустрия».

Сам Форд выразил свою философию массового производства очень откровенно, до цинизма практично. Он писал: «Чистый результат применения этих принципов заключается в том, чтобы сократить необходимость мышления у рабочего, а также сократить его движения до минимума. По возможности он должен делать лишь одну операцию и лишь одним движением».

Позднее Чарли Чаплин, как известно, гениально проиллюстрировал этот фордовский идеал, создав в фильме «Новые времена» трагический, смешной и жуткий образ рабочего на конвейере. Тот делал лишь одну операцию и лишь одним движением, а именно закручивал гайку. Одна гайка, другая гайка, десятки, сотни гаек неумолимо надвигала на него лента конвейера. Весь мир катастрофически сужался до человека и гайки, до человека на службе гайки, наконец, до человека, рожденного лишь для того, чтобы закручивать гайки.

Форд был дельцом, а не гуманистом, и не таясь, особенно на первых порах, подчинял «человеческий фактор» доллару. Чаплин помог вдуматься в эту философию не с точки зрения прибыли и производства, а с точки зрения человеческой личности. Суть прогресса по-фордовски страшна: труд создал человека, и труд должен превратить человека в машину.

Форд начал дело 16 июня 1903 года, «имея в изобилии веру, но лишь 28 тысяч долларов наличными», повествуют его биографы. Это были первые денюжки Форда и его одиннадцати сподвижников-акционеров. А в 1965 году «Форд мотор компани» выпустила 4,5 миллиона автомашин и тракторов и огромное количество военной и «космической» продукции. Объем ее продаж составил 11,5 миллиарда долларов (второе место после «Дженерал моторе»), ее активы — 7,6 миллиарда долларов.

Форд не был первым автомобилестроителем. Автомобили делались и до него, но вручную и для гонок, для азарта — это было модно уже тогда. Но Форд раньше других осознал потребность века в скоростях — на обыкновенных дорогах, а не на автотреках — и первым взялся за

выпуск дешевого массового автомобиля. После ряда неудач в 1908 году пришел грандиозный успех — легендарная модель «Т».

С тех пор Форд быстро менял лицо Америки, и октября 1908 по конец 1915 года был выпущен миллион «фордов-Т». В последующие одиннадцать лет — 14 миллионов. В 1923 году — больше сорока лет назад! — с конвейеров Форда сошло два миллиона автомашин. В 1925 году был зарегистрирован рекордный день, когда выпустили десять тысяч машин. Машина действительно стала массовой, доступной, вошла в быт. Последствия, подкрепленные другими фронтами индустриального развития и массового производства, были колоссальными. Машина вытянула за собой дороги и бум дорожного строительства. Машина связала город с деревней, заставила деревню тянуться за городом в смысле уровня жизни. Была создана качественно новая, причем дорогая потребность и сопутствующий ей огромный, постоянно возобновляемый рыночный спрос.

Апологеты Форда приписывают ему еще и «социальную революцию»: он первым начал платить своим рабочим по пяти долларов в день, понимая, что рост покупательной способности населения и рост прибылей взаимосвязаны.

Форд стоял у истоков той капиталистической Америки, которой нужен не только человек-машина на конвейере, но и человек, освобожденный от классового самосознания, ненасытный потребитель и раб вещей. Такого человека умело воспитывают, до совершенства оттачивают большие корпорации, мощнейшая система рекламы, от которой нет опасения, и весь строй идеологии и жизни, убеждающий, что мера человека — это мера вещей, которыми он обладает.

Это сложный и чрезвычайно важный вопрос, вопрос взаимодействия научно-технической революции и социальной системы, вопрос о том, чему — в тех или иных социальных условиях — служит технический прогресс и массовое производство: духовному закабалению человека посредством вещей или его духовному освобождению, сужению человека до потребителя или созданию всесторонне развитой, гармоничной личности.

Вот что пишет известный американский социолог Эрик Фромм: «Чудо производства ведет к чуду потребления. Уже нет традиционных барьеров, удерживающих кого-либо от приобретения того, что ему заблагорассудится. Ему нужны лишь деньги. Но у все большего и большего числа людей есть деньги, может быть, не на настоящие жемчуга, но на синтетические, на «форды», которые выглядят, как «кадиллаки», на дешевые платья, которые выглядят, как дорогие, на сигареты, одинаковые для миллионеров и рабочих. Все в пределах

достижимости, может быть куплено, может быть потреблено... Производи, потребляй, наслаждайся совместно, в ногу с другими, не задавая вопросов. Вот ритм их жизни. Какой в таком случае человек нужен нашему обществу? Какой «социальный характер» подходит для капитализма XX века? Он нуждается в человеке, который покорно сотрудничает в больших группах, который жаждет потреблять больше и больше, вкусы которого стандартизированы, легко поддаются влиянию и могут быть предсказаны...

...Машины, холодильник, телевизор существуют для реального, но также показного использования. Они сообщают владельцу положение в обществе. Как мы используем приобретаемые вещи? Начнем с пищи и напитков. Мы едим безвкусный и непитательный хлеб, потому что он отвечает нашей фантазии о богатстве и известности — он столь белый и «свежий». Фактически мы «едим» фантазию и потеряли связь с реальной вещью, которую мы едим. Наш вкус, наше тело выключены из этого акта потребления, хотя он касается их в первую очередь. Мы пьем ярлыки. С бутылкой кока-колы мы пьем картинку красивого парня или девушки, которые пьют ее на рекламе, мы пьем рекламный лозунг «паузы, которая освежает», мы пьем великую американскую привычку, меньше всего мы чувствуем кока-колу нашим небом... Акт потребления должен быть значимым, человеческим, полезным экспериментом. При нашей культуре от этого осталось мало. В значительной степени потребление является удовлетворением искусственно стимулированных фантазий, исполнением фантазии, отчужденной от нашего конкретного, реального «Я».

Отметив, что потребление стало самоцелью, Фромм пишет: «Современный человек, если бы он посмел выразительно передать свою концепцию рая, изобразил бы картину, которая выглядела бы как самый большой универмаг в мире, демонстрирующий новые вещи и новые приспособления...»

Все это, увы, правдивое описание нынешнего американца типа Генри Уилера, хотя, конечно, многие жестоко оставлены за дверьми потребительской вакханалии, а кое-кто и восстает против нее.

Итак, Форд делал не только машины и доллары. Не случайно в известном на Западе фантастическом романе- сатире Олдоса Хаксли «Отважный новый мир» Форд заменяет Христа (автор прибегает к игре слов — Лорд, т. е. господь, и Форд). В этой антиутопии летосчисление ведется не от рождества Лордова, а от рождества Фордова, люди выводятся серийно, в колбах, с заранее определенной социальной предназначенностью.

...Вечером я увидел краешек того Дирборна, который не входит в

план платных или бесплатных экскурсий Форда, — изнанку фордовской Америки.

Приехали ко мне в отель два товарища. Я видел их впервые. Но они товарищи. По взглядам.

Коммунист Н., работающий на фордовском заводе, — крепкий, ироничный, неунывающий. Поляк, которого поднял, закрутил и приземлил в Дирборне вихрь военных лет. Каково коммунисту в Дирборне? Тяжко. Почти одиноко. Но Н. не скрывает ни взглядов, ни принадлежности к партии.

Коммунист?! Для многих американцев, кроме всего прочего, это непрактично, неразумно — добровольно затруднять жизнь, отрезать себе дорогу к благам. Но местный профсоюзный босс, ренегат, бывший коммунист, однажды в порыве откровенности признался товарищу Н.: «Ты, конечно, считаешь меня предателем, не так ли? А мне ты все равно ближе, чем эти сукины сыны». Товарищ Н. не наивен, покаянные слова, прошептанные на ухо, его не обольстят. Он знает, что доллары не заменят идеала и не заполнят вакуума там, где было нечто, называемое совестью.

Для рабочих, хорошо знающих Н., он прежде всего свой парень, который не подведет, вступится за общие интересы, совет которого нужен и дорог. Н. верит в профсоюзную спайку, в то, что его смогут защитить от администрации.

Товарищ К. — редактор прогрессивной детройтской газеты на польском языке, американец из поляков, родился в Соединенных Штатах.

В машине Н. мы катим по вечернему, другому Дирборну. Индустриальные задворки. Сморд из труб. Старые заводские здания. Старые ветхие грязные дома, где живут низкооплачиваемые рабочие, холостяки, вдовы, люмпены. С каким-то тайным своим удовлетворением Н. хочет показать единомышленника из Москвы профбоссу, тому самому ренегату. Но в здании отделения № 600 профсоюза автомобилестроителей уже пусто. На сегодня одно лишь мероприятие—собрание местной группы национальной ассоциации «Анонимных алкоголиков». Мужчины и женщины, старые и молодые, за чашкой кофе обсуждают свои проблемы. Странная, на наш взгляд, но, как утверждают, полезная организация. Алкоголики лечатся сообща. Борьба с зеленым змием начинается с публичного покаяния: я—алкоголик!

Зашли в бар, заплеванный, вонючий, прокуренный. Инвалид на костылях. Старая крашеная шлюха. Напряженное перемирие, очевидно, после драки. На наших глазах, урегулировав ссору, уходит полицейский.

И сразу же новая потасовка. Один пьяный хватается за горло пьяного же соседа. Другие по-пьяному разнимают их. Ругань. Жуть бесконтрольных реакций, тяжелых бессмысленных взглядов.

— Как «На дне» у Горького, — говорит К.

Мы исчезаем через черный ход, не допив пиво. Какой-то мрачный пустой двор — подходящее место для глухих расправ. Переходим дорогу.

— Быстрее! Быстрее!—вдруг кричит не своим голосом Н., увлекая меня за руку.

Уставившись глазами зажженных фар, прямо на нас бешено мчит машина. Еле-еле успеваем увернуться из-под колес, дружно кричим вдогонку!

— Сукин ты сын!

Но сукина сына и след простыл.

Другие рабочие кварталы чище — аккуратные домики, газоны, гаражи. Минимальная зарплата у Форда — два с лишним доллара в час, максимум — пять долларов. Но, как рассказывал Н., рабочие все чаще говорят: черт с ней, с прибавкой к зарплате, надо уменьшать темп работы. На взгляд экскурсанта, темп на конвейере не так уж высок. Но все выверено и выжато последователями Тейлора, социологами и психологами. Все на пределе человеческих возможностей. Притупляющая монотонность работы — восемь часов плюс полчаса на обед и по Двенадцать минут на уборную — до и после обеда. ^Малейший затор на конвейере — и сразу паника. Аварийные техники на велосипедах и мотоциклах мчатся к месту затора: «В чем дело? Из-за вас теряем деньги!»

После конвейера рабочие «разматывают» себя в барах, Н. рассказал о недавнем происшествии. Провинился негр, работающий на конвейере. Мастер доложил по начальству. Негра лишили месячной зарплаты. Он винулся и просил прощения, но тщетно. Тогда, выйдя из кабинета начальника, он бросился на мастера, исполосовал его ножом. У Форда работает много негров, большинство на конвейере: «лишь одну операцию и лишь одним движением». В Детройте, как говорят, большие сдвиги в смысле десегрегации. Однако Дирборн остается «лилейно-белым», под разными предложениями здесь неграм не дают селиться.

Разговор коснулся Вьетнама. По мнению Н., молодежь боится армии. Он знает случаи, когда выпускники колледжей, даже студенты, не окончившие курса, поступают учениками на фордовские заводы —лишь бы не призвали. Молодой биолог, знакомый Н., работает

подмастерьем. Кое-кто, уклоняясь от призыва, бежит в Канаду, благо Канада рядом и граница открыта.

Рабочие говорят о войне, но война остается на втором месте после разговоров о зарплате, кредитах, рассрочках, спорте. В газетах прежде всего читают новости о бейсбольных матчах и автогонках, лишь потом о военных действиях. Но, в общем, антивоенные настроения растут. Недавно на профсоюзный пост избрали одного противника войны, хотя профбоссы предлагали своего кандидата.

Н. считает, что американский рабочий отличается от европейского, в частности, вот в каком важном плане: у американца нет традиций продолжительной политической борьбы за определенную широкую программу, традиций объединения вокруг какой-либо политической партии, хотя на выборах профсоюзы обычно поддерживают демократов. Американский рабочий умеет постоять за свой материальный интерес и считает, что богатая страна может дать ему больше. Классовая борьба носит преимущественно экономический характер — коллективный договор профсоюза с предпринимателем, забастовка с целью повышения зарплаты, улучшения условий труда, а сейчас все чаще против угрозы так называемой технологической безработицы, рождаемой автоматизацией. Но в пору национальных кризисов американский рабочий активно вмешивается в политическую жизнь, причем вмешательство принимает бурные формы. До кризиса 1929 года, в эпоху процветания, кто мог подумать, что рабочие пойдут «голодными маршами» на Вашингтон? Поэтому Н. и К. подчеркивают, что трудно делать прогнозы о развитии антивоенного движения в американском рабочем классе. Американец решительно реагирует тогда, когда его задевают за живое, когда расширение войны сужает выбор: вместо военного процветания — винтовку в руки и смерть в джунглях.

1—2 ИЮНЯ. ПИТТСБУРГ

Последний, как и первый, дирборнский разговор — с таксистом. На этот раз белым, по дороге в аэропорт. Война во Вьетнаме для него — «трата людей и денег», «чисто политическая война», в которую США незачем вмешиваться. Но что поделаешь? Таксист считает, что «основная часть» народа поддерживает Джонсона, а раз так, то война согласуется с американской демократией. Судьба вьетнамцев его мало волнует. Говоря о трате людей и денег, он имеет в виду американские жизни и американские деньги. О коммунизме у таксиста такое

представление: правительство стоит над народом и слишком его контролирует. По его мнению, это необходимая ступень для некоторых государств, но в конце концов они придут к демократии американского типа.

Он возмущен масштабами военных расходов.

— Нынешнее правительство в Вашингтоне совсем не по мне. Это как большая компания, которая не умеет с толком тратить деньги и плохо ведет дела. Зачем они, например, Африке дают деньги? Да и вы тоже. Разве наши народы не нуждаются в этих деньгах? Ведь вся эта помощь перепадает горстке людей, а африканцы все равно бедствуют.

Я объяснил, что мы, например, помогаем строить ГЭС в Асуане; это польза не кучке, а народу. Таковую помощь он одобряет.

Таксист, как и многие американцы при встрече с советскими людьми, говорит о необходимости взаимопонимания: народы должны знать друг друга, люди должны ездить друг к другу.

— Я против всяких закрытых дверей. В темноте ничего не увидишь.

Я говорю, что американцы к нам ездят, и много, но, к сожалению, больше богатые люди, а они видят нашу жизнь на свой лад, что простые люди могли бы увидеть другое, лучше понять нас. С этим он согласен. Ругнув пропаганду, говорит:

— Вот если бы я в Россию съездил, вернувшись, рассказал бы о ней тем, кто меня знает и мне верит.

Другая, типичная для американца тема, усугубленная вьетнамской войной: недоверие к правительству. Где-то там, в Вашингтоне, политики и бюрократы, в руках которых все больше власти, которые далеки от народа и ведут какую-то непонятную этому дирборнскому таксисту политику, руководствуясь своими, чуждыми и непонятными ему соображениями...

Перед Питтсбургом была посадка в Кливленде. В самолет вошел негр, военный. Свободные места были, но между ним и белыми — сразу полоса отчуждения. Негр как бы спрашивал взглядом: можно? не занято? Белые пассажиры отводили глава. Он подсел ко мне, чутьем уловив чужеземца, сам невольный чужеземец в своей стране. Назвавшись, я спросил негра, был ли он во Вьетнаме. Нет, не был.

— Собираетесь?

— Довольно скоро.

— Что думаете об этой войне?

Негр уклонился от ответа: «Я должен туда ехать». Ему не хотелось продолжать разговор.

...ОТЕЛЬ «РУЗВЕЛЬТ» стоит в «даун-таун» — деловом центре города. Первая прогулка, первые смешанные впечатления от Питтсбурга.

Просто физически угнетает глаз мрачность старой городской застройки. Словно замурован в неприютности глухих, торцовых стен, выходящих на улицу, неожиданных тупиков, пустырей, временно занятых автомобильными стоянками. Но есть в городе и их довольно много — материальные следы дельцов позднейшей формации. Дюралевые грани, акры сияющего оконного стекла, в нем отраженно плывут питтсбургские облака. Великолепна просторная площадь «Гейтуэй» — создание страховой компании «Эквитэбл-лайф» и других корпораций. Это местная гордость, вершина знаменитого «Золотого треугольника», образованного слиянием рек Мононгахилы и Аллегейни в реку Огайо.

В Питтсбурге у меня те же две цели. Первая — разговоры о вьетнамской войне. Конкретный объект — Питтсбургский университет; в смысле политической активности студентов у него репутация середнячка. Второе дело — за три дня хоть чуть-чуть пощупать экономический и социальный пульс этого старого индустриального центра, второго после Филадельфии в штате Пенсильвания.

Старт облегчен «Питтсбургским советом по делам международных гостей», общественной организацией по приему иностранцев. С такого рода организациями мне приходилось сталкиваться. Они возникли в ряде крупных американских городов на почве любопытства к иностранцам, безделья буржуазных домохозяек, ищущих выхода своей энергии, и — без этого американские начинания не обходятся — делового, практического интереса: как бы повернуть иностранного визитера выгодной стороной? Нас попер путь трудновато, и поэтому «международные советы», с умыслом или без умысла, обычно придают визитам советских корреспондентов этакий туристско-развлекательно-светский характер с обязательной дамой-подвижницей, лихо крутящей баранку своего «форда» или «шевроле», с неременной «коктейль-парти» у либерального врача, адвоката или газетчика и, конечно, с осмотром местных достопримечательностей.

Питтсбургский совет был необычно сух — ни автоподвижницы, ни экскурсии по городу. Тем не менее подготовили две встречи — с доцентом Карлом Беком в Питтсбургском университете и с четырьмя банкирами и промышленниками в банкирском клубе «Дюкен».

Сегодня с утра университет. В готическом «Храме науки» — центральном университетском корпусе — сорок два этажа.

Карл Бек оказался молодым симпатичным ученым. Его специальность — политическая паука. «Я решительно против нашей правительственной политики в вопросе о Вьетнаме», — отрекомендовался он при встрече.

Карл Бек изменил тему своего семинара, усадил меня за небольшой

столик перед дюжиной аспирантов сам сел рядом, но в разговор почти не вмешивался. После первых минут взаимного смущения и запинок импровизированный семинар по Вьетнаму наладился, продолжался часа два. К сожалению, мне и некогда и неудобно было делать подробные заметки.

Взгляды, как и всюду, разные. Есть — за войну и политику Вашингтона, есть — против. Среди тех, кто «за», оголтелых нет, у них оговорки и колебания. Из тех, кто «против», — не все решительно против, но считают, что во Вьетнаме гражданская война и что США не имеют права вмешиваться в эту войну. Критиков правительственной политики смущает вопрос: где, в чем альтернатива? Далеко не все видят альтернативу в выводе американских войск. Характерное для американцев отношение к престижу своей страны: если сильный уступает даже там, где он неправ, его престиж ущемляется, а с этим нельзя мириться.

Снова меня поразил сугубо рационалистический и от этого, как мне кажется, в чем-то аморальный взгляд на «малую» войну в далекой стране. Молодые аспиранты, которых профессора натаскивают — именно натаскивают — на рационалистичность, лишены взгляда на вещи и явления от души, что ли, от совести, а не только от разума. Они смотрят на войну поверх вьетнамцев, поверх разоренных, вытоптанных войной рисовых полей, поверх бомб, летящих на вьетнамские деревни, поверх убийства невинных, миллионов беженцев, страдающих в лагерях, короче говоря, поверх трагедии народа. Для них это лишь игра «мировой политики», баланс мировых сил в Юго-Восточной Азии — США, Китай, Советский Союз, но они глухи и слепы к тому, что для вьетнамцев это отнюдь не малая война, что речь идет о судьбе и даже о физическом существовании целого народа.

Потом я снова приехал в университет и в той же комнате, на 23-м этаже, встречался с другими студентами. Запомнился один из них — Питер Голл.

— Что такое мораль в мировой политике? — цинично и весело спрашивал этот крепкий, цветущий парень. — Вы говорите — бомбы. Ну и что? Мы вынуждены бросать бомбы. Другое дело, когда начинаешь чувствовать влияние вьетнамского конфликта лично. Сейчас, например, поднялись цены на многие продукты. Опять же вопрос о призыве студентов. Такое недовольство может оказать на правительство куда больше влияния, чем идеологическая полемика.

Против Питера Голла ополчился Махмуд Мамдани, студент из Уганды, обучающийся в Питтсбургском университете. Африканец горячился, нарушая американские правила академического спора.

Это зверская война, — кричал Махмуд Мамдани. — Это расистская война. Я уверен, что на европейские страны вы не бросали бы столько бомб. Это бездушная война. Для вас, американцев, убийство уже не убийство, когда оно обезличено, когда убийцы — летчики, не видящие жертв.

Мне показалось, что только я и понимал африканца. Остальные чувствовали себя неловко, им хотелось извиниться передо мной за наивного вспылчивого чудака.

Что такое мораль? Вопрос и наивен, и законен. На место морали распространенная в США философия прагматизма ставит выгоду, целесообразность. Под моралью здесь преимущественно подразумевают христианскую мораль, но именно она нелепа в стране, которая всем образом жизни навязывает как закон для всех законы и повадки дельцов.

Рационализм дельцов подразумевает, что человек или страна, если они действуют рационально, должны поддаваться силе. А там, во Вьетнаме, сила (и какая сила! — бомбы, напалм, практика геноцида) не помогает. Отсюда — рационален ли человек?

У питтсбургских студентов я хотел еще раз проверить свои предположения о корнях студенческого антивоенного движения в Америке. Тут оценки одинаковые: все считают, что это движение логически развилось из движения за «гражданские права», за равенство негров. Неслучайно, что в антивоенном протесте участвуют многие из тех, кто был связан с борьбой, походами, маршами в защиту негров на Юге. Нынешнее движение протеста шире, но неопределеннее, идеологически менее ориентировано и акцентировано, чем радикальное, левое и марксистское движение в американских университетах 30-х годов. Аспирант, у которого отец был в левом движении тех лет, критически смотрит на движение нынешнее. На его взгляд, это временное увлечение молодых людей, из которых потом получатся «хороший буржуа».

Другой аспирант говорит, что движение протеста, если брать его не в плане конкретно политическом, а в плане общем, идеологическом, направлено не против господствующей системы, а против метода управления, против влияния «машинной» правительственной бюрократии.

Долговечен ли заряд политического протеста? По общему мнению, аспиранты, то есть люди более взрослые, политически не так активны, как студенты. Многие из них уже конформисты, уже в разряде благонадежных «хороших буржуа».

Пока же мои собеседники иронизировали над «хорошими буржуа», смеялись, узнав, что я спешу в консервативный «Дюкен-клуб» на ленч с банкирами. Кто-то заметил: «Там стены дрогнут, когда войдет красный». Впрочем, эта шутка понравилась и мистеру Уильяму Бойду, вице-президенту «Питтсбургского национального банка», который пригласил меня в «Дюкен-клуб». Ее оценили и остальные гости мистера Бойда, заванные на «красного», — два промышленника и еще один вице-президент банка.

Знаменитый в Питтсбурге банкирский клуб основан в 1881 году. Здесь за ленчами и обедами вершит свои и городские дела элита местных бизнесменов. Вступительный клубный взнос — полторы тысячи долларов, ежегодные взносы — поменьше. В здании клуба все старомодно, солидно, сумеречно. У входа служители в мышиного цвета костюмах фильтруют посетителей. Отдельные кабинеты. Официанты вышколены, безгласны и, видимо, научены держать язык за зубами.

У нас среди официантов есть беженцы из Венгрии, — заметил мистер Бойд. — Может быть, и нас обслуживает венгр. Представьте его удивление — русский в «Дюкен клубе»?!

Я попытался представить этого венгра, выбравшего «свободу» в 1956 году, обнаружившего позднее, по это всего-навсего свобода прислуживать питтсбургским банкирам.

Все четверо довольны экономическим положением итс урга. Еще двадцать лет назад город, казалось, неотвратимо хирел, задыхался в густых дымах своих прославленных, но старых сталелитейных заводов, которые уже не выдерживали конкуренции с новыми сталелитейными центрами. Питтсбург звали «дымным городом». Заводы так дымили, что, бывало, днем зажигали фонари. Но «общественно сознательные» бизнесмены спасли город от экономического упадка, очистили воздух крутыми санкциями против загрязнителей.

Потом мои новые знакомые заговорили о неграх, разумеется, как деловые люди. С неграми Питтсбургу повезло — их сравнительно мало. Бойд похвально отозвался о местных профсоюзах, в частности о профсоюзе сталелитейщиков. Этот профсоюз, по его словам, практикует дискриминацию, держит негров подальше от своих рядов, своих зарплат и прочих профсоюзных привилегий. В результате в Питтсбурге — слава богу! — негров «не настолько много, чтобы ими нельзя было управлять».

В последние годы правительство хлопочет о неграх. Для бизнесменов идти в ногу со временем — вопрос моды и «общественного долга». Это значит, к примеру, что нужно обзавестись своим негром и

дать ему видное место, как бы посадить его в витрину. Но деловые люди не забывают о деловом подходе к вещам: им нужны негры с «хорошими мозгами». Таких ищут и даже сманивают друг у друга.

От венгров и негров перешли к вопросам войны и мира. Нужна ли питтсбургским бизнесменам война? Нет, не нужна, — не нужна большая, мировая война. Она непрактична в ядерный век, грозит капиталовложениям и прибылям. Члены «Дюкен-клуба» готовы согласиться с теми переменами в мире, которые можно приспособить к интересам американского бизнеса. Но там, где наступает коммунизм или радикальное национально-освободительное движение, где лозунг «янки, убирайтесь домой!» поднимается с улиц на уровень государственной политики, где, по их мнению, надвигается катастрофа для американских интересов, они—за войну. Например, во Вьетнаме. Тут они настроены решительно, лишь бы не было риска большой войны. Их оговорки, их критика в адрес Вашингтона как раз в границах этой смутно очерченной области риска.

Они, между прочим, отпускают комплименты нашему техническому развитию. У них пытливый интерес к нашей экономической реформе. Ведь это же конкуренция, не так ли? В их глазах надежда...

Вечером случай свел меня с видным питтсбургским газетчиком. Назову его условно Сол Прайс. До Питтсбурга я его не знал, не было ни общих знакомых, ни устных приветов или писем-рекомендаций. Газета его отнюдь не прогрессивная. Я зашел в редакцию с обычным коротким визитом вежливости. Но американские газетчики, как правило, общительны, профессиональная спайка у них развита, помогают — даже советским. Прайс пригласил меня домой, объяснив приглашение «сентиментальной привязанностью» к России. Родители его из-под Одессы, приехали в США в 90-х годах прошлого века. В подвале дома семейная реликвия—старый самовар. Сын, студент йельского университета, изучает русскую литературу, историю, язык. Его учитель, из «бывших русских», находит, что младший Прайс говорит по-русски с «мужицким акцентом».

Обедали с Солом и его женой Джоан в загородном ресторане. Приятное местечко, домашние скатерти на столах, дрожание свечей в плашках. Застольная болтовня о том, о сем. Вдруг подвыпившая Джоан шепчет мне с отчаянностью:

— Сол меня, наверно, убьет, но я все-таки скажу. Вы знаете, что Питтсбургом правит одна семья — Меллоны. Ничего в городе нельзя сделать без них. Они правят городом и, если захотят, могут погубить его...

— Неужели?—говорю я.

С минуту тяжело молчим. Джоан смущена своей внезапной откровенностью. Мы вдруг осознаем, что, несмотря на эти интимные свечи, и домашнюю скатерть, и какие-то точки соприкосновения через Хемингуэя и Фолкнера, между нами лежит бездна. Знакомое чувство — чувство ирани. Они почти инстинктивно ощущают эту грань, мой американские собеседники, разговоры, как игра, ведутся с соблюдением правил: не открывать чужаку секреты фирмы, имя которой — капиталистическая Америка. И вот Джоан перешла грань к нашему общему смущению.

Сол — любящий муж и, разумеется, не убьет Джоан. Оправившись от смущения, они переводят разговор в плоскость фактов, поясняют, что Меллонам, кроме «Меллон-бэнк», заправляющего в городе, принадлежит большая нефтяная корпорация «Галф Ойл», медная «Коппер компани», алюминиевая «АЛКОА», акции сталелитейного гиганта «Ю. С. Стил». Общий капитал — около девяти миллиардов долларов.

Главу клана Ричарда Кинга Меллона в Питтсбурге зовут Генералом. Во время войны он был крупным интендантом.

Генерал «очень добр» к Питтсбургу — создал благотворительные организации, за четыре миллиона долларов купил землю в центре города, подарил горожанам красивый сквер на площади, которая, конечно же, называется Меллон-плаза.

Но Джоан, смелый и честный человек, снова подчеркивает:

— Если он употребит свое влияние и власть во зло, плохо будет Питтсбургу.

Сол молчит, соглашаясь.

Их дом на границе города, за рекой Мононгахила, в покойном зеленом районе. За домом большая лужайка. Тихо. Свежий воздух. Щебетанье птиц. Джоан сокрушается:

— Какая холодная погода! Розы еще не распустились. А смотрите, что стало с бедными петуньями!

В доме уютно, много книг, романы Фолкнера — любимого писателя Прайсов, многотомная история Англии. Ковры повытерлись, диваны старые, нет претенциозного модерна, ценят обжитость. Часто и с гордостью говорят о своих детях. Две фотографии в рамках: серьезный парень, красивая девушка с хорошим умным лицом.

Прайсы любят своих детей, но это американская любовь — их не держат у материнской юбки. В прошлом году шестнадцатилетнюю дочь отпустили на край света — в Сингапур — по какой-то из многочисленных «программ обмена». Друзья удивлялись: молоденькую девушку за тридевять земель к незнакомым иностранцам?

А ведь поступок типично американский, и корни у него типично американские. Прадеды, деды, отцы искали долю свою, мотались по просторам Америки, осваивали и Средний Запад, и Дальний Запад, и Северо-Запад, и

Юго-Запад Соединенных Штатов. В конце концов,плыли в эту страну из других стран.

История заложила в американцев семя мобильности. Русский человек глазам не верит. Американец не любит книги, да часто и не верит им, ему надо пощупать мир.

В Сингапуре дочь Прайсов жила в доме китайца, который управляет огромной каучуковой плантацией. Конечно, и Сингапур девушка увидела глазами плантатора и его детей. А недавно сын плантатора приезжал в Питтсбург, тоже «по обмену», жил у Прайсов. Тогда же жил у них и еще один молодой паренек с каких-то далеких островов Индийского океана—Джоан и названия не выговорит. Бедный, но «талантливый мальчик», опять же «по обмену».

— Какой у них был завидный, не американский аппетит, ели с утра до вечера, — вспоминает Джоан.

Вот контакты на их, буржуазном, уровне, личные контакты. Со временем они могут окупить себя и в плане политическом. Джоан против войны — ведь могут призвать и их мальчика. Она говорит о национальной ограниченности и невежестве американцев. В годы ее учебы в колледжах, например, не изучали русскую литературу. Она случайно напала на Толстого, Достоевского, потом Чехова, увлеклась русскими и русской литературой. Профессор сказал: «Если вы найдете человек шесть — восемь, мы организуем цикл лекций». Желающих не нашлось.

Еще лет восемь назад в школах кроме американской истории изучали лишь историю Западной Европы. Остальной мир — за пределами древних веков — оставался для детей белым пятном. Сейчас картина меняется...

Днем Сол показал мне город с крутого берега Мононгахилы. В «Золотом треугольнике» небоскребы красиво сияли на солнце стеклом и дюралем. Они поднялись недавно на месте трущоб, складов, запасных железнодорожных путей. Теперь корпорация «Ю. С. Стил», которой тесно уже и в сорока этажах, собирается построить новый небоскреб, то ли на шестьдесят, то ли на восемьдесят этажей. Вернее, она заказала этот небоскреб одной строительной корпорации, обязавшись арендовать его на очень длительный срок.

4 ИЮНЯ. ПИТТСБУРГ

Питтсбургу больше двухсот лет. У колыбели индустриального Питтсбурга, родившегося в конце прошлого века, стояла знаменитая троица: царь стали Эндрю Карнеги, король угля Клей Фрик и банкир Томас Меллон. Сейчас эти имена рожают другие ассоциации. Знаменитый Карнеги-холл в Нью-Йорке—любимец меломанов, свидетель триумфов Святослава Рихтера, Эмиля Гилельса, мировых звезд первой величины. На нью-йоркской Пятой авеню изысканная галерея Фрика с шедеврами Эль Греко. Меллоны основали прекраснейшую Национальную галерею в Вашингтоне, купив для нее в Европе полотна старых мастеров.

Метаморфозы с миллионами питтсбургской тройки пришли позднее — как замаливание грехов. Начинали же, не гнушаясь убийствами. В 1892 году Клей Фрик, ненавидевший профсоюзы, учинил кровавую бойню, приказав заводским стражникам и наемным агентам Пинкертон расстрелять мирную толпу бастовавших рабочих. Получив удар ножом от сторонника забастовщиков, Фрик в карете «скорой помощи» диктовал завещание: «Я не думаю, что умру, но умру я или нет, компания будет проводить ту же самую политику, и она победит».

Это была известнейшая хэмстедская забастовка сталелитейщиков. Фрик и Карнеги победили, разгромив профсоюзы. Потом их агенты рыскали по странам Юго-Восточной Европы, вербуя на питтсбургские шахты и заводы поляков, словаков, сербов, венгров, украинцев — дешевую рабочую силу. Меллон, между тем, успешно сколачивал самое грандиозное в Америке семейное состояние, используя к своей выгоде как падения, так и взлеты экономической конъюнктуры. В 1919 году, после смерти Карнеги и Фрика, влияние Меллонов в Питтсбурге стало решающим.

Беседуя со мной, профессор Р. из здешнего университета сообщил кое-какие данные о Питтсбурге. Питтсбург прежде всего город стали. 25 миллионов тонн стали выплавляется в радиусе 25 миль — четверть всего американского производства.

Питтсбург известен многими важными изобретениями. Здесь была первая радиостанция. Первая компания, производящая электроприборы, — компания Джорджа Вестингауза. Здесь колыбель американских профсоюзов.

Острый кризис случился двадцать лет назад, когда стали иссякать окрестные месторождения железной руды. Сталелитейным корпорациям пришлось переводить заводы, точнее, строить их заново в других районах возле Кливленда, Чикаго, Филадельфии. Городу

угрожала гибель.

«Отцы города», в первую голову Генерал, решили спасти его — ведь с Питтсбургом связана и их судьба. Десятки, сотни миллионов долларов были брошены на научно-технические исследования, тысячи специалистов и ученых сманили и привезли в Питтсбург. В союзе с городскими властями Меллон нанес решительный удар по мрачной славе «дымного города». Был принят закон, запретивший использование битуминозного угля для отопления.

«Золотой треугольник» подвергся радикальной перестройке, сметены были большие районы трущоб. Цель перестройки состояла, в частности, в том, чтобы избавить деловой центр от жилищ и присутствия бедноты, переместить ее подальше от центра. Реконструкция Питтсбурга включала, таким образом, не только чистый воздух и модернистские здания контор на месте трущоб, но и физическое размежевание социальных сил, своего рода географические прокладки между ними.

По мнению Р., Питтсбург — город редкий для Америки по социальному составу населения: суперэлита, масса бедноты и между ними очень тонкая прослойка «среднего класса», в которую входят университетские преподаватели и профессора, адвокаты, врачи, городские служащие.

Р. считает Питтсбург единственным в мире большим «феодалным» городом, подчеркивая, что и нынешний ренессанс его также имеет феодально-капиталистический характер. Феодальный сюзерен — это, разумеется, семья Меллонов.

Сегодня еще одна интересная встреча — с Полом Дейли, вице-президентом и директором сталелитейной компании «Хэппенстолл компани». В прошлом году он был в Москве по делу — хотел купить у нас кое-какие лицензии. Говорит, что «драли» с него в гостинице «Националь» не хуже, чем дерут в отелях «Хилтон». Такую хватку он одобряет.

Мы сближаемся, — шутит он. — У вас «Интурист» тоже умеет делать деньги.

Итак, Пол был у нас, я — советский корреспондент, попавший в Питтсбург, и он считает своим долгом отплатить мне за наше гостеприимство. Вчера был на ленче в «Дюкен-клубе». Сегодня пригласил меня, показал завод своей компании, на котором работают восемьсот человек. У «Хэппенстолл» несколько заводов. Общий капитал — 50 миллионов долларов, крошка рядом с «Ю. С. Стил», ворочающей миллиардами. Компания — семейная. Старший

Хэппенстолл недавно умер. Теперь делом заправляется его тридцатисемилетний сын. Его готовили с детства, одно время наследник работал простым рабочим на питтсбургском заводе папаши.

Дейли приехал за мной в новеньком «бьюике».

Начало типично американское.

— Как вас зовут? — Посмотрел на мою визитную карточку. — Станислав? Значит Стэнли? Стэн? Зовите меня Пол.

Рассмеявшись, добавил:

— Европейцы удивляются нашей бесцеремонности. Ведь мы всех зовем по имени, не по фамилии. А мы считаем, что так проще.

Он очень хорошо сказал — проще. Именно проще, удобнее. Американский бытовой демократизм.

Пол — бизнесмен просвещенный. До войны учился в Парижском университете: дешевле, чем в американских. Нет в нем американского нахрапа, который частенько соседствует с тем самым бытовым демократизмом. В чем-то даже стеснителен, готов выслушать и понять другую точку зрения. Меткий язык.

— Кредит, — говорит он, — как лезвие для бритья, им и бриться можно, и горло перерезать.

Не из суперпатриотов. Видит недостатки своей страны, но считает, что Америка открывает большие возможности для человека работающего. Отец его был почтальоном, потом открыл небольшое дело, детям дал образование. Отец жены — рабочий, выходец из Польши.

— А вы миллионер?

— Нет, я не среди этих счастливицков. Но на приличную жизнь зарабатываю.

Детей трое. Сын и дочь кончают колледж. За младшего сына беспокоится — он тоже в колледже, но учится неважно. Сейчас Пол тратит в год шесть-семь тысяч долларов на обучение детей. Дочь скоро получит диплом и уже подыскала работу — программистом на электронно-счетных машинах. Будет получать 125 долларов в неделю. Пол начинал скромнее — со 120 долларов в месяц.

Расходы на обучение детей так велики, что и этому человеку приходится экономить. Старшего сына недавно отправил в Италию на грузовом судне — конечно, не очень удобно, но дешево, всего сто долларов. Парень поехал не развлекаться. Два месяца будет рабочим на сталелитейном заводе, а потом недели две отдыха — на заработанные деньги. Прошлым летом тот же его старший сын, будущий инженер-металлург, работал простым рабочим на одном из питтсбургских сталелитейных заводов. Так воспитываются дети

капиталиста: их учат поклоняться доллару, и не только доллару — труду.

Пол Дейли излагал распространенный в Америке принцип: каждая работа хороша, нет работы зазорной. Тут, разумеется, не без доли ханжества, но надо отметить и другое. Законы общества жестоки. Выживают и преуспевают наиболее приспособленные, что, в частности, означает — работающие. Высшее образование дорого, поэтому и ценится высоко. Как правило, оно не только оплачивается богатыми родителями, но и зарабатывается самими студентами.

Помню, в прошлый мой приезд в Корнельский университет за столом в ресторане отеля «Статлер-Ин» нас обслуживала красивая томная девушка. Кто-то из американцев шепнул, что это дочь Максвелла Тейлора, бывшего главы объединенной группы начальников штабов, бывшего военного советника президента Кеннеди и пресловутого генерала-посла в Сайгоне. Нам захотелось взять интервью у титулованной официантки. Навели дополнительные справки. Увы, произошла ошибка. Девушка была дочерью Тейлора, но другого, не столь знаменитого, — посла США в одной из латиноамериканских стран. Интерес к интервью пропал, но факт запомнился. Посольская дочь, студентка Кориельского университета, подрабатывала на каникулах в качестве официантки. Это никого не удивляло. Это была норма. В летний сезон я видел много студентов в Йеллоустоунском национальном парке. Они убирали комнаты в отелях, продавали бензин, работали клерками и официантами. Совсем не в новинку, да и не в моральную тягость для них комбинезоны рабочих бензостанций, накрахмаленные передники официанток. Они делают доллары на жизнь и на учебу...

На питтсбургский ренессанс у Дейли взгляд дельца.

— Питтсбург достаточно велик, — говорит он, — чтобы чувствовать себя здесь, как в большом городе, и, однако, достаточно компактен, чтобы можно было обзвонить два десятка друзей-бизнесменов и пригласить их сегодня же вечером на коктейль для обсуждения срочного дела.

Здесьние крупные дельцы, рассказывает он, тесно связаны между собой и с судьбой города, от которой зависит и их судьба. В Нью-Йорке положение хуже. Он слишком велик и «обезличен». Его владыки и живут-то где-нибудь в Коннектикуте, на Лонг-Айлэнд, в загородных имениях. Их капиталы вложены не только в Нью-Йорке, но и по всей стране, по всему миру. Нью-Йорк, считает Дейли, слишком велик, чтобы излечить его от перманентного кризиса.

О профсоюзах, о рабочих, вообще о городском населении Дейли даже не упоминает, излагая историю питтсбургского ренессанса. Им нет места в этой истории.

Любопытно, как судит Дейли о нас. Кое-что понимает, согласен, что нам надо было централизовать и направлять промышленность, когда закладывались ее основы. Согласен с необходимостью планирования на первых порах. Теперь его взволновала наша реформа управления промышленностью, о которой он слышал краем уха и которую характеризует как *profit system* — систему, основанную на прибыли. Это напоминает ему Америку:

— Человек, как лошадь. Чем больше овса в торбе, тем быстрее бежит лошадь. Это и есть стимулы.

Дейли считает, что эту истину мы теперь усвоили. Коренные различия в системе собственности игнорирует. Вот его представление об американском «почти социализме»:

— Моя секретарша тоже работает на государство. Она выплачивает в виде налогов 20 процентов своего жалованья. Значит, один день в неделю она работает на государство.

Самый пустой сегодня разговор — в штаб-квартире профсоюза сталелитейщиков Америки. По величине это второй после автомобилестроителей профсоюз в США — 1,2 миллиона членов.

Президента не было. Вице-президент занят. Меня сплавил к мистеру Аса Этвуду — *public relations man*. Как американскую закусочную невозможно представить без яблочного пирога под стеклянным чехлом, так американские корпорации, профсоюзы, университеты и пр. немыслимы без *public relations man*. Они занимаются отношениями с прессой и публикой, полезны для первого знакомства — засыплют брошюрками, книгами, цифрами. Но не обманывайся! Это профессиональные лакировщики.

Если верить Аса Этвуду, все проблемы американских сталелитейщиков кончились еще тридцать лет назад, когда, случалось, убивали профсоюзных активистов и предприниматели бросали против бастующих рабочих заводскую охрану с винтовками и дубинками. Сейчас рабочих волнует лишь одно — как бы приблизить умывальники и уборные к рабочим местам.

Аса Этвуд боится «красного» больше, чем банкиры из «Дюкен-клуба». Те вне подозрений. Этому надо демонстрировать патриотизм и лояльность. По Вьетнаму у руководства профсоюза четкая линия: полная поддержка Джонсона.

А между прочим, мастер на заводе «Хэппенстолл» говорил

по-другому: «Пусть они там, во Вьетнаме, живут как им нравится». Он тоже член профсоюза, но здравый смысл у него преобладает над антикоммунизмом.

Суббота, нерабочий день. Однако с утра удалось встретиться и побеседовать с Джоном Мороу, директором департамента планирования и реконструкции при питтсбургском муниципалитете. То, что он мне рассказывал, как бы повернуло город еще одной гранью. Не будь разговоров с Прайсами, с профессором Р., с Полом Дейли, а будь лишь сегодняшний разговор с Джоном Мороу, можно было бы подумать, что совсем это не «феодалный город», что правят им те, кому положено править по закону, — городская власть, избранная населением.

Бывший репортер «Питтсбург пост-газетт», Джон Мороу знает, что с газетчиками ухо надо держать востро. Был подозрителен, скуп на слова, каждое взвешивал.

Итак, по американским понятиям, город стар. Сейчас в собственно Питтсбурге больше шестисот тысяч человек, в районе Большого Питтсбурга — два с половиной миллиона. Географически и транспортно расположен выгодно — три реки. Но топография его неблагоприятна из-за тех же трех рек. Ежегодно страдал от наводнений. Концентрация индустрии, интенсивное использование угля загрязняли воздух.

После второй мировой войны были разработаны две основные программы борьбы со злом. Контроль за наводнениями взяло на себя федеральное правительство, «контроль за дымом» — власти города и графства.

Крупных наводнений не было с 1937 года. Что касается «контроля за дымом», то в конце сороковых — начале пятидесятых годов запретили использование мягкого угля для домашнего потребления, а также паровозам и пароходам. Транспорт перешел на дизельное топливо, дома — на природный газ. Правительственных субсидий ле было, деньги дали корпорации и частные лица. Искоренение наводнений и строгий «контроль за дымом» помогли приступить к перестройке города. С 1950 года город реконструирован на площади примерно в тысячу шестьсот акров, — «очистка» или снос ряда районов, строительство «деловых» зданий и новых жилых домов, улучшенные условия для образования и отдыха.

Городские власти добились права приобретать здания и землю в районах, подлежащих реконструкции. Решали сносить то или иное здание, независимое жюри или суд определяли его стоимость, городские власти платили деньги. «Обычно наши цены были выше, чем на открытом рынке, — говорит Мороу. — Оспаривались они редко».

Потом земля либо перепродавалась частным фирмам, либо

переходила городу. Новые здания строятся фирмами и корпорациями, город отвечает лишь за коммуникации и коммунальное хозяйство. В общей сложности было реконструировано около четверти «негодных районов».

— Как обстоит дело с бедными жителями, с мелкими торговцами, которых перемещают? Довольны ли они?— спросил я. — Ведь обычно возникает масса проблем.

Джон Мороу метнул на меня бдительный взгляд:

— Это для информации или в целях пропаганды?

— Для полноты картины, — ответил я.

Он начал академически:

— Во всех странах есть люди, сопротивляющиеся переменам. Представьте мелкого торговца, который всю жизнь прожил на одном месте, имеет постоянную клиентуру и т. д. Конечно, он не хочет покидать насиженное место, что бы ему ни сулили. Мы, как правило, предлагали лучшие условия. Конечно, были трудности, в том числе психологического порядка. Сейчас сопротивление перемещаемых стало чисто символическим. Они хотят получить больше за свою землю и дома, их волнует вопрос, куда податься. Но время есть, обычно проходит пять лет между решением о сносе и самим сносом.

Один из положительных результатов реконструкции Мороу видит в том, что большие корпорации, пришедшие в «очищенные» районы, дают работу тысячам людей в своих конторах.

— Ведь занятость в промышленности сокращается по всей стране.

Генерала в рассказе Мороу не было. Я напомнил ему. Он ответил:

— Если брать бизнес, то г-н Меллон, возможно, был наиболее действенным фактором в перестройке Питтсбурга. Он тесно сотрудничал с городскими властями. И надо сказать, что именно он фактически начал всю эту программу.

Я подумал об американском «открытом обществе». Открыто обычно лишь то, что хотят открыть, что выгодно открыть или что спрятать невозможно. Тебя снабжают буклетиками, брошюрками, открытками новых красивых зданий, и вдруг ненароком за всем этим благолепием проглядывает государство Меллонов, рыцари большого бизнеса, которые теснят друг друга в потемках запутанных финансовых интересов и связей.

Покончив с городскими делами, Мороу спрашивает:

— Скажите откровенно, неужели в Советском Союзе думают, что мы хотим завоевать Советский Союз или Китай?

Я отвечаю, что лично я так не думаю, но что вот есть Вьетнам, а там американские войска и самолеты, бомбежки не только партизан, но и

гражданского населения.

— Как прикажете это понять? Что прикажете думать об этом?

В его ответе сквозит очень знакомое и типичное: мир должен верить американским добрым намерениям, игнорируя американских солдат.

Для него так очевидна нелюбовь американца к войне:

— Нас с детства учат ценить свою жизнь и собственность. Неужели вы думаете, что мы враги сами себе?

Во Вьетнаме он видит «ловушку»:

— Победить мы не можем, а как уйти, чтобы сохранить лицо?

И еще тоскливая и искренняя мысль — как хорошо пустить бы все эти военные расходы, например, на реконструкцию городов. Он понимает, что в социалистических странах легче осуществлять перестройку городов, ибо все планируется государством.

— У нас столкновение общественных и частных интересов, поиски компромиссов и в конце концов последнее слово за частными предпринимателями, — откровенно говорит он. — Ведь если они захотят закрыть фабрику или завод, перевести их из Питтсбурга, город не сможет им помешать...

В номере отеля я попытался подвести итоги знакомства с Питтсбургом. Выпотрошил местные газеты: «Питтсбург пресс» и «Питтсбург пост-газетт». За четыре дня на столе у меня уже килограммы бумаги. Большие газеты, нафаршированные рекламой.

Итак, еще один американский город. И люди, в общем приветливые люди, которым он нравится, хотя они видят его по-разному. Все ли я увидел? Увы, совсем немного.

«Золотой треугольник» действительно позолотили модерном небоскребов. За рекой Аллегейни не тронуты большие районы бедноты. Они далеко от центра и потому не интересуют бизнес, да и не мозолят ему глаза. Раньше там был самостоятельный город Аллегейни, теперь район Питтсбурга. Я съездил туда и увидел трущобы, покосившиеся старые дома с побитыми окнами, неубранные дворы, горбатые булыжные улицы, искалеченных жизнью старух на крылечках. Словом, местный Гарлем, где, однако, негры вперемежку с белыми.

«Ага, пропаганда!» — слышится мне голос Джона Мороу. Но почему же, мистер Мороу? Я должен быть объективен. Я предоставил слово вам и, к сожалению, лишил трибуны другую сторону. С вами ведь легче встретиться — у вас конторы, редакции, загородные рестораны, университетские кабинеты, ваша работа может постоять во время беседы с «красным», она не движется на конвейерной ленте, как у рабочего. А где, кроме как в такси, я могу поговорить с другим, трудовым, бедным Питтсбургом? Кроме как в баре? Не всегда удобно

подойти к человеку на улице — это не в духе Америки с ее проблемой «некоммуникабельности». Совестно растравлять старушку на крылечке расспросами о нищете. Да и остерегаются они «красных» больше, чем вы, мистер Мороу, — вы выше подозрений.

Город разный и в то же время однообразный — со всем однообразием вашей действительности и ее контрастов. В районе университета — зеленые холмы, красивые коттеджи, очаровательные частные школы, большие парки. «Беличий холм» — город, а у жильцов «свои» белки, они прибегают на кухню за угощением.

И всюду разделенность. Социальная отчужденность. Но ее не сразу чувствуешь. Я мог бы уехать, так и не узнав о питтсбургском Гарлеме. Ведь так победительно сияет «Золотой треугольник», так великолепен район возле университета. Лишь эти люди, прислонившиеся к стенам напротив отеля «Рузвельт», внушают смутную тревогу. Они ждут трамвая, бедные клерки, негры, уборщицы, чернорабочие. Ждут трамвая, чтобы вернуться к себе, поработав на «треугольник».

Негритянка — жена профессора Монтгомери занята в местной программе борьбы с нищетой. Она говорит, что бедняков в Питтсбурге очень много. Люди, чьи дома сносятся по программе реконструкции, обычно остаются в тех же районах, переселяются в трущобы по соседству, живут не лучше. На месте снесенных домов строят другие дома, красивее и удобнее, но... кусается квартплата.

Квалифицированные рабочие после войны стали жить лучше, обзавелись новыми домами. Они поселяются в предместьях такими же, как на старых местах, национальными общинами. Глядишь, и там появляются знакомые соседства, землячества. Тут выходцы из Чехословакии, там поляки, итальянцы. Их отцы и деды давно стали американскими рабочими, а они все еще прячутся в национальный панцирь, хотя он и потерял защитные свойства.

Еще одно впечатление, — тоже, впрочем, не новое. Думают тут о нас, сравнивают, сопоставляют. Мы остаемся неведомым, загадочным миром. Посетители «Дюкен-клу-ба» ловят сведения об экономической реформе. Банкир Бойд говорил, что растет интерес к торговле с Советским Союзом. Дейли проводил рекогносцировку на местности — в Москве, Ленинграде. В Питтсбург скоро приедет балет Большого театра; в витрине модного магазина — большая фотография Майи Плисецкой. Невидимая ниточка связала нашу прима-балерину с питтсбургским банкиром Бойдом — ведь это он возглавляет совет, который пригласил наш балет.

А незнание элементарных вещей сохранилось даже в кругах интеллигенции. Мне задавали такие вопросы: «Можно ли у вас

передавать деньги по наследству?» (коренной американский вопрос о социалистической стране), «Есть ли у вас домохозяйки?», «Получают ваши писатели зарплату от государства или живут на гонорар от своих книг?» Были и совсем смешные вопросы, на которые трудно отвечать: «Почему русские любят играть в шахматы?», «Почему русские любят поэзию?»

5 ИЮНЯ. БУФФАЛО

С утра пораньше самолетом в Буффало, назад к своему «шевроле». Через зеленоватое окно автобуса последний взгляд на «Гейтуэй плаза». Плавное прошествие по мосту через Аллегейни, вонзился в нору тоннеля, и в окнах автобуса закачались холмы Пенсильвании. По пути на аэродром съезд с автострады на город Карнеги: потомки увековечили стального короля.

Не так велик Питтсбург, но такого большого аэродромного комплекса у нас, пожалуй, не найти. Сколько авиакомпаний, и у каждой свой офис, своя подсобная служба, свой выход на летное поле, — издержки капиталистической конкуренции. У каждой компании свои небесные ворота, и я покинул Питтсбург через ворота № 27.

Ранний транзитный самолет был почти пуст. С пяток солдат дремало в креслах. Один не опал. Распотрошив толстую воскресную газету, я подсел к нему, отрекомендовался.

— Не возражаете, если я задам вам несколько вопросов?

Он посмотрел на меня, помолчал, но не растерялся: — Давайте!

Симпатичный парень лет двадцати двух — двадцати трех. Лицо красивое, твердое. Прямой нос, красивый лоб, тщательно причесанные черные волосы лоснятся одним из десятков здешних бриллиантинов. Глаза внимательные, спокойные, смотрит с достоинством. На заправленной в брюки, прямо-таки похрустывающей на вид форменной рубашке светлого хаки — ни одной складочки, кроме тех, что устав отвел утюгу. Кажется, сама природа велела ему быть профессионалом-военным. И он послушался. Доброволец. Служит уже больше двух лет, намерен на полную катушку — двадцать лет, до отставки и пенсии. На рукаве ромбом краснели буквы «Эй-Би» — авиадесантные войска.

— Во Вьетнаме были?

— Нет.

— Собираетесь?

— В конце июня.

Ответы четкие, короткие.

— Ну и как? С каким настроением едете?

— Мы боремся там за свободу, — отрезал он.

— А читали в газетах о последних событиях? О волнениях буддистов? Ведь даже ваши союзники в Южном Вьетнаме не очень довольны американским присутствием.

— Это меньшинство, я был в прошлом году в Санто-Доминго. Там лишь воинственное меньшинство было против нас.

— Что вы думаете об американских бомбежках во Вьетнаме? Ведь вы уничтожаете и гражданское население.

Война есть война. Используем такие средства, в которых мы их превосходим. Если мы там не остановим коммунизм, нам придется сражаться на границах Америки.

— А не кажется ли вам, что дело не в американцах и их интересах, а во вьетнамцах и в том, чтобы они сами устраивали свои дела?

— Нет. Если мы уйдем, победит Вьетконг. А мы хотим дать вьетнамцам свободу. Война — плохая штука, но необходимая. Я лично против войны, но мы должны остановить коммунистов. Большинство народа с нами.

— Откуда вы знаете?

Это был лишний вопрос. Солдат знал все. Он был уверен в своем праве говорить за вьетнамцев и доминиканцев. Он знал все за все народы мира, неуязвимый, идеологически выдержанный, стерильно чистый американец, с которого заботливо сдуты последние пылинки сомнений и вольнодумства. Идеалист-империалист. «Боремся за свободу... Война есть война... Мы должны остановить коммунистов...»

Я будто попал на урок американской солдатской политграмоты. Ну что ж, продолжим вопросы? Как насчет коммунизма, который думает остановить этот красивый парень? Что вообще он о нем знает? Почему коммунизм ему не по нраву?

И эти вопросы не застали парашютиста врасплох.

— Чем усерднее работает человек, тем больше он должен делать денег. У вас все получают одинаково, а если так, то разве человек будет стараться? У нас для человека, если он хочет добиться своего, есть все возможности.

Навязывая свои условия спора, он требовал объяснить коммунизм на уровне рубля и доллара. Я объяснил, что у нас тоже получают по-разному, что лучше работающий обычно получает больше, что эта система совершенствуется. Изложил наши азбучные истины: нельзя владеть землей, фабриками, заводами. Несправедливо, чтобы человек лишь потому, что у него больше денег, приобретенных, может быть,

нечестным путем, имел влияние, может быть, пагубное и даже гибельное на сотни, на тысячи других людей. Рассказал о Питтсбурге, о Меллоне, о том, что Питтсбургу, как говорят его же жители, не миновать катастрофы, если Меллон решит перенести свои финансовые интересы в другое место. Такой политграмоты солдату не преподавали, но чуда не произошло, — он не сдался. Ему, не банкиру, всего лишь сыну инженера нефтяной корпорации «Стандард Ойл», наши порядки не по душе.

— Конечно, если у человека больше денег, он может влиять на других людей. Что ж тут плохого? Так в Америке выросли великие люди. А пределы? Как вы установите, что человек может делать деньги лишь до такого-то предела — и не больше? Нет, у нас неограниченные возможности. Иначе человек не будет стараться.

Удивительно все-таки, как быстро он свел всю сложность мира и человека к американскому корню — к возможностям по части «делания денег». Свобода? Делать деньги. Возможности? Делать деньги. Счастье — тоже через деньги.

Пробую подойти к нему с другого бока: частная собственность разъединяет людей; мы хотим, чтобы люди не дрались друг с другом, а сотрудничали. Солдат смотрит на меня снисходительно:

— Ну, это вы говорите о гармонии.

Он знает, оказывается, это слово — гармония.

— Я не против гармонии, — говорит он. — Но человек не таков. Сначала надо обеспечить закон и порядок в мире. Потом мы можем с вами сотрудничать, помогать другим странам. Вы вот строите плотины в Африке, мы тоже там помогаем. Я против войны. Я за такую помощь.

— Зачем же тогда войска посылать?

— Тут мы с вами не сойдемся, — усмехается солдат. — Ведь говорили уже об этом.

Я возвращаюсь на свое место, сзади солдата, и снова вижу перед собой черный, тщательно причесанный затылок. Самолет уже идет на посадку в Буффало. Прямой щегольской жест, и на затылок твердо садится пилотка, чуть-чуть с наклоном на лоб. Солдату нравится военная служба.

— Служить хорошо, — говорит он. — Восемь часов на базе или в поле, а потом свободен.

Солдатский паек не беден, платят неплохо, можно откладывать.

Ездит по заграницам: с апреля по июль прошлого года наводил «порядок» в Санто-Доминго, недавно летал на три недели в Турцию, на маневры парашютных войск. В американских городах и на дорогах встречаешь рекламу морской пехоты: «Хочешь увидеть мир? Иди в

морскую пехоту!» У «кожаных шей», как называют здесь корпус морской пехоты, патент на эту броскую рекламу. Но она годится и авиадесантным войскам, всем вооруженным силам страны, которая вот уже два десятилетия держит за своими пределами больше миллиона солдат.

Солдат встает в проходе. Лаково отсвечивают тяжелые, как гири, бутсы. Черный галстук по-военному заправлен между пуговицами.

— Хотя мы и не договорились, приятно было побеседовать.

Молча киваю ему. Странно, конечно, ему встретить «красного» в глубине своей страны, в мирном небе между Питтсбургом и Буффало. Странно и мне. Странная встреча: словесный спор перерыл траншеями всю планету, а вспышки огня лишь там, в далеких джунглях. Что я скажу этому парню? Ничего я ему не скажу. Наш спор окончился, но он едет продолжать его, — продолжать оружием, и его встретят оружием. Человек рожден, чтобы свободно делать деньги... Смешно? Ну нет, извините. Ради этой философии сыиn американского инженера готов убить вьетнамского крестьянина на вьетнамской земле.

Солдат первым пружинисто сбегает с трапа. Всеми жилками играет в нем завидная молодость, холеная, не знавшая войны и нужды. Потом я вижу черные бутсы, широкую спину и пилотку в коридоре аэровокзала. Он шагает прямо и уверенно, как аршин проглотил, но левая рука неловко и смущенно обхватила талию низенькой женщины в пестром платье. Мать... Коридор длинный, и я слежу, как меняются руки, то она прильнет к нему, то солдат, не сгибаясь, неуклюже и нежно прислонится к матери. Справа мужчина в шляпе и куртке. Отец... Так вот почему парень так наглажен. Приехал на побывку. Перед джунглями...

Минут пять мы ждем багажа. Не глядим, но чувствуем друг друга. Отец ушел за машиной. Потом, выйдя с чемоданом из здания, я вижу их снова, — вдвоем они усаживаются на переднее сиденье своего «рамблера». А я беру «шевроле», по которому успел соскучиться, плачу семь долларов за семь дней стоянки и, опросив дорогу, еду в Буффало. Я думаю о нашем разговоре и пытаюсь представить себя на месте десантника, который с сиденья «рамблера» вбирает в себя пустые воскресные улицы, приодетый народ у церквей, женщин в цветастых шляпках, которые мне кажутся нелепыми, а ему — трогательными, девочек в белых гетрах, причесанных пацанов в праздничных костюмчиках.

Он вбирает в себя эти улицы и этих людей и, наверное, думает, не может не думать: неужели в последний раз? Через считанные дни солдат очутится за тысячи миль от этой чистой, мирной Америки,

удлиняя и утяжеляя своим присутствием горе войны на другой земле, очерившись оружием на ее мужчин, детей, женщин. Где-то на берегу озера Эри остались отец и мать, и неизвестно, сколько отпущено ему жизни. А пока он здесь, в Буффало, под родительским крылом и наверняка рассказывает о неожиданной-негаданной встрече. Интересно, что же он вынес из нее? Солдату нужна ненависть. Неужели он думает, что коммунисты посягают вот на это по-воскресному медлительное и скучное утро в Буффало, на «рамблер» его родителей, на женщин в шляпках, густо облепленных яркими искусственными цветами?

А я тем временем нашел приют в отеле «Буффало» и провел еще одно «интервью» — с негритянкой, прибивавшей комнату № 1014. Она меняла простыни, подметала пол, стряхивала в мусорную корзинку окурки и не хотела вторгаться в область высокой политики. Два взрослых сына—в армии. Один был во Вьетнаме несколько лет назад, еще «до всего этого», то есть до эскалаций. Ему не понравилось — слишком жарко, душно. Впрочем, они еще не виделись после его возвращения, она лишь разговаривала с ним по телефону, он живет в Бостоне. Второй сын во Вьетнаме еще не был.

— А как в Буффало приходится вам, неграм?

— Неплохо, — осторожно отвечает негритянка. — Здесь нас везде пускают, кроме нескольких мест.

— А туда почему не пускают?

— Не хотят. По закону, конечно, можно, но они дают понять, что не хотят негров.

Она ведет речь о каких-то ресторанах.

— Нам, кто постарше, это ничего. Но молодежь — другое дело. Не нравится ей это.

Набравшись смелости, она спрашивает: а как у вас, в России?

Я понимаю, о чем она, но нарочно переспрашиваю: в каком смысле?

— Да с расовой проблемой.

Привычно отвечаю, что ни негров у нас нет, ни расовой проблемы.

— А как же Поль Робсон?

Оказывается, она думала, что Поль Робсон — советский гражданин. Ведь о нем так много писали, что он «красный» черный.

...Что делать в воскресенье в незнакомом американском городе? Когда не запасся ни адресом, ни телефоном, ни рекомендательным письмом? Когда нагляделся вдоволь на крыши из окна своего номера? Когда нет охоты читать три килограмма воскресной «Нью-Йорк тайме»? Когда не тянет на берег озера Эри, потому что наверняка ты знаешь, что не найдешь там ни красоты, ни тишины, а лишь отбросы

индустрии и ревущие полотна автострад?

От безделья начинаешь метаться, благо колеса есть. Дважды проскакиваешь с юга на север Главную улицу с ее светофорами, аптеками, кинотеатрами и воскресным томлением людей, привыкших к напряжению и темпу будней. Дальше на север, в тридцати минутах езды, — Ниагарские водопады, и тебя вдруг снова потянет к ленивому журчанию воды, не ведающей, что вот-вот ей взорваться алмазной пылью. Но на сегодня ты пленник Буффало и тобой же составленного маршрута и расписания поездки.

Тормозишь машину у отеля и идешь в сумрак бара, к деревянной тяжелой стойке, на вертящийся табурет. Ряды бутылок. Никелированные дозаторы, воткнутые в горлышки, похожи на вопросительные знаки, и каждый здесь по-своему расшифровывает их.

Слоняешься по улицам, — витрины, памятники. В пустом сквере возле отеля «Статлер-Хилтон» и Сити-холла стоит памятник президенту США Уильяму Маккинли, убитому в Буффало в 1901 году. Убийца выстрелил в тот момент, когда Маккинли протягивал ему руку, чтобы поздороваться. И вот здоровенный обелиск — четыре льва дремлют у его граней.

Неподалеку миниатюрный памятник Христофору Колумбу, датированный 1952 годом. Христофор недоумевая стоит за штурвалом: на кой черт занесло его сюда, к Великим озерам?

Набрел я и на безвестного бронзового бригадного генерала, увековеченного сослуживцами. Они, видимо, сэкономили на постаменте, — генерал, опершись на саблю, стоит почти на земле.

Вечером пил чай в закуской на первом этаже отеля. У нее есть и кое-какие просветительские функции: в углу, справа от стойки, витринная полка с книгами, — и какими! Крутые выпуклости обнаженных девиц на дешевых обложках. Многообещающие названия: «Молодая тигрица», «Я — проститутка», «Сладкая, но грешная», «Рабы страсти», «Игра в спальне», «Окно в спальню», «Секс-бродяги», «Где-то между двумя», «Женский патент», «Охотница за мужчинами». А кроме того, журналы по астрологии, гороскопы на текущий год, — расхожая духовная пища.

Как там мой утренний собеседник — солдат? Чем занят?

6 ИЮНЯ. БУФФАЛО

Весь день, почти до вечера, в университете. Официальное его название — Университет штата Нью-Йорк в городе Буффало. В каждом

штате, кроме частных университетов и колледжей, есть один public university — публичный университет, который содержится на деньги штата. Университет штата Нью-Йорк — это огромный, географически разбросанный учебный комплекс. Например, в Корнелльском университете, преимущественно частном, есть публичный департамент сельского хозяйства, входящий в Университет штата Нью-Йорк. В Буффало тоже часть нью-йоркского университета. Десять тысяч студентов, а с вечерними и заочниками—двадцать.

Университет расширяется — новые, красивые, добротные корпуса. Старые здания увиты плющом, хотя плющ тут незаконный. Молодой, к тому же публичный университет в Буффало не входит в аристократическую «плющевую лигу» наподобие Корнелльского, и диплом его не имеет того ореола и веса.

Недавно власти выделили еще тысячу акров земли, и на окраине Буффало уже строится университетский городок.

Плата за год обучения — четыреста долларов. Считается, что это почти бесплатно, во всяком случае раза в четыре дешевле, чем в частных университетах. Плюс 418 долларов за место в общежитии (комната на двух- трех студентов), 500 долларов за студенческую столовую, ежели пожелаешь там питаться, 100 долларов — учебники. Набегает 1500—1700 долларов в год — и это в публичном, а не частном университете! Но с такими расходами свыклись: что поделаешь?

Также естественным считается тот факт, что в университете практически нет детей рабочих, мелких фермеров. Во-первых, им не под силу эти расходы. Во-вторых, многие из них так психологически ориентированы, что и не стремятся к высшему образованию. Об этом говорили мне Ким Дэрроу, вице-президент студенческой ассоциации, и Карл Левин, ее казначей. Студенты — это дети «среднего» и «высшего среднего класса»: адвокатов, врачей, служащих корпораций, правительственных чиновников.

День для визита крайне неподходящий. Начались уже каникулы, а завтра важное событие — запись студентов на летние классы. К тому же явился я без предупреждения. Но приняли хорошо. «Декан по студентам» профессор Ричард Сиггелкоу (некто вроде университетского дядьки-наставника) помог встретиться с лидерами студенческой ассоциации.

Дэрроу и Левин совсем еще молодые ребята, с пушком на подбородках, но с той же слегка показной суховатой расчетливостью и рациональностью, к которой никак не могу привыкнуть. Карл Левин изучает экономику, но подумывает о «политической карьере». Выборная должность в студенческой ассоциации — не лишнее для карьеры

начало, а в слове «карьера» он не видит ничего предосудительного. Большинство конгрессменов, губернаторов, министров откровенно делают карьеру.

Молодые Дэрроу и Левин — по убеждениям центристы. Отношение к Вьетнаму? «Масса замешательства», и осторожная поддержка правительственной линии.

— Я раньше подписал петицию, поддерживающую войну, — говорит Карл Левин. — А теперь вряд ли бы подписал. Не знаю, зачем мы там, добиваемся ли мы той свободы и самоопределения, о которых говорим.

Профессор Сиггелкоу находит, что большинство студентов аполитично и думает лишь о будущей работе, о том, как и куда устроиться. В университете сорок восемь студенческих клубов, не имеющих отношения к политике. К прогрессивной организации «Студенты — за демократическое общество» примыкает человек триста, на антивоенные демонстрации обычно выходит человек пятьдесят.

Обедали с Сиггелкоу в ресторане мотеля «Амерхест». Он пригласил еще жену и своего старого приятеля, тоже преподавателя, желающего перебраться в университет Буффало из штата Висконсин. Сиггелкоу ему покровительствует, и я подозреваю, что перед провинциалом из Висконсина профессор хотел показать, как космополитично живет Буффало, город на пути к знаменитым водопадам. Его жена с упоением щебетала, как много иностранцев проезжает через Буффало, как они принимали японцев, кого-то из Африки, члена парламента из Малайзии.

Провинциал приехал на рекогносцировку. Он был озабочен прозой жизни, расспрашивал о школах, о климате (нашли, что он мягче, чем в Висконсине), о ценах (пища дороже, а одежда, пожалуй, дешевле). Но жену профессора переполняла экзотика афро-азиатского транзита. Удивлялась африканцам, которые однажды попали к ней на обед по дороге на водопады. Она подала им жареного цыпленка с приправой из сладких фруктов.

— Представьте, они отложили фрукты в сторону. Они думали, что это на десерт. Оказывается, у них в Африке фрукты едят на десерт.

Пришлось мне объяснить ей, что фрукты к цыпленку — это чисто американская экзотика. Что не только «у них в Африке», но и у нас в Европе сладкие фрукты почему-то не идут на гарнир к мясу и птице. Это был мимолетный разговор о разнице вкусов. Моя собеседница не отчаялась. Она продолжала искать точки гастрономического соприкосновения.

— А бэрбон-виски у вас есть?

Говорю, что нет. Увы. Но что мы наловчились обходиться русской водкой, армянским коньяком, грузинскими винами. Слыхали о грузинских винах? Она не то что о винах, — она о грузинах не слыхала.

Словом, мило поболтали. Чинный ресторан. Приветливые люди. Благополучные буржуа. И тебя где-то, в чем-то они приняли за буржуа. Поблагодарил. Распрощался. Уселся за руль «шевроле». Есть что-нибудь в этом городе, кроме университета, отеля «Буффало» и бронзового президента Маккинли, не дожившего своего срока в Белом доме? Я стал нырять на машине вправо и влево от прямой и длинной Главной улицы. Справочник сообщил мне, что в этом городе есть многое: 404 452 телефона, 174 260 телевизоров, 18 радиостанций, 497 протестантских, католических и прочих церквей и 11 синагог. Оцененной стоимости разного рода на 1 050 390 115 долларов. 532 тысячи человеческих душ.

Но теперь я листал не справочник, а страницы улиц. Мельком, калейдоскопично. И вот я попал в районы бедноты. Американский бедняк — это не африканский бедняк, не азиатский, не латино-американский. Это бедняк в чрезвычайно богатой стране, повывисившей и пики богатства, и уровень бедности. Я забирался на машине в кварталы буффалской бедноты. Снова вырывался на Главную улицу, чтобы отдышаться, и опять забирался все глубже и глубже. Сначала это была белая беднота — деревянные домики впритык, как куры на насесте, отвернувшиеся друг от друга глухими стенами. Никаких тебе газонов, но домики чистые, с гаражами, телевизионными антеннами, с креслицами на открытых верандах.

Я нырнул поглубже, и пошла облупленная, ободранная, с грязными детьми и нечесаными женщинами, с разбитыми стеклами — безнадежная, черная нищета.

Тоже деревца, но грязные, как будто черные. Вонючие бары и магазины и черные манекены в витринах, с европейскими, однако, чертами лица... Нищета среди богатства, в стране, имеющей все материальные предпосылки, чтобы уничтожить, искоренить, вовсе снести бедность с лица земли.

Как передать все это черное томление, брожение и отчаяние на негритянских улицах?

7 ИЮНЯ. ЮНИОНТАУН

Была без радости любовь, разлука будет без печали. Увели меня из Буффало могучие автострады. Почти весь этот ясный ветреный день провел за рулем. Мимо мчались милые сердцу березы и темные ели, холмы, городишки, придорожные кафе и встречные машины. Я выполнял очередной абзац утвержденного маршрута: «Из Буффало в Юнионтаун (Пенсильвания) по Сквозному пути штата Нью-Йорк до пересечения с дорогой № 79 и по дороге № 79 до пересечения с дорогой № 422 и по дороге № 422 на юго-запад до пересечения в гор. Индиана с дорогой № 119 и по ней на юг до Юнионтауна. Ночевка в Юнионтауне».

«Шевроле» не подвел, и снова были отличными целительные американские дороги, будто заряжающие душу инерцией движения. Я раскачивался на качелях зеленых холмов, взлетал по бетону дороги к очередному гребню, а навстречу, перемахнув гребень, выскакивали машины, и между их колесами — на одно чудесное мгновение — светились синие полосы неба.

Я дал здорovenного кругая, на почтительном расстоянии объехав закрытые районы вокруг Питтсбурга, но рад был накручивать новые и новые десятки миль, продолжать эту игру с холмами и синими полосками неба между колесами встречных машин, но небо уже по-вечернему густело, а маршрут требовал застопорить себя и «шевроле» именно в Юнионтауне.

Я ничего не знал о Юнионтауне, а выбрал его лишь потому, что он был подходящим по расстоянию пунктом на юге Пенсильвании.

Влетев в этот город по дороге № 119, я понял, что он стар, родился до автомашины: улицы его не стесняли себя прямизной. И сразу почувствовал, что он недомогает. Много было заброшенных домов с пыльными или выбитыми стёклами.

Но больше всего поразила меня Главная улица. Там вроде бы и не было покинутых домов. Были козырек кинотеатра и сумрак полдюжины баров, пара солидных зданий банков и пестрые аптеки — драг-стор. В витринах манекены вели свою агитацию за последние моды. А на холме вознеслась свеженькая «греко-ортодоксальная» (православная) церковь Иоанна Крестителя — Джона Баптиста по-английски.

Так почему в этот прелестный час раннего июньского вечера Главную улицу так насыщала тревога? Я ехал осторожно, как едут мимо места свежей автомобильной катастрофы.

Пострадавшие есть? Понурый человек перешел Главную улицу и поплелся к скамейке на тротуаре. Другой... Третий... Понурые люди вступали у витрин в таинственный разговор с безответными

манекенами. Жалкие старики— старики ли? — сидели на приступочке какой-то богадельни наискосок от отеля «Белый лебедь». Пустые лица бывших людей... Они есть в каждом американском городе. Здесь их было больше обычного. И они оккупировали Главную улицу!

На городе лежала печать запустения, официальная федеральная печать — «район депрессии».

Отель «Белый лебедь» на краю Главной улицы был стар и пуст. Старик дежурный встретил меня без обычных бодрых любезностей. Он знал, что случайная ласточка не вернет весны и что шея у «Белого лебедя», выложенная слюдой на вывеске, поникла давно и окончательно.

Но был и там свой негр. И, как положено американскому негру в американском отеле, он подхватил мой чемодан, а когда мы подошли к лифту, оказалось, что отель не совсем пуст. Через открытую дверь я увидел в комнате возле лифта каких-то распаренных мужчин и женщин. Они, видимо, заседали.

— О чем это они?

— Безработицу обсуждают, — сказал негр.

— А что, у вас безработица?

— О да, — сказал негр.

— Высокая?

— Процентов семьдесят пять...

— Шутите?! Такого быть не может.

— О нет. Процентов семьдесят пять, — стоял на своем негр.

— Откуда же? — спросил я, прекратив спор о процентах.

— Работы нет, — мудро объяснил негр.

— Но раньше-то у них была работа?

— О да. Тут было большое дело. Уголь. Теперь шахты закрыли. Уголь больше никому не нужен.

Негр открыл дверь номера. Поставил чемодан. Положил на столик пишущую машинку. Поцелкал выключателями, проверяя, в порядке ли свет.

— Значит, вам повезло? — сказал я, сунув ему четвертак.

— Прошу прощения?

— Повезло, говорю, вам. Работа у вас есть.

— О да, — хмыкнул негр. Ему было под пятьдесят, и моя шутка ему не понравилась.

Негр, однако, — не статистическое бюро, а ощущения — не факты, хотя они бывают достовернее фактов и статистики.

Я вышел на разведку, захватив официальную бумагу, адресованную «всем, кого это может коснуться» и подписанную Биллом Стриккером,

заместителем директора Центра иностранных корреспондентов в Нью-Йорке. Это осторожная, но полезная бумага с двойным акцентом: она подчеркивает, что я — советский гражданин и корреспондент советской газеты (берегись!), но констатирует, однако, что я тем не менее аккредитован при американском учреждении и вправе пользоваться «обычными любезностями, оказываемыми представителям прессы». Она — как индульгенция, извиняющая американцу грех общения с «красным», разрешающая «строить мосты» и устанавливать индивидуальные дипломатические отношения через «железный занавес».

Итак, я вышел на улицу и предъявил свой мандат первому встречному, и он сразу же поколебал мои ощущения от Юнионтауна.

Совсем не бывший. Молодой здоровый парень с хорошей, широкой улыбкой. Он охотно дарил мне свою улыбку, узнав, откуда я и кто я. Он вышел поразмяться после работы, приняв душ, в свежей рубашке. Все, видно, ладилось у него, а значит—и вокруг. Строитель. Хорошо зарабатывает. По его мнению, дела в Юнионтауне и вообще в стране идут хорошо. Шахты закрываются? Ну и что ж! Люди находят другую работу.

Мы стояли на тротуаре, мимо сновали машины. Кое-кого он узнавал, одаривал своей охотной улыбкой. Машины же сразу вовлек в круг своих доказательств.

— Видите, машины. Много машин..., Правда, кое у кого «мистер кредит» разлегся на заднем сиденье. Но ведь у вас в России машин нет. У вас, говорят, одни велосипеды...

Но второй встречный, бывший шахтер, укрепил мои ощущения. Холмы кончились на этот вечер, мой «шевроле» отдыхал возле «Белого лебедя», но вдруг я понял, что пенсильванские качели остались и что все время они будут качать меня в Юнионтауне.

— Это шахтерский город, а сейчас всем шахтам — крышка.

— Неужели всем?

— Тридцать миль проедешь и не найдешь ни одной работающей. А раньше их было штук тридцать.

— Значит, безработица?

— Иаа...

— А вы на пенсии? На соцобеспечении?

— Иаа...

— Сколько получаете?

— 100—120 долларов в месяц.

— Значит, хватает?

— Хватает, если ремень затягиваешь.

Он смотрел на меня раздраженно и испытующе. Ему не нравилась моя интонация. Этот седой носатый шахтер был пессимистом. Человеку многое надо, и превыше всего ощущение своей нужности другим людям. Вместе с шахтами как бы закрыли и его жизнь. Мы стояли на темной пустой улице, и я ничем не мог его утешить.

Я побрел дальше, задумавшись о качелях Юнионтауна. Тревога Главной улицы. Тупое равнодушие носильщика негра. Молодой задор строителя Альберта Софтера. Мрачная безнадежность носатого шахтера. Я оценил еще и фирменный юмор компании «Кока-кола». Центр города был в ее даровых вывесках. Под названиями баров, драг-стор, отелей, всюду красным по белому шли слова знаменитой рекламы: «Дела идут лучше с «кок». Этот девиз украшал даже мусорные ящики на тротуарах. Соке — ласкательно-укороченная кличка кока-колы. Но соке — это и кокс, коксующийся уголь. Когда-то дела здесь шли лучше с коксом. Теперь торговцы кока-колой снабдили Юнионтаун бодрыми эпитафиями: «Дела идут лучше с «кок»!

Напротив «Белого лебедя», у входа в небольшое здание, сидел старик, оказавшийся сторожем «Клуба орлов». «Орлы» гнездились именно в этом доме. Старик принадлежал к оптимистам. Да, шахты выработаны, остались лишь в графстве Грин. Да, молодежь бежит из Юнионтауна, но дела идут неплохо, хотя Юнионтаун и становится городом стариков, которые не хотят уезжать отсюда. Старик тоже шахтерствовал в свое время.

— А в России уголь добывают?

Разговор не клеился, но кое-как обсудили погоду. — Хороший вечерок... А в России жара бывает?

Он перешел в атаку, когда дошли до Вьетнама.

— У нас есть причина быть там. Какая причина? Мы дали обещание этому народу и должны довести дело до конца. Я бы послал туда больше войск, чтобы побыстрее покончить с этим. А вообще американцам не следует обсуждать с вами эту проблему!

— Почему же? Я журналист, моя профессия — задавать вопросы.

Отвернувшись, сторож пробурчал:

— Ваша бумага для меня ничего не значит.

— Как — ничего не значит? Вы что же, думаете, что она поддельная?

— Конечно поддельная. Меня не проведете. На официальной бумаге должен быть орел. А у вас орла нет...

Вот тебе на! Мы расстались враждебно.

Поднявшись в номер, я долго разыскивал злополучного орла, которым раньше не интересовался. Орел все-таки нашелся. Хитрый

орел — в виде водяного знака. Старик не разглядел в темноте эту замаскированную птицу.

8 ИЮНЯ. ЭЛКИНС

Я уже в Элкинсе, горном городке в штате Западная Вирджиния. «Элкинс мотор лодж» — комфортабельный мотель, кирпичные аккуратные домишки на холме. Все прекрасно, но проклятье — окно выходит на дорогу, там нутужно гудят грузовики, а так хотелось тишины напоследок. Ведь завтра уже Вашингтон, а там и Нью-Йорк.

Девять вечера. В горах темнеет. От Юнионтауна — лишь девяносто миль, а ехал два с половиной часа, по горной дороге, узкой, петляющей. И двадцать миль проливного дождя, такого, что машины шли с зажженными фарами. И все-таки хорошо в Аппалачских горах. Хоть и равнинный житель, а ехал сюда, и, странное дело, все казалось, что попал в родные места.

Не идет из головы Юнионтаун. Любопытный городишко. Может быть, тем и ценны для журналиста маленькие города, что многое в них как на ладони. Сделаны они из тех же кирпичей, что и большие, что и все общество, но здание поменьше и обозревать его легче.

Сегодня с утра Главная улица повеселела, словно смахнула налет тревоги. Заполнилась людьми. В драг-стор пили первую чашку кофе. Напротив два старика подпирали мусорный ящик с рекламой кока-колы.

Я зашел в редакцию местной «Ивнинг стандарт» и, предъявив свою бумагу редактору Арнольду Голдбергу, рассказал о вчерашнем эпизоде. Во избежание недоразумений настоял, чтобы редактор разглядел ее на свет и зафиксировал факт наличия в левом нижнем углу орла с оливковой ветвью мира в одной лапе и пучком военных стрел — в другой.

Затем я вопрошающе уставился на Голдберга: а теперь, мил человек, расскажи, в чем тут у вас дело?

Но к мил человеку как снег на голову свалился «красный» русский, первый в его жизни, и посему мил человек был уже не просто редактором заштатной газеты, но и лицом, причастным к государственному орлу, и с ходу осваивал роль дипломата. У него получалось неплохо. Была большая безработица, но теперь лишь шесть процентов. Молодежь бежала и все еще бежит из города в сталелитейные центры Кливленда и Детройта, но, знаете, часть уже возвращается. Обжегшись на угле — на моноиндустрии — создаем теперь индустрию разнообразную, уже открыли три фабрики.

Познакомьтесь, редактор женского отдела... Расширяем страницы мод... Ориентируемся на молодежного читателя...

Качели понеслись вверх.

В местной Торговой палате за «их взялся административный директор Эрнест Браун, энергичный, веселый циник, бывший офицер морской пехоты. Он изложил положение дел устно, а также при помощи двух орош р из глянцевого бумаже.

История Юнионтауна — это качели с амплитудой в десятилетия.

Ровесник Декларации независимости, Юнионтаун (нынешнее население—17 тысяч человек) родился 4 июля 1776 года. Дремал почти сто лет, пока не разбудила его эпоха пара, стали и угля. Каменный уголь стал здесь королем, кокс именовали королевой. В конце прошлого века Юнионтаун называл себя мировой столицей коксующегося угля, который поглощался быстро развивавшимся сталелитейным районом Питтсбурга — старшего брата Юнионтауна. Утверждают, что в те годы город стоял на первом месте в мире по числу миллионеров «на душу населения». А души в основном были шахтерские— славяне, итальянцы, ирландцы. Чередующиеся волны иммиграции приносили искателей американского счастья, резервуары рабочей силы.

Со временем даже миллионеры-единоличники исчезли в необъятном чреве сталелитейного кита «Ю. С. Стил». Юнионтаун стал поставщиком гигантской корпорации.

Были бумы, и у бумов был зловещий фон — они приходили с войнами. Так Юнионтаун установил свои связи с мировой политикой. Один бум — первая мировая война. Второй бум — вторая мировая война. Лихорадочно лили сталь. Лихорадочно гребли уголь. Была война, где-то кого-то убивали («А в России жара бывает?»), разрушали города, жгли деревни. Страдали люди. Это было далеко. В Юнионтауне гребли уголь и деньги. Невиданные прибыли. Невиданные заработки.

Расплата наступила вскоре после второй мировой войны. Там, где прошла война, люди радовались, а Юнионтаун постигло горе. Оказалось, что уголь выгребли. Правда, на большой глубине в этом районе залегают, как говорят, другие мощные пласты, но они почему-то не интересовали «Ю. С. Стил». Корпорация начала переводить свои заводы из района Питтсбурга, оказав «гуд бай» Юнионтауну. По иронии судьбы это произошло как раз в те годы, когда генерал Джордж Маршалл, самый знаменитый уроженец Юнионтауна, сочинил свой план помощи Западной Европе, на который — для возведения бастионов антикоммунизма — ассигновали миллиарды долларов.

Беда пришла в шахтерские семьи.

Но Юнионтаун не стал городом-призраком.

Дельцы бездушны? Верно, но законы жизни сложны — торговцам нужны покупатели, банкирам — вкладчики. Им нужны люди, которые зарабатывают деньги несут их в магазины и банки. Гигантская «Ю. С. Стил» с ее миллиардными оборотами и национальным размахом операций свободно перечеркнула Юнионтаун в своих бухгалтерских книгах, но местным дельцам он был нужен, потому что с ним связана их собственная судьба. И они взялись за возрождение Юнионтауна так же, как Меллон взялся за возрождение Питтсбурга.

И вот штаб местного ренессанса — Торговая палата, существующая на добровольные взносы бизнесменов. Она же рекламная контора, центр по привлечению новых капиталовложений. Эрнест Браун оперирует оптимистичными цифрами: еще в 1961 году безработных было 24 процента, сейчас — лишь около восьми. Раскрыв брошюрку с многообещающим заголовком «Прогресс», он дает краткие характеристики руководителей Торговой палаты.

— Пол Опролс, президент палаты, — недвижимость и страховой бизнес... Фицджеральд, первый вице-президент, — управляющий фабрикой... Уильям Макдональд, второй вице-президент, — торговец, владелец универмага... Орвил Эберли, один из директоров, — владелец «Гэлантин бэнк», стоит 30 миллионов долларов... — Браун кидает в мою сторону многозначительный взгляд. — Джэй Лефф — из «Файетт бэнк»... Стоит семнадцать миллионов. — Еще один красноречивый взгляд.

— Теперь вы убедились, что это очень могущественная группа, — резюмирует Браун. — Если они решат что-то сделать, они сделают. Они могут, например, продиктовать нашему конгрессмену: голосуй вот таким образом...

Что же они делают? Они создали «индустриальный фонд» и привлекают в город промышленные компании, чтобы рассосать безработицу и удержать молодежь на новых фабриках. На выгодных условиях пришельцам предлагают в долгосрочную аренду подготовленную, со всеми коммуникациями землю и даже фабричные здания. Плюс рабочую силу, которая потом понесет свои заработки в магазины, банки и страховые компании дельцов, объединенных Торговой палатой.

Я распрощался с Брауном, вышел на улицу, снабженный брошюрками, и возле почты остановил мужчину в потертом пиджачке. Рабочий. Возраст пятьдесят три года. Первые же его слова:

— Здесь все прогнило!

А в Торговой палате говорят, что дела теперь идут лучше. Они вам не то еще наговорят. Лучше?.. Людям работать негде. Эти

парни из Торговой палаты боятся новых фабрик. У них клерки разбегаются из магазинов — на фабриках-то больше платят.

— А говорят, что за последние десять лет тут создано две тысячи новых рабочих мест?

— Мало ли что они говорят! А где эта работа? Я за сто миль теперь на работу должен ездить. Я в армии прослужил двадцать один год, а сейчас мне пенсию платят 88 долларов в месяц. На них не проживешь. Вернулся из армии в сорок девятом. Начал работать на фабрике. Там мне платили в три раза меньше, чем положено. Я учинил скандал — меня выгнали. Что делать? Я самогон начал гнать—меня арестовали. Должен же я, черт возьми, семью свою прокормить!

— А говорят, что безработица снизилась с 1961 года до восьми процентов.

— Восемь процентов?! Ха-ха. Пусть они снова пересчитают. Тут процентов шестьдесят на «рилиф» сидят.

— Неужели шестьдесят процентов?

— Да близко к этому. Многие уже плюнули на все. Ищи не ищи — работы нет. Уж лучше на «рилиф» — хоть налоги не платишь.

Relief — это вспомоществование для самых безнадежных бедняков и безработных. В буквальном переводе relief — облегчение. Облегчают таким образом: когда работы нет и не видно, а американец исчерпал свое право на пособие по безработице, которое выдается на срок от восемнадцати до тридцати недель в год, ему бросают спасательный круг — relief. Богатая Америка не хочет, чтобы люди на ее улицах умирали с голоду. Пожизненным безработным бросают спасательный круг, но на борт корабля их не берут, там они лишние.

И они качаются, до самой смерти качаются, уцепившись за эти спасательные круги, еле держась на поверхности.

Глядишь, какая-нибудь «Ю. С. Стил» бросает за борт очередную партию — десятки тысяч пенсильванских шахтеров и металлургов. Через некоторое время следом — не от корпорации, а от властей — летят спасательные круги, relief. Гуманно, милосердно. Корабль облегчился, избавившись от балласта, и ученые мужи на палубе, глядя та эту экзекуцию, бестрепетно рассуждают о побочных продуктах научно-технической революции, о жестких требованиях, которые «общество изобилия» предъявляет к своим членам, о неизбежности человеческого отсева и человеческих отбросов.

А за бортом вопли о помощи, о спасении. Не докричишься. Они списаны напрочь, не включены даже в процент безработицы, как бывшие люди на Главной улице города Юнионтаун, штат Пенсильвания.

Сколько же их? Я ходил и на местную биржу труда. Приняли любезно, сказали: много. Но цифр не дали. Прав ли тот гневный рабочий у почты? Не знаю. Если к его шестидесяти процентам тех, кто на relief, добавить восемь процентов Эрнеста Брауна, получится, что у негра из отеля «Белый лебедь» не такая уж буйная фантазия.

Да только ли в цифрах дело? Цифры как условный знак. Они обозначают, но не раскрывают трагедии людей, у которых пора зрелости пришлась на время очередной экономической передрыги в Юнионтауне. Какая им радость от оптимистических выкладок Торговой палаты? Жизнь дается один раз. Ее сломали в самом цвету...

Но был еще один взлет качелей — обед с Арнольдом Голдбергом в «Венецианском ресторане», самом шикарном в Юнионтауне. За сдвинутыми столами тараторили по соседству десятка два седых и бодрых старушек. Подошел владелец ресторана. Голдберг вынул из кармана бумажку.

— Познакомьтесь с мистером Кондрашовым из «Известий». Приятное местечко, верно?—шепнул Голдберг, когда хозяин ушел. — А наверху банкетный зал, человек на двести. Хозяин из итальянцев, отец его вроде бы из Рима. Знаете, этот итальянец сам нажил состояние. Процветает, черт побери. Вот вам и район депрессии...

Район депрессии — это не моя выдумка, это федеральная квалификация Юнионтауна. Но она оскорбляет Голдберга лично. Он не хочет, чтобы на нем стояло позорное клеймо. Он — не «депрессированный».

Он борется с этим унижением, и у него своя система доказательств. Рассказывает с почтительным трепетом о своем издателе-миллионере. Тот сам нажил состояние; пять газет, семь — десять миллионов долларов. Лишь на старте помог один богатый техасский дружок.

Миллионеры притягивают его как магнит. Шепотком обращает мое внимание на седого, но еще не старого, сильного мужчину, которому уважительно внимают трое за соседним столом. Презрев условности, он пришел в ресторан без пиджака, в рубашке цвета хаки с короткими рукавами.

— Тоже миллионер, — шепчет Голдберг. — Шахтовладелец. У него шахты в Западной Вирджинии. Три-четыре миллиона. Отец кое-что ему оставил, но в основном сделал сам. Он здесь часто бывает. Свой самолет. Сам пилотирует. Я с ним пару раз летал. Давайте я вас представлю, а то, знаете, может рассердиться, что я к нему не подошел.

Доедаем «ростбиф-сэндвич», пьем кофе, отважно поднимаем миллионера из-за стола. Голдберг снова читает по бумажке мою трудную фамилию. Миллионер растерян от глупейшей церемонии. Мы

жмем друг другу руки, в унисон бормочем «очень приятно» и опять жмем руки, прощаясь. Я убеждаюсь, что у миллионера по-рабочему твердая рука.

И наконец на улице Голдберг смеется на прощание: ха-ха... район депрессии?

А впрочем, в том, что говорит и делает Голдберг, есть и искренность, а не только дипломатничанье. Одна истина у Голдберга, и он выводит ее из своего положения и окружения, из своего благополучия, из стремления к миллионам и под диктовку своего издателя. И совсем другая истина у вчерашнего угрюмого шахтера — его жизнь остановилась, замерла вместе с шахтами, ему не пробиться со своей трагедией в газету и оптимистический мир Голдберга.

Мы простились с ним, и я вернулся в отель. Пора уезжать, график подгоняет. Вчерашний негр вынес мой чемодан к машине.

Прощай, «Белый лебедь»! Ты обречен. Я узнал об этом.

Тебя собираются разжаловать из отеля в мебелирашки для бывших людей, и скоро-скоро в Юнионтаун по приглашению неугомонной Торговой палаты двинется фешенебельный мотель корпорации «Праздничная таверна» со своими бумажными девственными поясками на крышках унитазов — «санитаризовано!», с мигающими кнопками на телефонах, новейшими телевизорами, никелем водопроводных кранов и запечатанными в целлофан стаканами — «санитаризовано!». Там будут эффективные молодые клерки и девицы с наимоднейшими мордашками cover girls — красоток с журнальных обложек. Они еще не разучились улыбаться, не то что твои вялые старики, «Белый лебедь».

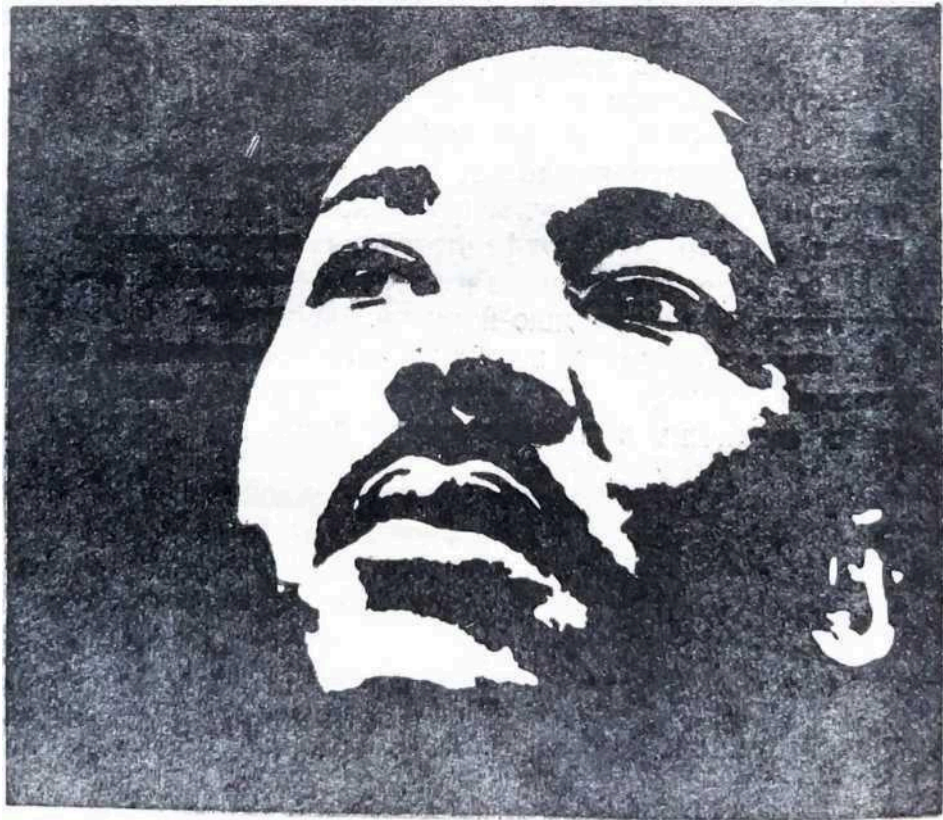
Я пишу этот некролог в «Элкинс мотор ЛОДЖ», где все так, как будет в «Праздничной таверне», — все запечатано и санитаризовано, где под окнами гудят грузовики, как воплощение неумолимых скоростей и безжалостного американского прогресса.

Завтра — Вашингтон. А послезавтра — знакомые двести тридцать миль на север. Экспресс-путь от Вашингтона до Балтиморы, крутые виражи перед огромным тоннелем под балтиморской гаванью, совсем еще новенькая автострада имени Джона Кеннеди, пересекающая штат Делавер, а там горбатый мост через реку Делавер, висящий на двух геркулесовых опорных башнях, и широкая стрела автострады штата Нью-Джерси, — через каждые десять миль пошли мелькать щиты. До Нью-Йорка — 110 миль... До Нью-Йорка — 100 миль... До Нью-Йорка — 90 миль...

И будут лететь машины, и чем ближе к Нью-Йорку, тем быстрее, словно там гигантский, притягивающий их магнит. А потом начнутся эстакады возле Ньюарка, фантастические сплетения дорог, по которым

на близкой периферии учащенно пульсирует кровь города-гиганта. И запах, тухлый дух рокфеллеровских химических заводов. И белесое, огромное, заслонившее горизонт, вечное искусственное облако нью-йоркских испарений.

Велики небоскребы, но, как верно заметил один американский коллега по перу, теперешний Нью-Йорк сначала нюхаешь и лишь потом видишь...



СМЕРТЬ КИНГА

Это был тихий апрельский день без больших новостей, и так же тихо он переходил в вечер, не суля спешной ночной корреспондентской работы. С Сергеем Лосевым, заведующим отделением ТАСС в Нью-Йорке, мы сидели в корпункте «Известий», обсуждая детали одного многочасового и довольно утомительного визита. Потом Сергей заторопился домой, но я уговорил его остаться еще на полчаса и прослушать вечернюю программу новостей по второму каналу Си-Би-Эс, популярную программу Уолтера Кронкайта. Кронкайт, как всегда, возник на экране ровно в семь и тренированным, четким и емким голосом стал говорить об Америке и мире того уходящего дня.

Когда он приближался к концу, а новости, расставленные по степени важности, были все мельче и вот-вот должны были завершиться какой-нибудь юмористикой, Сергей оторвался от экрана и пошел в кабинет позвонить. Но вдруг, в последнюю минуту получасовой передачи, Кронкайт срезал какой-то коротенький пустяковый телефильм и взволнованно, торопливо — его время истекало, — почти прокричал, что в Мемфисе, штат Теннесси, стреляли в Мартина Лютера Кинга и что он тяжело ранен и доставлен в госпиталь св. Иосифа.

Я вскочил. Я закричал Сергею:

— Кинга смертельно ранили!..

Сергей вбежал в гостиную. Сергей был вне себя:

— Сволочи! Вот сволочи!.. Они убили его...

Кронкайт точно уложился в свои жесткие полчаса и в самые последние секунды, сгустив морщинки возле глаз и погладив руками стол, по-деловому сжал губы перед традиционной прощальной фразой: «Так обстоят дела в четверг 4 апреля 1968 года...»

И сразу же включился автомат, берегущий дорогое телевизионное время, не допускающий ни одного холостого мгновения, и ворвалась музыка, призывная, бодрая музыка, и под стать этой музыке певучие, врасстяжку слова: «Stre-e-etch your coffee break...» И исчез Уолтер Кронкайт, и заняла весь экран чашка дымящегося кофе, а за ней надвинулся оптимистичный джентльмен. Не теряя времени, джентльмен изящным жестом потянул ленточку, освободил от обертки тонюсенькую плиточку жевательной резинки «Пепперминт» и заправил ее в свой благоухающий рот, положенный джентльмену образца 1968 года. И чашка кофе присела, да, присела, раздалась вширь, растянулась от невыразимого удовольствия при виде этой тоненькой плиточки: Stre-e-etch your coffee break... — растяни-и-и свой перерыв на кофе...

Мы ринулись в гараж и на машине по вечернему Манхэттену, только что сбросившему бремя часа пик, понеслись в отделение ТАСС, к телетайпам, которые молниями- молниями-молниями телеграфных агентств беспощадно трезво предсказывали, что Кингу не жить.

И эхом этих громовых молний полетели в Москву телеграммы Сергея, а я быстро вернулся в свой корпункт и приковал себя к телеэкрану и радиоприемнику— вечер переменялся, перевернулся, вечер слал грозу.

В 8.40 очередную передачу по седьмому каналу Эй-Би-Си вытеснило на телеэкране серое, многократное слово «бюллетень... бюллетень... бюллетень...», и диктор быстро, чтобы его не опередили другие дикторы по другим каналам, сообщил, что Мартин Лютер Кинг умер. За спиной диктора была видна телестудия и в ней нервная толкотня людей, по-рабочему без пиджаков, в белых рубашках, с опущенными галстуками.

И снова, сразу же после бюллетеня, неумолимо, как пули в автомате, который бьет очередями, пошла реклама автомашины марки «шевроле» — спешите! спешите! — ее можно сейчас же приобрести по особо льготному кредиту. И молодая красавица с развевающимися волосами, аппетитный предмет такого милого, публично допустимого вожделения, садилась за руль льготного «шевроле», а с ней, конечно,

был он, мужественный и сильный, отутюженный, весь подогнанный и подобравшийся самец образца 1968 года. Под победоносную музыку они катили по дороге-аллее, похожей на дорогу в рай, а голос диктора пояснял, какие тут необыкновенно крепкие шины, какие силы спрятаны в моторе и какие удивительно легкие условия у кредита. И пара тоже убеждала, что так оно все и есть. Она сияла лучезарной улыбкой — откуда только берутся эти улыбки? — и, вытянув длинные ноги в тугих брюках, раскачивалась на качелях, то приближаясь, почти выскакивая из экрана — вот она, готовая для объятий! — то взлетая на седьмое небо. И оттуда, с седьмого телевизионного неба, она счастливо взирала на своего партнера и на сверкающую никелем и высококачественным лаком машину.

Трагическим бюллетенем, а затем этой рекламой, замешанной на благополучии и похоти, меня словно дважды наотмашь хлестнули по лицу, словно перекрестили бичом, и я понял, даже не то чтобы понял, а мгновенно жутко осознал, что вот эта накладка рекламы на трагедию, вот это ничем не остановимое — как вращение космических миров — торгашество, ухмыляясь, торжествует над смертью Кинга, как торжествовало оно над его жизнью и борьбой. Есть время жить и время умирать. И есть самое долгое американское время торгашества: надо пропускать оплаченную уже рекламу, надо славить и сбывать продукт, что бы ни случилось, ибо все на свете пустяки рядом с куплей-продажей.

Потом до 9 апреля, целых пять дней, телевизор приучал американцев к смерти Кинга, пять дней энергично, деятельно, иногда до слез трогательно хоронил телевизор Мартина Лютера Кинга. Реклама посторонилась (позднее торгаши подсчитают, во что им обошлись траур и соболезнования), а в день похорон, с десяти утра до шести вечера, совсем исчезла с экрана. Но все это не стерло первого впечатления, отчаянного ощущения того, что ничто не может измениться к лучшему, пока сознание разбито, расфасовано, разрезано на кусочки острыми лезвиями рекламных «коммершиалз», которые, как профессиональные палачи, четвертуют цельность трагедии. Все быстро забудется, пойдет под нож других, новостей, будет погребено в памяти, и через месяц-другой убийство в Мемфисе скроется за хребтами новых событий. А был ли Кинг?

Он запомнился мне, этот вечер 4 апреля. Отклики были оперативными. Вскоре после сообщения о смерти телекамеры в Белом доме показали президента Джонсона. За пять дней до Мемфиса он объявил, что не будет добиваться избрания на второй срок. Страна еще не успела пережевать и переварить эту ошеломляющую новость, как

убийство Кинга отшвырнуло ее на задний план. Джонсон стремительно вышел из своего кабинета к трибуне с президентским орлом: лаконичное соболезнование, призыв к спокойствию, сообщение, что из-за мемфисского убийства он отменил намечавшийся вылет на Гавайи для встречи с генералом Уэстморлендом и адмиралом Шарпом. Президент был тревожно серьезен, не позволил вопросов. Его спина скрылась в запретных покоях.

Корреспонденты летели в Мемфис. Телерепортеры работали сноровисто. Искали убийцу — человека, скрывшегося в белом «мустанге». Первыми заволновались мемфисские негры, и губернатор штата Теннесси немедленно распорядился о вводе в город частей национальной гвардии.

Мартин Лютер Кинг... Я видел его на митингах с мест для прессы. Я знал тишину, которая облетала зал, когда он появлялся на трибуне, — тишину внимания и уважения. Однажды мы мельком встретились в Чикагском университете,[^] и я ощутил пожатие его руки, совсем близко увидел спокойные, серьезные, темно блестящие негритянские глаза, твердые большие губы и тяжелый подбородок. Услышал сдерживаемый рокот баритона, который на митингах гудел, напряженно раскачивался, как колокол, громкий, доходящий до всех и все-таки таящий в себе избыточную, непечатую силу. Доктор Кинг, как всегда, спешил, и его поторапливал помощник, одетый, как и он, в строгое черное пальто баптистского пастора. Я просил об интервью для моей газеты, и Кинг согласился. Но дни его были расписаны по-американски далеко вперед, а расписания не оказалось под рукой, и он посоветовал мне

написать в его штаб-квартиру в Атланте. Ответ пришел от секретарши: Кинга не было в Атланте, она просила подождать до его возвращения. Он вечно был в разъездах и вечно занят, а после Мемфиса свидание, увы, не состоится. Я хотел рассказать о живом Кинге. Теперь приходится писать о Кинге убитом.

Когда Кинга убили, ему было 39 лет — возраст, когда американские политики обычно лишь выходят на орбиту карьеры и маячат перед глазами избирателя, привлекая голоса и внимание. Кинг добивался не карьеры, а справедливости для миллионов чернокожих, и этого негра из Атланты знали, пожалуй, в каждом американском доме. Мировая известность тоже не была для него самоцелью, и пришла она неожиданно — благодаря разъяренным бирмингемским полицейским, спустившим не менее разъяренных овчарок на участников марша свободы в мае 1963 года. Он получил Нобелевскую премию мира в

декабре 1964 года, в возрасте 35 лет, но не почил на нобелевских лаврах.

Главным признанием и тяжелой ответственностью была для него любовь негритянских масс, которые связывали с ним надежды на лучшую жизнь. Он возбудил эти надежды, знал, как тяжело их оправдывать, и шел до конца, пожертвовав ради них жизнью. Они звали его Моисеем, пророком, ведущим своих людей к земле обетованной. Как же пестра эта сверхиндустриальная страна, если у миллионов ее пасынков во второй половине XX века еще жив религиозный экстаз людей, уповающих лишь на бога и чудо! Легко посмеяться над их наивностью. Важнее понять, что в ней, как в капле, отразилось море страданий 23-миллионного негритянского народа Америки.

Его жизнь — и особенно его политическая жизнь — оказалась короткой, но она была чрезвычайно насыщенной, а сам Кинг давно был готов к тому, что ее насильственно оборвут. Рассказывать об этой жизни нелегко, потому что рассказ неизбежно перерастает в историю негритянского движения за последние годы. В какой-то Мере Кинг был зеркалом этого движения со всеми его Успехами и неудачами, надеждами и разочарованиями, со всей его силой и слабостью.

Праправнук раба, правнук и внук издольщиков на хлопковых плантациях Юга и сын баптистского пастора, Мартин Лютер Кинг-младший родился 15 января 1929 года в Атланте, штат Джорджия, в сравнительно обеспеченной семье. Его отец, Мартин Лютер Кинг-старший, был баптистским пастором и пользовался большим авторитетом среди четырех тысяч прихожан церкви Эбинезер на перекрестке Джексон-стрит и Оберн-авеню. Кинг-младший окончил школу и негритянский Морхауз-колледж в Атланте, где, идя по стопам отца, занялся богословием, — в условиях сегрегированных церквей негр священник избавлен, между прочим, от конкуренции белых христиан-собратьев. Он продолжил обучение на севере страны — в теологической семинарии города Честера, штат Пенсильвания, и в Бостонском университете, где в 1955 году защитил диссертацию и получил степень доктора философии.

Кинг-старший делал все, чтобы вывести сына в люди. Но что значит выйти в люди? Даже степень доктора философии не дает права на звание человека, если ты фкгр на американском Юге, а права твои проверяет белый ра'ист. Кинг познал это задолго до своей диссертации.

В школу жизни вступаешь с раннего детства. У негритянского ребенка это особая школа. Пятилетний Мартин получил первый урок, лишившись дружбы двух белых мальчишек—сыновей соседского бакалейщика, весело игравших с ним на улице. Они вдруг стали его

сторониться. Он подбегал к дому и звал их на улицу, но родители отвечали, впрочем, без всякой откровенной враждебности, что мальчиков просто нет или что им некогда играть с ним. Озадаченный, он пришел к матери и, сидя на ее коленях, впервые узнал — а что могла еще сделать мать? — о рабстве, о Гражданской войне Севера и Юга, о том, что он рожден черным, а его друзья — белыми, и о том, что из этого следует.

Чем могла его утешить мать? Взвалив на детские плечи этот страшный груз прошлого и настоящего, который она давно несла сама, который подминает каждого американского негра, она сказала: «Ты не хуже любого другого...»

И это было верно, но не отменяло фактов жизни, а они давали о себе знать на каждом шагу. Кинг запомнил другую сценку из детства. С отцом, большим, сильным, уважаемым человеком, они зашли в обувной магазин за ботинками. Доллары одинаково хороши, из черного они или из белого кармана, и продавец готов был обслужить их, но они сели на стулья для белых, и продавец попросил их пройти в заднюю часть помещения, где примеряли ботинки «цветные».

— А чем плохи эти места? — оказал Кинг-старший. — Нам и здесь удобно.

— Извините, — сказал вежливый продавец, — но вам придется пройти.

— Или мы купим эти ботинки здесь, или мы никаких ботинок не купим, — в гневе бросил ему Кинг-старший.

Продавец развел руками, и отец с сыном ушли не солоно хлебавши. Когда отца унижают при сыне, это жжет обоих, обоим запоминается. Никогда еще маленький Мартин не видел отца в такой ярости. Кинг-старший возмущался: «Сколько бы мне ни пришлось прожить при этой системе, я никогда ее не признаю».

Воспитательная сила унижений... Они не проходили даром.

Однажды отец проскочил на машине стоп-сигнал. «Припаркуйся в сторонке, бой, и покажи-ка мне свои права», — сказал полицейский, увидев за рулем негра. «Я не бой, не мальчишка, — отпарировал отец. — Я человек, и пока вы не назовете меня этим именем, я слушать вас не буду». Он требовал уважения достоинства — большая смелость в Атланте 30-х годов. Бесстрашие Кинга-младшего было, можно сказать, наследственным. Отец в одиночку вел ту борьбу, на которую сын поднял многие тысячи. Отец бойкотировал автобусы, став однажды свидетелем зверской расправы с пассажирами- неграми. Возглавлял кампанию за равную зарплату негров-учителей, добивался десегрегации лифтов в здании местного суда.

Ждать стало невозможно в декабре 1955 года, когда вчерашний семинарист Мартин Лютер Кинг был уже пастором церкви Декстер в городе Монтгомери, штат Алабама.

Роза Паркс, жительница Монтгомери, швея из тамошнего универмага, села вечером 1 декабря 1955 года в городской автобус. В конце рабочего дня автобус был переполнен. Водитель приказал Розе Паркс и еще трем неграм встать и уступить места белым пассажирам, привычно подчинились. Роза Паркс не поднялась — она смертельно устала за день, болела натертая нога. И... сколько можно! Ее силой вытащили из автобуса и арестовали.

Автобусы в Монтгомери, как и всюду на Юге, не брезговали негритянскими центами, но негр сначала платил водителю с передней двери, потом, чтобы не «смердеть», выходил из автобуса и — если автобус тем временем не уезжал, а бывало и такое — вновь садился через заднюю дверь. Наконец, даже там, сзади, он должен был уступить место, если автобус был заполнен, а в него входил еще один представитель расы господ.

В Монтгомери было около 50 тысяч негров, — каждый третий житель, и большая их часть, по понятным причинам, предпочитала автобус такси или личной машине. Арест Розы Паркс переполнил чашу терпения: решили, что дальше действительно ждать нельзя. Родилась идея однодневного бойкота монтгомерийских автобусов. Молодой Кинг, поддерживавший ее одним из первых, предложил свою церковь для встречи организаторов. Бойкот назначили на 5 декабря, надеясь на поддержку хотя бы 60 процентов негров, но им невольно сыграл на руку местный шеф полиции, призвавший негров воздержаться от бойкота и обещавший поддержку штрейкбрехерам. 5 декабря за каждым автобусом следовало по полицейскому мотоциклу, и даже сговорчивые негры, видя этот эскорт, пугались неприятностей. К удивлению организаторов, бойкот получился почти стопроцентным.

В шесть утра молодой Кинг, почти не спавший ночь, охваченный волнением первой схватки, пил кофе на кухне.

— Иди сюда быстрее, Мартин, — позвала его жена Коретта.

Под окном, на автобусной остановке, было пусто. И автобус прошел мимо — совсем пустой, хотя в ранний час его обычно заполняли негры — служанки, кухарки, уборщики, отправлявшиеся работать на белых хозяев Монтгомери. Еще один автобус — пустой, совершенно пустой. В третьем было два пассажира — белых. В их распоряжении были и передние, и задние места. Они могли хоть плясать в этом автобусе, но, не видимый ими, от радости и возбуждения приплясывал перед окном пастор церкви Декстер.

В то утро Розу Паркс судили и оштрафовали на 14 долларов. А днем Кинга избрали главой бойкотного комитета и объявили бойкот до победы. Выбор пал на Кинга лишь потому, что, новичок в Монтгомери, он не имел еще противников ни среди властей, ни среди соперничающих негритянских групп. Нужен был человек, приемлемый для всех. «А получили мы Моисея», — сказал позднее И. Д. Никсон, негритянский активист, выдвинувший идею бойкота.

Да, они получили больше, чем ожидали.

Бойкот длился не неделю и не месяц, а 381 день.

Угрозы, судебные тяжбы, попытки расколоть негров не удались. По решению Верховного суда США с 21 декабря 1956 года негры Монтгомери получили право сидеть в автобусах где угодно и не вскакивать навывтяжку перед белыми жителями.

На молодого священника, возглавившего невиданно долгий и успешный бойкот, обратили внимание. Теперь его знали в городе, и вместе с известностью пришли первое уважение одних и ненависть других. Он узнал, что ненависть ощутимее и эффективнее любви. 30 января 1955 года, когда бойкоту было два месяца, расисты кинули бомбу в его дом, — первую бомбу. Она взорвалась на веранде, жена и маленькая дочь не пострадали. В тот момент Кинг выступал на митинге. Он испытал страх и не стеснялся признаться в нем, но страх стал прелюдией к бесстрашию, лишь заострил выбор: пути назад не было.

Начиналась жизнь борца. Он научился недосыпать, видеть семью урывками, готовить не проповеди, а политические речи, по праву занимать место в первой шеренге маршей свободы — искусительная, заметная мишень. Он понял силу организованных тысяч и учился азам массового действия, проверяя на практике и развивая применительно к американским условиям тактику ненасильственного сопротивления.

Его учителем стал индус Махатма Ганди, использовавший метод гражданского неповиновения в борьбе против английских колонизаторов.

Почему ненасилие? Кинг не раз объяснял это. Вот последнее объяснение, опубликованное в журнале «Лук» Уже после убийства в Мемфисе. «На Юге ненасилие было творческой доктриной, потому что оно парализовало бешеных сегрегационистов, ищущих возможности физически раздавить негров, — писал он. — Прямое ненасильственное действие позволило неграм выйти на улицы с активным протестом и в то же время отводило винтовки угнетателя, ибо даже он не мог убивать при свете дня невооруженных мужчин, женщин и детей. Вот почему за десять лет протеста на Юге было меньше человеческих жертв, чем за

десять дней мятежей на Севере».

Кинговское ненасилие не означало непротивления злу. «Пассивное сотрудничество с несправедливой системой делает угнетаемого столь же порочным, как и угнетатель», — подчеркивал он.

Кинг отказывался признавать расистские законы о сегрегации и штурмовал их при помощи массовых маршей, бойкотов, сидячих забастовок. Он шел на открытое, но ненасильственное противоборство с расистами, сознательно создавая кризисы и напряженность на Юге как средство для перехода к переговорам об отмене несправедливых законов. Он опирался на массу, и в этом было его отличие от умеренных буржуазно-либеральных негритянских лидеров, которые пытались уничтожить систему сегрегации в залах суда. Кинг предпочитал «прямое действие» и избрал арену противостояния на виду у всей страны и всего мира — улицы и площади американских городов, больших и малых.

Итак, Роза Паркс и 50 тысяч негров Монтгомери могли занимать передние места в автобусе, хотя злые взгляды белых заставляли их по старинке тянуться к задним. Но на ресторанах, кафетериях, мотелях, публичных парках, как и прежде, висели таблички: «Только для белых». Я видел их в Монтгомери в декабре 1961 года, через шесть лет после знаменитого бойкота.

Как раз в те дни, когда мы путешествовали с товарищем по штатам Джорджия и Алабама, впервые знакомясь с нравами Юга, Кинг призвал президента Кеннеди издать вторую Прокламацию об освобождении негров — через сто лет после первой, подписанной президентом Линкольном. В те дни он возглавлял марши свободы в городе Олбани, штат Джорджия. Участники маршей добивались десегрегации городских парков, госпиталей, библиотек, автобусов, равной занятости для негров в городских учреждениях. Тактике прямого массового действия Лори Причетт, шеф полиции Олбани, противопоставил тактику массовых арестов. Кинг тоже попал в тюрьму. Ему было уже 32 года, но тюремщики звали его боем, мальчишкой.

Что же изменилось? Его знала вся Америка, но в тюрьме «Америкус» расист был так же туп, нагл, самоуверен и всевластен.

Все 13 штатов Юга были знакомы ему как собственные пять пальцев, исхожены и изъезжены в десятках мужественных «рейдов свободы». Тяжесть дубинки на спине, плевков в лицо — он это изведal. Под тяжелой рукой полицейского не раз рвался черный пасторский костюм, пронзительным холодком веяло от цементного тюремного пола, голубое южное небо в клетку штриховалось тюремными решетками. Каждая ночь несла опасность скромному дому в Атланте,

куда он переехал, чтобы вместе с отцом проповедовать в церкви Эбинезер, и где основал штаб-квартиру организации «Конференция южного христианского руководства». Куклуксклановские кресты вспыхивали на лужайке перед этим домом, предупреждая, что семье непокорного «нигера» несдобровать, и вечный странник Кинг издалека, телефонными звонками проверял, живы и целы ли жена и дети.

Но «тяжкий млат, дробя стекло, кует булат».

Он был сделан из того самого редкого металла, который идет на подвижников, героев, совесть нации. Когда он был убит, даже буржуазная печать славila его как великого американца, как человека, у которого была мечта. У него действительно была мечта, и он поведал о ней в самой знаменитой своей речи 28 августа 1963 года на ступенях вашингтонского памятника Линкольну, перед 250 тысячами участников грандиозного марша свободы. Взрываясь от страсти, которая гремела в его набатном голосе, Мартин Лютер Кинг заряжал своей мечтой огромную аудиторию, за которой в отдалении вставал белый купол Капитолия, глухого к этой мечте.

— Хотя сегодня и завтра мы столкнемся с трудностями, у меня все-таки есть мечта, — говорил он. Я мечтаю, что однажды эта нация поднимется и осознает истинный смысл своего кредо: «Мы считаем само собой разумеющейся ту истину, что все люди созданы равными...»

Он цитировал Декларацию независимости политическую библию американской свободы, провозглашенную в 1776 году. Но Декларация не отменяла рабства, а большинство ее творцов не считало негров людьми.

1963 год был очень бурным. Майские события в Бирмингеме, штат Алабама, доказали, насколько жив американский расизм и как он отвратителен. Полиция травila негров псами, сбивала тугими струями ледяной воды из брандспойтов. Кинг проделал привычный путь — из первой шеренги марша в тюремную камеру.

Администрация Кеннеди извлекла урок из негритянской революции, продвигавшейся вопреки сопротивлению расистов: либо дать неграм права в стенах конгресса, либо они, отвечая на насилие полиции, попытаются взять их на улицах. В конгресс был отправлен Акт о гражданских правах. Он заново обещал неграм столь часто нарушавшееся право голоса, а также отмену сегрегации в общественных местах — ресторанах, кафетериях, отелях, мотелях, кинотеатрах, концертных залах, спортивных аренах, запрещение дискриминации при найме на работу и т. д. Министр юстиции получал право в судебном порядке преследовать нарушителей закона. Билль надолго застрял в конгрессе. Джон Кеннеди был убит в ноябре 1963

года, не дожив до его принятия. Прошел почти год, прежде чем билль, выхолощенный обструкцией южных сенаторов-расистов, стал законом.

Шумели о новой эре. Кинга, недавнего бирмингемского узника, чествовали как главного организатора этого конституционного удара по расизму. В Осло в декабре 1964 года ему вручили Нобелевскую премию мира — как человеку, доказавшему, что борьбу за равенство можно выиграть без насилия. Но доказательства были слабые, их опровергала жизнь.

Отдав на нужды борьбы все, до последнего цента, нобелевские 54 тысячи долларов, Кинг уже в январе 1965 года избрал своим «собеседником» Джима Кларка, полицейского шерифа в городе Селма. Лауреат вывел своих людей на улицы этого небольшого алабамского города, начав затяжную кампанию за право негров регистрироваться избирателями без дискриминационных проверок грамотности, имущественного положения, лояльности и т. д. В Алабаме негры составляли более 40 процентов населения, но их политический вес в выборных органах равнялся нулю.

Джим Кларк был таким же жестоким, как бирмингемские расисты, а Селма безразлична к истинам, провозглашенным в Осло, — о действенности ненасилия. Полиция свирепо разгоняла марши, расисты убили белую домохозяйку Виоллу Лиуззо и белого священника Джеймса Рибба. Лавры сменились терниями.

«Когда норвежский король принимал участие во вручении мне Нобелевской премии мира, он, конечно, не думал, что меньше чем через 60 дней я снова буду в тюрьме... Почему в тюрьме?.. Это ведь Селма, штат Алабама. Негров больше в тюрьмах, чем в списках избирателей», — писал Кинг, оказавшись за решеткой.

Дорога к справедливости и равенству удлинялась. Негритянский народ объединен цветом кожи, но это непрочное единство, ибо он расслоен классово. Снятие дискриминационных табличек «Только для белых» пригодились в основном негритянской буржуазии, для которой остро стояли вопросы социального престижа.

Я вспоминаю другую поездку на Юг, в штат Теннесси, ставший потом роковым для Кинга. Это было весной 1964 года, в кульминационные дни борьбы за десегрегацию. Наглядевшись на ветхие курятники негритянских окраин, мы спрашивали белых либералов Нэшвилла: а что же делать дальше, когда нэшвиллские рестораны будут открыты для «цветных», а расовая вражда и расовый гнет останутся? Этот вопрос ставил их в тупик. Они полагали, что все сводится к табличкам. Там же, в Нэшвилле, мы познакомились с негритянским радикалом Полом Бруксом. Он отвергал кость

десегрегации, он хотел, чтобы его признали равным человеком, и не был согласен на меньшее. Пол Брукс издевался над уловками корпораций, которые помещают одного негра на высокий пост, чтобы снять обвинение в эксплуатации тысяч, над телевидением, которое берет в штат одного негра, желательно посветлее, чтобы примазаться к движению за гражданские права.

По мере решения первичных задач десегрегации усиливалось расслоение в негритянском движении и среди его сторонников. Разница между господствовавшим течением примирительного либерализма и активизировавшейся прослойкой радикалов была все заметнее и принципиальнее. Первые выступали против расового неравенства, но за сохранение устоев капиталистического общества. Вторые атаковывали сами устои общества, видя в Расизме разновидность капиталистической эксплуатации, отвергали идеалы этого общества, как ложь, рассчитанную на легковверных.

Где был Кинг? Сын священника, выходец из буржуазной семьи, он начал как либерал, оскорбленный каждодневными унижениями расизма. Акт 1964 года о гражданских правах, Акт 1965 года об избирательных правах негров, принятый после столкновений в Селме и других городах Юга, были во многом его заслугой. Но он стал символом утраченных надежд, когда обнаружилось, что эти права оставляют неприкосновенными нищету, безработицу, необразованность негритянских бедняков. В начале 1965 года Кинг с горечью заметил: «Какой прок от того, что ты имеешь право пообедать в закусочной при универмаге, если тебе не на что купить котлету».

Между тем центр освободительной борьбы перемещался с сельского Юга на городской Север. На Севере, который еще сто лет назад пошел войной против Юга ради отмены рабства, положение негров было не менее отчаянно, чем на Юге.

В 1910 году 91 процент из 10 миллионов американских негров жил на Юге. К 1966 году негритянское население более чем удвоилось, дойдя до 22 миллионов, а число негров, живущих в городах (с населением более 50 тысяч), выросло более чем в 5 раз (с 2,6 миллиона до 14,8 миллиона). Число негров, живущих на Севере, выросло в 11 раз—с 880 тысяч до 9,7 миллиона, причем 7 миллионов негров сконцентрированы в двенадцати крупнейших городах страны. (Уже сейчас негры составляют большинство в Вашингтоне и Ньюарке, а по прогнозам на 1985 год они будут в большинстве также в Чикаго, Детройте, Филадельфии, Балтиморе, Гэри, Кливленде, Окленде, Ричмонде, Сент-Луисе.)

По официальным данным, безработица среди негров была вдвое

выше, чем среди белых. 40,6 процента «небелых» американцев живет ниже официального «уровня бедности», причем почти половина их — в больших городах.

Таким образом, в городах Севера сконцентрированы и негритянские массы, и негритянское отчаяние. Эта двойная концентрация дает критическую массу для взрывов в гетто. Искры? Их сколько угодно в раскаленной атмосфере. Прежде всего это зверства и даже самый факт наличия белых полицейских в черных гетто. Одна страна, и все черные и белые — ее граждане по закону, но полицейский в гетто, как оккупант на чужой территории.

За ним сила полицейской и правовой машины, но он одинок и окружен ненавистью. Предупреждающе поигрывая дубинкой, он вертится на своем посту, как радиолокатор, нащупывающий угрозу. Опасность рождает страх, страх—скоропалительные действия. Разрядить кольт в негра в десять раз проще, чем в белого, легче сходит с рук. Но и негры знают, как дешева их жизнь для «копов», и каждый акт полицейского произвола взрывает ненависть, накопленную поколениями, пополняемую каждый день.

Взрывы в гетто... К середине 60-х годов их частота и сила неимоверно возросли.

1965 год. Августовские волнения в Уоттсе — негритянском гетто Лос-Анджелеса, вызванные бесчинством полицейского. Пожары, налеты на магазины, беспорядочная пальба полицейских. 34 убитых. Сотни раненых. 4 тысячи арестованных. 40 миллионов долларов материального ущерба.

1966 год. В жаркий полдень 12 июля вспышка в Чикаго. Убиты 3 негра, десятки ранены, 533 человека арестованы. Расовые беспорядки в Кливленде, штат Огайо.

1967 год. Рекордный. Весенние волнения в Нэшвилле, Джексоне, Хьюстоне переросли в «долгое жаркое лето», самое долгое и самое жаркое на расовом фронте. Тампа, штат Флорида... Цинциннати, штат Огайо... Атланта, штат Джорджия... 20 июня невиданный взрыв в Ньюарке, под боком у Нью-Йорка, — 23 убитых, сотни раненых, пожары, ввод национальной гвардии, боязнь, как бы искры не залетели в нью-йоркский Гарлем.

Кульминацией 1967 года были многодневные волнения в Детройте. На усмирение взбунтовавшегося гетто впервые за послевоенные годы были брошены регулярные войска, прошедшие Вьетнам. 43 убитых, 7200 арестованных. Пожарища на целые мили...

В уменьшенных масштабах Ньюарк и Детройт повторились в десятках американских городов. Страна качнулась на грань

гражданской войны.

Я даю лишь скудную хронику, ограничивая свою задачу заметками о Кинге. Негритянские волнения квалифицировались как мятежи. И в самом деле, их нельзя назвать восстаниями, поскольку восстание подразумевает существование организации и авторитетных руководителей, программу и координацию действий. В гетто же бушевала стихия отчаяния, но куда более решительного и безоглядного, чем у Розы Паркс, отказавшейся уступить белому место в автобусе. Оружие отчаяния — булыжники, бутылки с горючей жидкостью, реже револьверы и винтовки. Мишени — полицейские и белые эксплуататоры в гетто.

После Детройта президент Джонсон назначил специальную комиссию под председательством иллинойского губернатора Отто Кернера для расследования «расовых беспорядков» и их причин. Комиссия опубликовала свой доклад в феврале 1968 года. Этот документ, исходя от одиннадцати лояльных, умеренных, назначенных самим президентом деятелей, прозвучал пощечиной американской общественной системе.

«Наша нация движется в направлении двух обществ, черного и белого, разделенных и неравных», — таков был основной вывод комиссии.

«Сегрегация и нищета создали в расовых гетто разрушительные условия, абсолютно неизвестные большинству белых американцев, — говорилось в докладе. — Белые американцы никогда полностью не понимали, а негры никогда не могли забыть то, что белое общество глубоко виновно в появлении гетто. Белые институты создали его, белые институты поддерживают его, белое общество мирится с ним».

Доклад, в частности, давал характеристику «типичного мятежника», составленную на основе детального изучения волнений в Ньюарке и Детройте и бесед с сотнями негров.

Вот эта характеристика:

«Типичным мятежником лета 1967 года был негр, неженатый, мужского пола, в возрасте от 15 до 24 лет... Он родился в штате, где живет, и всю жизнь прожил в городе, где имел место мятеж. Экономически его положение было приблизительно таким же, как у его негритянских соседей, которые не принимали активного участия в мятеже.

Хотя, как правило, он не кончал средней школы, он в известной мере больше образован, чем обычный городской негр, и по меньшей мере в течение какого-то времени посещал среднюю школу. Тем не менее он, как правило, является неквалифицированным рабочим,

занятым на ручной или грязной работе. Если он и работал, то не все время, и занятость часто прерывалась периодами безработицы.

Он глубоко убежден, что заслуживает работы получше и что отстранен от нее не из-за отсутствия квалификации, способности или стремлений, а из-за дискриминации со стороны работодателей.

Он отвергает основанное на предрассудках представление белого о негре как о невежде и летуне. Он очень гордится своей расой и считает, что в некоторых отношениях негры превосходят белых. В отношении белых он настроен чрезвычайно враждебно, но его враждебность является скорее продуктом социального и экономического класса (к которому он принадлежит. — *С. К.*), чем расы; он почти одинаково враждебен в отношении негров из среднего класса (то есть негритянской буржуазии. — *С. К.*).

В политических вопросах он значительно лучше информирован, чем негры, которые не принимали участия в мятежах. Как правило, он активно вовлечен в борьбу за гражданские права, но чрезвычайно недоверчив в отношении политической системы и политических лидеров».

Эта выразительная характеристика, данная президентской комиссией, по существу рисует портрет необученного солдата еще не сформированной армии, проявляющего, однако, стихийное классовое чутье, отвергающего господствующую систему, не верящего в институты общества — от президента до полицейского, готового объявить этому обществу войну даже в одиночку.

Вызывая активную реакцию в стране, новый тип негра заострял позиции других социальных фигур, убирая расплывчатые полутона. Откровенный расист, тыкая пальцем в «типичного мятежника», утверждался в своем кредо: беспощадно расправляться с неграми. Более массовая категория аполитичных обывателей качнулась в сторону откровенного расиста, готовая увидеть в отчаявшемся негре уголовника, посягающего на «святую собственность» и на безопасность граждан. Буржуазные политики, регистрирующие настроения обывательской массы хотя бы потому, что ей принадлежат миллионы голосов на выборах, начали, подыгрывая этим настроениям и разжигая их, прокручивать тезис «преступности на улицах», у которого была понятная всем антинегритянская направленность.

Обыватель готовился и к «самообороне», и к нападению. В стране росла сеть стрелковых кружков, домохозяйки из Дирборна, поддерживаемые под локоток инструкторами, учились стрельбе по мишеням. Буржуазные белые либералы, эти ненадежные попутчики, заколебались в своих симпатиях к негритянскому движению, считая,

что негры «слишком спешат».

Среди негров, напротив, «типичные мятежники» пользовались растущим сочувствием. Представители буржуазной негритянской прослойки вроде Роя Уилкинса, возглавляющего «Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения», и Уитни Янга, президента «Городской лиги», теряли авторитет среди масс, разоблачая себя соглашательством. Такие организации, как «Конгресс расового равенства» и особенно «Студенческий комитет ненасильственных координационных действий» (СНКК), раньше сотрудничавшие с Кингом в маршах и рейдах свободы, шли к радикализму, критиковали методы ненасилия, искали более активные формы борьбы. Молодые лидеры СНКК Стокли Кармайкл и Рэпп Браун звали к вооруженной «партизанской войне» против властей и расистской Америки. Их призывы импонировали молодежи.

Кинг понимал, что волнения в гетто символизируют кризис его стратегии ненасилия. В условиях растущей поляризации он вырастал в трагическую фигуру на стыке двух Америк, пытавшуюся предотвратить столкновение и примирить непримиримое. Его положение было двойственным. Он осуждал мятежи в гетто, считая, что они лишь ожесточают сопротивление расистов и властей и дают предлог для физической расправы над неграми. С этой точки зрения он считал насилие просто «непрактичным». Но, понимая обоснованность отчаяния и растущее нетерпение негритянской молодежи, он приходил к выводу, что ненасилие должно стать более воинственным и преследовать более радикальные цели.

Расовые волнения учащались на фоне эскалаций во Вьетнаме. Между ними была своя связь, все более очевидная. Одна и та же сила, один и тот же двуликий Янус американского империализма сеял насилие на рисовых полях, в джунглях Вьетнама и посредством полицейских колытов и карабинов национальных гвардейцев подавлял негров. Протестующая белая Америка, сосредоточивая силы в антивоенном движении, меньше прежнего интересовалась борьбой негров. С другой стороны, многие негритянские лидеры, замыкаясь в рамках своих проблем, не сразу признали в антивоенном движении естественного союзника.

Кинг тоже осознал эту связь не сразу. Но с конца 1966 начала 1967 года он все чаще и резче выступал против войны. В апреле он приехал в Нью-Йорк, ходил по улицам Гарлема, и «отчаявшиеся, отвергнутые, сердитые молодые люди» в упор спрашивали его, как он может отговаривать их от насилия против той Америки, которая угнетает чернокожих и сеет насилие во Вьетнаме.

«Их вопросы попадали в точку, — говорил Кинг, — и я понял, что никогда не смогу поднять голос против насилия, применяемого угнетенными в гетто, не указав ясно на величайшего носителя насилия в мире—наше собственное правительство».

В середине апреля его увидели рядом с доктором Споком — в рядах антивоенного марша по Пятой авеню Нью-Йорка.

Оппозиция войне диктовалась практическими соображениями: чем больше миллиардов шло на истребление далекого народа, тем меньше миллионов отпускалось Вашингтоном на нужды гетто. Кинг видел, что так называемое «великое общество» Джонсона, которое включало программы помощи неграм, «подстрелено на полях сражений во Вьетнаме». Потом он увидел несправедливый, империалистический характер войны.

Бесстрашие моральное — качество более высокое и редкое, чем бесстрашие физическое. Новая антивоенная позиция Кинга оттолкнула от него многих умеренно-либеральных сторонников. Его обвиняли в расколе негритянского движения, в антипатриотизме, пожертвования в фонд его организации резко сократились. Но, отмежевываясь от Америки империалистов, Кинг шел вперед.

Он говорил:

— Война так усилила отчаяние негров, что волнения в городах стали ужасной чертой американской жизни. Как может правительство гневно осуждать насилие в негритянских гетто, когда в Азии оно дает такой пример насилия, который потрясает весь мир? Те, кто применяет морские орудия, миллионы тонн бомб и возмутительный напад, не имеют права говорить неграм о ненасилии... Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Я не приравниваю так называемое негритянское насилие к войне.

Акты негров несравненно менее опасны и аморальны, чем умышленная эскалация войны... Они уничтожают собственность, но даже в ярости огромное большинство негров направляет гнев на неодушевленные вещи, а не на людей. Если нынешние события достойны сожаления, то что можно сказать об использовании напалма против людей.

Это слова из речи Кинга в Чикаго в ноябре 1967 года. Он прилетел туда, чтобы выступить перед участниками антивоенной конференции профсоюзных активистов, чтобы поддержать их и бросить горькое, справедливое обвинение большинству профбоссов, открыто или молча поддерживавших войну. Это была сильная речь. Ее встретили овацией. Кинга травили, как травили и тех собравшихся в Чикаго профсоюзных активистов, которые словно чувствовали на своих шеях цепкую ладонь

Джорджа Мини, президента профобъединения АФТ — КПП, матерого ультраконсерватора.

Чуткий к аудитории, негритянский лидер в конце речи отступил от текста, заранее розданного корреспондентам. Заговорил медленно, жестко, гневно, осуждая политиканов, которые оправдывают подлость соображениями практической целесообразности. Бывают моменты, подчеркнул он, когда надо прямо заявить, где ты стоишь, нравится это или не нравится другим. Пусть уменьшится твоя популярность, но есть принципы, отступление от которых равносильно моральному самоубийству...

Это говорилось за несколько недель до того, как сенатор Юджин Маккарти, пренебрегая соображениями карьеры, открыто бросил вызов Линдону Джонсону и руководству демократической партии, заявив, что будет баллотироваться в президенты как критик войны во Вьетнаме. Это было за месяцы до того, как сенатор Роберт Кеннеди также решил выступить против Джонсона.

У священника из Атланты, убитого в 39 лет, угадывалась большая потенция политического роста. Начав с соблазнительных своей широтой буржуазно-либеральных взглядов, он пришел к точным, хотя и менее популярным в Америке, формулировкам. Поздний Кинг ставил задачей негритянской революции «трансформировать изнутри структуру расистского империализма».

От борьбы за десегрегацию автобусов до борьбы против внутренней и внешней политики американского империализма — вот его путь. Последняя готовившаяся им кампания называлась «кампанией бедняков» — черных и белых, ибо Кинг говорил уже от имени всех обездоленных Америки. Последним актом, который он намеревался вырвать у конгресса, ведущего, по его словам, войну против бедняков, был акт об экономических правах. Этот акт должен был гарантировать беднякам работу и доход.

Итак, после двенадцати напряженных лет Кинг вступал в последний год своей борьбы, как никогда сознавая трудности и скромный — по сравнению с нерешенными задачами — масштаб достигнутых успехов. Такой же решительный и смелый, он трезвее и горше смотрел на свою страну. «Америка больна, болезнь поразила ее намного глубже, чем я предполагал», — признался он другу незадолго до смерти.

А за знакомыми физиономиями его недругов — бирмингемского комиссара общественной безопасности Быка Коннора, шерифа из Селмы Джима Кларка, чикагского мэра Ричарда Дейли, сорвавшего затяжную кампанию по улучшению жилищных условий негров, — надвигалось сухое, острое, бестрепетное лицо уголовного-убийцы

Джеймса Рэя, последнего врага, которого так и не увидел в лицо «апостол ненасилия».

В конце марта на расовом фронте было довольно тихо. Ждали 22 апреля — сигнала сражения в Вашингтоне. Кинг готовил его еще с осени. Собственно, не сражение, а затяжную, на несколько месяцев войну под названием «кампания бедняков» и под лозунгом «работа или доход». Надо было встряхнуть вашингтонскую бюрократию, которая забыла все за войной во Вьетнаме. Два с половиной десятка миллиардов долларов на истребление другого народа, гроши — на лечение язв гетто. Как заставить их прозреть и изменить очередность ассигнований?

Три тысячи активистов, в основном из кинговской «Конференции южного христианского руководства», должны были прибыть в столицу, раскинуть нищенским фанерно-палаточный городок возле монументальном лже-классики министерств. А потом пикетами и депутатами блокировать их работу, подсыпать песок протеста в колеса бездушного механизма, чтобы он закрипел, застопорился, задумался: имеют ли американские бедняки, черные и белые, право на гарантированную работу или доход?

15 июня, как кульминация, планировался марш сотен тысяч черных и белых американцев.

С осени Кинг и его соратники готовили кадры активистов.

— Почему вы хотите нарушить и расстроить жизнь Вашингтона?

— Жизнь бедняков каждый день нарушают и расстраивают, и мы хотим положить этому конец.

Такой ответ рекомендовался в специальном вопроснике, которым снабдили активистов. Сам Кинг считал кампанию последней решительной попыткой вырвать крупные уступки ненасильственными методами. Надвигалось новое «долгое жаркое лето», сулящее новые Ньюарки и Детройта.

А в конце марта было затишье. Только в Мемфисе, штат Теннесси, бастовали городские уборщики. Штат Теннесси—ворота Юга. В Мемфисе, стоящем на реке Миссисипи, 550 тысяч жителей. Непров 40 процентов — больше 200 тысяч. Город как город. Замешен на южных традициях, но у белых его хозяев типичные оправдания: негров вкрапили даже в полицию, 13 негров в городском совете, публичные школы десегрегировали еще в 1961 году и — учтите! — без скандалов. Негры, как везде, жалуются на низкие зарплаты, высокую безработицу, плохое жилье и на полицию, которая не упустит случая «хватить дубинкой по черной голове или пальнуть в черное тело».

Убирать мусор с улиц — работа черная, и на ней почти поголовно негры. Они наняты муниципалитетом. Их верховный хозяин — мэр города Генри Леб. 1300 забастовщиков требовали от мэра надбавки к зарплате и признания их профсоюзу, что означало бы, что без его согласия нельзя ни нанимать, ни увольнять рабочих и что штрейкбрехеры будут поставлены вне закона.

Забастовка началась в праздник — день рождения Линкольна. Но мэр не понял такого намека. Больше сорока дней забастовка тянулась ни шатко ни валко, без шансов на успех. О ней знали лишь в Мемфисе, где пожарники чаще обычного выезжали по вызовам, — граждане палили костры из мусора.

Кинг приехал в Мемфис, объявил о марше солидарности — нелишняя, кстати, репетиция перед баталией в Вашингтоне. Он применял свой давнишний метод — драматизировать ситуацию, создать в городе кризис, или, как он выражался, «конструктивное напряжение», которое заставило бы власти пойти на переговоры с уборщиками и на уступки.

Себя и своих сторонников он называл иногда оводами, тревожащими белых сограждан. Обывателю бывает неловко оттого, что где-то поблизости есть гетто, но превыше всего он дорожит покоем в своем доме и городе, социальным статус-кво, которое в его пользу, «законом и порядком», которые его устраивают.

В знаменитом письме из бирмингемской тюрьмы весной 1963 года Кинг дал проницательную оценку таким американцам. «Я почти пришел к печальному заключению, — писал он, — что самым большим препятствием на пути негров к свободе является не член Совета белых граждан (расистских организаций на юге США. — С. К.) и не куклуксклановец, а умеренный белый, который предан порядку больше, чем справедливости, который предпочитает негативный мир, означающий отсутствие напряженности, позитивному миру, подразумевающему присутствие справедливости».

28 марта, за неделю до рокового выстрела, «негативный мир» в Мемфисе был взломан маршем протеста и солидарности. С утра тысячи людей двинулись по Бил-стрит, вдоль ломбардов и дешевых магазинов. Кинг, решительный, как таран, — в первом ряду, по-братски под руку с Ральфом Абернети и Ральфом Джексоном. Спереди и по бокам колонны шли полицейские. Дубинки наготове, кольты на бедрах в открытых кобурах, в ладонях у сержантов портативные передатчики уоки-токи с иглами антенн. Каски, краги на толстых икрах, номерные бляхи на груди... Белые мемфисские копы, дюжие и картинные блюстители порядка. Охранники маршей. Свидетели маршей. Каратели маршей.

Они были как курок на взводе. Шли, цепко щупая глазами марширующих. Они ждали своего часа. И он наступил.

Откуда они взялись, эти верткие и отчаянные негритянские подростки? Из средней школы имени Гамильтона. Их было три—четыре десятка. Они убежали из класса и хотели примкнуть к марширующим, но не тут-то было. Полицейские сопровождали колонну, как конвоиры Генных, посторонним в ней не было места. И как порыв ветра пронесся над Бил-стрит, где известный джазист У Хэнди некогда создавал свои блюзы. Но тут не сладкая тоска блюза, а сумасшедшая чечетка. И кирпичи в полицейских, в витрины ломбардов и магазинов, и брызги стекла...

Хулиганство? Мечь? Или краткое безрассудное упоение темпераментных юношей, которым вдруг показалось, что эта Бил-стрит с ее ломбардами и магазинами белых кровососов на мгновение принадлежит им, раз так много вокруг черных людей? Но мгновение перехватили колы. И копы бросились в эту пляску, в этот угарный смертоносный твист, которым так часто бьются улицы гетто.

О эти искривленные, вывихнутые страхом тела, увертывающиеся от свистящих дубинок... О эта дрожь и испарина под дулом кольца... О эта завеса из слез на лицах, окутанных едким дымком слезоточивых бомб...

На следующий день президент страхового совета Мемфиса мистер Эрл Ланнинг огласил свои деловые подсчеты. Окна выбиты, сообщил он, в 155 торговых заведениях. Полиция сообщила: убит — один, 16-летний негр, ранено — 60, арестовано — 200.

Законодательное собрание штата Теннесси немедленно дало мэрам право вводить комендантский час. С семи вечера мемфисские улицы были пусты, если не считать четырех тысяч солдат национальной гвардии, мобилизованных губернатором штата Теннесси Буфордом Эллингтоном. Еще восемь тысяч солдат были наготове. Белый Мемфис вооружился на случай черного взрыва. Но взрыва не произошло.

А марш был сорван, разогнан. Кинга спешно сунули в машину и увезли в неизвестном направлении. Его берегли друзья, но и у властей была своя корысть: если с Кингом что-либо случится, массового взрыва трудно избежать.

Кинг не ждал сумасшедшей чечетки с кирпичами в полицейских и с пулями в ответ. «Если бы я знал, что произойдет насилие, — оказал он на следующий день, — я бы отменил этот марш».

29 марта забастовщики вышли в пикеты. Длинной редкой цепочкой шагали они по улице. Такой же цепочкой, но недвижимой стояли рядом национальные гвардейцы, штыки наперевес. И тени штыков вонзались

в плакаты на груди бастующих, на которых было два слова: «Я человек».

Но говорили о другом, — о негритянской «анархии», которая снова дала себя знать в Мемфисе и которой «давно пора положить конец».

На вашингтонском челе набухли жилки гнева. Роберт Бэрд, сенатор от Западной Вирджинии, предложил запретить «кампанию бедняков». «Если этому самозванному атаману не помешать, то и в Вашингтоне дело может обернуться насилием, разрушением, грабежами и кровопролитием», — обрушился он на Кинга. Эдвард Брук, единственный негр из ста сенаторок США, усомнился в способности Кинга удержать протест в рамках ненасилия. Любая искра может вызвать взрыв в «легко воспламеняющихся условиях» Вашингтона, где две трети населения — негры, а кто поручится, спрашивал Брук, что такую искру не даст масса участников. Президент Джонсон трижды за день предупредил, что не потерпит «бездумного насилия», призвал «силы закона действовать твердо и без страха» и обещал в случае нужды федеральную помощь.

Итак, привычный лозунг «закона и порядка» вновь поднимали, чтобы опрокинуть лозунг Кинга о «работе или доходе». Прошло время цацкаться с неблагодарными чернокожими, пришло время вооружаться и указать им на их место, — таким было господствующее настроение в те месяцы, когда заводы выполняли заказы властей на специальные броневики, на чудодейственный газ «мейс», расстраивающий нервный баланс «мятежника», и на другие гостинцы к «долгому жаркому лету».

Тень случившегося в Мемфисе падала на вашингтонскую операцию, и отступать было нельзя.

— Мы полны решимости идти в Вашингтон, — заявил Кинг 29 марта. — Мы считаем это абсолютно необходимым.

В Мемфисе он тоже контратаковал, объявив о втором марше солидарности, желая доказать своим критикам и недоброжелателям, что сможет обеспечить мирное шествие. Марш запланировали на ближайшие дни, и, отложив вашингтонские дела, Кинг снова прилетел в Мемфис.

И марш состоялся, мирно прошел, как и мечтал Кинг. Марш был более массовым, чем он предполагал, — 35 тысяч черных и белых американцев со всех концов страны.

Они шли по улицам, по пустым улицам Мемфиса. Магазины были заперты, и даже из окон не выглядывали жители: окна были закрыты по приказу полиции. На тротуарах застыли национальные гвардейцы. А они шли по мостовой сквозь строй напряженных солдатских взглядов и несли плакаты, много плакатов с одной и той же надписью: «Почтим

Кинга — покончим с расизмом!» В шеренгах было по восемь человек, и в первой, как и 28 марта, шагали Ральф Абернети и Ральф Джексон.

А знакомой, коренастой, решительно-торжественной фигуры уже не было с ними. Мартин Лютер Кинг лежал в гробу в родной Атланте.

С марширующими шла его вдова Коретта. Она была подобна мужу и знала, что он хотел бы действенного траура, переплетенного с борьбой.

Марш солидарности с мусорщиками, который готовил Кинг, стал мемориальным маршем в память Кинга. Он состоялся 8 апреля, через четыре дня после убийства. Но уборщики Мемфиса не были забыты: 16 апреля они победили. Это был последний успех Кинга, и он заплатил за него своей жизнью...

Итак, 3 апреля он снова прилетел в Мемфис, не ведая, что летит навстречу смерти.

Из Атланты вылетели с запозданием. Пилот по радио извинился перед пассажирами:

— Мы просим прощения за задержку, но дело в том, что с нами летит доктор Мартин Лютер Кинг. Поэтому нам пришлось проверить весь багаж. Чтобы быть уверенными, что с самолетом ничего не случится, мы проверили все очень тщательно...

Самолеты обычно проверялись, если пассажиром был Кинг, и, между прочим, он и Коретта никогда не летали вместе, боясь оставить своих детей круглыми сиротами.

Вечером 3 апреля, выступая с проповедью в негритянской церкви в Мемфисе, Кинг рассказал об этом эпизоде в самолете и вслух размышлял о жизни и смерти

Он говорил:

Ну вот, я добрался до Мемфиса. И здесь говорят, что мне угрожают, что наши больные белые братья могут сотворить что-нибудь со мной. Ну что ж, я не знаю, что теперь может случиться. Впереди у нас трудные дни. Как и все, я хотел бы прожить долгую жизнь. У долгой жизни свои преимущества. Но сейчас не это меня волнует. Мне хотелось только бы выполнить божью волю. Он дал мне подняться на гору. И я глянул оттуда и увидел землю обетованную. Может быть, я не попаду с вами туда, но как народ мы достигнем этой земли обетованной. И вот я счастлив сегодня вечером. Никто меня не беспокоит. Я никого не боюсь...

Потом эти слова объявили пророческими. Если его и томило предчувствие, то в последний, но далеко не в первый раз. Почти каждый день он получал анонимные угрозы, и у него была эта тяга — вслух порассуждать о возможности преждевременной смерти, и в

рассуждениях налет религиозного мистицизма смешивался с политическим реализмом, потому что он знал страну, в которой жил опасной жизнью борца. Но жить иначе он не мог и был давно готов ко всему, а фатализм его был не аффектацией, а трезвым осознанием постоянной реальной угрозы. И Кинг предпочитал говорить о смерти, а не о мужестве — оно подразумевалось.

Друзья сняли ему номер в мотеле «Лорейн», где владельцем был негр. Номер 306 был на втором этаже. Дверь его выходила на длинный балкон с перильцами зеленого цвета. Чтобы спуститься вниз, надо было пройти по балкону к лестничной клетке. Сказав, что он никого не боится, Мартин Лютер Кинг вернулся в номер 306 мотеля «Лорейн».

В тот же вечер или утром следующего дня Джеймс Рэй знал, где остановился Кинг, что номер его на втором этаже и что он не может миновать балкона, а значит, попадет на мушку. Надо было найти лишь путь для пули.

Перед балконом внизу была стоянка автомашин, а за ней — узкая Мэлберри-стрит и стенка высотой около двух метров, на гребне которой пробивались кусты и трава. А дальше на склоне холма росли деревья, и за ними была проволочная изгородь и неприглядный, как пустырь, задний двор двухэтажного дома, который фасадом выходит на Саут-Мэйн-стрит. Там в меблированных комнатах доживали свой век одинокие старики. И туда 4 апреля полчетвертого дня явился довольно молодой человек в черном костюме. Он сказал, что хочет снять комнату на один день. Хозяйка дома миссис Брювер провела его в комнату, выходящую окном на север, но она не понравилась незнакомцу. Он предпочел бы номер на южной стороне. И ему дали комнату, из которой был виден мотель «Лорейн». Незнакомец заплатил вперед — 8 долларов 50 центов.

А еще лучше мотель «Лорейн» просматривался из общей ванной комнаты. Оттуда в оптический прицел винтовки «ремингтон» видны были металлические цифры 306 прибитые на коричневой двери одного из номеров. И по праву постояльца, желающего отряхнуть дорожную пыль, в ватной скоро заперся человек с южным выговором. До цифр 306 оттуда было около семидесяти метров...

Кинг провел весь день в номере, занимаясь делами. Увы, Мемфис отрывал время от подготовки к вашингтонскому противостоянию, и на беду положение осложнилось тем, что мемфисские власти через суд добились запрета на второй марш. Весь день Кинг совещался с соратниками. На ужин его пригласил

мемфисский священник-негр Кайлес. Он приехал к шести вечера, чтобы забрать гостей к себе домой. В номере был еще Абернети, правая рука Кинга, неразлучный соратник с далеких уже дней автобусного бойкота в Монтгомери. Собираясь в гости, Кинг перед зеркалом повязывал на своей мощной шее черный галстук в золотистую полосу.

— Не слишком ли молода твоя жена? Сможет ли она приготовить нам пищу для души? — подсмеивался Кинг над Кайлесом, повязывая галстук. — Ведь ей всего 31 год, не так ли? Можно ли в эти годы понимать толк в пище для души?

В сущности, сам он был молод, — но только по годам.

— Верно, — подхватил шутку Абернети. — Мы к тебе не на филе-миньон едем. Нам нужны овощи. Пища для души. Умеет ли Гвен готовить нашу пищу?

Не беспокойтесь, заверил их Кайлес, зная что это не только шутка.

Кинг жил скромно, неумеренность даже в еде казалась ему обманом тех бедных людей, которые шли за ним и верили ему. Когда после убийства крупнейшие политические деятели США поспешили с соболезнованиями в его дом в Атланте, они были поражены скромностью этого жилища. Маленькая заметка в газетах, сообщавшая, что после смерти Кинга у семьи его осталось лишь пять тысяч долларов сбережений — грошовая сумма по американским масштабам, говорит об этом человеке больше, чем многие трогательные некрологи. Надо знать Америку, в которой причастность к любому общественному делу не мешает буржуазным политикам делать доллары и приумножать состояние, чтобы оценить это бескорыстие Кинга.

Наконец Кинг с Кайлесом вышли из номера. Абернети задержался. Кайлес сразу же прошел вниз, а Кинг медлил у зеленых перилец балкона. Было 6 часов вечера. Начинало темнеть. Тянуло прохладой.

В последний миг предчувствия, видимо, покинули его, и Кинг не смотрел за гребешок стены на Мэлбери-стрит, чуть-чуть вверх и вправо, на освещенную солнцем восточную стену двухэтажного дома. Он смотрел вниз, на готовых к отъезду товарищей. Внизу у балкона стоял черный «кадиллак», присланный для разъездов владельцем негритянского похоронного дома. Возле «кадиллака» ждали помощники — Джесси Джексон, Эндрю Янг и шофер Соломон Джонс. Они были готовы к «пище для души», застольным разговорам и шуткам и к

митингу, назначенному на поздний вечер.

Кинг стоял у зеленых перилец, ожидая замешкавшегося Абернети.

— Ты знаком с Беном, Мартин? — спросил его Джексон, показывая на Бена Бранча, чикагского негра-музыканта. Бен должен был выступить на митинге.

— Ну как же, — улыбнулся Кинг, опершись на перильца, — Бен — мой человек...

— Спой для меня сегодня, — обратился он к Бену. — Спой мне, пожалуйста, «О боже драгоценный, возьми меня за руку». Спой получше.

— Спой, Мартин, — отозвался Бранч. Он знал этот грустный негритянский спиричуал.

— Уже прохладно. Не лучше ли вам надеть пальто? — посоветовал Кингу шофер.

— Верно. Надену, — ответил Кинг и, произнося эти два слова, слегка нагнулся над перильцами, словно желая быть ближе к этим дорогим ему людям, которые любили его, берегли его, гордились им, заботились о нем, как заботятся о старших, уважаемых, мудрых, но рассеянных товарищах.

Он слегка наклонился к ним, держась руками за зеленые перильца, и в этот миг его ударила пуля, его друзья услышали звук выстрела, и смертоносная сила стремительно летящих девяти граммов свинца опрокинула его коренастую фигуру. Раскинув руки, Кинг рухнул навзничь на цементный пол балкона. Кровь рванулась из шеи. Джеймс Рэй оказался первоклассным убийцей. Пуля попала в шею справа, пробила шейные позвонки.

Широко открытые миндалевидные глаза Кинга смотрели на подбежавшего Абернети.

Говорить он не мог.

Клиническая смерть наступила через час, но с жизнью он распростился в ту самую минуту, когда его опрокинула пуля, и друзья ринулись на балкон и, окружив лежащее тело, тянули руки чуть-чуть вверх и вправо, в направлении как раз той освещенной солнцем стены, откуда пришел звук выстрела.

Уже гудели полицейские машины. Уже щелкали фотокамеры, жужжали киноаппараты, но еще не прибыла машина «скорой помощи», и он еще лежал навзничь — согнутые в коленях ноги, раскинутые руки, черный костюм и лицо, прикрытое белым полотенцем, и кровь растекалась на цементном полу возле его головы...

Поэт прав: у горя бешеный бег, и особенно в век телевизора. Америка была как человек, перед которым вдруг предстал грозный, непререкаемый судья, встряхнул за шиворот так, что прочь посыпалась шелуха текучки, и приказал: загляни в свою душу!. Неужели не видишь, что там творится?

По стране катились волны потрясения и траура, хотя у миллионов, да, у миллионов — кто посмеет это отрицать?— была мстительная радость, удовлетворенная злоба: наконец-то этот надоевший смутьян, этот «нигер», которому больше других было надо, схлопотал то, что ему давно причиталось. И где-то, ускользнув от мемфисской полиции, мчался на своем белом «мустанге» Джеймс Рэй и, вслушиваясь в лихорадочную скороговорку дикторов, усмехался, убедившись, что дело сделано, и сделано хорошо.

В Белом доме над трауром властвовал страх: каким эхом отзовутся гетто? Впрочем, эхо угадать было нетрудно. Надо было упредить его или хотя бы ослабить. Президент, выйдя к телекамерам, призвал американцев «отвергнуть слепое насилие, которое поразило доктора Кинга, жившего ненасилием». Так господствующая Америка нашла нужную амплитуду: насилие — ненасилие. Насилие — ненасилие...

Эти слова миллионы раз повторялись в траурные дни в эфире, на газетных полосах, слышались с телеэкранов. Какое насилие? Какое ненасилие? Во имя чего? Осуждали насилие убийцы, но не для того, чтобы упразднить ежечасное насилие системы над обездоленными, а для того, чтобы отговорить их от насилия. Комментаторы, как шаманы из племени навахо, заговаривали, заговаривали, заговаривали нестерпимую негритянскую боль.

Но власти знали слабости словесной терапии. Первыми спохватились мэр Мемфиса Генри Леб и губернатор Теннесси Буфорд Эллингтон. Врачи зарегистрировали смерть Кинга в 7.05 вечера по мемфисскому времени, но уже с 6.35 мэр Леб ввел в городе комендантский час. Губернатор Эллингтон появился на телеэкране, чтобы начать с соболезнования, а кончить сообщением о вводе в Мемфис четырех тысяч национальных гвардейцев, которых как на беду вывели лишь накануне, в среду. Самолеты национальной гвардии везли полицейских, специально тренированных для подавления мятежей. Район у мотеля «Лорейн» был оцеплен и огражден полицейскими барьерами. Этот район стал опасен, как магнит притягивая сломленных горем негров. Они шли туда, чтобы выпрямиться в гневе.

Черное горе загоняли с улиц в дома, дробили, рассекали. Ночью с крыш стреляли в полицейские машины. У одной машины пуля разбила

ветровое стекло, и два полицейских, поцарапанных осколками, попали в тот же госпиталь, где лежало тело Кинга. Кое-где в полицию летели кирпичи.

Над официальным трауром витал страх, над негритянским—гнев и ярость, но та ярость, которая выдает бессилие. Я помню митинг в пятницу днем в Центральном парке Нью-Йорка. Обличения были гневными, но как отомстить? Тысячи вышли на Бродвей, двинулись к Сити-холл. Нью-йоркская полиция любезно приостановила автомобильное движение. Но к тысячам привыкли, тысячами никого не проймешь, нужны действия миллионов, сплоченных вокруг ядра тысяч. Их не было.

Утром в пятницу Стоили Кармайкл собрал пресс-конференцию в Вашингтоне. В негритянском районе, на 14-й стрит Норт-Вест, где стены домов были уже оклеены портретами «апостола ненасилия», возбуждение электрическим током било от стремительных кучек чернокожих людей и первые кирпичи летели в витрины магазинов белых торговцев. Худой, порывистый, со светло-коричневым лицом мулата Стокли Кармайкл считал, что час пробил. Его слова дымились бикфордовым шнуром, протянутым к динамиту 14-й стрит, к полумиллионному негритянскому населению столицы. Это были не вопросы и ответы, а призывы к действию, kloкочущая ненависть к белой Америке.

— Когда вчера белая Америка убила доктора Кинга, она объявила нам войну... Восстания, которые сейчас происходят в городах этой страны, — лишь цветочки по сравнению с тем, что вот-вот должно случиться. Мы должны отомстить за смерть наших лидеров. Мы оплатим свои долги не в залах суда, а на улицах. Белая Америка еще поплачет за то, что убила доктора Кинга. Черный народ знает, что он должен достать оружие. Черные каждый день погибают во Вьетнаме. Ну что ж, пусть они заберут с собой на тот свет как можно больше белых...

Достать оружие... Этого боялись больше всего. В те траурные дни заклинали негров от насилия не только правящая Америка, но и большинство негритянских лидеров. Рой Уилкинс и Уитни Янг, выступая с некрологами по телевидению, были мертвее Кинга — гетто не признавало «белых негров». Но даже нью-йоркские активисты «Конгресса расового равенства», который своим радикализмом примыкал к Стокли Кармайклу, вышли на улицы Гарлема, успокаивая взбудораженные толпы. В Нью-Йорке грозовые тучи разряжались усилиями многих. Мэр Джон Линдсей, выказав немалое личное мужество, три дня и ночи вышагивал по улицам Гарлема и

бруклинского гетто, уговаривая, уговаривая, уговаривая...

Но Вашингтон дымил уже в четверг вечером и взорвался в пятницу. К трем дня дымы пожаров как траурные стяги повисли над негритянскими кварталами столицы, и весенний ветер потянул их к центру, к Белому дому, к реке Потомак. В гетто горели лавки белых торговцев, полицию угощали камнями, слышалась стрельба.

Искры беспорядков залетали в центр города, и там бушевала паника. Не дожидаясь окончания рабочего дня, тысячи правительственных служащих бежали из контор. Казалось, что корабль накренился и вот-вот потонет, что в панике, пожарах, стрельбе потонет флагман американской империи.

Тысячи машин, бампер к бамперу, медленно покидали город, опасливо сторонясь гетто. Служилый Вашингтон дезертировал в соседние штаты Мэриленд и Вирджинию. Чиновники и бизнесмены, не найдя такси, не попав в переполненные автобусы, скорым шагом торопились по Мемориальному мосту на другую сторону Потомака, подальше от негров.

Это был невиданный символический исход той Америки, которую хотел потрясти доктор Кинг своим походом бедняков и которую сейчас до смерти испугала яростно-траурная стихия гетто.

О если бы видел Кинг, какими противоречивыми и выразительными символами скорби, лицемерия, протеста была наполнена американская столица! Солдаты в касках и походной форме стояли у пулеметов на широких ступенях Капитолия, который так и остался глух к его требованиям работы или дохода для бедняков. Белый дом — главный дом белой Америки — смотрелся на фоне черных клубов дыма, гостинцев Америки черных. Над Белым домом был приспущен флаг, и 75 солдат, раскинувшись в цепочку, охраняли его ворота — двойная реакция траура и предосторожности.

Все двоилось, и двоилось противоречиво. 5 апреля президент издал две прокламации: о национальном трауре в воскресенье 7 апреля и о немедленном вводе в столицу регулярных войск. Две тысячи солдат заняли позиции возле правительственных зданий, у иностранных посольств. Из форта Майер, неподалеку от Вашингтона, перебросили 500 солдат 3-го пехотного полка. Рослых и холеных, их держат для почетных караулов и церемониальных встреч. Теперь они облачились в будничное хаки для встречи с простонародьем. Еще две тысячи солдат национальной гвардии были приведены в состояние готовности.

Уолтер Вашингтон, мэр города и, между прочим, негр, ввел комендантский час с 5.30 вечера до 6.30 утра.

В полдень в Вашингтонском кафедральном соборе шла траурная

служба. Церковный хор пел тот самый негритянский спиричуал, который Кинг заказывал Бену Бранчу: «О боже драгоценный, возьми меня за руку, води меня, дай мне выстоять, я устал, я слаб, истощен.

Сквозь бурю и ночь води меня к свету, о боже драгоценный...»

В соборе было четыре тысячи человек во главе с президентом Джонсоном. Белых больше, чем черных. В полицейских участках наоборот: две тысячи арестованных негров к концу первого дня волнений. Пять убитых — этой цифрой полиция доказывала свою умеренность.

Официальный траур вооружился до зубов и маршировал по десять в ряд — винтовки наперевес, газовые маски, как свиные пяточки, на солдатских лицах. Официальный траур был громок, нервно кричал сиренами полицейских и пожарных машин, скрежетал тормозами, слышался в радиоголосах полицейских диспетчеров. В ночь на субботу в столицу были вызваны дополнительные войска — части авиадесантной дивизии, усмирявшей в июле 1967 года негров Детройта.

Траур негритянский на мили тянулся дымами пожарищ, обгоревшими руинами. Уцелевшие стальные балки сиротливо чернели на фоне оранжевого неба.

Траурный протест был слеп, необуздан и безнадежен. К скорби добавлялась уголовщина. Костюмы, шляпы, галстуки и цветные телевизоры растаскивались из магазинов. Они были все-таки детьми своего «потребительского общества», разжигающего страсть к вещам и закрывающего путь к ее удовлетворению.

«Мы очень больны. Страна больна, если, узнав об убийстве лауреата Нобелевской премии мира, каждый со страхом думает, что его смерть явится сигналом к насилию и поджогам и что первым памятником ему будут дети, выбегающие из горящих домов», — писал обозреватель Мэртэй Кемптон.

Из десятков городов шла траурная хроника — церковные службы, пожары, приспущенные флаги, треск выстрелов, молчаливые марши, вой полицейских и пожарных сирен, портреты в черных рамках, слезоточивые газы, причитания негритянок, застывшие улыбки голых манекенов, выброшенных из витрин... Гетто плакали и взрывались долгих пять дней, до 9 апреля — дня похорон, когда воцарилась наконец тишина, в которой плыл колокольный звон и тысячи голосов по всей стране пели «Мы преодолеем» — гимн борцов за равенство. Чикаго, Балтимор, Детройт, Цинциннати, Буффало, Канзас-сити, Ньюарк — более чем в ста городах вырвались вспышки протеста. Их погасили полицейские и 61 тысяча солдат национальной гвардии — самое большое число солдат, когда-либо введенное в американские города. 39

убитых, 2 тысячи раненых. Более 10 тысяч арестованных...

И, может быть, лишь один человек из двухсот миллионов черных и белых американцев был спокоен в эти дни. Доставленный самолетом в родную Атланту, он лежал в коричневом гробу с бронзовыми ручками среди хризантем, гладиолусов, лилий. Он лежал в застекленном гробу— черный пасторский костюм на белой обивке гроба, покатый лоб, жесткая щетка коротких негритянских волос, шершавые бугорки на щеках, толстые, твердо сомкнутые губы большого рта.

«Апостол ненасилия» не ведал, какой ураган вызвала его смерть. Он спокойно лежал, а на негритянском кладбище «Южный вид» на большой белый могильный камень наносились слова: «Свободен наконец. Свободен наконец. Спасибо, боже всемогущий, я свободен наконец». И к гробу в часовне духовного колледжа, опоясав кварталы улиц, выстроилась очередь длиной в полтора километра. Она двигалась день и ночь, не укорачиваясь, и в ней было много черных бедняков, прощавшихся со своим Моисеем.

А на телеэкранах, на страницах газет и журналов мемориально возникало лицо живого Кинга — сильный, напряженный зев рта, зев грозного неистового трибуна.

Его хоронили торжественно и широко, как ни одного негра в американской истории. 150 тысяч человек прошли за гробом последний путь в четыре мили, от церкви Эби-незер, где он был пастором, до колледжа Морхауз, который он окончил 20 лет назад. На траурной службе в его церкви знать перемешалась с простым людом — от вице-президента Хэмфри до прихожан покойного. Вдова Кинга и четверо его детей. Ральф Абернети и близкие друзья и соратники. Кинг-старший, переживший сына, — когда он впервые увидел мертвого Кинга-младшего, с ним случился обморок. Жаклин Кеннеди, вдова убитого президента. Роберт Кеннеди, еще не убитый, не знавший, что смерть ждет его через два месяца в Лос-Анджелесе. Были все другие претенденты на Белый дом—Ричард Никсон, сенатор Юджин Маккарти, Нельсон Рокфеллер.

Они объявили траурную паузу в своих предвыборных кампаниях и теперь агитировали фактом своего присутствия у гроба Кинга. Негритянские голоса не помешают на выборах.

...И люди в церкви, где проповедовали Кинг-старший и Кинг-младший и где теперь вел службу пастор Ральф Абернети, услышали еще раз страстное, с налетом мистицизма, но и земное красноречие Кинга. Оказалось, что этот человек, долго ходивший рядом со смертью, выступая в феврале в этой церкви, говорил о том, какую бы речь он хотел услышать над своим гробом. Включили магнитофонную

запись, и над гробом Кинга загремели слова Кинга, трепетные, как пульсации обнаженного сердца:

«Я полагаю, что время от времени все мы думаем реалистично о том дне, когда станем жертвой общего знаменателя жизни, того, что мы называем смертью...

Я хочу, чтобы вы сказали в тот день, что я пытался быть справедливым. Я хочу, чтобы вы смогли сказать в тот день, что я пытался накормить голодных. Я хочу, чтобы вы смогли сказать, что при жизни своей я пытался одеть нагих. Я хочу, чтобы вы сказали в тот день, что при жизни своей я пытался навещать тех, кто в тюрьмах. *И* я хочу, чтобы вы оказали, что я пытался любить человечество и служить ему.

Да, если вы хотите, скажите, что я был барабанщиком. Скажите, что я был барабанщиком справедливости. Скажите, что я был барабанщиком мира. А все остальное не важно. После меня не останется денег. После меня не останется роскошных прекрасных вещей. Но я хочу оставить за собой жизнь, отданную делу.

И это все, что я хочу сказать...»

Его голос взлетал и падал, и слова толчками били в уши и сердца пестрой публики.

Да, это были внушительные похороны и чем-то странные. В чем же была странность? В чем был налет нереальности, которой недолго существовать? Странные тем, что теперь та Америка, которая создавала атмосферу для мемфисского выстрела, пришла к гробу Кинга с намерением канонизировать его на свой лад, обезопасить его посмертно, отнять у обездоленных, во имя, конечно, «братства и единства нации». У гроба продолжалась борьба за наследие Кинга, и рядом с подлинными наследниками объявились лженаследники, обмазывавшие его показным елеем той системы, против пороков которой он все неистовее восставал в свои последние дни.

Этих лженаследников нельзя было отогнать от гроба, но они натолкнулись на молчаливый, твердый отпор. Не в торжественном катафалке, а на паре мулов, впряженных в простую фермерскую повозку с высокими деревянными бортами, везли гроб от церкви до колледжа, где состоялся траурный митинг. На мулах, этом рабочем тягле издольщиков американского Юга, которым мало что перепало от автомобильного изобилия их страны. И Эндрю Янг, Джесси Джексон, другие друзья Кинга подчеркнуто оделись в фермерские комбинезоны, ветхо серевшие среди черных траурных костюмов.

Был солнечный день, резкие тени на тротуарах. В тишине

позвякивали колеса этой странной, взятой с пыльных проселочных дорог повозки. И в ней лежал гроб, а на бортах ее были дружеские, преданные руки. *И* такие же руки вели под уздцы лопоухих мирных мулов.

Телекомпания выставила свои посты по всему маршруту. Недреманное телеоко вдруг выхватывало забывших о трауре сенаторов с тренированными, умно-усталыми улыбками, и тогда они, шестым чувством политиков почувствовав себя на телеэкране, покорялись властному контролеру и поспешно стирали улыбки с лиц. Но широким шагом шли за гробом десятки тысяч американцев, приехавших отовсюду в Атланту, чтобы у гроба Кинга бросить вызов расизму.

«Мы преодолеем...»—эта песня летала над колонной, которой, казалось, не будет конца. Этой песней завершился траурный митинг на лужайке колледжа Морхауз. Впервые после марша на Вашингтон в августе 1963 года собралась такая несметная масса борцов за равенство, черных и белых. И, взявшись за руки, раскачиваясь в такт мелодии, они выводили печально, гордо, решительно: «Мы не боимся. Мы не боимся. Мы не боимся сегодня. Глубоко в сердце я верю: когда-нибудь мы преодолеем».

Президент Джонсон на 8 апреля назначил было выступление перед обеими палатами конгресса, дав понять, что объявит большую программу помощи неграм. Потом,- когда утомили гетто, а конгрессмены запротестовали против «спешки», президентская речь была отложена и совсем отменена.

Через неделю после похорон Кинга мне довелось побывать в Вашингтоне. Дымы пожаров уже не заволакивали апрельское синее небо. Войска исчезли, «мятежники» ждали суда либо попрятались. Блюстителей порядка осыпали комплиментами за умеренность. На 14-й улице рухнувшие стены неровными горами кирпича лежали вдоль тротуаров. Прохожие спешили по своим делам как ни в чем не бывало, погруженные в себя, не оглядываясь на пожарища, на руины. До чего быстро привыкает ко всему «средний американец»!

Через несколько дней после убийства уже сказывалась горькая правота мэра Нью-Йорка Линдсея, назвавшего национальный траур «однодневным зрелищем совести». Время трогательных некрологов «апостолу ненасилия» быстро проходило. Разговор о судьбе гетто втягивался в привычные рамки: стрелять или не стрелять в негров, когда они покушаются на собственность?

Ральф Абернети, преемник Кинга, знал, что лучшим памятником

покойному лидеру будет «поход бедняков» на Вашингтон. Приготовления к походу заканчивались, но уже тогда было ясно, что дело не очень ладится и что конгресс, Белый дом и, разумеется, вашингтонская полиция настроены решительно против похода.

Я еще раз навесил Вашингтон во второй половине июня, перед самым отъездом из США. На Арлингтонском национальном кладбище трава пробивалась сквозь неплотные шершавые плиты на могиле Джона Кеннеди и двух его детей. И слева, на склоне холма, уже стоял среди травы скромный белый крестик, пометивший могилу сенатора Роберта Кеннеди, еще не ставшую монументальной. Туристская толпа в небрежных летних одеждах щелкала фотоаппаратами. А по другую сторону Потомака, у подножия мавзолея Линкольна, где сидит, положив длинные худые руки на подлокотники кресла, мраморный суровый дровосек, выросший в президента — освободителя негров, был раскинут палаточный, дощатый, фанерный городок бедняков. Если выйдешь за ограду этого городка к прямоугольному длинному пруду, закованному в гранит, то слева, сверху, на тебя глядит Линкольн, а далеко направо победно парит в воздухе купол Капитолия. Но Линкольн давно молчит, он давно не заступник. А конгресс был гневен на фанерно-парусиновое безобразие, портившее лучший в столице вид.

Когда мы подошли, у пруда, окруженный кучкой репортеров, стоял человек с широким темным лицом, одетый в фермерскую робу. Ральф Абернети. Он что-то говорил журналистам. Их было мало. Городок уже не раз громила полиция, эта сенсация становилась однообразной, к ней теряли интерес. Пикеты бедняков у министерств, депутатии, любезно выслушанные министрами, не дали практических результатов. Власти угрожающе требовали сворачивать кампанию, ссылаясь на антисанитарные условия в городке, которые, не дай бог, заразят чиновно-стерильный Вашингтон, и на то, что срок действия разрешения истек. Абернети делал все, что мог, но в его решительности пробивались нотки растерянности. Сказывалось отсутствие Кинга. Не было предполагавшейся массы участников, прежнего динамизма, широкой поддержки со стороны.

Я вернулся в Нью-Йорк и через день, просматривая газету, увидел широкое лицо Абернети за решеткой полицейского фургона. Бедняков разогнали дубинками, их городок разгромили и сожгли. В стремительной пулеметной очереди газетных заголовков два привлекли мое внимание: «Комиссия палаты представителей холодна к призыву Джонсона о жестком контроле над продажей оружия», «Абернети получил двадцать дней; беспорядок в столице уменьшился».

Так кончился поход бедняков...

Преодолеют ли они? Они должны преодолеть. Они не могут не преодолеть. Они преодолеют «когда-нибудь», как предусмотрительно оговаривает их песня.



**ЯРОСТНАЯ
КАЛИФОРНИЯ**

1

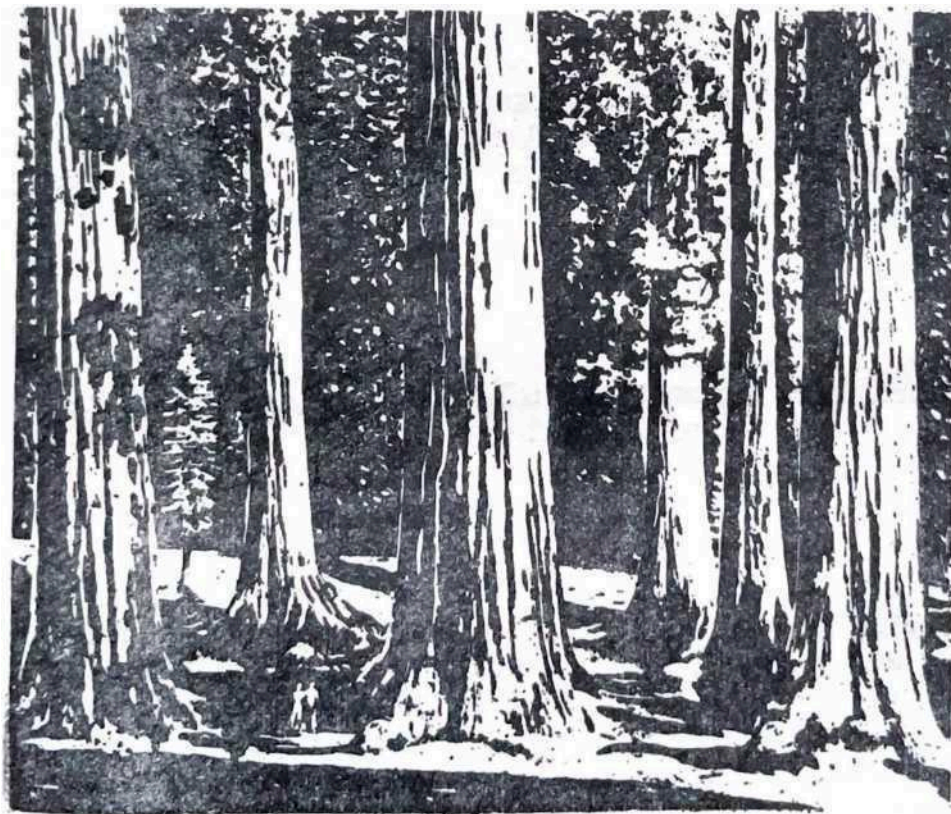
— Вася, старик, — кричу я в телефонную трубку, — *и* еще закажи миллионера.

И слышу хрипловатый, энергичный, насмешливый голос Васи:

— Что, брат, миллионера тебе захотелось?..

Не так уж трудно заказать миллионера, если путешествуешь по Штатам с рекомендательными письмами знакомого редактора «Бизнес уик» и к тому же сам — корреспондент «Экономической газеты», каковым и являлся Василий Иванович Громека. Затем, в Америке, если верить данным федерального налогового управления, девяносто тысяч миллионеров, больше, чем, к примеру, зубных врачей, хотя никто в мире не приучен так заботиться о зубах и улыбке, как американцы. Наконец, я заказываю миллионера из Лос-Анджелеса, из Южной Калифорнии, где этот человеческий подвид плодится, пожалуй, даже быстрее, чем на нефтяных полях Техаса.

Уже несколько недель Василий Иванович в пути — с женой Таней и машиной марки «фьюри», изделием автомобильной корпорации Крайслер. В трансконтинентальном пути. Сейчас он в Техасе и из мотеля в Хьюстоне посягает на смету нью-йоркского корпункта «Известий» методом «коллект колл», то есть телефонного вызова, за который расплачивается вызываемый.



Когда операторша спросила, готов ли я оплатить звонок мистера Громека, я ответил: да, готов!

Не возражаю.

Плачу.

На калифорнийском отрезке своего долгого пути он берет меня третьим в темно-синюю «фьюри» фурию, ярость, благородную, целеустремленную ярость двухсот лошадиных сил.

Сидя за письменным столом в Нью-Йорке, я завидую Васе, который словно дразнит меня звонками из разных городов. Я тоже давно мечтал о таком вот неспешном трансконтинентальном путешествии по Америке. Помешала текучка, беличье вращенье корреспондента ежедневной газеты на орбитах страны, где события догоняют, перегоняют и захлестывают друг друга и людей, призванных следить за ними. Помешала боязнь покуситься на время, которое принадлежит газете. И, что скрывать, обмануло вечное, неразумное, но неискоренимое российское ощущение, что все впереди и некуда торопиться. А теперь позади шесть с половиной американских лет, а впереди — всего лишь месяц, сроки отъезда согласованы, преемник сидит в Москве на чемоданах. Уже несбыточна давнишняя мечта, но лучше что-то, чем ничего, и я с радостью хватаюсь за предложение проехаться по Калифорнии — от Лос-Анджелеса до Сан-Франциско через Йосемитский национальный парк и курортный городок Кармел на Тихом океане.

Миллионер, заказанный по телефону, — штришок программы. Без Калифорнии трудно обойтись, если всерьез интересуешься Америкой. Это быстро развивающийся, самый населенный из пятидесяти штатов. Там живет десять процентов всех американцев, и многие из них уверены, что именно Калифорния, а не дряхлеющий Нью-Йорк будет лидировать в последней трети нашего века и первой, как бога за бороду, потрогает век XXI.

2

И вот 21 мая 1968 года — определимся точно во времени — рейсом номер один компании «Транс Уорлд Эрлайнс» лечу в Лос-Анджелес, Лечу, а не еду — четыре тысячи километров за пять часов. И Америка ли за овалом иллюминатора? Тучки небесные — вечные странники закрыли белесым космополитическим ковром все национальные приметы лежащей внизу земли.

Но в чреве «Ди-Си-8» Америка в двух популярных ее ипостасях

комфорта и рекламы. Комфорт скромненький, туристского класса, — чистенько, но тесновато, ног не вытянуть, правый свой локоть удерживаешь, блюдя границу с соседом на общем подлокотнике кресла. Словом, как в Аэрофлоте. Но этого скупотмеренного комфорта касается дирижерская палочка рекламы и с минимумом затрат приносит максимум психологического эффекта, превращая рядовой комфорт в экстремум. Нужно, правда, твое согласие на некую операцию, твое участие, пусть подсознательное, в некоем ритуальном таинстве современного культа сервиса. И вот ты уже в области возвышающихся метаморфоз.

Итак, ты летишь туристским классом, и досадный червячок неполноценности нет-нет да и шевельнется в тебе. Какие, однако, пустяки! Легкий сеанс психотерапии, и нет туристского класса, хотя осталось то же тесное кресло и локоть соседа по-прежнему елозит на узкой разграничительной меже. Все, что за шторками первого класса, что было оскорбительным вторым и легкомысленным туристским, стало нейтральным «коуч» — каретой, дилижансом, пассажирским плацкартным вагоном. Странно, но романтично и даже респектабельно. И милый девичий голосок, которому ты заказывал по телефону билет, возвел тебя в пассажиры воздушного дилижанса, а также интригуяюще подключил к клубу избранных, прошелестев в ухо: «Это будет полет с иностранным акцентом. В пути вас ждет обед из трех блюд и фильм «День злого револьвера».

И вот ты летишь в карете, опытные кучера из пилотской кабины погоняют тысячи лошадиных сил, но этим не исчерпаны приятные метаморфозы, ибо на той же ярмарке тщеславия твой крылатый дилижанс переименован еще и в «пентхауз», а что такое пентхауз, как не мечта миллионов, как не роскошное жилище богачей на самых верхних этажах манхэттенских домов, где лифт для тебя одного и твоих домочадцев, и огромные балконы-солярии, воздух почище, шума поменьше, деревья в кадках под окнами, — те самые деревья в поднебесье, которые смущают людей, впервые задирающих головы перед небоскребами.

«Пентхауз Манхэттена» — фирменная марка рейса, которым доставляет тебя в Лос-Анджелес компания TWA, и это не пустой звук, а почти действительность. Ты желанный гость на некоем рауте: свет в кабине интимно приглушен, золото сладострастно вспыхивает на вечерних туалетах стюардесс, и разве трудно забыть, что золото это снимут и выбросят в мусорную корзину уже в лос-анджелесском аэропорту — оно синтетически-бумажное, одноразовое.

Включайся в эту игру, прикупив за доллар стакан виски с содой. Включайся... И уже развернут в проходе миниатюрный экран, и кинолуч, высветив высокие спинки кресел и затылки впереди сидящих

пассажиров, начал предсказанную повесть о дне злого револьвера. Напрягшись четырьмя своими двигателями, прекрасная рабочая машина, переименованная в пентхауз, стремится на запад в ледяных, уже темных высотах, а ногам твоим тепло, над головой плывут раскаленные, кинематографически-красивые пески где-то в Аризоне, недалеко от Мексики, и, утопая в этих песках, два длинноногих бродяги с револьверами потешают тебя кровавыми и глупыми приключениями...

Где же я? В кабине самолета? В манхэттенском пентхаузе? В аризонских песках? Кто я — пассажир, летящий по своим делам и заботам, невольный гость на вечеринке, где мило хозяйничают вот эти, в золоте и с высокими прическами, девушки — покрасивее для первого класса, поплоче для дилижанса, или кинолюбитель — оригинал, смакующий историю злого револьвера на высоте десяти и на скорости в восемьсот километров?

И как странно, как кощунственно, черт побери, что меня не увлекает перспективная идея кинопроката в самолете, которая со временем и с известным запозданием придет, я думаю, и в Аэрофлот, а пока здесь, в американском небе, да еще на трансокеанских трассах развивает великую рекламную концепцию жизни как сплошного удовольствия и развлечения? Ме потому ли, что этот реактивный кинопрокат сродни громкоговорителю на городской площади или транзистору в руках глупого энтузиаста, убивающего лесную тишину? В дороге, как ни коротка она, хочется по старинке побыть с самим собой, без киноактеров Глена Форда и Артура Кеннеди, и даже без игры в пентхауз. А может, я просто устал от рекламных штучек, прожив в стране, где людей кормят и кормят всяческой, но преимущественно коммерческой, информацией? А может быть, все дело в данном дурацком фильме, в контрасте между вульгарностью вкусов и динамизмом технического прогресса, буднично забросившего кинопрокат в чрево рейсового самолета, — будь иным преобладающий вкус, иным был бы и фильм.

Я сую в кармашек кресла наушники в целлофановом пакетике, принесенные стюардессой, и вынимаю блокнот со старыми записями о Лос-Анджелесе. Не дает, однако, покоя эта пара в серых штанах на фоне красивых желтых песков, слепящего солнца и глухих мексиканских построек. Поглядываю на экран, но не одеваю наушников и мстительно обрекаю пару на немоту. Они беззвучно разевают рты, беззвучно стреляют, выхватывая свои револьверы, — который из них злой? — беззвучно страдают, привязанные к кольям, плашмя распростертые на жгучих песках под жгучим солнцем. По моей воле они все делают молча — спасают от индейцев пленительно беспомощных белых леди с детьми, убивают краснокожих, а потом коварного и тучного злодея

мексиканца в сомбреро, а потом даже капрала американской армии и всюду пока выходят сухими из киноводы среди пустыни...

В старом блокноте мало записей о Лос-Анджелесе.

В апреле — мае 1962 года мы с товарищем пересекли Америку поездом из Нью-Йорка до Сиэтла, где открывалась международная выставка «Век XXI», а потом спустились южнее — в Портленд (штат Орегон), Рено (штат Невада) и в Сан-Франциско и Лос-Анджелес. За три дня пути в Сиэтл из-под стеклянного купола полуторазэтажного «наблюдательного вагона» открылось больше, чем сейчас за пять реактивных часов. Поражали и ухоженные поля Айовы, добротные постройки, церковные маковки силосных башен и пустынное безлюдье плоскогорий Вайоминга, опровергавших традиционное представление о сплошь обжитой, густо заселенной и сверхиндустриальной стране. В захолустном городишке Грин-ривер пассажиры чуть ли не с подножек прыгали в поджидавшие их автомашины, а со страниц, местной газетки несло глухой, хотя и самоуверенной тоской. Листая старый блокнот, я вспоминал, как сильна была во мне наивная и, конечно, пристрастная тяга механистически сравнивать все и вся. Америка подавляла множественными знаками превосходящего технического прогресса и материального изобилия, но тем зорче и радостнее я фиксировал области нашего лидерства, записывая, например, что по четкости железнодорожного движения мы опередили американцев — поезда все время опаздывали, и игнорируя диалектику капиталистической конкуренции, отбросившей железную дорогу во вчерашний и даже позавчерашний день рывком дешевых и маневренных автомобильных перевозок.

На Лос-Анджелес выпало два облегченно-туристских дня перед возвращением в Нью-Йорк. Привечал нас Совет международных дел — общественная добровольная организация с чересчур громким именем и деловым гостеприимством для иностранцев-транзитников, решивших мельком поглазеть на местные диковины. Чем был для нас Лос-Анджелес? Жалким соперником обаятельного Сан-Франциско. Безвестным и безликим городом, приютившим знаменитый Голливуд. И так же, как в Каире ездят к великим пирамидам Гизы, так мы поехали к «Китайскому театру», где с конца 20-х годов на плитах перед входом увековечивали в бетоне отпечатки рук, туфель и ботинок голливудских кинозвезд — экстравагантный, уже вышедший из моды, недолговечный способ расчеркнуться в истории. Доброжелательная дамочка из совета повезла нас и в Биверли-Хилс — городок-оазис на тридцать пять тысяч человек, на зеленых холмах которого некогда водились бобры (Биверли-Хилс Бобровые холмы), а теперь — кинозвезды, телесветила и миллионеры другого профиля. Для нашей дамочки их особняки были

музеями идеально счастливой жизни. Испросив разрешения у прислуги знакомой кинозвезды, по каким-то делам временно отлучившейся из своего жилища, она провела нас через комнаты, гостиные, спальни, кухню к бассейну. В богатом доме роскошь щеголяла легкостью, обилием света и стекла. Наша дама завидовала своей кинозвезде бескорыстно, молила нас о восхищении, и мы не поскупились на восхищение, а также на утешения, когда в старом «бьюике» она привезла нас на чашку кофе в свой дом, стократно извинившись за его скромность, хотя и ее дом был весьма недурен по нашим стандартам.

На живописной улочке Олвера, в мексиканском районе Лос-Анджелеса, вечером былолюдно и хорошо. Американцы обожают экзотику, а там экзотики было вдоволь и под рукой — экзотики кустарных изделий и острой, наперченной пищи в стране индустриального потока и пресных «хэмпбургов», экзотики сомбреро, кастаньет, плетеных корзиночек, прекрасных народных песен и танцев. Экзотики сердечности и простодушия. Американцу нравится говорить «амиго» (исп. — друг), отрекаясь на пару часов от сухого «мистер». А когда гитарист со смуглым лицом и иссиня-черными волосами, он же конференсье и знаток всемирного репертуара, узнал, что в его ресторанчике, остужая острую пищу мексиканской текилой, сидят два амигос из России, грянуло «Эй, ухнем!», и нам в первомайский вечер стало весело в Лос-Анджелесе, не подозревавшем о празднике.

Запомнился еще один эпизод, но другого порядка, — визит в лос-анджелесскую штаб-квартиру «Общества Джона Берча». Наши новые знакомые из Совета международных дел не знали адреса берчистов, считая их шумливой, но никчемной и незначущей группкой экстремистов. После долгих расспросов мы обнаружили адрес простейшим путем — в пухлой телефонной книге, которыми снабжены все номера всех отелей и мотелей Америки. Помещение на улице Серана, 618, было невелико и пусто. На столе и стеллажах литература — двадцать выпусков берчистского издания «Американское мнение», которое обличает коммунистов, либералов, Африку, Азию, Латинскую Америку и многое-многое другое. В книжном шкафу красовались за стеклом портретик невзрачного капитана Джона Берча, именем которого названо общество, и неперемный звездно-полосатый флаг — флагу-то присягают все, от крайне правых до крайне левых. «Голубая книга» — «Майн кампф» президента общества, кондитерского фабриканта Роберта Уэлша — голубела лоснящимся переплетом.

Во второй комнате болтала по телефону молодая особа, довольно привлекательная. Набрав брошюрок, мы подошли к ней, и когда она повесила трубку, мой товарищ, не тратя времени на психологическую подготовку, сказал: «Может быть, вас это удивит, но мы советские

журналисты». Это удивило ее, да так, что багровые круги пошли по лицу Жаннет Маклоски, любимой дочери мелкого бизнесмена из Колорадо, сидевшей здесь за столом не ради долларов, а по призванию. Но никогда не преуменьшайте выдержки американца, особенно американца, который по роду своих занятий общается с прессой. Жаннет Маклоски быстро справилась с волнением, хотя прелестный майский полдень обрушил на нее колоссальную проблему: как перепрыгнуть от теоретической ненависти к врагам к конкретной ненависти к двум молодым, любезным, приличным, что называется, людям, не внушающим особого страха? В жизни своей Жаннет лишь раз видела живую американскую коммунистку, да и ту мельком.

Тем не менее, не забывая улыбаться, она бесплатно нагрузила нас полным собранием берчистской литературы, а также «Коммунистическим манифестом» в издании «Общества Джона Берча».

— Мы изучаем тех, против кого боремся, — сказала Жаннет. — Может быть, и вы чему-нибудь научитесь из наших публикаций.

На том мы и расстались — не только с Жаннет Маклоски, но и с Лос-Анджелесом, потому что спешили к самолету. Мы мчались по улицам, по автострадам Голливуд-фривей и Харбор-фривей, а за нами, меняясь местами, выскакивая из поперечных улиц, закладывая сложные виражи, шли три машины с агентами ФБР, и, достоверности ради, я записал номера двух из них. В машинах было шесть человек, и каждый по профессиональной натасканности на крамолу и рвению «охотников за ведьмами» годился в наставники молоденькой берчистке: уходя в отставку, штатные сыщики частенько становятся активистами и агитаторами «Общества Джона Берча»...

С этим-то почетным эскортом мы неслись в аэропорт, довольные, что поездка благополучно завершилась и что к вечеру будем в Нью-Йорке со своими семьями, а над автострадами струилась майская жара и молодые люди в одних трусах, в открытых спортивных машинах напоминали двум спешащим иностранцам, что они ничего не вкусили от прелестей калифорнийской жизни, что это благословенный юг, что рядом Тихий океан и знаменитые пляжи Санта-Моника.

В Нью-Йорк летели самолетом компании «Америкэн Эрлайнс». Киносеансов в воздухе еще не было, а стюардессы не перевоплощались в хозяек манхэттенских пентхаузов. В рекламном буклете мистер Смит, президент «Америкэн Эрлайнс», завлекал пассажиров примитивной по нынешним временам, слишком лобовой лестью. Излагая философское «кредо» компании по отношению к ее клиентам, он писал: «Пассажиры обладают интеллектом, ибо только умные и прогрессивные люди пользуются воздушным транспортом». Рекламная фантазия не шла дальше устных аттестаций стюардесс, прошедших

шестинедельные спецкурсы, после которых они могли «даже облегчить вам процесс рвоты», но — лишь в силу занятости и уплотненности рабочего времени — не брались кормить вашего младенца и менять ему пеленки. «Стюардессы должны быть привлекательными и интеллигентными, — сообщал мистер Смит. — Вес от ста сорока до ста пятидесяти фунтов, рост от пяти футов трех дюймов до пяти футов девяти дюймов, возраст от двадцати до двадцати шести лет, хорошее здоровье, хорошая фигура, незамужние».

Напоив и накормив пассажиров, очаровательные стюардессы «Америкэн Эрлайнс» сидели в хвосте, возле уборных, излучая навстречу спешащим облегчиться улыбки, разученные на спецкурсах...

Между тем в «Пентхаузе Манхэттена» день злого револьвера близился к концу. И, спрятав блокнот, я с удивлением вижу, что не к «хэппи-энд» катится история, а к трагической развязке. Злой-то револьвер у того бродяги, роль которого играет опытный киноковбой Глен Форд. И когда вдвоем они все-таки одолели пустыню и пришли в маленький пыльный городок, его товарищ (известный драматический актер Артур Кеннеди) решил убить Форда. Но в последнее мгновение сам был сражен пулей из злого револьвера. Кеннеди был сражен и квалифицированно прокрутился на городской площади, вскинулся в предсмертном вздохе, затем первоклассно согнулся и финально рухнул, откинув длинные ноги в походных ботсах.

Так пассажиры скоротали полтора часа и тысячи полторы километров, и не успели Артура Кеннеди протащить, голубчика, в пыли за длинные ноги сквозь невозмутимую толпу на площади кинематографического городишки прошлого века, как под крылом нашего «Ди-Си-8» феерическими электроплитками (если вспомнить метафору Андрея Вознесенского) заплескали огни вечернего Лос-Анджелеса 1968 года, — бегущие огни автострад, неоновое ритмичное мигание реклам и вывесок, и свет жилищ, и подсветка домашних бассейнов для плавания. Ослепительный прожектор самолета добавил свое в это пиршество, и среди сонмища огней пилот без промаха нашел синие приземистые фонари, окаймившие мрак посадочной полосы, и мягко посадил машину на исчерченный тяжелыми шасси бетон аэродрома, пропускающего в год пятнадцать миллионов пассажиров, и, покачав нас в поясных ремнях, как к домашнему гаражу, подрулил к тому району аэродромного комплекса, где всюду сияли буквы TWA, сообщил местное время и погоду, поблагодарил нас за то, что мы прибегли к услугам TWA, и, попрощавшись, попросил не забывать три магические буквы, когда нужна или охота снова позвать в воздух.

А буквы множились, закрепляясь в памяти, — на боках багажной

тележки, подскочившей к грузовому люку, на карманах, спинах, шлемах рабочих в белых полотняных комбинезонах, на гармошке раздвижного коридора, который четырехугольным жерлом надвигался на открывшуюся дверь самолета. И, сказав гудбай двум девушкам в золотых платьях, устало доигрывавшим у двери роль хозяек, я шагнул на ковер коридора-гармошки под неведомо откуда льющуюся негромкую, мелодичную, нежно-успокоительную музыку, которая внушала: в этом будничном путешествии не было, как ты видел, ничего страшного, но, если ты все-таки переволновался, прислушайся, стряхни напряжение, ведь ты на земле и, хотя, увы, выходишь из-под нашей опеки, мы надеемся, что все у тебя будет ладиться, все будет так же спокойно и безопасно, как в небе между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом.

После предпосадочного запрета первая, земная, сладкая сигарета. Лента транспортера сбрасывает чемоданы на медленно вращающийся широкий металлический круг. Вот и мой желтый чемодан — некогда элегантный, купленный перед той поездкой в Сиэтл, а теперь с бахромой на всех четырех углах. Громкий смех, поцелуи и тумаки каких-то воссоединившихся друзей. Завидно. А ты один, лишенный опеки TWA и еще не определившийся на месте, где когда-то был и где, однако, все внове, — настороженный чужой человек. Ничего страшного, никаких не ждешь ты провокаций и покушений, не замечаешь даже скользящего профессионального взгляда — не встречает никто из тех парней, которые в прошлый раз провожали чуть ли не до трапа. Но есть-таки, не уходит это чувство чужого.

Впрочем, где-то среди моря огней, которое открылось с борта скользившего вниз самолета, должен быть один дружеский огонек. И ты берешь такси и говоришь молодому таксисту из мексиканцев: «Бульвар Ла Сьенега, 1775 Саут». Такси вливается каплей света в вечернюю таинственность автострад и через миллионы других частиц света несет свою каплю к сине-красному неону мотеля «Аннее», к вывеске, которая сжатым для автомобилиста языком сообщает о «свободных комнатах, ТВ, фоне (телефоне), подогревом бассейне — верх комфорта по умеренным ценам».

Мотель «Аннее» рядом с Биверли-Хилс мой коллега облюбовал, еще будучи в Техасе: он путешествует по-американски — с путеводителями «Трех Эй» (AAA — Американская автомобильная ассоциация), в которых содержатся все необходимые сведения о всех мало-мальски приличных отелях и мотелях практически всех американских городов. Кроме справочника AAA, Васе пришлось изучать и карту Лос-Анджелеса — это открытый город, в котором, однако, много районов, закрытых для совграждан. Там передвигаешься с оглядкой на

карту. Биверли-Хилс открыт полностью. В особняках на прелестных Бобровых холмах есть, конечно, свои секреты, но не те, что на авиазаводах и ракетных базах, которыми нашпигованы графство Лос-Анджелес и Южная Калифорния.

Вот он, искомый скромненький мотельчик, высунув* ший неоновые буквы «Аннее» над въездом на тесную парковку для машин постояльцев. Старичок в дежурке отвечает, что да, пара со странной фамилией уже прибыла и что соседний номер заказан для человека с не менее странной фамилией. Старичок не сверяется по документам. Заполнив коротенький бланк и получив ключ, пересекаешь асфальтированный автозагончик, замечаешь в темноте «фьюри», — и по лестнице на гале* рею второго этажа, чемодан и портфель у двери своего номера, нетерпеливо стучишь в соседний, откуда хрипловатый басок откликается по-русски: «Это ты, брат?»

Вася в двери — тощий, с живыми глазами, утонув* тими в энергичных морщинках, насмешливый и только что из душа — в резиновых шлепанцах на босу ногу, с влажными кудрями. Только что они отмахали — весь день в пути — четыреста миль по невадской и калифорнийским пустыням через пески, какие я видел на крохотном экране над темной Америкой, под таким же раскаленным солнцем, но без злого револьвера, а с бесконечной искустельно-прекрасной лентой дороги, над которой стекленело марево, такое же, как воздушный след за крыльями реактивного самолета, включившего двигатели и покотившего к стартовой полосе...

И на стол в своем номере для начала ставлю бутылку охотничьей водки и банку сосисочного фарша — то немногое, чем могу утешить коллегу, истосковавшегося по отечественному продукту в дорожных кафетериях Америки.

3

На следующее утро, едва мы успели навестить закусочную на углу, управиться с омлетом, тягучим, как спагетти, и перелистать самые стоящие из полутора сотен страниц пухлой будничной «Лос-Анджелес тайме» (в воскресном выпуске этой процветающей газеты не меньше пятисот страниц), как к мотелю «Аннес» подкатил полуспортивный приземистый «мустанг». Из него вышел мужчина среднего роста, лет сорока с лишним, по-молодому легкий и верткий, с острым, будто слегка обугленным лицом — Том Селф, заведующий отделением «Бизнес уик» в Лос-Анджелесе, наш главный гид и one- кун. Через пять минут мы были друг для друга Томом, Василием, Станиславом, без

фамилий и приставок ^мистер», —приятелями, связанными одним делом. (К концу первого дня мы поняли, что нам повезло. Том был не только пробивным корреспондентом с немалыми связями, но и свойским, приятным парнем, не жалевшим времени, крутившимся с нами с утра до вечера.) И первым делом Том, разумеется, вытащил из кармана пиджака сложенный вчетверо листок бумаги — нашу программу. В бумаге значился и миллионер, и все другое, заказанное по телефону. Солнечное утро манило на бульвар Ла Сьенега, но программа диктовала спешку и скорость.

Раз согласился жить по закону американской деловитости, пеняй на самого себя: твой день расчертят так, что не вырвешься, а пешие прогулки, праздничное по незнакомому городу — блажь, на взгляд деловых людей. Мы покорно уселись в «мустанг» и понеслись, оставив Тане бульвар со звучным именем Ла Сьенега.

Мы выскочили на автостраду. Том прибавил газу и перевел машину в левый, самый скоростной ряд. «Мустанг» зашуршал шинами по ребристым бугоркам, которыми на лос-анджелесских автострадах обозначены разделительные линии. Машины шли по четыре ряда в обе стороны. Нью-йоркских предупреждений о максимуме скорости не было, а минимум был в пятьдесят миль, то есть восемьдесят километров.

И на огромных зеленых щитах — указателях съездов, въездов и развязок замелькали названия соседних городов, как некий поминальник католических святых, доказывавший, что первыми из европейцев Калифорнию осваивали францисканские монахи: Сан-Фернандо, Сан-Габриэль, Сан-Бернардино, Сан-Диего, Санта-Ана, Санта-Моника и т. д. Но не оговорился ли я насчет соседних городов? Мы пересекли границу Лос-Анджелеса, въехали в другой город, но не было между ними ничего похожего на сельскую местность, продолжался тот же городской пейзаж, мелькал справа и слева — с домами, фабричными корпусами, стальными плетениями нефтеперегонных заводов, бензостанциями, торговыми комплексами.

Тянулся и тянулся один нескончаемый город: мегалополис — многоград.

Так и пошло. После поездки в Санта-Монику, где находится «РЭНД корпорейшн», снова на автостраду-фривей, снова скорость в семьдесят миль, — и на свидание с миллионером Генри Синглтоном в «Сенчурисити». Снова на фривей, и конец миль в тридцать — на нефтеперегонный завод компании «Атлантик Ричфилд». Снова на фривей — и в оффис Тома в центре города.

Четыре дня были сумасшедшие фривеи и разные оффисы, а когда график нашей поездки, утвержденный госдепартаментом, продиктовал

разлуку с Лос-Анджелесом, мы простились с веселым Томом и, вспомнив о Тихом океане, пронеслись вдоль берега, наспех ловя йодистый, горько-освежающий запах, и федеральная дорога 27, словно катапульта, забросила нас назад, в глубину континента, за четыреста миль от Лос-Анджелеса. И только там в мирном селеньице Фиш-кэмп и под секвойями йосемитского парка застопорилось время, и, прокрутив в памяти эти сумасшедшие дни, я словно похлопал себя по карманам: а не забыл ли чего?

Забыл чуть ли не главное — посмотреть Лос-Анджелес самыми надежными в мире глазами пешехода. Город мелькал за окном машины. Как и краткость знакомства, этот взгляд из «мустанга» и «фьюри» подрывает доверие ко мне у дотошного читателя, который любит не только все осмотреть, но по возможности и ощупать. Однако у меня есть союзники—лос-анджелесцы, воспринимающие свой город с колес. Не следует ли и заезжему человеку взглянуть на Лос-Анджелес так же, как смотрят его жители?

Как известно, в маленьких и не очень маленьких городах автомобильной Америки пешеход еще с конца двадцатых годов вытесняется как анахронизм; за пределами деловых и торговых центров тротуары зарастают травой или вообще отсутствуют — пешеходные дорожки не нужны, люди переместились на мостовые, в машины. Но в таких городах-гигантах, как Нью-Йорк и Чикаго, в таких «компактных» городах, как Сан-Франциско, жители еще не разучились ходить пешком, по тротуарам, хотя бы потому, что негде поставить машину, платные автостоянки дороги, а общественный транспорт довольно развит. Среди крупных городов Лос-Анджелес, третий по населению, — исключение, Пешеход там — большая редкость.

Так что же дурного в том, чтобы смотреть Лос-Анджелес по лос-анджелесски? Свидание с миллионером? Нырнули в подземный гараж «Сенчури сити» и прямо из подземелья поднялись на «музифицированном» лифте в оффис на семнадцатом этаже. Нефтеперегонный завод «Ричфилд Атлантик» осматривали из директорской машины, с самим директором за рулем, пешком прошли лишь в помещение пульта управления, ибо машина не проходила в дверь. Перед университетским городком легкая застекленная будка пропускного пункта. Университетский полицейский, чертя карандашом по карте-схеме, объясняет, как проехать к нужному зданию, где оставить машину. На бульваре Ла Сьенега подкатываешь под козырек ресторана, ключ — бою в фирменной накидке, он позаботится о машине, отведя ее на стоянку для гостей, а когда пообедаешь, подаст к входу.

Правда, в Диснейлэнд мы на пару часов разлучились с «мустангом»

Тома, постаравшись покрепче запомнить ряд и место на огромной стоянке на тысячи машин. Том Селф страдал. Предошущая долгую ходьбу на автомобилизованных ногах, захватил пару разношенных легких ботинок.

Потешное царство, основанное известным Уолтом Диснеем на месте апельсиновых рощ в графстве Ориндж, ежегодно принимает пять-шесть миллионов посетителей, по большей части детей, — надо видеть счастливые лица девчонок и мальчишек, настроившихся на встречу со всяческими чудесами. Дисней умер несколько лет назад, но его царство живет и стоит около ста миллионов долларов: помимо Диснейлэнд — киностудия, выпускающая мультипликационные и другие фильмы, корпорация «аниматроники» — своеобразной индустрии, воспроизводящей «живой мир» — механические имитации животных и людей, от динозавров до краснокожих индейцев и карибских пиратов. Диснеевская аниматроника стала именем нарицательным для ловкой, красивенькой и дешевой подделки под живую природу.

Между прочим, как рассказывал Том Селф, в Диснейлэнд приезжают не только развлечься, но и в деловые командировки, за опытом crowd management — управления толпой. Умение максимально быстро и организованно пропустить десятки тысяч людей немаловажно в век массовых зрелищ и больших людских скоплений. Очереди, оказывается, есть научные и ненаучные. Даже не зная теории, нетрудно догадаться, что научно организованные очереди — это такие очереди, которых пока нельзя избежать, но зато можно заставить быстро двигаться, экономя время и нервы стоящих. Ненаучные очереди не нуждаются в характеристике и, увы, слишком хорошо нам известны. Простейший пример, когда труд продавца за прилавком организован, как и десятилетия назад, продукты не расфасованы — роскошь, которая в Штатах доступна лишь магазинам, рассчитанным на гурманов-богачей, — а допотопные кассовые аппараты не обучены автоматически выводить сумму выбитого и сдачу (что давно делают их собратья в Америке), заставляя кассиршу щелкать на допотопных счетах и расходовать на каждого покупателя в три-четыре раза больше времени, чем в очереди рациональной.

В «Пещеру карибских пиратов» стояла современная очередь. Огромный хвост быстро втягивался в движущийся между двумя металлическими барьерами ряд людей. Их были сотни, но не более чем через двадцать минут мы сели в лодку и ринулись по искусственной подземной реке, в брызгах перекатов — брызги были натуральными, — в могильной прохладе, обеспеченной «эр кондишенами». Были и лианы, и сталактиты, и тропические ароматы, каркали разные какаду, громоздились обломки потерпевших крушение кораблей, тусклым

блеском отсвечивали человеческие черепа, кости и вполне комплектные искусственные скелеты, а кованые сундуки, раскрытые настежь, вспыхивали грудями жемчугов и бриллиантов. И пьяные, одноглазые пираты восседали на винных бочках, размахивая пистолетами и кривыми саблями, — они были так похожи, так близко к скользящим лодкам, что даже взрослые забывали, что это всего лишь шедевры аниматроники...

Но вернусь к лос-анджелесским впечатлениям. У Москвы есть Кремль, у Нью-Йорка — 102-этажный «Эмпайр стейт билдинг», в Афинах — Акрополь, в Париже — Эйфелева башня, в Сан-Франциско — мост «Золотые ворота». Какой отличительный знак у Лос-Анджелеса?

Уилшир-бульвар? Этот центральный проспект, широкий, нарядный, заставленный громадами банков и корпораций, известен на Западном побережье США так же, как на Атлантическом — нью-йоркские Пятая авеню или Медисон-авеню. Иметь здесь контору престижно, земля по дороговизне уступает лишь манхэттенской. Но нет, это не символ Лос-Анджелеса.

Но, может быть, Голливуд? Может быть, но только для заезжих чудачков, живущих инерцией давних представлений. Лос-анджелесцы отвергают этот символ, не смешивая жизнь с кинематографом. От своих гостей они ждут неизменного вопроса о Голливуде, чтобы ответить на него со снисходительной улыбкой. Золотой век Голливуда был короток и уже кончился, а Лос-Анджелес, самый быстрорастущий из крупных американских городов, считает себя на «ты» с будущим. По населению (три миллиона в собственно Лос-Анджелесе) он стоит на третьем месте после Нью-Йорка и Чикаго. По объему промышленной продукции обогнал Чикаго еще в 1964 году. Впереди один Нью-Йорк, и столица Южной Калифорнии теснит «имперский» город, наступая ему на пятки. Что такое на этом фоне некогда популярные знаки голливудской «мемориалии» — сохраненные в бетоне отпечатки ног кинозвезд и имена «великих» на плитах Голливудского бульвара? Физически Голливуд в лос-анджелесских дебрях столь же незаметен, как речка, давшая имя городу. Экономически он уцелел, вступив младшим партнером в унизительную сделку со своим злейшим врагом — телевидением, приспособив свои павильоны и рабочую силу для производства телешоу и телефильмов. Этически его фальшь и вульгарная красавица, потакание дешевому вкусу развенчаны, и не случаен феномен «независимого кинематографа», возникший в последние годы.

Нет, не годится Голливуд в символы Лос-Анджелеса.

Так, может быть, «Сенчури сити» — «Город столетия», о котором

много говорят, который любят показывать? По плану этот микрогород стоимостью в полмиллиарда долларов будет состоять из 28 административных зданий, 22 жилых, отеля на восемьсот номеров, большого торгового центра. «Сенчури сити» к моменту нашего визита был в основном построен — элегантный прообраз тех городов будущего, которые обычно манят лишь в чертежах. Карандашные силуэтики людей там уже ожили и засновали по магазинам на изящной внутренней площади, украшенной фонтанами и абстракциями скульптур. Нечто вроде лос-анджелеского варианта Нового Арбата.

Он называется «Городом столетия», хотя сама история «Сенчури сити» предостерегает от панибратства с будущим. Совсем недавно владельцем земли, на которой стоит этот микрогород, была кинокорпорация «Двадцатый век — Фокс», считавшая, что именно кинематографу принадлежит XX век. Она не догадывалась, какой он долгий, этот век технического прогресса. Железнодорожные вокзалы во многих американских городах сражены аэропортами, а огромные, роскошные кинотеатры ветшают полупустыми, ибо любители зрелищ сидят на диванах у семейных телеэкранов. «Двадцатый век—Фокс» занялся широкоэкранными супербоевиками на библейские сюжеты, но дела не поправились. Пришлось торговать землицей, запасенной впрок, и удачливая алюминиевая корпорация «АЛКОА», купив у киномагнатов двести шестьдесят акров земли, соорудила теперь свой «Сенчури сити». Но и он — лишь штрих Лос-Анджелеса.

Недавно создали великолепный комплекс «Мюзик-сентер». Раздосадованные давнишними упреками в том, что лос-анджелесцы — вульгарные бизнесмены без вкуса и любви к искусству, богатые меценаты вложили в «Мюзик-сентер» миллионы. Примечательный и не единичный факт, говорящий о тяге к культуре в прагматичной стране. Это одна из последних, но отнюдь не главная достопримечательность Лос-Анджелеса.

Однако довольно загадок. Символа Лос-Анджелеса не найти среди его домов, улиц, архитектурных комплексов. Я согласен с теми, кто видит символ в знаменитых freeways — в дорогах. Станный для города символ, но необычны эти дороги, необычен сам город, необычен *и век*, в который заглядывает он первым в Америке. Это мощные жгуты фривеев фотографируют с воздуха, когда хотят передать зрительный образ Лос-Анджелеса. По главной лос-анджелесской достопримечательности ездят миллионы людей, она ложится под колеса миллионов автомашин...

4

Имя Лос-Анджелесу дал францисканский монах отец Креоли. Он прибыл в эти некогда бездорожные и глухие места с испанской экспедицией Гаспара де Портола, осваивавшей тихоокеанское побережье Северной Америки во славу католического Иисуса Христа и на страх индейцам. Справочники сообщают, что 2 августа 1769 года отец Креоли окрестил протекавшую возле лагеря речку длинно, велеречиво и умиротворенно: Рио де Нуэстра Сеньора Ла Рейна де Лос-Ангелос (в укороченном русском переводе — река Королевы Ангелов). Если бы вызвать длиннорясого францисканца с небес, покатасть на полицейском вертолете над фривеями и опустить на нынешний сумасшедший хаос Лос-Анджелеса, он, во-первых, вряд ли нашел бы свою речку среди скопищ домов, автомашин и автострад и, во-вторых, наверняка отрекся бы от своего крестника как от наваждения дьявола, хотя миссия его завершена потомками успешно — от индейцев не осталось и следа, а Лос-Анджелесом в общем-то правят поздние христиане.

Нью-Йорк — не самый медлительный город. Когда в человеке еще живет нью-йоркский темп, Москва кажется оазисом спокойствия. А Лос-Анджелес поражает темпом даже в сравнении с Нью-Йорком. Он потерялся среди своих дорог, очерк о нем «связать» трудно.

Но чем труднее рационально подытожить его, тем более дорожишь одним сквозным и связующим все ощущением — ощущением скорости и темпа, бега мощных машин, освобожденных от пут светофоров. И еще одно ощущение — как будто тебя, помимо твоей воли, включили в неохватное, равное стихии, механически быстрое движение тебе подобных. Куда вывезет эта стихия?

О Лос-Анджелесе можно, конечно, рассказать статистикой. Но цифры, хотя к их помощи придется прибегнуть, — мертвы, если они отражают действительность другую, незнакомую. Читателю трудно соотнести их со своим опытом.

Не ради красного словца пришли мне на ум две метафоры. Люди слились со своими машинами. Люди на фривеях, как кентавры — не мифические, но необыкновенные. Вот они несутся и сзади, и спереди, и по бокам от тебя, нагнув гривы голов, нависнув над баранкой, слившись с корпусом машины, выдвинув вперед щит ветрового стекла. Но если мифический кентавр был как бы на грани между животным и человеком, как бы перерастал в человека, отделяясь от животного, то кентавр лос-анджелесский уже «перерастает» человека. Во что?

И другая метафора, рожденная фривеями. Уже через день-другой ощущение перманентной скорости так пропитывает тебя, что, кажется,

совсем не удивишься, увидя за следующим плавным виражом фантастический космодром с ракетой, нацеленной в зенит, и — ты вполне подготовлен к этому чуду — влетишь, не замедляя движения, в космический корабль, а все остальное будет лишь деталью, не новым качеством, а лишь количественным приращением до второй космической скорости. И растворишься во Вселенной. Распылишься. Атомизи-руешься... Во имя чего?

Небо отца Креспи, нависшее над безвестной речкой возле странных индейских вигвамов, было низким, недвижимым голубым оводом. А нынешние его земляки, чудится, уже оттренированы для космических высот и далей, и дело не только в том, что неподалеку собирают космические корабли и лунные модули.

Однако не растерялся ли я? Допускаю. Но растерянность не скрывают и старожилы — растерянность восторга, неприязни, даже испуга и непременного удивления.

— В три ночи у нас на дорогах так же оживленно, как в три дня, — слышишь от них. И в интонации тревожная гордость от причастности к особому, неусыпному отряду человеческой расы.

Через знакомых и в книжных магазинах я искал книги о Лос-Анджелесе. Есть справочники, экономические доклады, но мне так и не удалось найти книг, которые пытались бы подытожить город в его человеческих, в психологических аспектах. Книга журналиста Джона Чэпмена, изданная в 1967 году нью-йоркским издательством «Харпер энд Роу», — едва ли не единственная, хотя и не полностью удачная попытка такого рода. «Невозможный Лос-Анджелес» — название этой любопытной книги, по-американски набитой фактами, сенсациями, курьезами и персонажами. Incredible — это можно перевести как невероятный, неправдоподобный, пи с чем не сравнимый, невозможный. Так не без кокетства родители говорят о ребенке — сорванце, но и баловне.

Книга посвящена памяти другого лос-анджелесского патриота — Макса Шумахера. Опытный военный летчик, по выходе в отставку он занялся необычным делом. Каждый день с семи утра стрекозой висел в вертолете над пульсирующими фривеями, засекая пробки, аварии и катастрофы и через одну из местных радиостанций сообщая лишенным обзора автомобилистам о том, что их поджидает. Это была не полицейская обязанность, а частный бизнес и заработок Шумахера. Один из пионеров вертолетного патрулирования автострад Америки, пастух автомобильных стад, влюбленный в калейдоскопы фривеев, он погиб, неся службу над ними.

Но что же, конкретнее, фривеи, этот вещественный и символический образ Лос-Анджелеса? Freeway — свободный путь.

Свободный от светофоров и других ограничений скорости. Свободный также от будочников, которым автомобилист протягивает из окна остановившейся машины свои центы, а то и доллары, от металлических сеток-автоматов, которые надо ублажить четвертаком, чтобы зажечь зеленый разрешающий глаз. Фривеи бесплатны — в отличие от многих американских автострад. Бесплатны в том прямом смысле, что за езду по ним не надо платить, — за них платят налогами на дорожное строительство и на бензин.

С точки зрения строителя, это весьма фундаментальные, первоклассные бетонированные автострады средней ценой в три миллиона долларов за милю (бывает и дороже фривей между центром Лос-Анджелеса и городом Санта-Моника обошелся по двенадцати миллионов долларов за милю). Стоимость строительства покрывается из бюджета штата Калифорния, за счет федеральных ассигнований, автомобилистами, платящими налог в шесть центов с каждого купленного галлона бензина, а также за счет других специальных налогов.

Лос-анджелесские фривеи не уникальны — по добротности, качеству, ширине у них много соперников в стране, которую не удивишь фривеями, хайвеями, тернпайками, экспрессвеями и проч. Многие американские города продуваются сквозняками бессветофорных автострад. Но нигде, пожалуй, фривеи не вторгаются так лихо и свободно в пределы большого города, нигде не задают так властно тон, нигде так не хозяйничают.

Примером пояснить это трудно, так как у нас пока нет таких автострад. Но для наглядности представьте, предположим, Садовое кольцо в Москве. Удлините его до восьмисот километров (к 1980 году протяженность фреев в графствах Лос-Анджелес, Вентура и Ориндж составит две с половиной тысячи километров, на всю систему ассигновано 5,2 миллиарда долларов). Разрежьте его на неравные отрезки и, сочленив их мощными, взлетающими или ныряющими под землю развязками, пустите на все четыре стороны света.

Уберите с этого американизированного Садового кольца светофоры, а скорость в 70 миль (112 км) в час пусть будет рядовой скоростью. Сметите, сломайте, выровняйте подряд все, что мешает стремительному рывку фривея в пространство, отодвиньте уцелевшее подальше от него, образовав широкую зону отчуждения, — при строительстве 27-километрового фривея Санта-Моника за компенсацию в 95 миллионов долларов уничтожили 4129 жилых домов, банков, предприятий, церквей, магазинов и т. д.

В центре вместо резервной полосы соорудите металлические барьеры, задача которых принять на себя удар потерявшей управление

машины и не дать ей врезаться во встречный поток — худшая из возможных катастроф, а по обочинам — такие же барьеры и металлические сетки, через которые не перелезет расшалившийся ребенок или неразумная собака; взрослому и мысль не придет ступить на фривей. Свободный путь абсолютно свободен от всего живого, не помещенного на колеса.

Эту бетонную плавную реку шириной в семьдесят метров разлините на восемь рядов — по четыре в каждую сторону.

Дайте фривеям с десятков звучных названий соседних городов и графств! Санта-Моника, Вентура, Пасадена, Сан-Диего, Харбор, Лонг-Бич, Голливуд и т. д.

И, наконец, набросьте мощную сетку этих артерий на небольшую часть Южной Калифорнии. Площадь графства Лос-Анджелес — десять тысяч квадратных километров. Иа этой площади собственно Лос-Анджелес царит почти над сотней младших братьев-сателлитов, над хаотичным конгломератом городов, городков и городишек.

Все так переплетено, что и старожилы не разберут, где кончается один город и начинается другой. Границы их к тому же причудливы. Биверли-Хилс, например, считается городом, хотя со всех сторон окружен Лос-Анджелесом.

Известно о шутовском эксперименте одного сан-францисского журналиста, недоброжелателя Лос-Анджелеса. Тот целый день носился по фривеям, проезжал Бел-Эр, Брендтвуд, Санта-Монику, Посадену, Энчино (города в окрестностях Лос-Анджелеса) и, подводя итог мстительному эксперименту, сообщил: «Но я так и не видел Лос-Анджелеса». Диковинный город — фривей, соединяя его с городами-сателлитами, одновременно рассекают и дробят, превращают в некую «придорожную автостоянку».

На «стоянке» живет три миллиона человек, а в Большом Лос-Анджелесе, то есть во всем этом мегаполисе- конгломерате, — семь миллионов. И четыре миллиона автомашин. Самая высокая в США, да, видимо, и во всем мире концентрация.

Крупным городом Лос-Анджелес стал в эпоху массового автомобиля, наступившую в Америке в двадцатых годах. С 1910 года население Нью-Йорка и Чикаго увеличилось менее чем вдвое, Лос-Анджелеса — почти в десять раз. Старые города, сложившиеся еще до прихода автомашины, не могли не развивать общественный транспорт, строили подземки и надземки. Лос-Анджелес по существу начал с индивидуального авто. Машин было больше и больше, город рос не ввысь, как Нью-Йорк и Чикаго, а вширь, и тогда пришла очередь фривеев.

Перемножив людей, машины и дороги, получаем поистине

космические цифры автомобилизации. На фривеях графства Лос-Анджелес, названного по имени города, и соседних графств Вентура и Ориндж машины проходят в сутки сорок три миллиона километров, что по расстоянию равно пятидесяти путешествиям на Луну и обратно, причем эта цифра успела устареть. Машины множатся быстрее людей. Во всяком случае с 1950 по 1964 год в графстве Лос-Анджелес число легковых машин удвоилось, а население выросло на 65 процентов (тоже, впрочем, колоссальный прирост). Трое из каждых четырех ездят на работу в собственных машинах. Многие жители между делом, а точнее между работой и домом, одолевают в день по сто и больше миль, и не из любви к своему авто, а в силу необходимости. Разбросанный город, экономически тесно связанный с округой, вынуждает к повышенной мобильности. А сеть фривеев дает жителю известную независимость: он может жить в десятках миль от места работы. Он мобилен не только в выборе работы и жилья, но и на отдыхе. Горы, океанские пляжи, стадионы и ипподромы в соседних городах — все в пределах досягаемости: если его дом недалеко от одного из фривеев, то, въехав на этот фривей, он уже подключен ко всей их сети.

За мобильность, разумеется, надо платить. Подсчитано, что житель Лос-Анджелеса в среднем тратит на машину и все расходы по ее эксплуатации более тысячи долларов в год. Между прочим, он платит тем самым и за отсутствие развитого общественного транспорта. После известного мятежа в лос-анджелесском негритянском гетто Уоттс, произошедшего в августе 1965 года, писали, в частности, о том, какая прямая взаимосвязь существует между безработицей негров, разбросанностью Лос-Анджелеса и никудышным городским транспортом. Вот один из жестких парадоксов автомобилизированной Америки: человек должен иметь машину даже для того, чтобы искать себе кусок хлеба, работу. Безмашинные негры замурованы в своем Уоттсе, даже если колонки газетных объявлений предлагают работу за пределами гетто. Фривеи как бы преграждают им путь в «общество изобилия». Восстание в Уоттсе показало и другую грань лос-анджелесской жизни: ничтожность расходов на социальные нужды. Среди жителей около полумиллиона выходцев из Мексики (так называемых американцев мексиканского происхождения), около четырехсот тысяч негров. Многие бедствуют. В сравнении с огромными суммами, отпускаемыми на строительство фривеев, помощь беднякам невелика. Явление типичное. Власти охотнее и щедрее расходуют бюджетные деньги на разного рода услуги (включая и услуги в виде автострад) «среднему классу», чем на жизненно важные потребности бедняков в работе, пище, жилье. Такой подход, как ни странно,

оправдывают соображениями справедливости: «средний класс» многочисленнее бедняцкой прослойки, платит больше налогов, а раз так, то его «налоговые доллары» должны идти на удовлетворение его нужд.

(Я так и не уверен, открыт ли для советских корреспондентов район Уоттса. Но однажды, завершив дневной цикл встреч, мы возвращались в мотель и Том Селф интригующе оказал: «А хотите, покажу вам Уоттс». Мы интригующе промолчали: должно быть, он провентилировал эту идею у компетентных лиц, и, в конце концов, какие в Уоттсе военные секреты?

Мы съехали с фривея и, как горожане на лесных тропинках, долго и неуверенно плутали по каким-то закоулкам и подъездным путям, пока не попали в притихшее царство неухоженных улиц с одноэтажными домами, с черными полными матронами, так не похожими на поджарых, следящим за весом белых соотечественниц, черными импульсивными, ритмичными детьми и черными усталыми мужчинами. Мы не останавливались и не вылезали из машины. Это была как разведка на чужой территории, хотя нас вел коренной лос-анджелесец, а кругом, если разобраться, были его земляки.

Черные земляки — в этом вся разница.

Том искал следы пожарищ трехлетней давности, те места, на которых редакция заставила его потряхнуть репортерской стариной, но он не был здесь все эти три года, а следы пожарищ тем временем исчезли, обернулись пустырями и новыми бензозаправочными станциями, и мы, притихнув, ехали по Уоттсу, где — миля за милей — не было ни одного белого лица. И наш гид негромко, напряженно пошутил: «Туземцы сейчас ведут себя спокойно».

Мы уже по-приятельски сошлись, но в интонации его была еще и откровенность другого рода — доверительность белого человека, рассчитывающего на понимание других белых людей, а в слове «туземцы» скрывался не только иронический, но и серьезный смысл — он воспринимал негров как носителей другой, примитивной и потенциально враждебной цивилизации, недоросших до цивилизации господствующей, не вписывающихся в нее и потому доставляющих немало хлопот. Разъезжая с Томом, я уже привык к его жалобам. Ему не нравилось, что в лос-анджелесской округе растет число бедных негров и мексиканцев: они беспомощно барахтаются в жестком индустриальном обществе, им приходится помогать разными видами соцобеспечения, на них смотрят как на иждивенцев. Подачки беднякам неприемлемы для многих американцев, и их взгляды хотя и неполно, но четко суммировал замеченный нами однажды придорожный транспарант с изображением бородатого дяди Сэма и надписью: «Это

твой дядя, а не отец»).

Америка немыслима без дорог, динамики больших городов и, разумеется, машин. Лос-Анджелес кажется крайним, почти абсолютным синтезом этих трех физических элементов американской цивилизации, урбанистским чудищем, сплетенным и разорванным бетонными полотнами автострад и высокими скоростями машин. Америка глядится в него как в волшебное зеркало, пытаясь угадать будущее, и... частенько в оторопи отшатывается. Почему у «невозможного» Лос-Анджелеса так много недоброжелателей, пугающихся его быстрого роста и заразительности? Его называют Роудсвиллем — Дорогоградом. Но шутка эта мрачна, а в гимне ревущих денно и ночью фривеев не только упоение, но и тревога: как жить в городе при дороге?

5

Как объяснить, что чрезмерная автомобилизация жизни тоже несет с собой проблемы, и немалые? Объяснить читателю, который, скорее всего, мечтает о собственной автомашине? Как объяснить человеку, не знающему, что такое попробовать вдохнуть полной грудью на углу 50-й улицы и Авеню Америкус в пять вечера в июле, что московский, отнюдь не чистый, воздух кажется деревенским после нью-йоркского? Или что такое нервы, когда ты опаздываешь на деловое свидание и чертыхаясь кружишь по улицам, пытаясь куда-то всунуть свой «шевроле», а машины стоят бампер к бамперу и слева и справа у бровок тротуаров и свободные места есть лишь там, где столбы с запретительными знаками, и очереди машин даже у подземных платных парковок? Или что ты не можешь проникнуться величием Гудзона, текущего под окнами твоей нью-йоркской квартиры, — «глядишь и не знаешь, идет или не идет его величавая ширина», — потому что величие перебито неумолчным ревом машин — день и ночь, день и ночь — на прибрежной автостраде, и тебе уже не до величия, а лишь бы, измочаленному, заткнуть уши ватой и ночью выспаться хотя бы в относительной, ненадежной тишине? И однажды вырвешься из Нью-Йорка в путешествие за тишиной, но и глушь американская — сплошь в автомашинах, и в провинциальных мотелях тебя будут преследовать — день и ночь, день и ночь — шелест шин по асфальту, щелканье дверок, взвизги тормозов, аромат выхлопных газов и дьявольский, обухом по голове, свист «траков» — тяжелых дизельных грузовиков с прицепами.

И как минута счастья, сбереженная в памяти на всю жизнь,

всплывет некое — в отпуске от Нью-Йорка—рандеву с самой, бог ты мой, обыкновенной мартовской снежной поляной среди тихих берез и под тихим, задумчиво пасмурным небом подмосковной Пахры: «Тишины хочу, тишины... Нервы, что ли, обожжены?..»

Но не индивидуальна ли эта проблема тишины, и не хочет ли автор, у которого, видно, сдавали нервы, навязать свои эмпирические ненаучные ощущения? Нет, не индивидуальна, и наука уже опешит на помощь со своими децибелами, потому что миллионы встревоженных эмпириков призывают ее как авторитетного судью. Децибелы — это единицы, в которых измеряется уровень шума. Восемьдесят пять децибелов — вот опасная граница, переход которой, по мнению ученых, может угрожать глухотой при условии постоянства шума, а также заболеваниями сердечно-сосудистыми, желез внутренней секреции и дыхательных путей, нервными расстройствами и повышенной раздражительностью. За последние шестнадцать лет уровень шума, которым окружен городской житель Америки, удвоился. А специалисты, изучавшие вопрос по поручению нью-йоркского мэра Джона Линдсея, пришли к драматическому заключению, что шум в Нью-Йорке «достиг уровня достаточной интенсивности, непрерывности и постоянства, чтобы создать угрозу жизни городских жителей».

Не будем, однако, делать козла отпущения из автомобиля. Он берет лишь числом, в смысле же «умения» ему далеко до реактивного самолета, который при взлете поднимает шум до 150 децибелов, а преодолевая звуковой барьер, гремит канонадой, способной разбудить если не мертвых, то еще нерожденных — вызвать нервное напряжение у ребенка, находящегося в утробе матери.

Массовый индивидуальный автомобиль — не сегодняшний, а завтрашний день для нас, и в этом случае, как и во многих других, наши проблемы совсем другого свойства, чем у американцев. Он нужен, вне всякого сомнения, как и хорошие дороги, он уже запланирован в строящихся и реконструируемых заводах, хотя понадобятся многие годы и даже десятилетия, чтобы приблизиться к американской насыщенности автомашиной^ если вообще она может быть эталоном (по официальной статистике 1966 года, 79 процентов семей в США имели автомашины, а каждая четвертая — две и больше).

Массовый автомобиль нужен, и тем не менее ответ на вопрос, добро или зло автомобиль, более категоричен и однозначен в нашей стране, чем в Америке, которая громко стонет на весь мир, что автомашины притесняют людей, хотя и не собирается от них отказываться. Явления технического прогресса одноцветно голубые лишь в теории, а в практическом неконтролируемом их развитии голубизну частенько

заволакивают грозовые тучи так называемых побочных последствий, тучи реально ядовитые. Эта тема слишком обширна для путевых впечатлений; в последние два года Америка подняла ее на уровень университетов, комиссий конгресса, озабоченных губернаторов, специальных президентских посланий и — что весьма примечательно — растущего, неоформленного, но широкого общественного движения. Защита *environment*, окружающей среды от покушений человека стала предметом национальной дискуссии и объектом приложения сил (в январе 1970 года в президентском послании «О положении страны» Ричард Никсон провозгласил: «Величайший вопрос 70-х годов сводится к тому, должны ли мы смириться со своим окружением, или же мы заключим мир с природой и начнем выплачивать репарации за тот ущерб, который причинили нашему воздуху, нашей земле и нашей воде?»).

Восемьдесят с лишним миллионов машин на дорогах Америки дают сейчас в год более девяноста миллионов тонн выхлопных газов — вот, в частности, в чем проблема, вот в чем, вкратце говоря, побочное следствие автомобилизации. Если брать *air pollution* — заражение воздуха в арифметическом исчислении, то на долю автомобильных двигателей падает шестьдесят процентов вины, то есть шестьдесят процентов ядовитых газов, причем он и-то отравляют воздух на уровне человеческой носоглотики.

Пример Лос-Анджелеса разителен. Не так уж давно его сухой теплый климат рекомендовался легочным больным. Сейчас за такую рекомендацию врача по справедливости могли бы лишиться диплома. Чистый воздух убит автомобилем и индустрией, а лос-анджелесский смог — этот, по остроумному выражению, видимый воздух — знаменит в Америке куда как больше лондонского. Впервые смог зарегистрировали 8 сентября 1943 года. С тех пор густой коричневый туман считают «климатическим компонентом» низины, в которой выбросы четырех миллионов автомашин вступают во взаимодействие с лучами южного солнца, порождая фотохимический окислитель, как по-научному называется смог. От него жухнут листья на деревьях, разъедается резина, хлопчатобумажные ткани и легкие (эмфизема легких — самое быстрорастущее заболевание в США), краснеют веки раздраженных глаз и, как предупреждают ученые, убывает знаменитое плодородие калифорнийской почвы, так как содержание окисей азота в воздухе возросло почти в полтора раза, а это сказывается на качестве света, достигающего до земли. Из-за него в лос-анджелесских школах частенько отменяют уроки физкультуры — при интенсивно зараженном воздухе бесчеловечна команда «вдохните глубоко», и зарядка вряд ли уместна в условиях приближения к душегубке.

Неохотный знаток нью-йоркского, я не отведал лос-анджелесского смога. Были лишь разговоры о нем. При нас небо вело себя прилично, и наши знакомые, получив передышку — как первозданно звучит в Лос-Анджелесе это слово, — не столько жаловались, сколько шутили, глядя на небо. Позднее из космической хроники я узнал, что с божественной высоты в сорок тысяч километров экипаж «Аполлона-10» увидел грязное пятно там, где полагалось лежать Лос-Анджелесу.

«Семнадцать лет назад машин было мало, смога не было, подземка работала, городской транспорт был жив, небеса — ясными, голубыми, неотразимыми. Это действительно была земля обетованная. Сейчас ясное небо такая редкость, что, когда видишь его после дождя, сердцу тяжело от воспоминаний о давно минувших днях», — грустью и фатализмом веет от этих слов калифорнийского старожила, известного писателя о Бредбери.

А вот другая чисто лос-анджелесская печаль кии актера Джека Леммона, озабоченного уничтожений красоты «Золотого штата»: «Они хотят проложить фри-вей через Биверли-Хилс, а это все равно что искромсать картину Рембрандта. Говорят, что проложить фри-вей под землей намного дороже. О'кей, пусть будет дороже, но оставьте красоту в покое. Я не считаю, что ничего нет на свете красивее, чем кратчайшее расстояние между двумя точками».

Эти жалобы на небеса и землю можно множить и множить. На первый взгляд, в заявлении Джека Леммона есть налет снобизма, но было бы опрометчиво — издалека и по незнанию — занести его в разряд тех, кто с жиру бесится. Он не одинок. Многие чувствуют себя в плену автомашин и фривеев. У многих обостренный критический взгляд.

С одним из критиков-патриотов я встретился сначала заочно, купив его только что вышедшую книгу «Как убить «Золотой штат», а потом и очно — в его доме. Журналист-фотограф Уильям Бронсон родился в штате Калифорния, работает в небольшом журнальчике «Плач Калифорнии», и этим-то плачем полны его книга и больше трехсот фотографий, опубликованных в ней. Красота любимого штата затуманивалась на его глазах, как голубизна неба от пелены смога, как гармоничная форма яичной скорлупы, разлетевшаяся под клювом «прогресса», само это слово Бронсон окрашивает иронией, считая, что им прикрываются беззастенчивые дельцы, сделав его синонимом прибыли во что бы то ни стало. Для этого калифорнийца автострады подобны Джаггернауту, оставляющему за собой бетонные пустыни на месте лесов, полей и человеческих поселений, тысячи и тысячи рекламных щитов, частоколом мелькающих вдоль улиц и обочин, —

«торгашество в небе», которое посягает на чувство прекрасного и на нормы морали, поскольку основано оно на бахвальстве, а то и прямой лжи, которое «незаконно нарушает наше уединение и наше право путешествовать по своей стране, не будучи изводимыми пости явными призывами: «Купи! купи! купи!»

У Бронсона припасены резкие слова против тех, «делает деньги в процессе отравления и уничтожения гатств Калифорнии». Отправная его точка — критика «потребительского общества». «Калифорния первой в мире вступила в век массового изобилия и стала наглядным свидетельством неограниченной способности человека осквернять и уничтожать все в поисках все более высокого уровня жизни, — пишет Бронсон. — Я ставлю под вопрос ценность все большего и большего числа товаров, если эти товары получены за счет чистого воздуха, пресной воды, птичьего пения, незагроможденных горизонтов и, в конце концов, нашего собственного здоровья». Оговорюсь: заявление, редкое для 1968 года, но к 1970 году вопросом Уильяма Бронсона задавался уже Ричард Никсон — с президентской трибуны.

Когда мы встретились в Беркли под Сан-Франциско, в старомодном каменном особняке Бронсонов, хозяин был приветливо-подозрителен. Ему польстило, что едва ли не первым читателем его книги оказался иностранец. Но картину убийства «Золотого штата» он предназначал соотечественникам, и неожиданный международный резонанс внушал Бронсону опаску — как бы его не использовали против Калифорнии и Америки. В разговоре он был осторожнее, чем в книге, как бы дезавуировал собственную свою критику. Саркастического запала против бизнеса и других врагов калифорнийской красоты уже не было на устах человека, сидевшего напротив меня в тяжелом кресле.

Потом он прибегнул к контраргументам, взятым из советских газет и журналов, и среди них фигурировал внушительный контраргумент Байкала. Честно говоря, возражать ему было трудно, и дело спасала скорее недостаточная осведомленность Бронсона, а не отсутствие примеров. В конце концов, а точнее — в начале начал вопрос не в словесной пикировке на Клермон-бульваре, а в умении на деле беречь мать-природу, и в этом смысле нам еще предстоит реализовать великие преимущества социализма перед частнособственнической стихией капитализма. Пришлось, что называется, оставить решение спора на суд истории, хотя каждая сторона доказывала, что у нее больше оснований для оптимизма.

Но я отвлекся от Лос-Анджелеса и того обвинительного счета, который предъявляют его жители. Есть вещи почти неуловимые, из области психологии. Жалуются, что в городе нет community — общины, сообщества, соседских связей, отношений человеческого общежития.

Когда американскому журналисту редакция дает задание написать об отшельничестве и отчуждении американцев, Лос-Анджелес сразу же приходит ему на ум — сложившаяся репутация. И он с гарантией найдет то, что нужно, как нашел, например, корреспондент «Ньюсуик» — для номера о «больных, больных городах» Америки. Вот комментарий 32-летнего техасца некоего Роберта Керра, переехавшего в Лос-Анджелес за большим долларом и хорошей работой: «Дива впечатления, как пощечины, — решимость торговцев запустить руки в твой карман и никакой дружбы». Жена согласна с ним: «Одиночество здесь хуже всего. Мы жили во многих городах, но здесь впервые не можем обзавестись друзьями. У соседей то же самое».

Джон Чэпмен, защищая своего «невозможного» любимца, апологетически пишет, что «город есть собрание не индивидуумов, а семейных ячеек», что в условиях Лос-Анджелеса «семья способна добиться большей степени самообеспеченности и большего сопротивления внешнему давлению».

Не только сам Лос-Анджелес разорван фривеями. В мегаполисе при дороге разорвана теплота соседства, приятельства, дружбы. Явление это всеамериканское, и тоска супругов Керр по техасским друзьям, пожалуй, лишь иллюстрирует удивительно емкую мудрость: там хорошо, где нас нет. Но в Лос-Анджелесе еще шире амплитуда между необычайной мобильностью, казалось бы, снимающей само понятие изолированности, и отшельничеством современных пустынников, забившихся в семейные раковины. Ядовитую радиацию отчуждения не измеришь никакими счетчиками Гейгера, но она — неоспоримый и массовый факт. Потерянность, одиночество и неприкаянность возрастают прямо пропорционально скоплениям человеческих масс, усложненности, высокому темпу и механистичности жизни, помноженным на капиталистическую организацию общества. Город сам по себе берет так много энергии у своего жителя, что все меньше остается на долю близких.

...Однажды после очередной встречи мы неслись по фривею Сан-Диего в центр города, в оффис Тома Селфа. Был шестой час вечера — час пик, на фривеях бушевали стада машин, спешивших в домашние стой Том, сидевший за рулем, съехал с фривея, замер на красный у светофора. Слева, у самого перекрестка, стояла разбитая машина, свежеразбитая — разлетевшееся вдребезги ветровое стекло припудрило мостовую, капот задран и сплюснут, вдавленный радиатор, обнаженные моторные внутренности. Сбоку уже подкатила полицейская машина, а за ней стояла еще одна, тоже побитая.

— Слава богу, пострадавших нет, — сказал Вася.

Дали зеленый, мы тронулись. Я мельком взглянул на

расширившуюся сцену. Жертва была. За последней машиной на тротуаре лежал человек, аккуратно, покорно. Жертва была, и ее видели из машин на пересекающейся улице, когда мы стояли на красном, а у них был зеленый. Жертва была, но машины не медлили, не останавливались. Отчуждение, связанное не только с правилами движения, спешкой, напором других машин, но и с тем, что все привычно, с многоопытностью, с огромным количеством информации — в том числе и самой драматической, — которая обрушивается на человека каждый день, наконец, пожалуй, с законом самосохранения, с экономией душевной и мозговой энергии. Ранен он или убит? Ранен, убит, — о несчастном на тротуаре думали не больше, чем о человеке, убитом понарошку на телеэкране. Да и можно ли иначе? Огромный город — не деревня с редкими происшествиями, о которых судачат годами. Автомобильные катастрофы — привычное дело. Чертых- нешь полицейского, велящего замедлить скорость, короткий взгляд на жертву, и снова глаза на дорогу, слух — на радионовость, которую мозг уже уравнивал с «единицей информации», только что добытой тобой как очевидцем. Пока доедешь до дому, несчастный на тротуаре уже вылетит из головы. Не донесешь его до разговора с женой за обеденным столом...

Но разве не так бывает в Нью-Йорке, разве не случается этого и в Москве? Да, бывает, случается. В Лос-Анджелесе это показалось еще естественнее, логичнее, нормальнее, прямо согласовывалось с обликом и темпом города.

Через день в университете Южной Калифорнии мы беседовали с профессором Луи Дэвисом, главой нового не только по времени, но и по идее «социально-технологического» отделения. Это отделение, первое в США, открыли за год до нашего визита. Ученые — наполовину естественники, наполовину гуманитарии бьются там над специфической задачей: как применить математическую методологию «систем управления» при решении социальных вопросов. Как, например, помочь английским судовладельцам внедрить усовершенствованные методы погрузочно-разгрузочных работ, если это наталкивается на психологическое противодействие профсоюза грузчиков? Как обеспечить высокую производительность труда на алюминиевом заводе, построенном в сельской местности, если сельская местность почему-то пагубно влияет на производительность? Американские и иностранные бизнесмены ставят такие задачки перед профессором и его сотрудниками, а те берутся за них, заключая платные контракты с клиентами. Профессор Дэвис, сухонький любезный мужчина, самокритично говорил о трудностях нового начинания, о том, что «физические системы», к сожалению, не накладываются

механически на «системы социальные», что многое надо постигать, что приходится приглядываться к «биологическим ориентирам», объясняющим поведение человеческих особей.

Он оперировал и местным примером: как использовать «системы управления» при катастрофах на дорогах, как быстрее и рациональнее помочь пострадавшим в условиях напряженного автомобильного движения и пробок на фривеях?

Вспомнив эпизод на перекрестке, я подумал об амплитуде Лос-Анджелеса: от стынувшей жертвы на тротуаре до «социально-технологического» специалиста, для которого эта жертва — всего лишь элемент решаемого уравнения. Старомодная помощь ближнему, попавшему в беду, исчезает, во-первых, потому, что на нее не остается времени и энергии, что она вообще не согласуется с образом и темпом жизни. Во-вторых, она неэффективна, кустарна, неспециализированна — потуги случайных одиночек в век, когда и автомобильные катастрофы поставлены на некий поток. На смену идут «социалотехнологические системы», увязывающие реакции людей и машин, наука, математика. Да, выход в науке. Но она не управляет стихией машин и фривеев. Она берет на себя скромную задачу сгладить и уравнивать наиболее крайние, жесткие проявления этой стихии.

6

— То, что сегодня происходит в Калифорнии, завтра произойдет во всем мире или во всяком случае в США...

Вот образчик калифорнийской самоуверенности, а точнее — самоуверенности лос-анджелесского дельца, упоенного чрезвычайно быстрым развитием своего города и штата. Оракула зовут Дон Мачмор, ему 45 лет, моложавое лицо, энергичный рот, волосы бобриком, очки в роговой оправе. Откидываясь в качающемся и вертящемся кресле, поигрывая золоченым ножом для разрезания конвертов, он произносит свое пророчество без пафоса и экзальтации, будничным торопливым голосом занятого человека, как *matter of fact*, — констатируя факт и не очень утруждая себя аргументами: к чему аргументы? разве вы не видели динамизм Лос-Анджелеса?

Дон Мачмор — *pollster*, человек, занимающийся опросами общественного мнения (американский политический язык, очень легкий на новые словообразования, произвел это слово, которому трудно найти такой же короткий эквивалент в русском языке; от слова *roll* — опрос). Доя Мачмор — самый известный в Калифорнии полстер, калифорнийский Джордж Гэллап. Он руководит фирмой «Опиньон

резерч оф Калифорния». 250 платных сотрудников приносят ей около полумиллиона долларов дохода в год, стучась в двери калифорнийских домов и выясняя мнения по самым разным вопросам — от популярности той или иной политической фигуры, добывающейся избрания на ту или иную должность, до рыночных шансов нового сорта кофе. У фирмы солидная репутация, много клиентов (с момента основания в 1948 году она провела сотни опросов), большая точность. В 1966 году политики — клиенты Мачмора, учитывая результаты опросов, проведенных по их заказам, выиграли в 84 из 86 выборных состязаний. В 1964 году на выборах президента США, предсказывая, сколько калифорнийских голосов получит Линдон Джонсон, а сколько — Барри Голдуотер, мистер Мачмор ошибся лишь на 0,6 процента. Многие опросы — конфиденциального характера, и к своим подопечным Мачмор относится со снисходительностью врача, знающего и берегущего чужие тайны. Он считает себя умеренным консерватором, но на опросы смотрит как на чистый бизнес.

— ДЛіне безразлично, что за парень ко мне обращается— берчист или из «новых левых», — говорит Мачмор. — Если он приходит ко мне, значит, он просто нуждается в помощи.

И оказывает помощь—за деньги. Иногда самую неожиданную помощь, ибо, как заметил журнал «Ньюсуик», Дон Мачмор «одинаково быстро посоветует своему клиенту, какие очки носить или какую позицию занять по вопросам налогов на собственность», чтобы понравиться наибольшему числу избирателей. Пьеру Сэлинджеру, бывшему пресс-секретарю Джона Кеннеди и любителю сигар, баллотировавшемуся в сенаторы США от штата Калифорния, наш полстер посоветовал, например, поменьше раздражать избирателя своими сигарами, и тот внял совету; воздержание не помогло, но ведь Дон Мачмор предсказал и поражение Сэлинджера.

Что это — насчет сигары и очков — анекдот? Американская страсть к сенсационным деталям? Не только. Это изощренные, зачастую удачные попытки манипулировать избирателем с учетом его вкусов, эмоций, податливости на рекламу. Это штришки из обширной области image making — создания образа кандидата.

Дон Мачмор сидит еще и в кресле старшего вице-президента кредитно-финансовой ассоциации, но призвание и азарт его — в опросах. Он видит в них «и науку, и искусство, основанное на многих годах практического опыта».

По роду занятий он держит руку на политическом пульсе Калифорнии и обязан знать настроения разных групп населения: ошибочные оценки подорвали бы его реноме и сократили клиентуру и доходы. О калифорнийцах он говорит как о весьма неугомонном и

предприимчивом племени.

— Большинство жителей пришло в Калифорнию в поисках земного рая. И они все еще ищут его. Одна треть населения меняет место жительства каждые два года. Не хочу Пасадену — там смог, хочу Лонг-Бич, где океанский бриз, хочу Санта-Монику, где можно найти хорошую работу, — вот их психология.

— В политических своих взглядах калифорнийцы отличаются независимостью. Люди на новом месте, они не связаны традициями, не оглядываются на родителей. Папа и мама не живут рядом, как где-нибудь в Индиане. Лишь половина молодежи голосует за ту же партию, что и родители, тогда как на Востоке с родителями голосуют 75 процентов молодых людей. Именно здесь начался упадок двухпартийной системы в ее традиционном виде. Конечно, демократы с их массовой базой остаются первой партией в стране. Но Калифорния доказывает, что на второе место выходит своеобразная независимая партия, то есть избиратели, которые выбирают не партию, а личность, и их мало интересует, демократическая она или республиканская.

О соперниках на предстоявших 4 июня 1968 года калифорнийских первичных выборах Мачмор судил трезво, практично, отмечая сильные и слабые стороны каждого. Забегая вперед, скажу, что Дон Мачмор оказался прав в своем прогнозе. Роберт Кеннеди победил Юджина Маккарти, но в день, а точнее ночь, выборов был смертельно ранен. Он был клиентом Дона Мачмора, но какая фирма по опросам общественного мнения возьмется определить, где и когда может быть убит тот или иной американский политический деятель? Ветер будущего, твои порывы неисповедимы и для профессиональных предсказателей, и было бы глупо винить их в этом...

Дон Мачмор один из удачников Лос-Анджелеса. Их немало, и вот другой.

Майкл Тензер, 37 лет, высокий и массивный, элегантно-обворожительный брюнет. Красивое крупное лицо. Благородные жесты. Он производит впечатление аристократа, хотя откуда взяться аристократизму? Американская родословная Майкла начинается с деда, польского еврея, перебравшегося за океан. Внук родился в Нью-Йорке, учился в частной привилегированной школе, — у него друзья с влиятельными именами. После школы занялся художественной фотографией. Потом корейская война, где Майкл был фронтовым кинооператором. Сняв военную форму, обнаружил, что на художественную фотографию «нет спроса». Сюда, на Западное побережье, переехал пять лет назад. Жаль друзей, оставшихся в Нью-Йорке: «Здесь таких друзей мне уже не найти. Люди тут сближаются по работе, но живут далеко друг от друга». Чтобы не

растерять друзей и старые связи, Майкл дважды-трижды в год навещает Нью-Йорк. Зато во всем остальном...

Он вице-президент и директор по сбыту компании «Ларвин», крупнейшей в США семейной корпорации по строительству и продаже жилых домов: около трех тысяч индивидуальных домов в год стоимостью от 15 до 35 тысяч долларов каждый, практически все в кредит, в рассрочку до 30 лет. Кредитоспособность покупателя проверяется правительственным агентством. По существующим правилам, как рассказывает Тензер, ежемесячный взнос клиента не должен превышать одну пятую его реальной зарплаты, то есть зарплаты, из которой вычтена сумма его обязательств по другим, ранее взятым кредитам, — например, ежемесячные взносы за автомобиль. Определив таким образом заработок клиента, компания определяет тип и стоимость дома, который он может себе позволить. Бизнес очень прибыльный. Район Лос-Анджелеса стремительно развивается, а правительство берет на себя гарантию неустоек. О своих доходах, не называя цифры, Майкл говорит почти стыдливо: «Очень существенные». Он работает в день по шестнадцать часов, из конторы берет бумаги на дом, но имеет вид человека, не знающего спешки.

Большой «кадиллак» еле разворачивается на тесной парковке нашего мотеля. В «кадиллаке» освежающий запах, как в первом классе трансатлантического самолета. Хозяин сидит за рулем, под рукой телефонный аппарат: «По этому телефону однажды говорил с Австралией». Неторопливо шелестит черный «кадиллак» по бульвару Ла Сьенеге, по Голливудскому бульвару — к дому Майкла на Биверли-Хилс. небоскребы позади, улицы тише и как бы провинциальнее, дома реже и шикарнее, лучше спрятаны на больших участках, за деревьями и кустарниковыми заборчиками. И еще не услышав тихого признания об очень существенных доходах, я понимаю, что Майкл Тензер — немаловажная калифорнийская птица.

Он вкатывает машину в каменные ворота, и мы в семейном мирке, в покое и тишине дома-крепости, как будто нет на свете фривеев, патрульных вертолетов и высоких скоростей — вот чего ради Майкл покинул Нью-Йорк и своих друзей. Жена Джекки. Два смышленных 12-летних близнеца, «один на четыре минуты старше другого».

Начинается великий американский ритуал — «турне по дому». Сначала нас ведут на лужайку за домом, и по величине лужайки, по ее неестественности я стараюсь определить, сколько же стоит дом. Цена подпрыгивает в мозгу, когда вижу, как расположена лужайка — за ней склон и просторный, через спрятанную внизу долину, весьма дорогой вид на горы, за которые устало переваливает солнце. Утром, когда семья соберется в веселенькой, в цветочках и дачной мебели, breakfast

room — комнате для завтрака, солнце будет бить в эти горы ранними своими лучами. Сейчас же оно бросает мягкий свет на выхоленную зелень, на деревья и на пограничную кустарниковую изгородь, над которой незначаше и почти незаметно нависают два ряда колючей проволоки.

Близнецы, вспоминая, видимо, школьные уроки политграмоты, оглядывают нас настороженно, без милой непринужденности родителей, которые ждут, когда иссякнут восторги по поводу солнца, гор и лужайки, прежде чем повести гостей восторгаться домом. Гостиная с роялем — у Джекки музыкальное образование. Столовая... Детская... «Темная» комната с набором дорогого фотооборудования — там близнецы мастерят и самодельные ракеты; дети космического века, в свои двенадцать лет они недоумевают, почему США и Советский Союз не объединят усилия в лунных экспедициях. Библиотека — на стенах, как заведено, полдюжины дипломов и грамот в рамках, книг не густо, зато в солидных переплетах. На кухне густо — холодильники, газовая плита с сигнальными часами, термометром и прочей автоматизацией, две жаровни за жароупорным стеклом — этот агрегат славен тем, что автоматически сам себя чистит и моет...

Дом в старомодном стиле Восточного побережья стоит 125 тысяч долларов. И опять же, словно извиняясь, Майкл доверительно говорит:

— Немногие живут так, как я и моя семья. Но, поверьте, я не забыл тех политических убеждений, которые были у меня в средней школе. Я знаю, что многие американцы живут бедно. Студентом однажды месяц проработал на шахте. Не забыл, что это такое...

По убеждениям Майкл Тензер — либерал и, собственно, поэтому-то мы у него в гостях. Либерал знакомого нью-йоркского типа со всем соответствующим набором взглядов. Против войны во Вьетнаме и довольно решительно — вплоть до требования вывода американских войск, вплоть до стычек с приятелями-бизнесменами. За советско-американское сближение; он считает, что социализм «оправдал себя» в Советском Союзе: «За пятьдесят лет экономически вы добились того, на что нам потребовалось столетие». Он принимает Фиделя Кастро и революцию на Кубе. Ему стыдно за бедствия негров и шахтерских семей в Аппалачах, за геноцид во Вьетнаме. В 1960 году, когда звание кандидата в президенты от демократов оспаривали Джон Кеннеди и Эдлай Стивенсон, Майкл был за Стивенсона — любимца многих либералов, видевших в Кеннеди выскочку и оппортуниста; сейчас он за Юджина Маккарти, считающегося в какой-то мере духовным наследником Стивенсона.

Вот человек, скучающий по Нью-Йорку и нашедший удачу в Лос-Анджелесе.

7

Тома Селфа, опытного журналиста, тертого калача, почти двадцать лет вертящегося в деловом мире Лос-Анджелеса, удивить трудно. Он насмешлив и ироничен. Но сейчас мы едем на свидание с мистером Генри Синглтоном, и Том преисполнен любовного восхищения. У него типичное американское: шляпу долой перед человеком, делающим большой доллар, перед чудом предприимчивости в эпоху позднего капитализма и господства гигантских корпораций, когда места за столом заняты — локоть к локтю — и к пирогу не протолкаться. Мы едем к чудотворцу, и восторг Тома чист и бескорыстен: ему чуда не сотворить, но кто отберет право поклоняться чуду, если к тому же чудотворец — среди твоих хороших знакомых? Нет, не самым худшим образом реализовал я, коллеги, ваш заказ на лос-анджелесского миллионера. Генри Синглтон и есть тот самый, ныне персонифицированный, заказанный по телефону, миллионер. По прикидкам Тома, мистер Синглтон лично стоит порядка тридцати миллионов долларов. А с чего и когда началось? И что еще впереди?

Генри Синглтон — основатель, президент и председатель совета директоров корпорации «Телидайн», производящей сложные электронные и полупроводниковые устройства. Какие? Для чего? Электроника — плоть от плоти военной индустрии, и мы не вправе задавать лишние вопросы. Не за военными секретами едем мы к миллионеру, да и он согласился на встречу не для того, чтобы ими делиться. Бомбами, самолетами — «рутинной работой», как пренебрежительно выразился Генри Синглтон, его корпорация не занимается. Ее специальность — усовершенствованные электронные системы и приспособления. Для самолетов? Да. Еще для чего? Синглтон говорит, что у него большой бизнес с Пентагоном. Потом я нашел «Телидайн» в опубликованном газетами списке ста фирм, получивших самые крупные заказы от Пентагона. Правда, по итогам 1966 года ее место было довольно скромным — 68-м. Первое принадлежало калифорнийской авиационной корпорации «Локхид Эркафт». Первое пахнет миллиардными заказами. Шестьдесят восьмое, — видимо, десятками миллионов. Но ведь и мистер Синглтон лишь недавно пробился к столу заказов.

Опытный инженер, хороший знаток электроники, он основал корпорацию «Телидайн» в 1961 году. Один, — пан или пропал! — с риском разориться, вложил все свои сбережения — триста тысяч долларов. Сейчас это не личная, а акционерная компания, и ее акции

можно приобрести на Нью-йоркской фондовой бирже. (В 1968 году она продала продукции более чем на восемьсот миллионов долларов.)

...Мы ныряем на «мустанге» в подземный гараж «Сенчури сити» и выходим из лифта на 17-м этаже в респектабельно-безличной приемной с ковром «от стены до стены», столом орехового дерева, за которым сидит секретарша, кожаными тяжелыми креслами, никелированными пепельницами на ножках, глянцевыми обложками рекламных брошюр. Молодой человек с умным лицом застенчиво переминается с ноги на ногу. Том успевает шепнуть: «Очень способный физик. Работает на «Телидайн».

Но нам уже не до физика. В двери одной из комнат, выходящих на лифтовую площадку, возникает сам чудотворец и по ковру шагает к нам.

Рискуя повториться, скажу, что карикатурный образ пузатого богача во фраке, полосатых брюках и с мешком золота безнадежно устарел. Миллионеры перестали быть толстыми: они хотят подольше жить. В стране, где и раньше не делали культа из еды, а теперь исповедуют культ диеты и контроля за весом, у миллионеров не по возрасту спортивные фигуры, и, кстати, в быту они обходятся без золота и даже наличных зеленых бумажек, уберегая гангстеров от излишнего соблазна и на все случаи жизни предъявляя именные кредитные карточки, запечатанные в пластик.

Высокий, мужественного вида красавец предстал перед нами. Лет сорока семи — сорока восьми, но юношески прямой и стройный. Ни складочки на одежде, ни следа обрюзглости, и лишь слегка потускневшая кожа лица, морщины на переносице и у глаз да красивая седина в коротко постриженных волосах выдавали возраст молодца.

Мы снова в лифте, а потом вчетвером идем по изящной площади в ресторан отеля «Сенчури сити», и миллионер шагает, чуть-чуть поводя руками, прижатыми к бокам, сохраняя и на ходу этакую боксерскую стойку, чувствуя на себе наши взгляды. Обеденный час, в ресторанелюдно, но стол заказан, и приход Генри Синглтона не вызвал ажиотажа. Обслуживают хорошо и быстро, но не лучше и не быстрее, чем других, без лакейской суеты и подбострастия: мало ли миллионеров в Лос-Анджелесе?

Под коктейль «драй мартини», кусочки баранины с рисом и кофе мы расспрашивали Синглтона. Том молчал, наблюдая коллег в деле. Пытка, однако, была деликатной, вопросы простыми. Отвечал он тоже просто и кратко.

к У корпорации «Телидайн» два десятка заводов, тридцать пять тысяч рабочих, тысяча инженеров. Рабочие не объединены профсоюзом. Заводы территориально разбросаны, и не случайно —

распыленность рабочей силы выгодна предпринимателю, препятствует созданию профсоюза, а значит, и забастовкам. Профсоюз — обуза, и Синглтон не стесняясь говорит нам об этом.

У него лично сейчас три процента акций корпорации, больше, чем у кого-либо. Хватает ли трех процентов, чтобы контролировать собственное детище? Он отвечает, что контроль осуществляет не через процент акций, а через свое положение основателя корпорации, технического и административного авторитета.

— У кого остальные акции?

Сейчас тенденция такова, что крупнейшими акционерами являются не отдельные лица, а фонды и другие корпорации. Во-первых, страховые компании, они богаты и вкладывают капиталы в акции промышленных корпораций. «Совместные фонды» — во-вторых. Их капиталы образованы из взносов индивидуальных вкладчиков, которым в одиночку не под силу и не так выгодно приобретать акции. Эти люди участвуют в биржевой игре в складчину, создавая «совместные фонды». Пенсионные фонды — в-третьих. Они складываются из пенсионных отчислений членов профсоюзов и предпринимателей—последние по коллективным договорам с профсоюзом обязаны вносить в пенсионные фонды суммы, равные взносам своих рабочих. Чтобы умножить капиталы и соответственно пенсии, пенсионные фонды зачастую покупают акции и играют на бирже. Это элементы так называемого «народного капитализма», приобщающего часть трудящихся к игре экономической стихии.

Что касается служащих и рабочих самой корпорации «Телидайн», то их тоже привязывают к этой игре, например системой льгот при покупке акции: к каждому четырем купленным акциям пятую им приплюсовывают бесплатно.

Для сотни top people — людей, занимающих высшие посты в корпорации, есть экстрапривилегии, закрепляющие лояльность умелых и нужных специалистов. Каждый из этой верхней сотни имеет право приобрести определенное число акций по нынешней их биржевой цене, но не платя ни цента в момент приобретения, как бы в кредит. Он заплатит потом, в будущем, когда стоимость этих акций поднимется, предположим, с десяти до тридцати тысяч долларов. Заплатит по прежней цене — лишь десять тысяч.

— Следите ли вы, мистер Синглтон, за тем, чтобы ни у кого не было больше акций, чем у вас? Не опасаетесь ли вы, что кто-то другой перехватит контроль над вашей корпорацией?

Это вопрос в нарушение неписаных правил. В мире бизнеса свои суеверия, и, задавая этот вопрос, я заранее приношу извинения. Тень раздражения на лице миллионера Слегка встряхнул красивой головой,

поглядел острее и тверже, но руки так же спокойно лежат на скатерти, а в ответе — скрытый вызов. Нет, не боится, а если и перехватят контроль, ну что ж, ничего смертельно опасного, он готов к этому.

— Купить же «Телидайн» будет трудновато: сейчас это обойдется, пожалуй, миллиарда в полтора...

Пожалуй, миллиарда в полтора... Эти небрежно оброненные слова громыхнули над столом, — нота гордости, некий промежуточный, но немалый итог жизни. Миллиарда в полтора... Ведь на эту фантастическую сумму — не ходя далеко за примерами — можно купить и этот ресторан с диванами и стульями под красный сафьян, с метрдотелем и официантами, да что за мелочи — ресторан, нет, весь отель, весь комплекс «Сенчури сити» с десятками элегантных зданий—жемчужину Лос-Анджелеса. И я вдруг понял, как заметно стоит Генри Синглтон на этой земле, и красивая его голова вознеслась выше небоскребов. Миллиарда в полтора... Попробуй-ка купить!

Злорадство адресовано конкурентам. Они были и есть, этот внешне спокойный человек — в напряжении рыночной борьбы, хотя рассказ его прост, по-солдатски эпичен. Главное, рассказывает он об истоках чуда, о первых месяцах, было в том, чтобы предложить не совершенно новый продукт, такое случается крайне редко, а продукт, уже имеющий спрос на рынке, но перспективный и качественный. Помогли обширные знакомства и связи в Пентагоне, с другими заказчиками. Его знали как отменного специалиста, ему доверяли. Но и конкуренты не дремали. Уговаривали покупателей не брать «продукт» Генри Синглтона.

— Так прямо и уговаривали не покупать?

— Да, так прямо и нашептывали: не покупайте у этого парня, он вас надует. Чепуху в этом роде...

«Телидайн» не удалось задуть в колыбели. Теперь попробуй!.. Корпорация процветает, стоимость акций фантастически растет, положение стабильно, репутация продукта — хорошая, в своей области она — одна из крупнейших. Синглтон умеет удерживать ценных людей, и приманки с акциями — не единственные. Очень важно привлекать способную молодежь. Молодежь — это будущее. Сколько раз слышал я этот афоризм из уст американских дельцов! Молодежь — это будущие большие прибыли в век быстрого технического развития. Инвестиции в пытливые, незакисшие молодые мозги — из самых выгодных; это дрожжи бизнеса. И мистер Синглтон говорит, что посланцы «Телидайн» ездят по университетам, ищут, вербуют и сманивают блестящих студентов по всей стране. Изучают оценки. Расспрашивают профессоров...

Имея дело с передовой отраслью промышленности, с квалифицированной рабочей силой, с талантами ученых и инженеров,

Генри Синглтон не скупится. Сам специалист, он знает, как прибыльны настоящие специалисты. Экономить доллары на их окладах — это ехать на рыбалку с гнилой сетью. Делец новой формации ценит науку, ведет дело крупно, понимает, что низкие зарплаты означают низкое качество работников, низкие прибыли и, в конце концов, банкротство в ожесточенной конкурентной борьбе.

— Сюда приехали динамичные, способные, деловые люди, приехали, чтобы пробить себе дорогу, — вот в чем, на его взгляд, причина калифорнийского процветания.

Как и Дон Мачмор, он смотрит на свою страну как на своеобразное огромное и сложное предприятие, которым должны управлять дельцы от экономики и дельцы от политики.

...Пусты кофейные чашки, покончено с ленчем и вопросами. Предъявив официанту одну из своих кредитных карточек, Синглтон расчеркнулся под счетом. Журчит вода в фонтанчиках на нарядной площади «Сенчури сити». Мы возвращаемся к небоскребу средней величины, где на 17-м этаже правит президент и председатель совета директоров корпорации «Телидайн». Вот он, рядом со мной, локти по-боксерски прижаты к бокам, и люди, снующие по магазинам, не подозревают, что это шествует чудотворец. Велик мир...

— Мистер Синглтон, недавно в газете «Уолл стрит джорнэл» я прочел, что корпорации испытывают трудности при вербовке на работу студентов-выпускников. Что студенты не хотят служить военному бизнесу? Верно ли это?

— Нет, неверно. Мало ли что пишут в газетах. Не верьте им.

Честно говоря, мне не хочется так вот и расстаться с этим миллионером, подмывает как-то зацепить его полированную поверхность, и не из озорства, боже упаси! — а из желания повернуть человека еще одной гранью, преодолеть эту деловую одномерность. вызвать его на какие-то эмоции — их не хватало в нашей беседе. Меня разбирает профессиональный зуд. И я чувствую, как напрягся идущий рядом красавец, что он снова раздражен. Он считал, что привычный ритуал общения с прессой, на сей раз красной прессой, благополучно завершен, что эти двое незнакомых ребят, в общем, вели себя нормально. Но в последнем вопросе подвох. Он принял нас за деловых людей, но от этого вопроса пахнет политикой и пропагандой. Словно и ему бросают какой-то упрек.

— А как с «Доу кемикл»? — не отстаю я.

— Вы имеете в виду этот шум насчет напалма? — оборачивается он ко мне.

Я подтверждаю: да, имею в виду этот шум, эти протесты в университетах против корпорации «Доу кемикл», поставляющей

напалм для американских войск во Вьетнаме, эти осады вербовщиков «Доу кемикл» в университетских городках, эти их побеги через окна под улюлюканье студентов.

И тогда не мне, а в сторону, все-таки щадя меня, как человека непричастного, как, наконец, иностранца, с которым надо быть вежливым, в сторону тех, кто позорит его страну и осмеливается опровергать его, Генри Синглтона, принципы и чудо, он бросает негромкую злую реплику:

— Bunch of educators!

«Bunch of educators», что буквально означает — горстка воспитателей, кучка профессоров, но в злой враждебной интонации звучит как шайка моралистов-гуманистов.

Ну что ж, подумал я о себе, ты добился своего, добился эмоций, на миг вывел из себя этого сдержанного человека и понял, что дальнейший разговор бесполезен, потому что он провел бескомпромиссную между и ты оказался на другой стороне, — с теми, кого отвергает этот миллионер, а ты считаешь надеждой Америки.

Bunch of educators... Генри Синглтону смешны и нелепы все эти моралисты-гуманисты, эти саботажники, пытающиеся блокировать фривей бизнеса, который, конечно же, сметет их с дороги.

Bunch of educators... Это было как удар хлыстом, как

щелчок по вымирающей, но еще шумливой и надоедливой осенней мухе, как ненависть дельца к сопливым гуманитариям, ко всем этим противникам вьетнамской войны, которые верещат о совести, осаждают вербовщиков корпорации «Доу кемикл», мешают налаженному процессу производства и, чего доброго, если их подраспустить, могут замахнуться и на его, работающее на войну, детище. «Бизнес Америки есть бизнес», — говорил президент Кулидж. Бизнес, и не более того. И если рухнет этот принцип, то и он, Генри Синглтон, упадет с верхней ступеньки иерархической лестницы.

Он готов был поболтать с нами в своем офисе, но, увы, мы спешили на очередную встречу, к другим деловым людям, и под мелодичное позвякивание мягко сошлись створки музифицированного лифта, скрыв лос-анджелесского миллионера, заказанного по телефону из Нью-Йорка через Хьюстон. В машине, как водится, мы посудачили насчет Генри Синглтона, нейтрально сойдясь на том, что это сильный и крупный человек, а Том Селф говорил, что это еще и человек приятный во всех отношениях и что, ах, как непросто далось то чудо, о котором так просто рассказал он в ресторане «Сенчури сити».

А потом из-за Генри Синглтона я даже слегка натерпелся. «Почему он у тебя такой красивый?» — говорил один редактор. Или обобщеннее: «Откуда там красавцы-миллионеры, если капитализм загнивает?»

Эти мелкие недоумения говорят о силе и въедливости давнишних стереотипов. Представляю усмешку Синглтона. Человек другого мира, он воспринимает нас как конкурентов — сильных и потому достойных уважения. Какой груз упадет с его плеч, если он узнает, где начинаются наши недоумения? Опасно, когда о сложнейшей, противоречивой, но и весьма жизнеспособной стране судят на уровне таких вот стереотипов. Опасно по многим причинам, в частности, потому, что, разбиваясь о реальность, стереотипы могут рождать иллюзии совсем другого, противоположного свойства. В самом деле, почему Генри Синглтон не похож на Кашея бессмертного? И если нет универсального физического безобразия, то непременно же должны обнаружиться детали компрометирующего порядка, как-то: взгляд воровской, убегающий, пальцы крючковатые, кадык худой и острый, — мало ли что можно найти.

Я вспоминаю, как один товарищ, встретившийся с Робертом Макнамарой, в ту пору министром обороны США, упрекал нашего брата-журналиста, который, как известно, Макнамару не щадил. Увидев благоразумного, здравомыслящего, даже либеральствующего человека, он пришел к выводу, что мы, корреспонденты, окарикатурируем Макнамару. От упрека трудно защищаться, тем более что он не лишен основания. Но позвольте, дорогой товарищ, вы разве Макнамару с рогами представляли?

Есть разные Макнамары. Альпинист Макнамара. Семьянин Макнамара. Любитель стихов. Усердный работник. Поборник ограничения стратегического оружия. И Макнамара — творец и главный исполнитель эскалаций во Вьетнаме, не случайно эту грязную войну долгое время называли «войной Макнамары». Есть Макнамара — бухгалтер смерти, высчитывавший коэффициент убийств в джунглях и применивший к истреблению людей принцип «стоимость-эффективность», то есть больше крови на каждый затраченный доллар. Нет только Макнамары — злодея из детской сказки, но это не значит, что отменяется политический деятель, играющий вполне определенную роль, функционирующий как частичка государственной машины.

Человек — существо социальное; он немислим вне экономической и политической системы. Дело, которое делает Генри Синглтон, имеет общественные последствия. Он хозяин корпорации, стоящей под номером 68 в списке подрядчиков Пентагона. Он может быть примером как организатор производства. Как защитника «Доу кемикл», производительницы напалма, я его отвергаю.

«Доу кемикл» — далеко не первая спица в колеснице

«военно-промышленного комплекса». В том самом списке она стоит в конце, под номером 98, но ее продукт, превращающий живых людей в страшные факелы, стал символом бесчеловечности бизнеса и далекой от американских берегов войны. Защищая «Доу кемикл», Генри Синглтон защищает самого себя, свою мораль и репутацию, свое назначение на земле, природу того чуда, которое он сотворил, превратив триста тысяч долларов в тридцать миллионов личного капитала и в большую корпорацию, стоящую полтора миллиарда.

Среди продукции «Доу кемикл» удельный вес дешевого в производстве напалма ничтожно мал, меньше одного процента в товарном обороте. Почему кричат о напалме? — недоумевают руководители «Доу кемикл». Почему забывают о другом, почему не славят удобства, которые мы несем в миллионы американских домов? Зайдите в супермаркет, здесь же, на площади «Сенчури сити», и вы найдете продукты «Доу кемикл» — тончайшие, крепчайшие прозрачные ленты из пластика. Рулончиками длиной по двести и больше футов они уложены в картонные брусы, и по одному из краешков бруса пропущена мелкозубая пилочка — о зубчики обрывается лента, сколько вам угодно. В ленту завертывают «чicken сэндвич» — бутерброд с курицей, который укладывается в портфель школьника. Такая лента незаменима для дома, для семьи: банки с соком, тарелки и судки с пищей, ветчина, масло, овощи обертывают этим удобнейшим пластиком, чтобы дольше хранить в холодильнике. А вот саран-рэп — прозрачная огнеупорная бумага из пластика, выдерживающая жар духовки. Цыпленок, баранья нога, кусок телятины, обернутые в саран-рэп и брошенные в духовку, жарятся в собственном соку.

Итак, далекий человек за Тихим океаном в конвульсиях с кожей сдирает пылающее напалмовое желе. Цыпленок аппетитно томится в духовке американской домохозяйки. Напалм и саран-рэп выпускаются в соседних цехах, а может быть и в одном. Извлеки из жаркого плена хрустящего, истекающего соком цыпленка, едят, может быть, перед телеэкраном, на который усилиями телекорреспондентов доставлены живые человеческие факелы.

Вербовщикам «Доу кемикл» не дают покоя в университетах, а компании нужны молодые кадры (молодежь — это будущее), и, как говорят, руководство корпорации разработало инструкцию для своих вербовщиков. Им досаждают словом «напалм», а они должны кричать в ответ «саран-рэп». Напалм! Саран-рэп! Напалм! Саран-рэп! Продукт есть продукт, будь то напалм или саран-рэп. Любой продукт законен, коль скоро на него есть спрос, ибо бизнес Америки есть бизнес, и разве вина «Доу кемикл», что те далекие, черноволосые, маленькие и без американской улыбки люди на телеэкране родились не в той стране,

которая сбрасывает напалм, а в той, на которую сбрасывают напалм.

На кухне в своей нью-йоркской квартире я увидел изящный картонный брус, и на одной из его граней маленькие букетки «Доу кемикл». Я выбросил его в мусоропровод и наказал жене быть повнимательнее, не покупать ничего с постыдным клеймом. Но, несмотря на шумные протесты, прибыли «Доу кемикл» растут, и не за счет напалма — на ее мирную продукцию прежний большой спрос.

В 1965 году, когда бесчинствовали алабамские расисты, покойный Мартин Лютер Кинг призвал к общенациональному бойкоту алабамских товаров. Из этого ничего не вышло. Теперь не удастся бойкот «Доу кемикл». Американец дорожит удобствами, даже мелкими, и что за блажь подвергать остракизму корпорацию, делающую свое дело, и дело «патриотическое». Если легчик без угрызений совести сбрасывает канистры с напалмом, почему угрызения должен испытывать производитель напалма, а тем более покупатель саран- рэп? Каждый занят своей работой, каждый делает свое дело, хочет жить и иметь кусок хлеба, намазанный американским маслом второй половины XX века, то есть и машину, и дом, и цветной телевизор, пикники по уикэндам, праздничные петарды 4 июля, в День независимости, детей в колледжах и деньги на летние отпуска, чтобы слетать в старушку Европу и ботинком человека из новой империи потыкать в древние камни Колизея. И зачем отказываться от мелких удобств «Доу кемикл», вносящей свой посильный скромный вклад в американское процветание?

И все это заложено в коротенькой реплике Генри Синглтона о bunch of educators.

8

Генри Синглтон — не единственный чудотворец, он мелкая сошка рядом с новыми миллиардерами типа нефтяных магнатов Гетти и Ханта, но его чудо характерно для 60-х годов и свершилось в месте, где много чудотворства — в Лос-Анджелесе, в Южной Калифорнии. Приглядимся же к фону, на котором стоит наш миллионер и кружатся-кружатся сутками и годами карусели лос-анджелесских фривеев. В них — динамизм главной военной кузницы США.

История экономического развития Лос-Анджелеса знает несколько магических слов. Железные дороги, которые в эпоху освоения Дикого Запада ложились вслед за пионерами в фургонах, скрепляя строчками

шпал шаги прогресса... Потом нефть, открытая в девяностых годах прошлого века и превратившая Южную Калифорнию из аграрного в индустриальный район. Допотопные, но действующие нефтяные качалки до сих пор видны прямо на улицах, у ресторанов, в соседстве с богатыми особняками. Собственной нефти, правда, уже не хватает для мощной местной индустрии.

В двадцатые годы слово «самолет» было скорее романтическим, чем магическим. Авиазаводы начали строить именно в Калифорнии, потому что теплый климат удешевлял строительство, а вечно ясное небо не задерживало испытаний продукции. В небо — не только калифорнийское и не только с мирными целями — устремлялся человек. Калифорнийское самолетостроение резко увеличило удельный вес во время и особенно после второй мировой войны. К концу пятидесятых годов на индустриальную арену вышли ракеты и электроника. Любящий краткость язык обзавелся словом *aerospace*. В практическом контексте Лос-Анджелеса *aerospace* означает современную, преимущественно военную, индустрию, в которой тесно переплетены самолетостроение, ракетостроение и электроника. Бремя гонки вооружений Лос-Анджелес взвалил на себя с восторгом, ибо это сладостное бремя — от военных заказав крепнут плечи калифорнийского гиганта. Впрочем, говорят не о бремени, а о мощном экономическом стимуле.

«Бэнк оф Америка» — первый по капиталам в Калифорнии, Соединенных Штатах и во всем капиталистическом мире. Его штаб-квартира по старинке находится в Сан-Франциско, сохранившем репутацию финансового центра Западного побережья, но в Лос-Анджелесе — основные операции и 270 отделений (на территории графства Лос-Анджелес). У кого больше полномочий, возможностей и прямого расчета следить за экономическим здоровьем графства Лос-Анджелес? У кого больше информации о причинах местного процветания? Банк располагает обширной службой. Много сведений и оценок содержит, в частности, подготовленный его экономистами специальный полуконфиденциальный доклад «В фокусе район Большого Лос-Анджелеса—Лонг-Бича». Нам любезно вручили по экземпляру этого доклада во время визита в сан-францисскую штаб-квартиру «Бэнк оф Америка». Он обобщает и систематизирует тенденции экономического развития за послевоенный период, и достаточно откровенно, будучи предназначен для деловых людей.

Степень занятости и связанные с ней приток или убыль населения — едва ли не важнейший для американца показатель экономической конъюнктуры. Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше. С 1945 по 1965 год население графства Лос-Анджелес почти удвоилось (с 3,7

миллиона до 6,9 миллиона), а реальные его доходы более чем утроились (до 24,3 миллиарда долларов в 1965 году). Население росло вдвое быстрее, чем в среднем по стране, и быстрее, чем в любом крупном городе, — три процента среднего прироста в год. Две трети прироста шло за счет внутринациональных миграций, за счет американцев, переселяющихся в район Лос-Анджелеса из других частей страны.

«Графство Лос-Анджелес является экономическим центром юго-запада США, — говорится в докладе. — Лишь семь из пятидесяти штатов нашей страны превосходят это графство по населению... Лишь четверть века назад графство было известно главным образом благодаря своей киноиндустрии, сельскохозяйственному производству и туристским развлечениям. Сегодня оно приобрело всемирную репутацию одного из ведущих индустриальных, финансовых и торговых комплексов нашей страны. Лишь немногие районы США претерпели такие драматические изменения за этот период. Благоприятные естественные ресурсы, наличие рабочей силы и капитала, расширяющийся региональный и национальный рынок — все это способствовало экономическому росту теперешней гигантской метрополии. После второй мировой войны все основные отрасли экономики, за исключением сельского хозяйства, внесли свой вклад в экономический подъем района, но темп задавало быстрое расширение оборонной индустрии».

Вот краткая характеристика общего лос-анджелесского чуда, в котором индивидуальный успех нового миллионера Синглтона — незначительный штрих.

«Самой важной из всех приманок, привлекающих новых людей в район Лос-Анджелеса — Лонг-Бича (Лонг-Бич — город в графстве Лос-Анджелес, население около четырехсот тысяч человек, имеет общую с Лос-Анджелесом гавань и экономически составляет один район. — *С. К.*), была работа, — сообщает доклад. — С ростом оборонной промышленности Лос-Анджелес завоевал репутацию места, где можно найти хорошо оплачиваемую работу. Из общего прироста рабочей силы в Калифорнии за период с 1950 по 1965 годы на это графство падает 44 процента».

Далее: «Вне сомнения, авиационная промышленность явилась главным ключом к успеху Лос-Анджелеса на национальном оборонно-космическом рынке. Район был одним из первых важных центров авиационного производства в стране и к 1950 году занимал командное положение в этой области. Естественно, что в этом районе производители получали большую долю увеличившегося объема контрактов на военные самолеты... Уменьшение закупок (военных самолетов. — *С. К.*) после 1957 года вынудило предпринимателей

заняться поисками разнообразия продукции. Это ускорило сдвиг в сторону ракет и электроники. Таким образом, четыре корпорации, бывшие в 1950 году крупнейшими производителями самолетов, стали теперь создателями и производителями ракет, электроники и космического оборудования».

В современном мире, скрепленном множественными, не всегда прямыми взаимосвязями, нет места для изолированных чудес. Из доклада, — я прошу прощения за цитаты, но в них сила документа, — видно, что экономическая конъюнктура Лос-Анджелеса зависит не только от общего состояния американской экономики, но и от мировой политической конъюнктуры, от военной стратегии американского империализма, которая влияет на размеры военного бюджета того или иного года. (Кроме того, есть и обратная, чрезвычайно мощная связь — давление «военно-промышленного комплекса» на официальную политику.) Вот, со ссылками на авторитет банка, элементы этой взаимосвязи, поэтапная история экономического чуда Лос-Анджелеса.

«Самый быстрый прирост занятости» — 1951—1953 годы, период корейской войны. Тогда же рекордный прирост населения за счет миграций из других районов США.

«Другой период быстрого роста» — середина пятидесятых годов, так как «на ведущее место выдвинулись ракетная и электронная промышленность».

Замедление роста занятости — после 1957 года, когда «число рабочих мест в авиационной промышленности стало сокращаться».

Еще большее замедление—в 1962—1964 гг., «главным образом из-за потери рабочих мест в промышленности, связанной с обороной и космосом, которая последовала за завершением или прекращением больших ракетных программ».

«Наивысший уровень занятости» — в 1965 году, когда «увеличилось производство гражданских самолетов, а также число правительственных заказов на продукцию для обороны и космоса».

Последние данные в докладе — на середину 1965 года. В феврале началась воздушная война против ДРВ, в конце июля Белый дом пошел на первую крупную эскалацию наземной войны, увеличив число американских солдат в джунглях с 50 тысяч до 125. Открывались воодушевляющие перспективы — полумиллионный экспедиционный корпус в Южном Вьетнаме, потребность в тысячах боевых самолетов и вертолетов, до тридцати миллиардов долларов расходов на вьетнамскую войну в год, общий военный бюджет, который в 1965 году президент Джонсон обещал «заморозить» на уровне 49 миллиардов и который президент Никсон унаследовал в размере 80 миллиардов. Для Лос-Анджелеса открывалось новое золотое дно.

Сконфужены ли авторы доклада этой подоплекой процветания? Эмоций в докладе нет, одни цифры и выводы. Если искать эмоциональный заряд в цифрах, то доклад — восторженная исповедь грешника, который рад не каяться, а грешить еще и еще.

В справочном альманахе «Калифорния» даны краткие сведения о городах графства Лос-Анджелес. Реестр внушительно однозначен. Бербанк — центр авиационной промышленности. Кулвер-сити — авиазаводы корпорации Хьюза. Гардена — электроника и самолетные части попеременно с казино. Инглвуд — авиационные заводы и лос-анджелесский международный аэропорт. Лонг-Бич — военно-морская база, судовой верфь и ежегодный международный конкурс красоты. Лингвуд — электроника и самолетные части. Монровия — электроника и пищекомбинаты. Полмдейл — большая военно-воздушная база Эдвардс. Пасадена — знаменитая лаборатория «Джет пропалиш», связанная с полетами на Луну, электроника, точное производство. Помона — ракеты, самолетные части. Санта-Моника — «РЭНД корпорейшн», авиазаводы, электронные лаборатории и ежегодные церемонии вручения Оскаровских премий лучшим кинофильмам, кинорежиссерам, киноактерам.

Главная военная кузница современной Америки застраховала себя с разных сторон. Я не просился в закрытые районы, не видел военных заводов, но знаю, что по их сборочным линиям Южная Калифорния прогоняет и «холодную войну», и «малые войны», и подготовку на случай ядерной войны, и космическую эру, тесно увязанную с нуждами «обороны», и лунные экспедиции, потому что из 24 миллиардов, затраченных на то, чтобы оставить в безводном Море Спокойствия следы термических башмаков Нейла Армстронга, немало перепало тем же людям, продукция которых перепахивает бомбами рисовые поля и джунгли Вьетнама. А если так, то не нанизаны ли герои-астронавты на ту же длинную цепочку американской жизни, что и их соотечественники, которые не отвергают благо саран-рэгг из-за того, что «Доу кемикл» производит зло напалма?

Но оставим Луну в ее поколебленном покое. Знакомясь с историей лос-анджелесского чуда, я мысленно соотносил бешеные ритмы фривеев с земными картинками, с унылым, извинительно униженным обликом городков в угольных районах Аппалачей — очагов хронической депрессии и безработицы. Там нет нынешнего чуда, там лишь воспоминания о былых чудесах. В Хэзарде, Восточное Кентукки, о второй мировой войне мне рассказывали как об эре процветания и благополучия. Гром войны, смерть, витавшая над Европой, Африкой, Тихим океаном, вдохнула жизнь в аппалачские городки, потому что вернулся спрос на уголь. Возврат к миру был возвратом к

экономическому запустению. О войне нет-нет да и вспомнят, как о счастливой поре детства. Бедные очаги депрессии в Аппалачах, вы знавали периоды бума лишь в годы мировых войн. Невелик ваш ресурс маневренности и приспособляемости.

Деньги налогоплательщиков, финансирующих гонку вооружений, собирают по всей стране, но в непропорционально большом количестве перекачивают в Калифор. нию, в «Золотой штат», чье золото уже не в апельсинах и солнце. Там живет одна десятая часть населения страны, но военно-промышленные корпорации Калифорнии получают более двадцати процентов первичных военных заказов Пентагона и более половины всех заказов, связанных с космосом. В 1965 году Калифорния получила более трети всей суммы федеральных ассигнований на научные, то есть в основном военно-научные, исследования (четыре миллиарда долларов) — втрое больше, чем следовавший за ней штат Нью-Йорк. Что касается Южной Калифорнии с центром в Лос-Анджелесе, то, по подсчетам специалистов, шестьдесят процентов людей, занятых в обрабатывающей промышленности этого района, трудятся на военных заводах.

Кипучий, ультрадинамичный, сверхамериканский город, куда люди приезжают за заработком и счастьем, где будущее проступает в виде самодовлеющих скоростей, где даже герл с порочно-обжигающими глазами из стриптизна на бульваре Ла Съенга вращает ягодицами в общем, механически отрешенном темпе, а засохшие листья, комки земли и почти деревенская пыль у глухих мексиканских заборов вдруг отзывается в сердце сентиментальной тоской по маленькому городишке возле речки Теша, в котором произвели тебя на свет божий покойные отец и мать, — этот Лос-Анджелес заставляет напряженно задуматься над сложными метаморфозами века. Традиционный образ смерти — костлявой старухи с косой больше подходит ко временам монаха Креспи, не увязывается с резкими гранями модерна, со стремительным накатом бетона на шоссе. И конечно, америк. богатство происходит от ресурсов и истории страны, умения работать, подстегнутого жесткой конкуренцией, а не только от прибыльной гонки вооружений, но главная неоспоримая подоплека у послевоенного экономического чуда Лос-Анджелеса — бизнес войны, работа на старуху смерть. 3530 долларов среднего дохода на душу насел

На процентов больше, чем в среднем по стране) сколько из них от контрактов с костлявой? Сто тысяч домашних бассейнов для плавания, 125 тысяч частных яхт сколько субсидировано урожаями смерти на холмах Кореи, в джунглях Вьетнама? Из Лос-Анджелеса мир виден как производственный комбинат с конвейерной лентой, перекинутой через Тихли океан, на одном конце ее выбивают у

человека из рук жалкую плешку с рисом, а на другом выходит красивенький домик в рассрочку для другого человека, бассейн для плавания, машина последней марки.

Мэри Маккарти, известная писательница и критик, которую называют гранд-дамой американской литературы, в своей книге эссе и очерков о Вьетнаме приводит один эпизод:

«Когда я летела в Гуэ на большом самолете «Си-130», я слышала, как пилот и второй пилот обсуждали свои личные цели в этой войне, и они состояли в том, чтобы заняться во Вьетнаме бизнесом на недвижимости, как только война кончится. С воздуха присматривая за вьет-коинговцами, они прикидывали разные варианты и решили, что Нга Транг, где «красивые песчаные пляжи», подходит им лучше, чем залив Кам Рань — «пустыня». Они разошлись во мнениях, на чем можно сделать больше денег: пилот хотел строить первоклассный отель и виллы на продажу, а второй пилот считал, что будущее за дешевыми жилыми домами. Для меня этот разговор был как галлюцинация, но на следующий день в Гуэ я встретила полковника морской пехоты, который вновь облачился в мундир после отставки. Он сражался с японцами, а потом делал деньги на земельных проектах в Окинаве и вкладывал прибыли в импорт из Японии замороженных креветок, которыми снабжал рестораны в Сан-Диего. На войну, этот дешевый вид массового туризма, они смотрят глазами бизнесменов».

По совпадению, символическому, но не случайному, собеседники Мэри Маккарти были динамичными калифорнийцами, детьми той цивилизации, которая научилась перерабатывать в доллары чужие страдания и кровь и привыкла к перманентным подпоркам гонки вооружений. В круг ее включены директора крупнейших авиационных корпораций, рабочий с завода, производящего ракеты «Титан» или «Поларис», миллионер Генри Синглтон, торговец дамским платьем (а Лос-Анджелес славен женскими модами и большими швейными фабриками), совсем не интересующийся, откуда берутся доллары у его очаровательных покупательниц, профессора из «РЭНД коопорейшн», дающие научные рекомендации по «контр, повстанческой войне», конгрессмены, хлопочущие о новых военных заказах для предприятия своего округа. И летчик, бизнесмен в душе, который, поганя вьетнамскую землю, мечтает украсить ее первоклассными отелями и виллами, разумеется, с выгодой для себя.

9

«Тихий американец» Грэхема Грина был опубликован в 1955 году, когда французы уже расшибли себе лоб о Вьетнам, а американцы лишь пробовали ногой трясину, засылая в Сайгон советников и агентов ЦРУ, замаскированных под сотрудников миссий экономической помощи. Я прочел этот роман с запозданием на десять лет, в пору эскалаций Джонсона, и подивился художнической и политической зоркости писателя. В «тихом американце» Пайле, сыне профессора — знатока водной эрозии, воспитаннике Гарварда, разведчике, который делает ставку на «третью силу» генерала Тхе и не знает, чем же больше огорчаться, когда не вовремя произошел устроенный им взрыв на сайгонской площади, — безногим обрубком, дергавшимся, как зарезанная курица, мертвым ребенком на руках безутешной матери или своими ботинками, забрызганными кровью («Придется отдать их почистить, прежде чем идти к посланнику»), — в этом Пайле точно схвачен тип нового миссионера. «Он был покрыт непроницаемой броней благих намерений и невежества», — говорит о нем английский журналист Фаулер. Именно непроницаемой броней. Именно благих намерений — ведь он наивно, но искренне хотел осчастливить вьетнамцев американской демократией. И именно невежества, но невежества особого рода — ученого, наукообразного и потому еще более самоуверенного и опасного. Помните преклонение Пайла перед неким Йорком Гардингом, «серьезным» политическим писателем? После того как Пайла отправили к праотцам, Фаулер осматривает его книжную полку, на которой полное собрание сочинений 1 ардинга — «Угроза демократии», «Миссия Запада», «наступление красного Китая». Пайлу незачем было приглядываться к чужой жизни, ее досконально изучили и классифицировали ученые соотечественники: «Он видел только то, о чем ему прожужжали уши на лекциях, а наставники его одурачили. Даже видя мертвеца, он не замечал его ран и бубнил: «Красная опасность» или «Воин демократии»...

Грин в зародыше разглядел одну из самых уродливых черт американской интервенции во Вьетнаме — ее наукообразность. Потом полмиллиона американцев, уже не тихих, сошли на вьетнамскую землю и приступили к массированному перевоспитанию вьетнамцев по рекомендациям тихих своих соотечественников — ученых

профессоров, к экспериментам над целой нацией.

Чтобы подчеркнуть эту прозорливость Грэхема Грина, приведу один факт. Этот факт хорошо известен в Америке, но я сошлюсь на упомянутую книжку Мэри Маккарти, которая, судя по ее язвительным эссе, поехала во Вьетнам и для того, чтобы своими глазами увидеть соотечественников в роли интервентов, и заодно для того, чтобы опровергнуть Джона Стейнбека с его дифирамбами американским летчикам: он сравнивал их с знаменитым виртуозом-виолончелистом Пабло Казальсом, любуясь, как они делают свое дело, и не желая видеть, что это за дело.

Касаясь предыстории грязной войны, — первой войны, которую Америка вела «по науке», госпожа Маккарти пишет: «Поведение противника изучалось под университетскими микроскопами, образцами были перебежчики в свободный мир. Однако практического опыта не доставало до тех пор, пока война во Вьетнаме не создала лабораторию для испытания нового оружия — академический вариант «Б-52» или шариковой бомбы «Лэйзи дог»... Сразу после Женевских соглашений полувоенные профессора зачастили во Вьетнам, и первым из них был Уэсли Фишел, профессор Мичиганского университета, которого считают изобретателем Нго Динь Дьема... Понадобились, тем не менее, «новые рубежи» (избрание президентом Джона Кеннеди. — С. К.), чтобы осовременить американское «мышление» о Вьетнаме. Свежий взгляд на ситуацию, брошенный людьми Кеннеди, доказал необходимость совершенно новой тактики с совершенно новыми терминами: контрвосстание, специальная война... В 1961 году, в год создания специальных частей (более известных под именем «зеленых беретов» — С. К.), экономист из Стенфордского университета Юджин Стейли, чье имя связано теперь с идеей стратегических поселений разработал свой план...»

Дальше Маккарти описывает этот план, достойный Йорка Гардинга, вдохновителя «тихого американца» Пайла:

«План Стейли не мог, конечно, прийти в голову рядовому вашингтонскому чиновнику... С профессорской любовью к диаграммам он разделил страну на желтые зоны, голубые зоны и красные зоны; желтые зоны, контролируемые правительством (и доступные для американской помощи), голубые — сомнительные и красные — вьетконговские. Его план заключался в том, чтобы переместить население, — если оно поддавалось перемещению, — в Зоны Процветания, в которых для начала предполагалось создать пятнадцать тысяч образцовых поселений, сильно укрепленных и окруженных колючей проволокой. При пылом сотрудничестве генерала Максвелла Тейлора было построено около двух с половиной тысяч поселений а-ля

Стейли. Жизнь в них до последней детали была расчерчена по диаграммам. Каждый житель обязан был купить и носить специальную форму—четыре разных цветовых комбинации в зависимости от возраста и пола — и иметь два опознавательных документа, один для перемещения внутри поселения, другой — чтобы выйти за его пределы. Стража закрывала ворота в семь вечера и открывала в шесть утра. У людей, согласившихся переселиться в стратегические поселения, дома сжигались, а поля опрыскивались ядовитыми химикалиями с тем, чтобы оставить Вьетконгу выжженную зону, — это было первое широкое приложение науки химии к политической борьбе. Американское правительство, разумеется, платило компенсацию.

Те, кто не соглашался покинуть место жительства, перемещались силой, а их деревни и урожаи все равно сжигались и опрыскивались; часть воспротивившихся крестьян и деревенских старейшин были в назидание другим казнены вьетнамской армией. Внутри поселений осуществлялся строгий политический контроль, и казни также имели место. Поселенцев облагали специальными налогами и другими обязательными поборами, во многих случаях без компенсации. Им приказали в течение трех

месяцев перетащить к себе всех своих родственников, которые были в красных зонах, их наказывали, если им это не удавалось. Профессор Стейли, вне сомнения, не несет ответственность за эксцессы в реализации его программы; он лишь разработал тоталитарные чертежи для вьетнамских и американских советников, основываясь на своем собственном опыте в этой стране.

Что произошло дальше? План Стейли, по замечанию Мэри Маккарти, оказался «величайшим подарком, преподнесенным Соединенными Штатами Вьетконгу». Жители поджигали стратегические поселения, восставая против концлагерей американского типа, а когда Нго Динь Дьем был убит сайгонскими генералами, чудовищный плод кабинетного ума был совсем похерен, и профессор Стейли, равно как и «изобретатель» Нго Динь Дьема профессор Фишел были преданы забвению, уступив место... другим профессорам и другим планам.

Стенфордский университет, где Юджин Стейли расчерчивал свои диаграммы, воплощавшиеся в сожженные деревни, отравленные поля, колючую проволоку и казни, расположен в Северной Калифорнии. Это частный университет с репутацией солидного академического заведения, и, конечно, в нем много известных и уважаемых ученых, внесших большой вклад в истинную науку. Самое далекое уживается рядом, бывает, что и под одной крышей, ложка дегтя не испортит бочку меда, но, впрочем, смотря какая ложка и какой деготь — дегтем

профессора Стейли можно обесславить и университет, и целую страну. Критика Мэри Маккарти направлена против той самонадеянной политической науки, — да и наука ли это? — которая не оплодотворена гуманистической идеей, несет не благо, а страдания людям, и если профессора Стейли не видно у позорного столба, то объясняется это, вероятно, тем, что страдали не его соотечественники, а вьетнамские крестьяне, не знающие, кому они обязаны «стратегическим и поселен и я м и».

С тех пор как Гарвард, если вернуться к роману Грина, послал своего питомца Пайла в Сайгон, многое изменилось в Америке, многосложно усвоившей уроки вьетнамской войны. И Гарвард, и Стенфорд, Беркли, Колумбийский университет в Нью-Йорке, десятки, если не сотни колледжей и университетов по всей стране видели восстания студентов против «пентагонизации» науки. Но проблема не снята. У Вашингтона не переводятся помощники, готовые экспериментировать на целых народах. Эпизод из жития профессора Стейли — лишь присказка к истории «РЭНД корпорейшн», о которой мне хочется вкратце поведать.

Это заведение в городе Санта-Моника, в получасе езды от центра Лос-Анджелеса, окружено ореолом всемирной известности. Одни находят там оракулов, прозревающих XXI век, другие — империалистических алхимиков. Во всяком случае, визит туда обязателен, хотя мне лично он мало что дал, помимо «эффекта присутствия».

Мы подъехали к двум ничем не примечательным стандартно современным зданиям, соединенным друг с другом. Кисточки пальм на автостоянке, шевелимые ветром с Тихого океана, — океан в квартале от «РЭНД» и как бы придает корпорации дополнительную глобальность. Голые коридоры, кубы скромных кабинетов, длинные столы и бачки для кофе в конференц-комнатах. Вот молоко. Сахару хотите? У сотрудников сбившиеся набок галстуки, многодумные лбы и -взгляды интеллектуалов; вместо сигарет — трубки, пиджаки повешены на спинку кресел и прочий университетский налет. Жаргон научный технико-политический, причем многие новейшие термины вроде multi death — мультисмерть или overkill — свехубийство родились в стенах «РЭНД» и ей подобных учреждений. Разговор академически спокоен и рассудителен. Тон ровный, страсти изгнаны, эмоции сданы в архив или оставлены лишь для домашнего потребления — они необъективны. Рэндовцы ценят факт, холодную логику, нескованную моралью игру ума и в своих гостях предполагают такие же качества.

Словом, ничего особенного, нет даже заборов и решеток на окнах, хотя это одна из секретнейших организаций Америки.

Но у входа — не у самой двери, а в вестибюле пятиэтажного зигзагообразного здания — нас встретил и из-за стола поманил к себе взглядом дюжий охранник, по виду из таких, что встречаешь в помещениях американских банков. По телефону вызвал человека в штатском, отвечающего за безопасность. На пиджаки нацепили временные пропуска, и человек в штатском эскортировал нас по коридорам, кабинетам, всюду. В кабинетах много секретных бумаг, но сотрудники могут оставлять их на столах: рэндовцы дорожат воздухом университетов, признаками академической вольницы. А обученные люди берегут их секретные идеи, как берегут деньги охранники в банках.

Часа полтора мы провели в разговорах с сотрудниками, но беседа была нейтральной, в стороне от основной ориентации «РЭНД». Зато — о американская любезность, органически увязанная с рекламой! — нас снабдили брошюрками и журнальными вырезками со сведениями общего порядка.

В двух зданиях (в подвале, кстати, размещен крупный вычислительный центр с богатой электронной памятью и прямыми выходами к клиентам) работают 1140 человек, из них 524 специалиста — 145 инженеров, 82 экономиста, 75 математиков, 60 физиков, 51 программист, 32 знатока политических наук, 57 экспертов в области метеорологии, истории, психологии, лингвистики, физической химии, социологии и т. д. Это think tank, что означает резервуар мысли, мозговой трест, мыслехранилище. Метод работы в «РЭНД» включает в себя как исследования отдельных специалистов, так и групповые, совокупные, так сказать, межведомственные усилия людей разного профиля, собранных под одной крышей, и последнее особенно важно и перспективно — в этом-то, собственно, и есть главная идея мыслехранилища. Усложняющийся век и взрыв информации диктуют невиданные скорости и память электронных мозгов, а также попытки преодолеть необходимую, но и сковывающую специализацию, которая дробит человеческое знание на множество изолированных отсеков. В «РЭНД» таланты сотрудников не разложены по отраслевым ящикам, а объединены и перемешаны. На стыке специальностей, при вольной игре ума, преодолевающего преграды специализации, искрами пробегают смелые идеи. К прожектору, бьющему в одну точку, добавлен локатор, озирающий весь горизонт. В известной мере think tanks нарочито поощряют дилетантизм профессионалов, воспитывая из них поставщиков идей.

Знакомясь с материалами о «РЭНД корпорейшн», — а заочное знакомство началось задолго до визита, — я испытывал двойственное чувство, известное советским людям, побывавшим в Америке,

чрезвычайно изобретательной и отнюдь не застывшей стране: с одной стороны, достойны одобрения дух изобретательства и разного рода новшества, на которые горазды американцы враги всякой косности, с другой - удивляешься, а порой и ужасаешься целям, ради которых применяются эти новшества.

«РЭНД корпорейшн» считают первым в Соединенных Штатах think tank, но позвольте временно покинуть Калифорнию и перенестись под Нью-Йорк, в живописный городишко Кротон-он-Хадсон (Кротон-на-Гудзоне), где в идиллической тишине расположен на зеленых холмах другой think tank — Гудзоновский институт. Директором там Герман Кан, самый известный питомец «РЭНД». Этот мысленный перелет я совершаю, чтобы подробнее разъяснить идею think tank. Визит в Гудзоновский институт был обстоятельнее.

— Мы, — говорил Макс Сингер, президент института, — независимые посредники между правительством и разного рода экспертами.

Независимость — коронное слово в его разъяснениях, но независимость особого рода, направленная не на подрыв устоев капиталистического государства и идеологии, а на их укрепление. Это слуги аппарата власти, который кормит их заказами, оплачивает их идеи из федерального бюджета, но сохраняет за ними самостоятельное мнение и независимость от административной, иерархической лестницы. По словам Сингера, сила и эффективность Гудзоновского института и других мыслехранилищ в том, что они «вне правительства», — частные корпорации экспертов и мыслителей. Не будучи в отношениях служебного подчинения, не боясь недовольства власть предержащих, не опасаясь за место, то есть освободившись от качеств правительственных чиновников, они могут высказывать правительству и разным его ведомствам самые разные точки зрения. Кроме того, как уже говорилось, сотрудники института, являясь специалистами в своих областях, сознательно развивают в себе взгляд посторонних, как бы отходят от своих профессий, стремясь к широте и несклонности взгляда.

Итак, независимость и широта — своеобразный технический девиз мыслехранилищ.

- Ключ в том, — подчеркивал Сингер, сидя в заваленном бумагами кабинете, где на двери сейфа предупреждающе висел лозунг: «Ничего не забыл?», — ключ в том, чтобы сохранять дистанцию от власти. И в том, конечно, чтобы правительство и его ведущие представители понимали выгоды независимого взгляда и независимой критики. Мы пытаемся быть объективными, хотя это не всегда удается. Мы не подчинены другим учреждениям, в своих суждениях и выводах не

испытываем гнета лояльности.

Хотя think tanks уже создаются в Западной Европе, Сингер настаивал, что это чисто американский институт. В Западной Европе, говорил он, специалисты не хотят отказываться от своих привилегий, а кроме того, не рискуют задавать обескураживающие вопросы своим правительствам.

Защищая принцип непредубежденного и свежего взгляда, Макс Сингер приводил примеры не только из вашингтонской сферы: среди клиентов института есть промышленные корпорации, городские муниципалитеты. Взять, к примеру, крупнейшую сталелитейную корпорацию «Юнайтед Стейтс Стил» или другую большую корпорацию, говорил он. Высшие ее администраторы слишком заняты текучкой, у них физически нет времени заглянуть в завтрашний день. Кому же поручается эта важнейшая задача? Экспертам, консультантам корпорации. Предположим, что они пришли к важным, верным и смелым решениям. Но кто их будет слушать? У них нет достаточного авторитета. У таких учреждений, как Гудзоновский институт, авторитет велик. Прежде всего это авторитет его главы и директора Германа Кана.

В Гудзоновском институте, созданном в 1961 году, занято лишь несколько десятков человек. Он претендует на более элитарный характер и более широкий подход к проблемам «национальной безопасности и международного порядка», чем «РЭНД корпорейшн».

«Хотя доклады Гудзоновского института часто содержат детальные рекомендации, акцент мы делаем на разработку широких рабочих концепций, в рамках которых была бы большая вероятность развития разумной и успешной политики», — говорится в официальной самоаттестации института. Главными целями своих исследований институт считает следующие: стимулировать и расширять воображение; прояснять, определять, называть и аргументировать главные проблемы; разрабатывать и изучать альтернативные политические комбинации; улучшать интеллектуальные коммуникации и сотрудничество, используя исторические аналогии, сценарии, метафоры, аналитические модели, точные концепции и подходящую терминологию; усиливать способность распознавать новые ситуации и кризисы и понимать их значимость; оказывать «пропедевтическую» помощь.

Вернемся, однако, к «РЭНД» — не только к методу, но и целям. И к вопросу о том, кто черпает из этого резервуара?

Это не было секретом и в 1946 году, когда проницательный начальник штаба ВВС США генерал Арнольд, которого называют «архитектором» американских военно-воздушных сил, решил каким-то образом сохранить группу ученых специалистов, созданную при авиации во время второй мировой войны. Генерал Арнольд

догадывался, что в послевоенном мире американским бомбардировщикам, вооруженным атомными бомбами, предстоит играть важную роль. Но какую? Для ответа требовались ум и глаза ученых. Так в марте 1946 года возник «проект РЭНД» (сокращение от слов Research and Development— исследование и развитие) для «продолжения программы научного изучения и исследования с целью рекомендации военно-воздушным силам предпочтительных методов, техники и средств».

На государственной службе оклады в то время были слишком малы, чтобы прельстить ученых, и потому на первых порах генерал Арнольд пристроил свое детище филиалом к авиационной корпорации «Дуглас эркрафт компани». Ее хозяин Дональд Дуглас, дочь которого, кстати, была замужем за сыном генерала Арнольда, получил от Пентагона первые десять миллионов долларов на покупку мозгов для ВВС. Первый доклад, вышедший из «РЭНД», сразу, как быка за рога, взял будущее. «Предварительная конструкция экспериментального космического корабля, вращающегося вокруг Земли» — вот его название. Рэндовцы гордятся, что доклад появился за десять лет до первого спутника, хотя с самым экспериментальным кораблем американцы, как известно, опоздали.

Много воды утекло с тех пор. Идея профессоров на службе Пентагона оказалась заразной, в США мозговые тресты расплодилось десятками. Сама же «РЭНД» еще в 1948 году стала «независимой неприбыльной корпорацией», более живучей, чем материнская «Дуглас эркрафт компани», недавно слившаяся с авиационной корпорацией «Макдоннел». «РЭНД» вырастила плеяду так называемых стратегических мыслителей; критики именуют их просвещенными каннибалами, но у них есть и последователи, причем в разных странах. В списке своих заслуг «РЭНД» числит, например, историю с изучением вопроса о дислокации баз стратегических бомбардировщиков. Экономист-статистик Алберт Уолстеттер в начале пятидесятых годов подверг сомнению концепцию, согласно которой командование стратегических ВВС делало упор на заморские базы. Изучив этот вопрос на разных уровнях, «РЭНД» рекомендовала Пентагону сконцентрировать действующие базы стратегической авиации на территории США, отведя заморским базам роль перевалочных и заправочных. Рекомендации вняли отнюдь не сразу. Подсчитано, что Уолстеттер и его коллеги провели около ста совещаний с военными и правительственными чинами прежде, чем их совет был принят.

Стратегическому мыслителю Герману Кану, о встрече с которым я еще расскажу, рамки ВВС были тесны. Реализуя принцип—думать о

том, о чем невозможно думать, — Кан с ледяной невозмутимостью разрабатывал шкалу жертв ядерной войны, метафоры и сценарии эскалаций, подвергая логическому анализу даже ядерный апокалипсис.

Но в целом «РЭНД корпорейшн» сохранила верность авиационным генералам. «Как и в прошлом, ВВС остаются нашим главным клиентом, которому было отдано почти семьдесят процентов исследовательских усилий корпорации», — прочитал я в официальном отчете «РЭНД» * за 1966 год. Там же сообщается, что с ВВС заключено новое пятилетнее соглашение, по которому «РЭНД» получает заказы на 75 миллионов долларов. 23 процента «усилий» отдано Пентагону и НАСА — правительственному агентству по космосу. По заданиям своих клиентов «РЭНД» подготовила в 1966 году 335 меморандумов и восемь докладов по вопросам стратегическим, тактическим и «контрповстанческим», политическим (от «культурной революции» в Китае до аграрного развития в Перу), научно-техническим (включая, например, вопрос о закономерностях распространения океанских волн, вызванных околоповерхностными или подводными ядерными взрывами), по системам связи и т. д.

«Стратегические исследования», сообщает отчет, касались широкого круга проблем — от новых концепций стратегии и дислокации вооруженных сил до практических рекомендаций по увеличению эффективности ядерного и авиационного потенциала. Особое внимание уделяли вопросу о нераспространении ядерного оружия, который, видимо, остро интересовал Вашингтон в связи с переговорами о ныне уже заключенном соглашении.

Еще из области стратегических исследований:

«...Мы продолжали изучать проводившиеся испытания баллистических ракет... В дополнение, изучая методы увеличения точности этих ракет, мы исследовали и сравнили некоторые из усовершенствованных систем наведения».

«...«РЭНД» изучала последствия ядерной войны с точки зрения биологической и окружающей среды... степень первоначальных жертв среди населения, исходя из гипотетических нападений разных масштабов, последствия неравномерностей в выживании различных групп населения для их деятельности в период после нападения... Другие исследования касались возможной степени ущерба лесам от пожаров и радиации, проблем здравоохранения, которые могут возникнуть в результате распространения инфекционных заболеваний в нарушенной среде, возможного длительного генетического ущерба от радиации».

Исследования по тактическим вопросам:

«По большей части эти исследования имели дело со

специфическими вопросами боевых операций, подавления обороны (противника), превосходства в воздухе, командования и контроля, разведки, оружия для обычной войны и систем связи».

«...Так как огонь из стрелкового оружия является существенной причиной потери самолетов в операциях воздушной поддержки во Вьетнаме, мы также изучали возможные новые конструкции самолетов, оборудованных рядом защитных средств, и сравнивали стоимость и уязвимость этих самолетов с обычными самолетами, имеющими такие же оперативные возможности».

«Контрповстанческие исследования» были, естественно, посвящены Вьетнаму:

«...Наше внимание по необходимости было сосредоточено на Юго-Восточной Азии, но наша исследовательская программа по контрповстанчеству предназначена также для применения в других районах, где могут произойти восстания, с целью извлечения из вьетнамского опыта таких уроков, которые могут быть применены в этих районах.

Изучение политики и практики Вьетконга намного усилилось за 1966 год. Ряд аналитических исследований был почти готов к концу года, включая изучение операций Вьетконга на уровне деревни, вьетконговскую практику рекрутирования, роль коммунистической партии в Национальном Фронте Освобождения...

Исследования, ведущиеся в настоящее время, включают изучение действий нескольких батальонов Вьетконга в дельте реки Меконг, поведения беженцев, эффекта применения гербицидов и операций по обезлесению, экономической стратегии и деятельности Вьетконга. Остальная работа по повстанческим силам включала подробное изучение структуры и военных операций вьетконговской организации в провинциях Динх Туонг и Куанг Нгай, системы связи Вьетконга, политической и экономической инфраструктуры, поддерживающей главные силы и партизанские части. Наконец, мы анализировали стоимость и выгоды перемещения беженцев в период восстаний, пытаясь определить, каким образом потеря гражданской поддержки сказывается на повстанческой организации».

Что можно сказать об этих выдержках, в которых существо дела нейтрализовано птичьим профессорским языком? «Расширив воображение», мы увидим десятки Юджинов Стейли, неугомонных, хладнокровных, организованных. И еще что? С девяти утра до пяти вечера на работе, а потом в машину и на фривей, домой, к жене и деткам, к голубому зеркальцу домашнего бассейна или в накатную океанскую волну, к вечерним коктейлям с коллегами. — Еще виски? Льду добавить? Благодарю вас, док...

Сколько людей — дополнительно и дешевле — убито по их рекомендациям? Кто знает. У «РЭНД» еще нет метода, который определял бы коэффициент ее полезности путем учета загубленных вьетнамских жизней и сэкономленных американских. Но атмосфера общественного остракизма нависла над милитаризованной наукой. «РЭНД» испытывает нужду в гражданской маскировке, чтобы сгладить свою скандальную репутацию, более того, чтобы уцелеть. Журнал «Эр форс спейс дайджест» отмечал новые веяния среди рэндовцев: «Без приманок скромных исследований в невоенных областях «РЭНД» не в состоянии выдержать на интеллектуальном рынке конкуренцию за новую кровь, без которой она постареет». Речь опять же о молодых, одаренных людях, а при нынешних восстаниях против милитаризации университетов их все труднее заполучить. Работает все-таки ветхозаветный принцип: мне отмщение и аз воздам...

Уже через год после короткого визита в «РЭНД» я узнал из американской печати, что шесть ее сотрудников публично, хотя и в качестве частных лиц, выступили против продолжения вьетнамской войны, настаивая даже на одностороннем выводе американских войск, — не по моральным соображениям, а убедившись, что военная победа недостижима, а сама война политически невыгодна и нецелесообразна. Теперь «РЭНД», не меняя главного заказчика, рекламирует начинания в области мирной. Одним из них был заказ на шестьсот тысяч долларов от мэра Нью-Йорка с поручением применить комплексные методы к нью-йоркским проблемам, внести рекомендации по вопросам пожаров, полиции, здравоохранения, жилищного строительства. И «РЭНД» снарядила экспедицию не за Тихий океан, а на Атлантическое побережье США, открыла выездную штаб-квартиру на Медисон-авеню, и глава группы с характерной, уверенной небрежностью заявил: «Если вы утверждаете, что Нью-Йорк делает на нас ставку, я вынужден буду согласиться».

Нью-Йорк делает ставку на их «методологическое искусство». Пока они изучали операции партизан на уровне вьетнамской деревни, масса проблем накопилась в американских городах: горят кварталы в дни негритянских мятежей, полиция бессильна сладить с преступностью, отравленным воздухом все труднее дышать, через автомобильные пробки — пробиваться. В отчете «РЭНД» за 1968 год после военных проблем следуют «домашние», а в списке клиентов за авиационными генералами стоит мэр Нью-Йорка.

10

С Германом Каком мне довелось встретиться незадолго до поездки в

Лос-Анджелес. В день визита в Гудзоновский институт директор был в отъезде, но Макс Сингер, президент и главный администратор, обещал свидание с патроном и сдержал обещание. Герман Кан в общем охотно идет на беседы с советскими журналистами, хотя по опыту знает, что наш брат его не щадит — «стратегический мыслитель», автор книг «Мысля о немислимом», «О термоядерной войне», «Об эскалации», «Год 2000-й: рамки для предположений», выше этих мелочей. А кроме того, американцы частенько безразличны к характеру славы: скандальная, но пусть будет! Исходя от противника, она не помешает, а, скорее, поможет при получении заказов, а наш футуролог и термоядерный сценарист работает по заданиям. Например, его книга «Об эскалации», ужаснувшая многих скрупулезным подсчетом всех возможных сорока четырех ступенек в ад — от «мнимого кризиса» до финального «спазма», представляет конечный результат заказа корпорации «Мартин Мариэтта».

Нас, вдвоем с Георгием Николаевичем Остроумовым, ответственным секретарем редакции «Известий» и научным популяризатором по влечению, Герман Кан принял в манхэттенском особняке «Центра межамериканских отношений». Центр возглавляет банкир Дэвид Рокфеллер, один из пяти братьев, которые как бы курируют Латинскую Америку от имени американского капитала и правительства. Кан консультирует этот центр, как и ряд других организаций, приплюсовывая гонорары к годовому директорскому окладу в 35 тысяч долларов в Гудзоновском институте (сам он считает, что мог бы делать вдвое больше денег, и действительно, по американским масштабам, сумма невелика для человека его известности).

Кирпичный особняк на 680, Парк-авеню, до 1962 года занимало Советское представительство при ООН. В последний раз я заходил туда, когда представительство уже переехало в большой дом неподалеку; особняк был в запустении, в темных коридорах витал дух коммунальных квартир. Как водится в Нью-Йорке, переживающем строительный бум, этот крепкий еще дом хотели пустить на слом, чтобы очистить место для многоэтажного доходного модерна, но нашлась сердобольная и богатая дама —любительница недревней американской старины, не пожалела полутора-двух миллионов долларов. И вот все сияло великолепной барской чистотой, внутри и снаружи блистало пуще прежнего. Латиноамериканского обличья швейцар демонстрировал добрые намерения Дэвида Рокфеллера. Откинув бархатную веревочку, преграждавшую путь на спиральную, под красным ковром лестницу, он провел нас на второй этаж в знакомую залу. В комнатке слева — начищенная медь каминной

решетки, нежно-желтые антикварные стулья, мягкие, обитые бархатом кресла и два сияющих зеркала — из-за столика в углу поднялся навстречу радушный и приветливый господин.

Пиджак через спинку стула, живот, как гора, перепоясанная ремешком по гребню, руки раскиданы по сторонам, как это бывает у толстяков, глаза острые и очень живые, голова неожиданно маленькая — неубранная, лысоватая, стушеванная объемным животом. Герман Кан. В пять вечера у него заседание внизу, на первом этаже, но занятый человек не теряет времени попусту, и он что-то писал, примостившись на краешке стула в этом старомодно-покойном кабинетике. А в черном простеньком чемоданчике с металлической застежкой, — увидев человека впервые, невольно накладываешь на свое впечатление все, что слышал и читал о нем, — а в простеньком чемоданчике, конечно же, новые сценарии, метафоры и предсказания, которыми удивит мир Герман Кан.

Ему нет и пятидесяти, трехсотфунтовый живчик — без бороды и величавости, совсем не отшельник, не созерцатель. Где вы, древние мудрецы?

Сели в углу, мы. вдвоем на диване, он напротив на стуле, съевшемся под тяжелой тушей. Толстяк излучал готовность ответить на все вопросы, и вид его, веселый, даже озорной, говорил: а ну давайте, давайте, ребята, ваши семечки...

И первое «семечко» поступило от Остроумова — о реальности прогнозов, о том, есть ли примеры, подтверждающие их надежность. Кан отвечал трезво, убедительно, обнаруживая эрудицию и ум.

— Есть разного рода предсказания, наиболее надежные — в области техники. Например, на пять лет вперед правильно предсказывали силу лазера, размеры памяти электронно-вычислительных машин. Главная трудность — в определении скорости технического прогресса, в том, как на текущем, на нынешнем скажется появление нового. Затруднительны и экономические предсказания. Деловой цикл с его взлетами и падениями мы не беремся предсказывать. Производственные мощности в условиях полной занятости предсказать можно. Число работающих — легко. Производительность — труднее, и я уже упоминал причину: из-за того, что трудно предвидеть темпы технического прогресса в целом. В какой-то мере можно предсказывать количество рабочего времени. В США ежегодно число рабочих часов уменьшается в среднем на один процент, в настоящее время — на одну треть процента. Сейчас средняя рабочая неделя — сорок часов, две тысячи часов в год на работника, что вполне достаточно. По моим прогнозам, к концу века американец будет работать 1000—1500 часов в год. Консервативные оценки дают 1800 часов, радикальные — 800. Я

умеренный оптимист.

Затем он вступил в зыбкую область политики, общественного климата и настроений, сдвигов в психологии, людских привычек и образа жизни, и тут мазки пошли поразмашистее, небрежнее, «абстракционнее», в картине выпадали такие «детали», как организация американского общества, корпорации, профсоюзы, социальные группы, а оставался лишь некий род человеческий в лице того его племени, что живет в Северной Америке между Канадой и Мексикой. За окном была пора студенческих волнений, вторгшихся в математическое мышление Германа Кана, и он включил «человеческую разболтанность» в свои рассуждения, объясняя ее высоким уровнем жизни, тем, что элементарный кусок хлеба не требует прежних усилий, что нагрузка «социального дарвинизма» облегчена, а авторитет правительства в этой атмосфере заметно падает. Картина была не лишена интереса.

— Больше всего нас интересуют политические предсказания. — говорил он. — В текущем плане -наш прогноз в отношении США довольно оптимистичен, хотя мы не исключаем внутренних потрясений, в которых главный фактор — отсутствие угрозы извне. Угроза извне сплачивает людей, приучает их к реальности.

— Сейчас в США физически можно прожить, а точнее выжить на десять долларов в неделю, пятьсот долларов в год, конечно, если вы готовы опуститься на уровень хиппи. При желании вы сможете найти неквалифицированную и необременительную работу на пятьсот долларов в год и быть хиппи. Отправляйтесь, например, в Нижний Манхэттен сортировать почту, там наполовину заняты негры, наполовину хиппи. Хиппи, как вы знаете, живут в коммунальных квартирах, «семьями» человек по двадцать, Работают, так сказать, посменно: месяц работает один, месяц — другой и т. д. И прокармливают остальных, дают им возможность не работать. Факт их существования доказывает, что выжить сейчас сравнительно легко.

— В XIX веке на правительство смотрели как на орудие подавления и источник распределения благ. Теперь американцы склонны видеть в правительстве источник глупости. Такое отношение быстро растет. Люди не просто хотят правительство получше, они хотят совершенное правительство. Если мир сохранится, эти тенденции усилятся. Всякие ограничения, вводимые правительством, будут вызывать новое сопротивление. В большинстве стран аналогичный процесс затормаживается соображениями национальной безопасности. Но мы предсказываем усиление нигилизма и цинизма, если не произойдет чего- то такого, что бросит людей друг к другу, объединит их.

— Сейчас люди меньше думают о национальных интересах, больше — о личных, земных. Лет сорок назад — возьмем за доказательство

стандартную литературу того времени, — если у героев был конфликт между семьей и работой, то решался он, как правило, в пользу работы. Сегодня — в пользу семьи, что, кстати, отразилось и в литературе упомянутого рода. Сейчас американец может жить в городе и иметь хорошую работу, но, если детям его плохо, он скорее всего переменит место, переедет в пригород, где детям лучше...

Необходима оговорка: в работах своих Герман Кап намного сложнее, чем в этом укороченном пересказе одной его беседы, шире и одновременно детальнее, фантазия его, опирающаяся на недюжинную эрудицию, буйствует, но устремлена не в одну сторону, а в разные, и со всех сторон он защищен броней вариантов — может быть так, а может быть и по-другому. Мне хочется хотя бы в малой степени передать строй мышления этого ходячего феномена. Он математик, служащий политике, но не связанный идеологией, вернее, идеологическими догмами класса, на который работает, освобожден от морали в широком смысле этого слова. Он как наемник, ландскнехт от науки, который, кроме платы, требует от нанимателя одного, чтобы его, Кана, ум не находился в простое и чтобы его не сковывали.

В сегодняшнем мире все, что не может быть оправдано наукой, отвергается, — говорит Кан и, хохотнув по обыкновению, добавляет: — В конце концов все отвергается. Возможно, в этой парадоксальной реплике и есть ключ к Кану, «физику», который отрицает всякую «лирику» и абсолютизирует точную науку. И, однако, мир фактически отвергает претензии точной науки в издании Кана.

В Америке люди прогрессивные, а также «лирики» из гуманистов и либералов презирают интеллектуала Кана за ревностное служение Пентагону и ВВС, видят в нем ученого монстра без общественной совести. На антивоенных митингах его не встретишь, зато он желанный гость в военных штабах, конторах корпораций и в особняках вроде того, где почти по-хозяйски принимает нас. В вопросах военной политики он, по собственному признанию, ближе к военщине, но в более широких вопросах международных отношений считает свои взгляды «в большем согласии с общепризнанными либеральными взглядами», предполагает движение Америки в сторону «земного гуманизма», а мира в целом (за исключением Африки и Азии, где «знак вопроса») в сторону мира, поскольку «люди привыкают к карте» и не найти сейчас «и двух из сложившихся государств, которые планировали бы войну друг против друга».

У него зуб на интеллигенцию, революционную и либеральную, этих возбудителей общественного недовольства, а также боязнь внутренних потрясений в «подопечных» Америке странах, и, сидя в рокфеллеровском заведении, он хотел бы уничтожить революционный

фермент — врага своей науки. Герман Кан замыслил новый вклад в «психологическую войну», новую попытку интеллектуальных манипуляций человеческим сознанием. Вот какую схему набрасывал он (я прошу прощения за длинную цитату):

— Я собираюсь написать работу, которая перевернет все прежние представления, — с не присущим ему драматизмом заявил Герман Кан. — Мы должны перейти от «идеологии разрыва» (gap ideology) к «идеологии прогресса» (progress ideology). Позвольте проиллюстрировать это примером. Говорят, что двадцать лет назад детская смертность у американских негров была вдвое выше, чем у белых, а сейчас — в четыре раза выше. Это и верно, и неверно, потому что такие относительные подсчеты не показывают, насколько детская смертность среди негров сократилась в абсолютных цифрах. Разве теперь положение хуже? Что лучше для негра: когда, — я беру условные цифры, — умирает двести негритянских детей на родившиеся десять тысяч, а среди белых — сто или когда умирает двадцать негритянских детей из десяти тысяч, а у белых — пять? Фактически положение негра в десять раз улучшилось, хотя, если сравнивать с цифрами для белых, детская смертность среди негров выросла вдвое. Вот пример неправильной идеологии, акцентирующей разрыв. Ее надо заменить на идеологию, акцентирующую прогресс. Ведь люди хотят не столько сократить разрыв с другими, сколько улучшить свое положение. «Идеологию разрыва» выдвигают по политическим причинам.

— Вот еще пример. Мой отец был бедняком, работал руками, я помню его мозоли. А я работаю головой. Мне деньги легче достаются. Но, может быть, Дэвид Рокфеллер смотрит на меня как на бедняка. Он, наверное, в тысячу раз богаче меня. Может быть, он думает, что я ему завидую, что хочу забрать его деньги. А зачем мне его деньги, ведь я себя бедняком не считаю. Впрочем, Дэвид Рокфеллер так не думает. Я его знаю, он хороший человек, — оговаривается Кэн, видимо побоявшись, что мы поймем его слишком буквально. — Но многие богатые боятся бедных. Также и с нациями. Американцы думают, что им завидуют. Да и Советский Союз теперь довольно богатая страна...

— «Идеология разрыва» объясняет комплекс вины у богатых американцев: заслужили ли они своих денег, не слишком ли легко они им достаются? Отсюда чувство вины. Но, попав в Индию, — а я был там, — вы обнаружите, что индусы ненавидят не американцев, а своих соседей, например пакистанцев. Когда же американец испытывает чувство вины, у индуса возникает враждебность: раз ты чувствуешь себя виноватым, значит, ты меня обокрал.

— Если взять Латинскую Америку, то, кроме интеллектуалов, мало кто обеспокоен разрывом в положении имущих и бедняков.

Латиноамериканский крестьянин не сравнивает свою жизнь и доходы с американскими.

Он определяет свое положение сравнением с тем, как жил его отец, как живут соседи в деревне, соотечественники в городе. Города растут быстрее, деревня — медленнее. Человек, пришедший из деревни в город, живет в трущобах, но молчит. Он скован традицией, в частности религиозной. Но если дети его, то есть второе поколение, тоже остаются в трущобах, жди беды, недовольства, волнений. Революционеры пользуются этим недовольством. Студенты из богатых семей, имея комплекс вины, идут в деревни, в народ, но там не признают «идеологии разрыва». Крестьянин стабилен, нереволюционен, отвергает городские идеи...

Итак, отделить революционера-интеллигента от крестьянина или рабочего, а точнее, убить этого революционера в зародыше, еще в университете, убедить его посредством ученых трактатов, что «комплекс вины» неоправдан, нерационален и излишне отягощает жизнь. И снят революционный дух, уничтожен фермент брожения. И, заметьте, всем легче — студенту, сбитому с толку «идеологией разрыва», пеону, который, по Кану, удовлетворен «идеологией прогресса», латифундисту, которого отныне ничто и никто не тревожит. И латиноамериканским инвестициям братьев Рокфеллеров, пригласившим Германа Кана в качестве консультанта. Всем легко. Все счастливы...

Сам Герман Кан, как человек, отвергающий все, что отвергает его наука, избавлен от «комплекса вины». Я не морализирую, а просто отмечаю факт. Но что такое «комплекс вины»? Не заменил ли этот высушенный ученый эвфемизм такие старомодные понятия, как сострадание, живая, а не математическая причастность к боли другого человека, чувство справедливости, равнодушие, равнодушие сердца, совесть? Не о комплексе ли вины говорил Сент-Экзюпери: «Быть человеком—это и значит чувствовать себя за все в ответе. Сгорать от стыда за нищету, хотя она как будто существует и не по твоей вине...»

Боже, к Герману Кану и с таким душещипательным романтизмом? Я всего лишь спрашиваю: были ли у вас предсказания по ходу вьетнамской войны и как они оправдались?

Он отвечает, и в его ответах опять же есть верное и точное, есть умение просто говорить о сложных вещах. И все-таки преобладают близорукость и ложь, неумение или нежелание видеть истинные причины американского провала. Да, предсказания были. В 1962—1963 годах он и его коллеги довольно верно оценивали положение, но Вашингтон не внял их рекомендациям. Лично он считал в ту пору, что можно добиться военной победы, если вести войну более эффективно.

Нет, не путем эскалации, хотя его и причисляют к «ястребам». Как воюют американцы? Он перечисляет недостатки. Вся американская армия — а в ней сейчас 550 тысяч человек — сменяется каждый год, потому что по существующему положению солдат проводит на поле боя не больше года. Вычитите еще месяц отпуска, на который он тоже имеет право. Получаем новый состав воюющих американцев через каждые одиннадцать месяцев. Не успеют одни обрести боевой опыт, привыкнуть к специфическим условиям, стать зрелыми солдатами, как на смену идут другие. Во Вьетнаме американцы, по мнению Кана, воюют хуже, чем в своих колониальных войнах конца прошлого века — на Филиппинах, на Кубе. Тогда в солдаты шли из охотников, трапперов, ковбоев, фермеров. Теперь в массе — привыкшие к комфорту, изнеженные городские жители городской страны, не годящиеся для джунглей, для войны особого, «контрповстанческого», типа. Да и генералы «не увлечены» такой войной, обучены для других войн: «Генералы, скажу вам по секрету, хуже полковников». Еще одна проблема, обременительная во вьетнамских условиях, — американская страсть к технике. Говорят о вертолетной войне, но вертолеты иногда мешают. Вот пример: надо было перебросить батальон на расстояние четырех миль. Пешим ходом час. Но вызвали вертолеты — ушло три часа.

Он только что вернулся из очередной поездки в Южный Вьетнам. Не говорит о характере миссии, мы не спрашиваем. В организованном его воображении есть еще, наверное, живые и яростные картины, но он уже включил их в цепь логических умозаключений.

Руки на животе — этого человека, которого не втиснешь в одну кличку, зовут еще и Буддой, — и этакий добродушный, искренний хохоток, в котором приглашение присоединиться.

— Я был на холме с буддистом из одной секты, и вместе смотрели, как внизу американские самолеты сбрасывали напалм на вьетконговцев. Я расист в том плане, что для меня лучше, когда горят не американцы, а другие, — хохоток... — Но и мне было жутко от этих человеческих факелов внизу. «Напалм — это все-таки ужасно», — сказал я этому буддисту. Знаете, что он мне ответил: «Я хотел бы, чтобы он был еще горячее...»

В отличие от гриновского американца Пайла Герман Кан вряд ли верит в миссию свободы и демократии, но он игнорирует социальную подоплеку войны, моральный дух Национального Фронта Освобождения, ненависть к американцам, как ко всяким интервентам, несправедливый — с американской стороны — характер войны. В общем, утверждает он, вьетнамцы, несмотря на войну, живут лучше, чем четыре-пять лет назад.

Шариковый карандаш, листок бумаги, массивная фигура над разделяющим нас кофейным столиком.

— Четыре-пять миллионов в городах в условиях относительной безопасности живет сейчас намного лучше, — итожит он, набрасывая цифирки карандашом. — Шесть-семь миллионов деревенских жителей, пострадавших от военных действий, уничтоженных деревень и урожаев, превращенных в беженцев, — хуже. Пять-шесть миллионов живут так же, как жили раньше.

— Конечно, мы убили много людей, больше, чем следовало бы. Злоупотребляем артиллерией. Но неверно, что уничтожаем страну. Целую страну уничтожить довольно трудно, даже если бы мы этого захотели. Ха-ха-ха...

Я смотрю на этого приятного в общении толстяка и думаю: действительно людоед? Или людоед? — приходит на ум удачно пущенное словцо. Прагматист- людоед, готовый послушно эволюционировать до людоеда, если такое заказано и целесообразно. Да, целесообразно, ибо в нем беспредельно торжествует практичный здравый смысл, здравый с его точки зрения и точки зрения заказчиков, а они могущественны. Но пышет, черт побери, добродушием и радушием, располагает откровенностью и открытостью человека, которого ничто не гнетет, который освобожден от всяких нравственных тормозов, как — судя по рецензиям — древнеримские язычники из фильма Феллини «Сатирикон».

Только этот язычник XX века лично не марает рук, не возьмется за то, чтобы кого-то задушить или зарезать. Верховное воплощение прагматизма, иррациональной рациональности.

Моя знакомая — социолог из крупнейшей рекламной фирмы «Джей Уолтер Томпсон» иррационально рациональна, пытаюсь по заданию одной корпорации максимально научно выявить взаимосвязь между бунтарскими настроениями молодежи и перспективой спроса на пепси-колу. Другой знакомый, доктор Эрнест Дихтер, бывший австрийский социалист, а ныне профессор рекламы на американской почве, доводит прагматизм до идеи школьных экскурсий на кладбища, которые освобождали бы детей от ненужного страха и методично выхолащивали бы в их сознании грядущий шок смерти родителей, до проникновенных и опять же научных интервью с живыми о том, какие гробы сочли бы они для себя удобнее и комфортабельнее, — интервью по заказу гробовщиков. Герман Кан идет дальше, принимая в объятия своей мысли народы, страны, ядерную бомбу, год 2000-й.

...Мы простились, поблагодарив за науку. Уже спеша на совещание, Герман Кан вытащил из чемоданчика и вручил нам нечто вроде памятки, которую он раздавал «некоторым людям из Сайгона». Листок

плотной бумаги, который можно держать на столе, сунуть, перегнув, в командирскую сумку, в портфель. Убористый, отпечатанный на гектографе текст с обеих сторон. Я пробежал его с одной стороны: там перечислялись 12 типов восстаний, пять их «главных целей», четыре подхода к восстаниям, а равно и контрвосстаниям, шесть характерных черт «хорошего военного плана» и т. д.

Мы спустились по ковру вниз, вышли из особняка и ждали зеленого светофора на углу 68-й улицы и Парк-авеню. К часу пик движение густело. После кондиционированного воздуха в кабинете Кана на майской теплыни дышалось труднее, но все-таки, хоть и зараженный нью-йоркскими миазмами, это был натуральный воздух. Я перевернул листок другой стороной и прочел заголовок: «Главные (и почти универсальные) принципы контрповстанческой войны». Первыми шли принципы политические:

- «1. Будь «победителем», или, по меньшей мере,
2. Обычно выгляди, как победитель, и
3. Никогда не выгляди побежденным. Во всяком случае
4. Выгляди компетентным, убежденным и сильным.
5. Направляй пропаганду в цель, учитывая взгляды противника, а не свои собственные.
6. Осуществляй выборочные и популярные реформы, делай много обещаний на будущее.
7. Выборочное, рациональное, последовательное и «легализованное» использование террора и насилия...»

И так далее, вплоть до пункта одиннадцатого.

Толстяк не хотел расставаться с нами. Толстяк спускался с небес до политграмоты, уча своей премудрости тихих и шумных американцев, заблудившихся во вьетнамских джунглях. Толстяк выдавал секреты своей популярности, своего гипноза.

11

Национальный секвойный парк. Рыже-красноватые колонны гигантских секвой. Зелень их наверху, в поднебесье. Внизу, на человеческом уровне, они голы и чисты, красновато лоснятся на солнце, будто некие благожелательные существа оттерли эти колонны своими швабрами, прежде чем передать достойными экспонатами на всемирную выставку земной красоты. Солнце, как в храме, цедит рассеянные щадящие лучи. Вздываясь над папоротниками, — два мертвеца, два павших воина. Когда-то они рухнули навзничь в этот распадок и, переломившись, лежат рядом с живыми. Они серые,

пепельные, слоистые. Их корни торчат над землей, как сопла древних поверженных ракет. Эти корни приносят секвойи из прошлого и из нашего дня унесут в будущее. Не отрываясь от земли, секвойи движутся во времени, ракеты Сьерра-Невадских гор. Сколько же насчитали, сколько навили они годовых колец красновато-пурпурной древесины под этой своей обманчиво трухлявой, растирающей в пальцах корой?

Оградка извивается причудливыми загогулинами, чтобы люди не топтали землю над корнями. За оградкой «самое большое живущее растение на земле» — секвойя имени генерала Шермана. Как анкетна, аккуратная деревянная табличка с цифрами: возраст — 3000— 3500 лет, вес 1319 тонн, рост 272,4 фута, окружность внизу 101,6 фута, диаметр 36,5 фута, диаметр самой большой ветви 6,8 фута, высота до первой большой ветви 130 футов, объем ствола 50 010 квадратных футов.

Вздулись жилы корней, тысячелетиями вцепившиеся в землю. От непомерной колонны ствола наверху отходят ветви размером с огромные сосны. Сколько лет будут еще помнить генерала Шермана, предводителя северян в войне с южанами? И не переименуют ли секвойю потомки, обзаведясь новыми славными героями?..

Йосемитский национальный парк. ОТЕЛЬ «Биг три лодж» в южной его части, возле рощи Марипоза. Это тоже не простая, а секвойная роща, и американцы, с иронической теплотой завязывая отношения с гигантами, прозвали их «большими деревьями».

Столики кафетерия под сенью секвой. В солнечный день смотрим, смотрим на красные стволы секвой, на младших их братьев, не столь кряжистые, но мощные и стройные сахарные сосны с красивой, чешуйчатой корой. Счастливы, убежав из сумасшедшего Лос-Анджелеса в этот величавый рай.

Секвойи как пришельцы из другого мира. Никто из нас не видел этого мира, все отшумело из того, что было в их юности, остались лишь горы и реки и сама сырая земля. Сверстники других пород давно вымерли, прахом ушли в землю. А они достойно и отчужденно проносят себя среди новых и новых поколений, умеющим слышать говоря мудро и просто: ну что ж, поживем, поглядим еще...

И это прикосновение к тысячелетиям уменьшает, но и лечит. Помогает точнее определиться в скупом отмеренном веке...

Ездим по парку, в тени лесных — отличных, асфальтированных — дорог, ловя по сторонам, среди сосен, стволы секвой, радуясь, что уже узнаем их издали, даже не глядя в поднебесье. Впрочем, по нашим понятиям это совсем не парк, а заповедник площадью в 1200 квадратных миль на западных склонах Сьерра-Невады. Воскресенье, и

в Йосемитах много людей, не на ногах, а в машинах. Дорожные знаки и вывески, многочисленные путеводители пересыпаны цифрами, разными сведениями и советами соблюдать скорость не более сорока пяти миль в час и отводить на каждые тридцать миль дороги не менее одного часа. Из полутора миллионов людей, приезжающих в Йосемити каждый год, почти все транзитники, на день-два. Из бесчисленных измерений времени и тут выбирают традиционное: время — деньги. «Во время автомобильных турне, — уговаривают их авторы путеводителя, — не забудьте иногда покинуть машину и пройтись пешком под деревьями и к водопадам, не забудьте поглядеть на скалы и луга — это будет величайшим вознаграждением за вашу поездку».

И люди спешиваются, идут к обзорным площадкам, чтобы, поняв бессилие фотоаппаратов и кинокамер, замолчать, облокотившись на железные поручни, и с километровой высоты вбирать в себя чашу йосемитской долины — леса, дороги, строения, голубые зеркальца бассейнов для плавания и, главное, далекий слитный грохот водопадов, блестящими лентами низвергающихся со скал, и сами гранитные скалы, взявшие в кольцо долину. Люди нарекли их, опрокинув свой мир на державное величие природы: крутолобый «Эль Капитан», отвесно вознесшийся на 1200 метров над маленькой речушкой Йосемит, которая, прорезав долину и сотворив свое чудо, покойно, прозрачно течет между двух шоссе, «Полукупол» (высота 1600 метров), «Северный купол» (1200 метров), «Кафедральные шпили» (900 метров).

Скалы еще царственнее, когда спускаешься по шоссе в долину, и недвижные издалика ленты водопадов — уже летучие белые космы, и радуга у самой земли, рукой дотянешься.

Сто лет назад Джон Муир, известный натуралист и защитник природы, которому Калифорния многим обязана, писал своему другу поэту Ральфу Уолдо Эмерсону: «Я приглашаю вас помолиться вместе со мной Природе в высоких храмах короны великой Сьерры, вознесшейся над нашим святым йосемитом. Это вам ничего не будет стоить, кроме времени, да и времени займет очень немного, потому что вы будете рядом с Вечностью». 67-летний Эмерсон внял патетическому приглашению и, преодолев нелегкие тогда невзгоды путешествия, побывал в Йосемитах. В мае 1871 года он записал в свой дневник первые впечатления: «В Йосемитах величие гор, кажется, не имеет равных в мире, ибо они обнажили себя, как атлеты на состязании, и стоят перпендикулярными гранитными стенами во весь свой рост со снежными шапками свободы на головах».

Скалы остались теми же, и вот уже больше ста лет в Йосемитах не

рубят секвойи. Избавившись от покушений человека, большие деревья могут положиться на свою непревзойденную жизненную силу — иммунитет от вредителей, объясняемый богатым содержанием тонина в древесине, и неуязвимость для огня, которую дает кора с жароупорными свойствами асбеста. Секвойи — редкий дар, природа вручила его лишь Калифорнии. «Монархи леса», рядом с которыми даже баобабы выглядят подростками, разбросаны поодиночке и рощами в Центральной Калифорнии, по западным склонам Сьерра-Невады, на высоте от четырех до восьми тысяч футов. Каждый год в феврале — марте, когда снег еще лежит в горах, ярко-желтые цветы распускаются в поднебесье, миллионы семян льются на землю в маленьких, по четыре — шесть сантиметров длиной, шишечках. У каждого семени, как утверждают ученые, шанс развиться в гиганта менее одного на миллиард. Однако секвойе как породе будущее обеспечено.

У гигантских секвой есть лишь один достойный соперник — красные деревья, которые тоже растут в Калифорнии, тоже долгожители и тоже из породы секвой. Они уступают гигантским секвойам объемом, но не державной красотой. Самое высокое дерево на земле, если верить американским справочникам, — это «дерево отцов-основателей» (авторов Декларации независимости). Высота его 364 фута, растет в калифорнийском парке Гумбольдта. Это красное дерево. Красные деревья растут в Северной Калифорнии, по побережью Тихого океана.

Секвойи — под охраной и в собственности государства, за кордонами национальных парков так же, как гейзеры Йеллоустоуна, озера в горах Гранд-Тетон, долина Колорадо в районе Гранд-Каньона, Ниагарские водопады. В Америке не один десяток национальных парков и парков штатов — заповедных княжеств природы, открытых для всех за небольшую въездную плату или бес

платно, рассеченных хорошими дорогами и пешеходными тропами, с отелями, кемпингами, столами для пикников, ресторанами, кафетериями, мусорными баками возле каждой площадки-остановки, с туалетами, фотоальбомами, сувенирами, бензозаправочными станциями и даже бумажными пакетами для мусора, которые выдают автомобилистам при въезде в парк, и даже с полуручными медведями, которые выходят на шоссе к машинам, например в Йеллоустоунском парке.

Эти заповедники — бесспорная гордость Америки. Там американцы как бы вглядываются в лицо той земли, куда пришли пионеры, в девственную природу, которую люди так сложно, а порой и неблагодарно трансформировали. Там Америка даже отвергает самое себя:

конкуренция и вульгарная реклама в парках упразднены, обслуживание посетителей — отели, рестораны, бензозаправки — отданы корпорациям-концессионерам, которые регулируются и контролируются Национальным управлением парков, подчиненном министерству внутренних дел, отвечающему за охрану природных ресурсов.

Энтузиасты Йосемитского парка считают его первым в стране, ведя летосчисление с 29 июня 1864 года, когда по биллю, подписанному президентом Линкольном, штат Калифорния получил некоторую сумму денег на сохранение «непотревоженной» красоты Йосемитской долины. Официально родословная национальных парков началась позднее — в 1872 году конгресс США поставил под федеральную опеку гейзеры, каньоны, леса и скалы Йеллоустоуна (на границе штатов Монтана и Вайоминг) как «публичный парк... для блага и наслаждения народа». Надо сказать, что этим акциям предшествовала долгая борьба, которая, собственно, продолжается и поныне; никогда не говорили так много о насилии над природой и о том, что она мстит все большее. Многие конгрессмены голосовали против билля о Йеллоустоуне, находя его «чересчур дорогой роскошью» и заявляя, что не дело правительства «выращивать диких животных».

Что касается Йосемитской долины и секвой, то ошеломленный «белый человек» увидел их впервые в пятидесятых годах прошлого века, когда, обшаривая калифорнийские горы в период «золотой лихорадки», ступил на священную землю индейцев. Он дал месту наименование от индейского слова «у-зу-ма-те» (медведь гризли) и истребил тишину временно, а индейцев — навсегда. Дельцы состязались, как половчее сделать бизнес на секвойях, и двое из них вошли в историю тем, что в 1853 году свалили «мать леса» — стометровую секвойю двадцатиметровой толщины у основания и, очистив ее от коры, отрезали бревнышко в сорок метров, повезли его по белу свету показывать за деньги, — сначала в города атлантического побережья США, а потом и за океан, в некогда знаменитый Кристальный дворец в Лондоне. «Мать леса» отомстила им: никто не верил, что масса древесины с пятиэтажный дом в поперечнике — кусок единого дерева. Компаньонов сочли жуликами. К чести просвещенных американцев того времени, этот аттракцион вызвал протесты и призывы создать общество «защиты деревьев от жестокости». Журнал «Харпере уикли» писал, что секвойи выкорчевывают «с таким же искусством и пердприимчивостью, какую выказывает шайка шакалов, очищая кости мертвого льва». Вандализм дал толчок движению за спасение больших

деревьев, и через десять лет оно одержало первый существенный успех.

...В Йосемитском парке многоликая Калифорния обернулась к нам ликом прекрасным.

Но ведь и мы транзитники. В понедельник опустели парк и наш отель «Биг три лодж»; для самих себя поют птицы, уже в безлюдье красновато и таинственно загораются от первых лучей солнца колонны секвой и сахарных сосен. Погуляли. Недалеко от отеля нашли свое, не указанное в путеводителях ущелье, откуда пиками тянулись к нам хвойные деревья. Посидели на солнышке, поговорили, — поговорили, конечно, и о том, что и нам бы такие вот заповедные парки с их дорогами, отелями и всем сервисом.

И пора — в темно-синюю «фьюри», в путь. Таня сзади, а я рядом с Василием Ивановичем, как штурман- навигатор, потому что по этой земле, исчерченной автострадами, мы можем передвигаться лишь в коридорах, разрешенных госдепартаментом, и в руках у меня неизменный дорожный атлас Рэнд Макнелли (сороковое ежегодное издание) и карты Калифорнии, которые бесплатно лежат на каждой бензозаправочной станции.

Далеко госдепартамент, пустынно на горных дорогах в понедельник, а все же надо блюсти уговор и выделять кренделя в десятки миль вокруг закрытых районов.

В путь! Ведь мы все еще путешествуем и лишь двое суток как из Лос-Анджелеса. Пора вернуться к дорожной канве, от которой так отвлекся автор, хотя многое, очень многое лежит рядом с дорогой, если вбираешь ее не только глазами: вдруг приходит в голову, например, что, может быть, тот самый «комплекс вины», который отрицает Герман Кан, и помог американцам сбросить секвойи. А госдепартамент, закрыв нам прямой путь в Сан-Франциско по тихоокеанскому побережью, вдвое удлинил пробег, но, слава богу, добавил соблазна побывать в Йосемитском парке, и мы сделали этот отрядный четырехсотмильный бросок к секвойям.

Теперь еще триста миль с утра до раннего вечера — сначала простились с горами, потом плодородная долина вокруг города Фресно, потом выжженное унылое плоскогорье, серые ленты дорог, маханье нефтяных качалок и солнце, ставшее горячим и безжалостным над пустыней Габиланских гор. Мы едем, и расстояние, как всегда, длиннее, чем при прикидке по карте. Сверяемся с номерами дорог, накручиваем мили, а не впечатления, оставляя позади такие богатые темы, как сельское хозяйство и индустрия Калифорнии, ее фермеры, виноделы, мексиканцы-издольщики и т. д. Потерянность в пустыне, невольное

опасение, как бы не заблудиться, хотя где же заблудиться на нумерованных дорогах, вверх и вниз по холмам, солнце, жалящее через ветровое стекло, жаркие сиденья и в полдень сонная скука Кинг-сити, откуда — пошло,, пошло, три ряда в одну, три— в другую сторону — рывок по федеральной 101-й до Кармела, где остановка еще на полтора дня...

Кармел — маленький, на пять тысяч жителей, городок на берегу океана, в 130 милях к югу от Сан-Франциско. Еще один сюрприз, еще одно очарование, лирическая интермедия между двумя фактическими столицами Калифорнии. Еще одно место из тех, где к радости примешаны вина и неловкость — что сам посмотрел, понаслаждался, а жена и дети заперты в каменном мешке Манхэттена, близкие и друзья твои не видели этой прелести.

Мы тихо скатились вниз по Оушен-авеню, и океан влился в поле зрения, слегка ограниченный двумя мысами.

Океан в Кармеле не что-то лежащее слева или справа от дороги и мешающее спрямить ее, не место для городской свалки.

Мы поспешили на пляж, песок был чист и мягок, но вода холодной, обжигающей, — с Тихим океаном не шути и поздней весной. Две амазонки скакали по песку, у самой воды. Игра молодости, резвости лошадей и океанской волны, готовой подкатиться к копытам, обдать брызгами смеющиеся девичьи лица.

Океан работал, вздыхая и накатывая волны, шумя тем своим шумом, что не нарушает тишины.

Океан объединял, и ты уже не русский в далекой стране, а человек среди людей и возле стихии.

Океан все облагораживал: какие кругом красивые, симпатичные, грациозные люди. Пришел молодой бородач в тяжелых походных ботинках, бросился на песок, раскинул руки и успокоился, смотрит в небо, как блудный сын на потолок вновь обретенного родительского дома.

Вечерний ритуал Кармела: люди сходятся и съезжаются, чтобы попрощаться с солнцем. Повиснув над океаном, оно слепит глаза последними лучами. Все ниже тающий горящий кусочек золота над мрачнейшей поверхностью воды.

Ночью на пляже темно и пусто. Молодая пара возвращается к машине. Одинок работает океан. Белая длинная волна бьет и бьет о берег. Песок смутно белеет, и на светлом его фоне еле угадывается темная черточка человеческой фигуры. Ветер шелестит в прибрежных

кедрах и соснах. В темноте и тишине звезды проступают над океаном. И не одни звезды. Воспоминания молодости в далеких от океана местах проступают в памяти... «Послушайте! Ведь если звезды зажигают— значит, это кому-нибудь нужно?..»

— Кармел—это состояние духа, —говорит нам мистер Плакстон. Изречение, неожиданное в устах финансового клерка мэрии, но необычен и мистер Плакстон.

— Чем бы мне еще помочь вам? Как-то неудобно мне расставаться с вами, ребята. Жаль, что у вас так мало времени, а то устроил бы вам барбекью у себя на веранде...

Барбекью — жареные косточки, гостеприимство на уровне шашлыка. Мистер Плакстон, пожилой мужчина с седыми в ниточку усами, полон доброжелательства и внутреннего спокойствия. С усмешкой говорит, что, по общепринятым категориям, он — из неудачников: был водопроводчиком, торговым агентом, теперь скромный клерк. Не богат. «А разве деньги самое важное?» — в его устах это революционное открытие. Он поставил состояние духа над погоней за деньгами и обрел его в Кармеле, где, по словам мистера Плакстона, можно избежать «регламентации», то есть того жесткого действия общественного механизма, который, несмотря на всю пестроту Америки, неумолимо загоняет человека на отведенную ему полочку в соответствии с размерами банковского счета, клубом, к которому он принадлежит, кварталом, где он живет, маркой его машины, стоимостью дома и т. д. и т. п. А в Кармеле мистер Плакстон выскользнул из тисков регламентации. Клерк из неудачников, он в одном каком-то там своем клубе вместе с отставными генералами и крупными бизнесменами. Не мало ли? Много для мистера Плакстона.

Брожу по Кармелу и испытываю приятнейшее состояние духа. Уютное поселение. Низенькие домишки, изящно оформленные магазинчики, маленькие картинные галереи. Улочки, не стесняющиеся выглядеть милыми закоулками, искривившие тротуары, чтобы спасти сосны. Неоновая реклама запрещена, даже уличных фонарей нет. Бензозаправочные станции спрятаны под идиллические черепичные крыши. Здесь хорошо человеку, уставшему от голой, мертвящей функциональности городов, продиктованных автомобилем. Кармел — это для людей, а не для машин, это опровержение Лос-Анджелеса, хотя и неубедительное, если сравнить их размеры, завистливый взгляд на Европу и попытка убежать от стандартной Америки. Где же истина? Приобретая что-то важное и нужное, человек всегда что-то теряет, и часто — тоже важное и нужное. Так неужели спасение в том, что

приходит другое поколение и просто не знает, что потеряно?

История здесь началась с испанцев, с экспедиции Гаспара де Портола. В 1770 году — первая кармелитская миссия на юго-восточной окраине нынешнего городка.

Отец Серра, ее основатель, лежит теперь пред алтарем старой кармелитской базилики, рядом с отцом Хуаном Креспи, основателем Лос-Анджелеса.

Но лицо Кармела определила трагедия — сан-францисское землетрясение 1906 года. Оставшись без крова, туда переселилась группа художников, писателей и музыкантов. Они-то и решили, как гласит официальная городская история, «сохранить природную красоту и редкое очарование поселения в лесу над белым песчаным пляжем». Библиотека, клуб искусств, театр возникли в городке, сосны и кедры были посажены вдоль берега, а параллельно шли «ожесточенные битвы между культурной и деловой группами населения». В 1922 году создали первую комиссию по городскому планированию, обязав ее оградить Кармел от «нежелательных коммерческих начинаний». Едва ли не самой главной вехой было приглашение в 1928 году профессионального градопланировщика, который, спасая город от надвигавшейся гегемонии автомашины, вынес сквозную автомагистраль за его черту. Бизнесмены восстали, свергли городской совет, требуя введения дороги в город, тем не менее в 1929 году был принят городской закон, по которому коммерческие интересы «навсегда» подчинены интересам жителей.

Так этот городок защитил свое очарование от «разрушительных сил прогресса», к которому здесь относятся с иронией и ужасом, потому что слово это монополизировали узколобые дельцы. Жители Кармела, с гордостью возвещает городская справка, «посмели быть непохожими на других».

И вот прелестная Торрес-авеню, цветочки под окнами отеля «Росита лодж»; открыв дверь комнаты, ты рядом с сосной, темнеющей на фоне голубого неба. Боб Мартин, владелец отеля и бывший отличный стрелок, сидя за столом под бронзовыми фигурками с винтовками — всё его призы, — улыбается навстречу и говорит:

— Доброе утро! Похоже, что будет еще один замечательный день.

Да, будет еще один замечательный день. Ты предвкушаешь прогулки по Оушэн-авеню и боковым улочкам, разговоры с людьми, у которых кармелское состояние Духа, поездку в платный парк Дел Монте, где поля для гольфа, совершенно пустынный берег, скалы, о которые разбивается океан, лежище морских львов, загорающих на солнышке и

лениво раздумывающих, не слишком ли опасно приблизился к ним человек, а вечером ресторан «Французский пудель», где — Боб Мартин, перелистывая подшитые в папку меню пятидесяти трех кармелских точек общепита, чмокает — «цыпленок в вине унесет вас на седьмое небо».

«Ты не обязан читать газету за утренним кофе или настраивать радио для очередной шоковой инъекции... Не нужно нестись на работу в забитой, дурно пахнущей подземке, висеть на телефоне целый день, наткаться на линии пикетов или на полицию, бросающую бомбы со слезоточивым газом в толпу, охваченную паникой. Не обязательно покупать телевизор детям. Жизнь здесь может идти своим чередом, освобождаясь от столь многих тревог, которые в остальной Америке считаются нормальными». Это слова Генри Миллера. Его считают спорным писателем, но тут ему не возразишь. Сказаны эти слова о Биг Суре, другом прелестном местечке на океане, в тридцати милях южнее, но их можно отнести и к Кармелу.

Кармел убежал от Америки, но Америка льнет к нему, и именно потому, что он осмелился быть непохожим. Боб Мартин рассказывает, что в сезон, с июня по октябрь, здесь столпотворение: машины, бампер к бамперу, сверху от дороги № 1 вниз до пляжа, и такая же вереница обратно. Медленно движется автоочередь в Кармел на полторы мили длиной, посмотрят на чудо, вздохнут или подивятся, и опять в стандартную страну, но из машин — доллар за долларом оседает в Кармеле: в ресторанах, в 46 мотелях и отелях, в магазинах. По семьдесят — восемьдесят тысяч машин проходит тогда через Кармел каждый день, говорил нам мэр. Город делает бизнес на неповторимости и артистичности. Кармелские дельцы, боявшиеся прогореть на непохожести, отменно компенсированы.

Мистер Плакстон усматривает гарантию очарования не только в стойкости жителей, но и в опеке неких «милосердных баронов». Прощаясь с нами на ступеньках таун-холла, он машет рукой направо, в ту сторону, где расположен парк Дел Монте:

— Есть у нас своя клика, там на полуострове. Сэм Морс — у него контрольный пакет в компании «Дел Монте пропертиз», владеющей парком. Фиш, крупный землевладелец. Оппенгеймер, тоже богатый собственник. Они не пускают аутсайдеров...

Слава растет, земля дорожает. Дом Плакстоіна в 1944 году стоил восемь тысяч долларов, через двадцать лет за него давали 32 тысячи. Художники и писатели, может быть, что-то еще значат, но процент их ничтожен. Мэр сообщил, что около четверти кармелцев — военные в

отставке, от майора и выше, 15 процентов — пожилые бизнесмены, удалившиеся от дел.

Сначала я пренебрег цифрой о прослойке отставников, мысленно отмахнулся от нее. Потом мы заглянули в Монтре (центр графства, на территории которого лежит и Кармел) и там в Торговой палате запаслись кое- какими брошюрками. Я вчитался в них, уже покинув Кармел и Калифорнию, и мне стало ясно, что полуостров Монтре и одноименное графство милитаризованы не меньше Лос-Анджелеса, с поправкой, конечно, на размеры. На полуострове, недалеко от морских львов, нежащихся на солнце, есть Форт Орд (большой учебный центр для пехоты, а также командный экспериментальный центр «армии будущего»), школа по подготовке военно-морских офицеров, военный институт иностранных языков, учебный военно-морской аэродром, застава прибрежной пограничной стражи. Гражданского населения на полуострове Монтре, по данным 1966 года, — 89 тысяч, военных с семьями — 32 тысячи.

Вездесущий «Бэнк оф Америка» опубликовал доклад «В фокусе графство Монтре», такого же типа, как доклад об экономике Лос-Анджелеса. В графстве, оказывается, живет сорок тысяч военных и членов их семей. Плюс 15 тысяч гражданских лиц, работающих на Пентагон, и члены их семей. Плюс шесть тысяч отставных военных. Если учесть семьи отставников и сложить все упомянутые цифры, то получится, как указывается в докладе, «более восьмидесяти тысяч человек, то есть больше трети всего населения графства Монтре».

Экономическое процветание здесь тоже связано с милитаризацией, аналогично лос-анджелесскому, что избавляет меня от комментариев. Ограничусь цитатами:

«Большая часть бизнеса — банки, торговля, сервис в районе полуострова Монтре, где сосредоточены военные учреждения, очень зависит от военнослужащих и их семей. Оклады военных, а также гражданских лиц, работающих на Пентагон, равнялись в 1966 году 130 миллионам долларов. Кроме того, самим военным учреждениям нужно большое количество товаров и услуг... Сильная зависимость от военных может вызвать существенные экономические проблемы в случае крупных сокращений в численности войск и сопутствующего сокращения в притоке федеральных средств. Однако такая перспектива представляется крайне маловероятной. С усилением напряженности на Дальнем Востоке и важности сохранения военных позиций США некоторые военные сооружения на территории графства сейчас расширяются... К началу 1967 года потребности войны во Вьетнаме

увеличили общее число военных почти до сорока тысяч, что намного превышает самый высокий уровень с 1945 года и приближается к средним показателям периода Второй мировой войны... Многие военные также избрали графство Монтре местом жительства после отставки. Этот район широко известен у отставников как одно из лучших мест, и для них уже выстроено несколько жилых комплексов».

...В последний раз утренние сосны и густо-голубое, сохранившее ночную сочность небо Кармела. Утреннее шарканье машин по кривым улочкам, тяжелые со сна лица людей.

— Доброе утро, — слышим мы от мистера Мартина. — Кажется, у нас будет еще один замечательный день.

Да, будет, но уже не для нас. Свежевыбритый и любезный, он берет наши доллары и еще раз извиняется, что предложил комнаты с окнами на тротуар, а не рекламируемые на его визитных карточках люксы с лоджиями, каминами, кухнями.

— Возвращайтесь!

И мы утешаем его. Все было прелестно, мистер Мартин. Все было прелестно, и очень жаль, что так коротко.

И «фьюри» с хозяином за рулем вынесла нас по Оушэн-авеню вверх на дорогу № 1, которую Кармел не пустил в свои пределы, замелькали рекламные и дорожные щиты, началась уродливая скука города Монтре — безликого, стандартного, убитого засильем автострад и бензостанций. Небо выцвело...

От Кармела до Сан-Франциско около двух часов езды, в основном по федеральной дороге № 101. Это большой автомобильный тракт через плодородную долину, хорошо известный водителям огромных грузовиков с прицепами. Дорога как улица. Врезается в города и городишки. Зеленые поля, виноградники, справа порыжевшие невысокие горы. Как визитные карточки южного края, на дорогу выбегают вывески: «Фрукты — овощи», «Свежие артишоки», «Персики», «Винный магазин, комната дегустации». Калифорния, между прочим, производит восемьдесят процентов американских сухих вин, и лучшие сорта дают виноградники в долинах, лежащих по соседству с Сан-Франциско.

Хорош Сан-Франциско, когда прилетаешь туда из Нью-Йорка, но сейчас зеленые щиты дорожных указателей и учащающийся ритм автострад летели навстречу, как петля аркана на шею коня, побаловавшегося под йосемитскими секвойями и на песке кармелского пляжа.

12

«Сан-Франциско — это город, который любят все».

«Сан-Франциско любят, потому что это Сан-Франциско».

«Сан-Франциско любят, потому что в нем легко забыться».

Это шуточная похвальба из одной полурекламной брошюрки, которой снабжали приезжих журналистов, чтобы они не изобретали велосипед. У каждой нации есть свои города-любимцы, и мне не довелось встретить американца, который не любил бы Сан-Франциско. «Сан-Франциско любят, потому что это Сан-Франциско», хотя он и называет себя «тихоокеанским Парижем», «Багдадом на заливе», «воротами на Восток». Чем непреложнее стандарт, тем популярнее исключения, сильнее американская — и только ли американская? — страсть к любой экзотике: своей ли, будь то Сан-Франциско или Кармел или Нью-Орлеан с французским колоритом, Сан-Антонио и Санта-Фе — с мексиканским, или такой островок богемы среди манхэттенских небоскребов, как Гринвич-виллидж; к чужой ли — и отсюда нашествия американских туристов в Испанию, Францию, Италию, Грецию, в Африку и Азию — были бы доллары на летние отпуска, а они есть у все большего числа людей, и их все еще весьма охотно принимают всюду. Человек тянется к непохожему, чтобы обновить приверженность к привычному: отведав колбасу по-тулузски и бой быков, американец укрепитесь в любви к своему «тибоун стейк» и бейсболистам из клуба «Нью-Йоркские янки».

Кто не слышал о Сан-Франциско? Впервые прилетев туда в конце апреля 1962 года, я уже был готов объясняться в любви. Дело было вечером, от городского аэровокзала мы взяли такси до отеля «Плаза» на Юнион-сквер.

— Откуда вы, ребята?—как старых приятелей, спросил таксист.

— Из Нью-Йорка.

— Жарко там?

— Когда уезжали, было прохладно. Однако дней десять прошло.

— Э, братцы, долгонько вы добирались. Небось встретили кошечек по дороге...

Разместившись в отеле, мы поспешили на сан-францисские улицы, и океан послал привет прохладным бризом. Отчаянная музыка и пенье вылетали из дверей бара, возле стоял зазывала в ливрее. Зашли. Бар был как салун начала века, публика — в состоянии приятного подпития, хором тянула старую бойкую песню. В углу за роялем сидел разбитной малый в шляпе, а верхом на рояле — разудалый мандолинист.

Объявление рекомендовало мандолиниста как «нашего профессора музыки, который исполняет все что вам угодно».

Так с первых минут Сан-Франциско напомнил двум незнакомцам, что в нем легко забыться — при желании. Забыться не удалось, но вину я беру на себя и на свою профессию.

Тем не менее первое знакомство подтвердило магнетическую прелесть Сан-Франциско. Чем привлекательны его сорок холмов на берегу океана и красивого залива? Открывшие Сан-Францисский залив испанцы из экспедиции все того же Гаспара де Портола не думали о том, как впишется в девственную природу почти миллионный современный город. Но изначальная магия места не убита городской застройкой, в принципе осталась той же — она в игре холмов и массы воды. После просматриваемых на милях просек типичных американских улиц сан-францисские холмы — как неожиданность, как тайна. Машины штурмуют склоны, как альпинисты, вместо альпенштоков — тормоза. Что там, за гребнем? А взлетишь на асфальтированную вершину, и вот она, тайна, — еще один панорамный вид на дома, холмы и могучую массу океанской воды. Пространственная мощь океана, стихия в самом богатырском ее проявлении входит в город, в человеческое поселение. Океан несет не душную потную влажность, как Атлантика в Нью-Йорке, а свежесть и хорошую меру прохлады.

В пиковые моменты отлива океан забирает из залива четыре с половиной миллиона кубофутов воды в секунду, — в семь раз больше, чем сток воды в устье Миссисипи. Океанский выдох, и уже окутаны сырым облаком ярко-рыжие фермы знаменитых «Золотых ворот». Природа искушает человека стать с ней вровень, и «Золотые ворота» — мост через горло залива, законченный в 1937 году, — доказывает, что жители не уклонились от вызова. Длина моста — около трех километров. Почти полтора километра центрального пролета висят на опорных башнях, которые поднимаются на двести пятьдесят метров над уровнем воды. Суда высотой до семидесяти с лишним метров могут проходить под мостом, а по мосту каждый год пробегает больше двадцати миллионов автомашин. Другой мост, через залив, из Сан-Франциско в Окленд, имеет несколько пролетов и один тоннель и считается самым длинным мостом в мире — тринадцать километров. По двум своим палубам-этажам Оклендский мост пропускает в год около пятидесяти миллионов автомашин.

Да, с природой Сан-Франциско повезло, если, конечно, не считать запоздалого открытия, что город лежит в районе незатахнувшей сейсмической активности, которая, если прислушаться к пессимистам,

может поставить вопрос о самом его существовании.

Принимали нас хорошо. Собеседники дорожили репутацией космополитичного, «сквозного» города, которому иностранцы те в диковинку, который переварил в своем котле многих из них (в Сан-Франциско, как известно, десятки тысяч итальянцев, мексиканцев, канадцев, тысячи русских, пятьдесят тысяч китайцев—тамошний Чай-иа-таун считают самым большим китайским поселением за пределами Азии) и привил широту взгляда, характерную для жителей портовых городов, где терпимость просто диктуется законами торгового общения.

Новые знакомые были разными: боевой лидер профсоюза портовых грузчиков Западного побережья Гарри Бриджес, президент Американо-русского института, давний друг нашей страны Холланд Робертс, консервативный мистер Рэнсом Кук, президент крупного банка «Уэллс Фарго», всюду в мире видевший посягательства на американское богатство, помощник автомеханика Евгений Воронков, русский, родившийся в Китае и через Аргентину попавший в США, — он рассказывал о своих мытарствах и о мечте попасть в нашу страну, которую никогда не видел, но считал своей родиной, либеральный адвокат Роберт Фелен.

Молодой ученый Дон Ри возил нас в Муирский лес, к младшим сестрам гигантских секвой, поведав по дороге свою историю канадца, принявшего американское подданство: ему нравится Сан-Франциско, а возможностей для научной работы тут больше, чем в Канаде. Другой добровольный проводник на экскурсионном пароходике прокатил по заливу — к тюремному острову Алькатрас. Под голубым небом среди воды уныло серели стены и корпуса знаменитой тюрьмы, и экскурсанты с жестоким любопытством вглядывались в добротнo-мрачное сооружение: не мелькнет ли в окуляре бинокля физиономия узника? Напротив Алькатраса, у шумной популярной «Рыбацкой пристани» на металлических трубах стояли стационарные тяжелые бинокли, которые за десять центов давали желающим возможность безопасно приблизиться к тюрьме. Кстати, сейчас тюрьму на острове закрыли. Содержание узников обходилось там непомерно дорого, и, может быть, власти поняли, что людей за решетку сажают не для развлечения туристов.

Больше других запомнилась, пожалуй, беседа в доме врача Джона Райана. Он пригласил нас на обед, а потом под кофе и ликер в гостиной вместе с его знакомыми мы взяли за необъятную тушу житейской философии. Я живо помню один неожиданный аспект разговора, перешедшего в спор. Хозяин и его знакомые, тоже врачи, обсуждали

вопрос, можно ли принудительно стерилизовать женщин и мужчин, которые не имеют ЖНН средств, ни возможностей поднять на ноги своих детей. Человека, еще не привыкшего к холодным «интеллектуальным» спорам в Америке, меня ошеломила тогда и тема, и особенно тон — спокойный, без эмоций, с сознанием собственного права и превосходства, а превосходство-то было в том, что самих участников разговора и жен их стерилизовать, конечно, не придется, поскольку, рожая детей, они сверяются с домашними приходно-расходными книгами. Ну и что, скажет читатель, не на небесах живем, и сами, как доказывает сравнительный уровень деторождаемости, сверяемся получше американцев. Так-то оно так, но каково, если кто-то будет за тебя сверяться, считая, что сам ты свериться толком не можешь?

Я не хочу нагромождать чрезмерных ужасов, наш хозяин не был нацистом, и, может быть, рука у него дрогнула бы, дойди разговор до дела. Рассуждения велись теоретические, но с практической подоплекой. Наши собеседники были озабочены, как медики и как горожане. В Сан-Франциско растет число семей, в которых не могут нормально содержать и воспитывать детей. В них видят угрозу и обузу для общества, поскольку цивилизация подразумевает свой минимум гуманности, сводящийся хотя бы к налогам на соцобеспечение, которые приходится платить состоятельным горожанам. Разговор упирался, таким образом, в деньги. Не лучше ли стерилизовать родителей? Радикальнее, рациональнее и экономнее.

Откуда же берутся эти дети? Д-р Райан объяснил, что люди делятся на классы по принципу отсутствия или наличия «амбиции», жизнестойкости и жизнеспособности и что внизу такая генетически запрограммированная бездна, отсевы и отбросы, которые не отвечают за себя, а потому общество, представленное «средним» и «высшим» классами, в своих разумно понятых интересах должно их контролировать, ограничивать возможности их воспроизводства, — например, принудительной стерилизацией.

Есть, конечно, реальные различия между людьми — в нравственном, умственном и физическом потенциале, в максимальном потолке, отведенном тупице и гению. Есть

«неравенство развития» — самое сильное из неравенств, по умному замечанию Герцена, и оно происходит не ^только по вине объективных обстоятельств, социальной среды и возможностей для развития, но и по вине природы. Люди неодинаковы и будут неодинаковы, но что же это за общество, которое естественно подводит своих членов к разговорам типа того, что мы услышали в гостиной доктора Райана? Я вернусь к этой теме, потому что сам Сан-Франциско набух мстью против теоретиков принудительной стерилизации и подготовил кое-какие ответы на старый спор.

...В конце того первого визита в Сан-Франциско мы побывали у тогдашнего мэра Джорджа Кристофера. Американец из греков, он питал душевную слабость к православным, хотя и ставшим атеистами. Его призывы к хорошим отношениям между США и СССР часто раздавались в те годы, и в разговоре с нами мэр сокрушался, что «нет прогресса в науке понимания человека человеком». Кристофер вручил нам именные ключи от города. Щедрый мэр, наверное, выдавал их десятками, если не сотнями, но дорогое внимание. Ключ сделан из позолоченной фанеры, на язычке его написано: «Пожалуйста, возвращайтесь!»

И я вернулся — в июле 1964 года.

Мы прилетели из Нью-Йорка. Первый житель Сан-Франциско, с которым мы перебросились парой слов еще в аэропорту, оказался студентом из Беркли, подрабатывающим в автопрокатной фирме «Баджет». Вручая ключи от «мустанга», студент сказал: «Надеюсь, джентльмены, что вы сметете Голдуотера. Здесь все против него».

Аризонского сенатора Барри Голдуотера смели американские избиратели в ноябре 1964 года, выбрав президентом техасца Линдона Джонсона. И студент был прав: большинство сан-францисских избирателей голосовали против аризонца.

Но это случилось в ноябре, а в июле очаровательный Сан-Франциско был ареной голдуотеровского триумфа. Там проходил съезд республиканской партии, выдвинувший демагога и невежду кандидатом в президенты США. Приглашая к себе съезд, сан-францисские власти думали не о политике, а о бизнесе, вернее, о бизнесе на политике. Город внес 650 тысяч долларов в предвыборную кассу «партии слона» за право заполучить к себе ее делегатов, заполнить ими свои отели, рестораны, кабаре и авиалинии и заработать на гостях миллионы долларов. В буклетиках, которые корреспонденты, приехавшие на съезд, получили в пресс-центре, со всей откровенностью

разъяснялась эта арифметика. В 1963 году около двух миллионов разных гостей облегчились на 111 225 тысяч долларов в районе Большого Сан-Франциско (к этому району, расположенному по берегу Сан-Францисского залива, кроме собственно Сан-Франциско относят также Ричмонд, Окленд, Беркли и Дейли-сити). Охотнее других раскошеляются участники всяческих конференций, симпозиумов, фестивалей, съездов, не забывающие развлечься. В 1964 году съезд республиканцев сулил самый жирный куш, и Сан-Франциско сорвал его, заполучив две с половиной тысячи делегатов и заместителей делегатов, пять с половиной тысяч корреспондентов, аккредитованных на съезде, и тысячи гостей, лоббистов, наблюдателей и проч.

Из всех сан-францисских достопримечательностей нашему брату больше всегогодились тогда кабельные трамваи. Кургузые вагончики влекутся по холмам Пауэлл-стрит и Калифорния-стрит на подземных цепях-кабелях, вожатые мастерски орудуют рычагами сцепления, архаичными, но надежными тормозами и собственным голосом. «Поехали!» — с восторгом детей, скатывающихся с ледяной горки, кричат они, и натужно взобравшийся на холм вагончик срывается вниз, расчищая путь трезвоном. Патриоты старого доброго Фриско, не жалея мускулов, разворачивают вагончики на поворотном круге и бдительно берегут свою забаву. (На 91-м году своего существования кабельные трамваи были причислены к «национальным историческим памятникам», их можно упразднить лишь общегородским референдумом.)

На этом мобильном «памятнике» мы взбирались на крутой Ноб-хилл, где в фешенебельном отеле «Марк Гопкинс» с царским видом на город, залив и океан семнадцатый этаж был снят под апартаменты и штаб-квартиру Барри Голдуотера, а шестнадцатый — Уильяма Скрентона, соперника аризонца, пенсильванского губернатора-миллионера, представлявшего в те дни надежду умеренного крыла республиканцев. На голдуотеровском этаже висели под потолком провода частной — с гарантией от подслушивания — телефонной сети на сто двадцать номеров и разгуливали дюжие молодцы из сыскного агентства «Пинкертон».

Многое было тогда у Голдуотера. Например, пятьсот «девиц Голдуотера» — добровольных крикливых агитаторш; в смысле женских прелестей они, правда, проигрывали «девицам Пепси-Кола», которые бесплатно снабжали делегатов и корреспондентов фирменным напитком. Родилась целая предвыборная индустрия, доказав непревзойденную маневренность американского бизнеса. Продавали

полые стеклянные трости, в которых переливалась золотистого цвета вода (goldwater переводится как золотая вода), канотье, брошки, бусы, значки, заколки для галстуков с тем же магическим именем. Шустрые седовласые энтузиастки, по возрасту не годившиеся в «девицы Голдуотера», украшали себя большими круглыми значками: «Будь мне 21 год, я голосовала бы за Барри».

В те лучшие дни своей жизни Барри Голдуотер имел даже разрешение сан-францисских властей на вертолетные путешествия от отеля «Марк Гопкинс» до Коровьего дворца в Дейли-сити.

Там-то, в сан-францисском предместье, среди рыжих калифорнийских холмов, в Коровьем дворце, построенном в начале тридцатых годов по рузвельтовской программе борьбы с безработицей, в антракте между ежегодной скотоводческой выставкой и гастролями четырех лохматых битлов из Ливерпуля, — там-то и разыгрывался главный спектакль. К чести американских журналистов, они весьма иронически относятся к предвыборным съездам двух ведущих своих партий, но меня, даже предупрежденного, поразил балаган в Коровьем дворце. И балаганы бывают разные. Тогда был небезопасный балаган невежества и ненависти — глобальной и универсальной ненависти к либералам, умеренным, неграм, коммунистам, программе соцобеспечения, кубинцам, панамцам, вьетнамцам, социалистическим странам, Де Голлю, Джонсону, «миллионерам с Восточного побережья», газете «Нью-Йорк тайме» и т. д. и т. п. Принципиальной ненависти ко всякой сложности мира, в котором отовсюду, как чудилось сторонникам Голдуотера, покушаются на их Америку, где всюду предатели, отступники и «мягкотелые».

Кульминация наступила, когда в Коровьем дворце выдвинули кандидатуру Голдуотера, и штат за штатом, за немногими исключениями, поддерживал ее. Что делалось? Шум. Свист. Топот ног. Пляска плакатов. Воздушные шары. Истерия воодушевления, которую председатель-голдуотеровец тщетно хотел направить в упорядоченное русло. Специально привезенные из Аризоны индейцы — в перьях и почти нагишом. Девушка в позолоченном трико-как из стриптиза, но с портретом Барри Корреспонденты молча наблюдали этот шабаш с помоста около трибуны, и какой-то седой ублюдок пальцами растягивал рот в улыбку и кричал «Соте он!» — «Давай!», показывая моему удрученному соседу, как надо улыбаться и радоваться.

Голдуотер шел к победе, как паровой каток, голоса были у него в кармане, за диким энтузиазмом стояла подконтрольная машина республиканской партии, слепая дисциплина ломала критический

разум, и разве могли подействовать на надменного триумфатора упреки из письма растерянного Скрентона: «С откровенным презрением к достоинству, честности и здравому смыслу съезда ваши помощники фактически говорят, что делегаты всего лишь цыплята, которым можно скручивать головы как угодно... Вы слишком часто и необдуманно прописывали ядерную войну как рецепт для решения проблем беспокойного мира. Вы слишком часто проявляли безответственность в серьезном вопросе расовой катастрофы... Короче говоря, голдуотеризм свелся к сумасшедшей коллекции нелепых и опасных взглядов...»

Голдуотер отослал письмо обратно.

Минуты публичного унижения испытал Нельсон Рокфеллер, нью-йоркский губернатор и самый известный из пяти братьев-миллиардеров. Будучи одним из претендентов, он, однако, держался в сторонке, загораживаясь Скрентоном, на которого делал ставку «восточный капитал». Эта тактика не спасла Рокфеллера от неприязни и ненависти. Когда он появился на трибуне, его ошिकाми, ему не дали говорить. «Мы хотим Барри! Мы хотим Барри!» — скандировали голдуотеровцы. «Паршивый развратник!» — визжала некая блондинка: Рокфеллер развелся с женой и вступил во второй брак незадолго до описываемого события. «Это все еще свободная страна, дамы и господа!» — увещевал Рокфеллер толпу, но не тут-то было. Ухватившись за края трибуны, он еле сдерживал себя, а сдержаться надо было, только выдержкой он мог победить в глазах миллионов телезрителей. Он был серее обычного, мускулы лица и большого, неприятно подвижного рта с трудом хранили тренированную, легко доходящую до ушей улыбку.

Это была любопытнейшая сценка: публично Рокфеллеров унижают не часто. Впрочем, если подсчитывать ее политические дивиденды, то губернатор, скорее, выиграл. Истерия в Коровьем дворце многим не понравилась.

Человека, не знакомого с американскими тонкостями, может озадачить эта критика Рокфеллеров справа. Рокфеллеры, разумеется, остаются капиталистами до мозга костей, но в американской политической чересполосице есть разные точки отсчета. Заглянув в дни съезда на Мишн-стрит в штаб-квартиру ультраправой организации «Независимые американцы за Голдуотера», я узнал, что по политическим убеждениям Нельсон Олдрич Рокфеллер является «интернациональным социалистом»...

13

И вот третий въезд в Сан-Франциско.

Кармел позади, уже сдут скоростями на федеральной 101-й. Зеленые дорожные щиты отдают указания автомобилистам. Я ищу знакомцев среди них. Ба, съезд на Дейли-сити! А вот и указатель на Коровий дворец. Он как право на воспоминания.

Где прежние страсти? Где он, Наполеон марки 1964 года, наблюдавший свой Аустерлиц по телевизору из отеля «Марк Гопкинс», а на следующий день собственной персоной явившийся в Коровий дворец — через черный ход, потому что у парадного бушевали демонстранты, на свой лад склонявшие его фамилию: «1964 — Золотая вода! 1965 — Горячая вода! 1966 — Хлеб и вода!»

Краткосрочный триумфатор не попал в Белый дом, потерял даже сенаторскую синицу, погнавшись за президентским журавлем, и вот уже больше трех лет скромно сидит у себя в Фениксе, — галантерейный коммерсант, а также фото-радио- и авиалюбитель. «Мы, американцы, можем лучше думать о себе, так как принадлежим к обществу, которое родило Голдуотера!» — восклицал тогда один оратор. А потом в вечной суете своей Америка забыла Голдуотера быстрее, чем заграница, которая усваивает далеко не все американские феномены. В нью-йоркские газеты он попадал редко и не ближе десятой полосы, хотя в его заявлениях была законная обида жертвы плагиата — Джонсон проводил во Вьетнаме ту самую политику, которую обещал Голдуотер. Мечтал уже не о Белом доме, а о возвращении в сенат (чему и суждено было сбыться в ноябре 1968 года, когда аризонцы снова направили его на Капитолийский холм).

А американская карусель вертится, и как, оказывается, легко ее обозреть с высоты всего лишь четырех лет. Снова выборный год, но уже не Сан-Франциско, а курортный Майами Бич заангажировал республиканский съезд. Демократы, наломав дров вьетнамскими эскалациями, помогли республиканцам кое-как склеить партию, деморализованную поражением Голдуотера. Джонсон отказался баллотироваться на второй срок, дав «партии слона» дополнительный шанс провести своего человека в Белый дом. Но о Голдуотере и речи быть не может. Скрентон сошел с круга, не обнаружив достаточной энергии и честолюбия. У Нельсона Рокфеллера и его жены Хэппи не зажили еще раны сан-францисского унижения, и хотя миллиардер с запозданием «побежал», в его успех не верят, а вес его в

республиканской партии по-прежнему невелик. Другие люди на республиканской авансцене, и среди них — Рональд Рейган, бывший киноактер, этакий неожиданный продукт голливудской безработицы. Во время балагана в Коровьем дворце Рейган еще играл ковбоев в кинопавильонах, а сейчас губернатор Калифорнии, — на роли Голдуотера 1968 года. Но главный претендент у республиканцев — Ричард Никсон, тоже калифорниец. Его били дважды — Джон Кеннеди на президентских выборах 1960 года и Эдмунд Браун — на выборах губернатора Калифорнии в 1962 году, не раз окончательно описывали со счета, но «непотопляемый Дик» — снова фаворит в президентских гонках.

Политические страсти вернулись на калифорнийскую землю в виде пробы, хотя и важной, — предстоящими 4 июня первичными выборами. Внимание на двух демократах — Роберте Кеннеди и Юджине Маккарти. Что касается республиканцев, то Никсон считает тактически невыгодным оспаривать в Калифорнии влияние Рейгана. .

Все это мелькает в мозгу, пока мы проносимся под зеленым щитом, адресуящим желающих к Коровьему дворцу. Не желаем!

Нам нужен не дворец, а отель, и не корова, а мистер Лэмб хотя по странной игре случая его фамилия переводится как «овца». Отель и немедленный телефонный контакт с мистером Лэмбом, который уже заготовил программу наших сегодняшних встреч и, наверное, волнуется, потому что не привык на встречи опаздывать, наверное, ворчит на чудаков русских, не заказавших отель заранее, — нелепость для американца, выжимающего максимум из телефона, по которому в их стране можно, не вешая трубки, связаться с любым городом, и из справочников, в которых указаны и цены, и расположение отелей.

«Городская черта Сан-Франциско. Население 756 900» — мы проскочили и этот дорожный щит, и Василий Иванович рыскал по улицам, а я — по страницам путеводителя AAA, ставя на обсуждение названия и цены отелей. Не в пример Лос-Анджелесу «всеми любимый город» целиком открыт для советских гостей, но последние строчки коротеньких аннотаций отвращали нас от буржуазных соблазнов соляриев на крышах, от жизни на изысканном Ноб-хилл. Последние строчки пестрели теми знаменитыми загогулинами, которыми карикатуристы метят бока, спины, манжеты и цилиндры американских толстосумов. Мы браковали отель за отелем, пока не дошли до «Губернатора». На слух? Звучит хорошо. Место? «В сердце Сан-Франциско». Цена номера? От девяти до двенадцати долларов на одного человека, от одиннадцати до шестнадцати — на пару;

«прекраснейший из разумно расположенных отелей Сан-Франциско».

И мы выбрали «прекраснейший» — кирпичный параллелепипед на углу Турк-стрит и Джонс-стрит. Ковер в холле, увы, не пружинил под подошвой, а кресла были всего лишь под кожу. Но на стойке регистрации как обещание многообразных радостей Сан-Франциско лежали кипы красочных буклетиков. «Веселись вовсю!» — под этим лозунгом буклетики предлагали ежевечерние экскурсии по ночным клубам.

Налево у входа были бар и кафетерий, прямо — лифты на этажи. Сколько же этажей в «Губернаторе»? Десять, двенадцать? Я ловлю себя на снобизме ньюйоркца, не считающего этажи, если их меньше пятидесяти.

С машиной было труднее, у отеля нет собственной автостоянки, а Сан-Франциско — не Кармел, оставить машину на улице — значит нарваться на штраф. Но все? да найдется гараж по соседству, и мы нашли его на Турк-стрит, а потом разгрузились, поднялись в свои номера и поспешили вниз, на акт материализации мистера Ричарда Лэмба, шефа сан-францисского бюро журнала «Бизнес уик».

Пожилой джентльмен в светло-коричневом костюме вылез из машины возле козырька «Губернатора» и, пересекши тротуар, толкнул рукой вертушку двери.

— Мистер Лэмб?

— Мистер Громека?

— А это мистер Кондрашов.

— Очень приятно, мистер Кондрашов.

— Очень рад, мистер Лэмб.

Свершилось. Мистер Лэмб материализовался, как и его машина, ибо неспроста про американца говорят, что он женат на машине. Три щелчка хорошо отрегулированными дверцами, и бедная Таня опять одна в незнакомом городе, а мы по путанице улиц, по нижнему ярусу Оклендского моста — по бокам рябь залива, и машины со всех сторон, даже над головой, на верхнем ярусе — едем в Беркли, в Калифорнийский университет, на встречу с двумя профессорами и с одним деканом.

Мистер Ричард Лэмб не стал для нас Диком, как стал Томом мистер Том Селф, его бывший ученик. Он остался мистером Лэмбом — сдержанным, суховатым, без следа размашистости, скорее бизнесмен, чем журналист. И очень аккуратным — от важной, мелко-дробной походки до шляпы, берегущей пробор на голове, до манеры говорить, пожевывая губами каждое слово, будто дегустируя его.

— Разное есть отношение к вашей стране, разное — от любви до ненависти, — неторопливо говорит он.

И тщательно пожевав губами, проверив слова с тем, чтобы они были не чересчур обидными, но и не уклончивыми, добавляет:

— Я вам скажу откровенно, что коммунизм не является моей концепцией счастья, хотя, я недостаточно знаю о коммунизме. Что — вопросов мира, то, конечно, я за мир. Не скрою, у меня были подозрения насчет вашей страны и не совсем исчезли. Однако после карибского кризиса люди моих взглядов поняли, что когда Советы говорят о мирном сосуществовании, они имеют в виду дело.

Мистер Лэмб — джентльмен из провинциалов. Редкий факт для людей его круга: за границей не бывал, кроме Канады и Мексики, а какая это заграница для американца? Двое взрослых детей, уже пошли внуки. Живет теперь в университетском городке Пало-Алто. Типичные хлопоты, связанные с автомобилем. В свой сан-францисский оффис ездит поездом, потому что машиной — пробки и нервы. Глядя на длиннейшую вереницу машин, бегущих по Оклендскому мосту, фантазирует на тему о том, что неплохо бы отобрать у людей машины и взамен дать им дешевый общественный транспорт. И еще одна типичная забота — негры.

— Зачем скрывать, я живу, как немногие американцы. Существенные приобретения. Дом. Машина. Милая жена. Милые дети. Даже если я негритянскую проблему не чувствую вот здесь, — рука на сердце, пожевывание губами, — я, как бы это сказать, понимаю их, — и то, что их так долго прижимали с разных сторон, и то, что теперь они грозят моему положению.

Вот мистер Лэмб — в кругу избранных, знающий социальных оппонентов, с гуманизмом, тождественным самосохранению.

И еще я прочел обиду в глазах за стеклами очков и в аккуратно отвисших, старческих щечках. Обиду текущего плана — на нас и на ситуацию, которая его, мистера Лэмба, связала с нами. Я понял, что он вывел нам цену еще в холле отеля «Губернатор», в тот миг, когда на короткие два дня мы восстали друг перед другом из взаимного небытия. Его взгляд пробежал по Васиным кудрям, которые биологически несовместимы с обликом делового человека, и по нашим помятым брюкам — о, разоблачительная национальная привычка ходить в неглаженных брюках! И по холлу отеля «Губернатор». Превосходнейший? Мистер Лэмб, старожил Сан-Франциско, не знал этого отеля и знать не хотел, что сразу же и дал нам почувствовать. Он

чуть заметно, брезгливо поморщился, увидя наготу «Губернатора», прикрытую фиговыми листочками буклетиков. И вот тогда-то я прочел обиду в его глазах и подрагивавших отвисших щечках. Почти детскую обиду солидного человека, который не для того лелеял свою концепцию счастья, чтобы на старости лет в угоду какой-то там мод на международное общение стать мальчишкой на побегушках у двух сравнительно молодых чудаков в помятых брюках, приехавших из чужой и непонятной страны.

Мы невольно усугубили его обиду, потому что первой нашей встречей, заказанной в Беркли, была встреча с двумя профессорами-англичанами, специализирующимися по системам управления. Согласитесь, что это может быть оскорблением: приехав в Сан-Франциско, заставить тамошнего старожила везти вас на свидание еще с двумя иностранцами. Но мистер Лэмб, положив шляпу на стол, молча пересидел наш разговор с англичанами на залитой солнцем веранде профессорского кафетерия. *И через* день организовал нам встречу с двумя старшими экономистами из «Бэнк оф Америка», снабдил нас кое-какой справочной литературой. И вежливо, но холодно попрощавшись, дал понять, что о приятельских узах не может быть и речи и что он снова избирает небытие, переставая для нас существовать. И отбыл на уикэнд, к себе в Пало-Алто.

А мы остались в «Губернаторе».

Отель отменно расположен — не врет его реклама. Все под рукой, все «на пешеходном расстоянии». Муниципальный центр — с Сити-холлом, где обитает городская власть, с административными зданиями разных управлений и служб штата Калифорния и федерального правительства, с публичной библиотекой и залом собраний и съездов, с оперой и «Ветеране билдинг», приютившим сан-францисский музей искусства. В двух минутах ходьбы Маркет-стрит, центральная магистраль, рассекающая с юго-запада на северо-восток полуостров, на котором расположен Сан-Франциско. Маркет-стриг вся была в хаосе ломки и созидания, в деревянных мостках через перекопанную мостовую — строилась сан-францисская подземка, которая пройдет и под заливом.

Рядом станция автобусной компании «Грейхаунд» и городской аэровокзал.

И вечная толкучка Юнион-сквер с волосатыми хиппи, с кружками спорщиков и проповедниками, вещающими со складных стульев и гранитных барьеров рядом с отелем «Св. Фрэнсис», где мир Ричарда Лэмба, где и люди, и витрины, и вещи — все прелестно, превосходно,

великолепно. Недалеко и небоскребы деловой Монтгомери-стрит, ущербные в сравнении с уолл-стритовскими, но всё же там крупнейшая после Нью-Йоркской фондовая биржа.

Наконец, быстро можно добраться до Долорес-стрит, где среди стандартных домишек по-старчески опрятно белеет маленькая глинобитная церквушка. Пройдя через нее, попадаешь на очаровательный пятачок кладбища-музея. Среди цветов и деревьев скособоченные замшелые камни надгробий — реликвии Сан-Франциско, города, начавшегося 9 октября 1776 года с этой вот францисканской миссии Долорес. Ее основали через семь лет после того, как экспедиция Гаспара де Портола увидела залив, такой красивый и величественный, что его окрестили именем святого Франциска.

Однако возле самого отеля «Губернатор» были некие достопримечательности, не поименованные на городской «Приветственной карте». Обойдя окрестности, я понял, почему безразлично морщился мистер Лэмб, как будто его сунули носом в нечистоты.

И улицы, как известно, имеют свое социальное положение. При некотором навыке его разгадываешь быстро. На Турк-стрит рядом с нашим отелем был «Арабский клуб», а арабы в Америке всегда в местах подешевле. Чуть подальше «татуировочное ателье» с запыленными окнами. Кинотеатр, где шел фильм «только для мужчин». Бар «Звук музыки» показался подозрительным, без рекламного окна-витрины, глядящего на улицу. Значит, там не рассчитывают на случайных прохожих?. Декоративные струйки воды стекали по стенке, отгородившей небольшой вестибюль от зальцы со стойкой, в которой торговали напитками. Заглянули. За стойкой, попарно, воркуя друг с другом, сидели мужчины. Ошибки не могло быть: гомосексуалисты. Мы ретировались, когда головы лениво и томно повернулись в нашу сторону.

На Джонс-стрит в холлах дешевых гостиниц-богаделен, глядя через окна на улицу, безучастно сидят в креслах молчаливые старики. «Женский отель» — приют для одиноких старушек.

В кафетерии нашего отеля официанты — Филиппин; вы, привратник, он же носильщик, — мексиканского типа, коридорная, — разумеется, негритянка. Однорукий киоскер на углу — такого не вообразишь у отеля «Св. Фрэнсис». И по тротуару в ненормальной пропорции идут обтрепанные люди с заживо разлагающимися лицами алкоголиков и отверженных, покорные, не буздящие и не бузнящие в общественных местах обитатели американского дна.

И спрашивать никого не надо — все ясно. Их лица, как и окрестные заведения, открывали нехитрые секреты района, в котором жизнь спрессовала бедность, старость, одиночество, потерянность, внутреннюю капитуляцию, порок.

Отель «Губернатор» каменным оазисом возвышался над этими бедными и злачными местами. Он еще удерживался на поверхности и на страницах справочника ААА, удостоверявшего его принадлежность к приличной Америке, но ведь вычеркнут его с этих страниц, исключат из этой Америки, если не снесут эти дома и заведения, не выселят отверженных и не перестроят весь район в очередном порыве коммерческой активности.

— Вот те на, — мысленно ахнул я, выглянув из окна своего номера в двенадцатом часу ночи, на исходе первого дня. Между магазином на углу и баром «Клуб 219» разыгрывались прелюбопытные сценки. Длинноногая негритянка прогуливалась на этой дистанции, и подходившие к ней мужчины, видимо, справлялись о цене. Погасив свет и отодвинув штору, я словно наблюдал с восьмого этажа некий эксперимент по платному преодолению отчуждения. Один человеческий атом притягивал и отталкивал другой. Подошли три белых проститутки, знакомые негритянки, судя по их поведению. Расовой вражды я не заметил, но они заняли сепаратные позиции у козырька «Клуба 219» и на углу, возле магазина. Появлялись новые и новые девицы, исчезали с мужчинами, и я уяснил, что «Клуб 219» — один из местных «джойнтов», ночная санфранцисская биржа...

А с утра никакой торговли, пустой тротуар у «Клуба 219». В баре-клубе с обмызганной стойкой и драными сиденьями табуретов нерассеявшийся смрад дешевого порока, и каким-то своим апокалипсисом веет от рекламно огромной, полупорнографической картины на стене.

В Сан-Франциско, между прочим, изобрели свою разновидность стриптиза — так называемый «topless», что начает «без верха», — открытый бюст, нагота по пояс.

В ночных, да и в дневных заведениях в таком виде щеголяют не только танцовщицы, но и официантки у столиков. Первые заведения «топлесс» утверждали себя через скандалы и вопреки попыткам властей покончить с новым посягательством на публичную мораль. Рестораторов-экспериментаторов лишали торговых лицензий, но частная инициатива победила и тут, а громкие скандалы в газетах обеспечили паблисити почину, который прижился и в других городах. Сервис не ограничен, на девиц «топлесс» можно поглядеть даже в

обеденный перерыв, и стейк тогда подаст обнаженная до пояса официантка, просто стейк будет дороже.

В баре на Пауэлл-стрит, куда мы зашли, «девушки без верха» оправдывали наценку не к стейку, а к пиву. На маленькой эстрадке, переминаясь с ноги на ногу, танцевала молодая негритянка, взмахивая некрасивыми грудями. Она работала — это слово как нельзя лучше подходит к ней — без воодушевления, под музыку из автомата. Мы заказали пива, сев за стойку, и, косясь влево на негритянку, не сразу заметили другую эстрадку — справа, у самого входа. Также дежурно и неохотно переминалась там с ноги на ногу совсем молоденькая блондинка. За стойкой было всего лишь пять человек, включая двух девиц, которые, скинув платица, полезли потом на эстрадки — подошла их очередь.

Дело организовано экономно (музыкальный автомат вместо джаза) и справедливо, с соблюдением знаменитого принципа равных возможностей: танцовщицы менялись, чтобы клиент мог рассмотреть их с любого места.

Когда музыкальный ящик замолкал и механическая его рука меняла пластинку, девушки прикрывали обнаженные груди. С музыкой это была работа, без музыки неприличная нагота. Потом негритянку заменила белая дама средних лет, грузная, как морская львица на прибрежных камнях Кармела. Первые две, одевшись, уже сидели за стойкой бара, пили воду, улыбались и дымили сигаретками — этакими рабочими на перекуре. Вряд ли ремесло не коснулось их душ, но есть психологический заслон — это работа, не очень пристойная, но почти столь же законная, как работа секретарш или манекенщиц, коль скоро на нее есть спрос. Среди танцовщиц встречаются студентки, есть и замужние.

«Топлесс» пошел на поток, как и всякий ширпотреб. Механизированный, рационально организованный сбыт секса, доступного, как центовочные магазины «Вулворта».

14

Я снова в Беркли, без мистера Лэмба, без двух англичан, тайком жалующихся на неинтересную американскую жизнь, но, однако, нашедших здесь применение своим талантам.

Беркли — это город с населением около 150 тысяч человек, входящий, как и другие города по берегу залива, в экономический район

Большого Сан-Франциско. Однако для внешнего мира слово «Беркли» связано скорее с университетом, живописно расположившимся на холмах городской окраины. Вернее, с частью Калифорнийского университета, с одним из его кампусов. По этому-то кампусу я и хожу с картой-схемой, которую желающие могут получить в офисе по связи с прессой и публикой. Без карты, пожалуй, заплутаешься среди десятков корпусов-холлов.

У Калифорнийского университета девять кампусов, разбросанных по всему штату. Это публичный университет штата. Его президента утверждает так называемый регентский совет — из 24 человек. Две трети регентов назначаются губернатором — на срок в шестнадцать лет, что дает им известную независимость. Остальные регенты: сам губернатор, его заместитель, спикер законодательного собрания штата, президент университета и еще четыре человека, занимающие важные посты в должностной иерархии Калифорнии.

С момента своего основания в 1868 году университет гордился системой бесплатного обучения. Увы, недавно от нее отказались, и теперь студенты платят шестьсот долларов в год. Шаг этот объясняют финансовыми затруднениями, возникшими из-за быстрорастущих расходов на университет (сейчас уже около миллиарда долларов в год).

Можно сказать, что рост университета опережает рост штата: за шестидесятые годы число студентов удвоилось, превысив сто тысяч, с 1958 по 1966 год число профессоров и преподавателей увеличилось с 4125 до 7429. Деньги поступают из казны штата, а также — и все больше — от федерального правительства и от разных фондов и промышленных корпораций, заключающих с университетом контракты на многочисленные, в том числе и военные, исследования. Вот разительное сравнение. В 1939 году итальянский физик Энрико Ферми, покинувший родину, где правил дуче, и нашедший пристанище в Чикагском университете, еле-еле добился шести тысяч долларов на графит для своих опытов по цепной ядерной реакции. Понадобилось знаменитое письмо Альберта Эйнштейна, который предостерег президента Рузвельта, что нацисты, овладев урановыми Месторождениями Чехословакии, могут приступить к работе над атомной бомбой, и настоятельно советовал опередить их. Шесть тысяч долларов — немыслимой была эта сумма для физической лаборатории любого американского университета. А четверть века спустя Вашингтон давал в год 246 миллионов долларов на содержание трех больших ядерных реакторов при Калифорнийском университете. И это никого не удивляло в стране, где ежегодные федеральные ассигнования на науку

превысили полтора десятка миллиардов долларов и где уже поговаривают не просто о военно-промышленном, а о военно-научно-промышленном комплексе.

В Беркли, крупнейшем и самом известном кампусе Калифорнийского университета, — около тридцати тысяч студентов. Это целый мир — племя младое, не совсем знакомое взрослым и не до конца познавшее самое себя, но открытое, порывистое, ищущее. Там интересно побродить и постоять, присматриваясь. Юноши и девушки — с книгами под мышками, а то и в рюкзаках — пешком и на велосипедах курсируют между холлами. Распахнутые рубашки, грубые свитера, выцветшие джинсы. Многие босиком — по нагретому асфальту и шершавому гравию дорожек. Не терпящая снисходительности старших, простая, но и сложная молодежь — как эмбрион, стесненный в чреве матери. В кого он выпрямится? Что произрастет в его крутой голове?

В официальных брошюрках о Беркли — академически солидные, сдержанно хвалебные и во многом обоснованные самооценки. Какой еще вуз в Соединенных Штатах, а может быть, и во всем мире насчитает среди своих профессоров девять нобелевских лауреатов? Разве Американский совет по просвещению не называл кэмпус в Беркли самым выдающимся университетом страны?

Но есть другое — чего не найдешь в брошюрках и что, однако, хорошо известно американцам. Не профессора, а студенты прославили Беркли в последние годы. Ученики стали учителями, и их уроки, не уместаясь в рамки академических программ, подтвердили мудрое изречение ибсеновского героя: «Юность — это возмездие». Видимо, не случайно, что обильный урожай этого возмездия шестидесятые годы собрали именно в Сан-Франциско с его боевыми профсоюзными традициями и духом радикализма. Здесь, в Беркли, Америка вступила в полосу бурных студенческих волнений, которые через несколько лет распространились на кампусы всей страны, возвестив о появлении на общественно-политической арене новой, активной, массовой силы. По соседству, в Окленде, в 1966 году родилось движение «черных пантер». Наконец, Сан-Франциско избрали своей столицей хиппи — эти своеобразные молодые критики бездушного «технотронного» общества.

Новая полоса хронологически началась 14 сентября 1964 года, когда неумный администратор закрыл единственное на кампусе место, где студенты Беркли имели право собирать деньги для политической деятельности вне кампуса и заниматься агитацией и вербовкой сторонников. Ответом было Freedom Speech Movement — движение за

свободу слова. Вскоре полиция за руки-ноги выволакивала из административного Спрол-холл восемьсот участников сидячей забастовки и их лидера — 22-летнего студента-философа Марио Савис. Через несколько недель президент Калифорнийского университета Кларк Керр вернул студентам их форум, но не смог вернуть спокойствие, потому что не случайно возникло движение за свободу слова.

За цифрами роста университета студенты видели и потери, за умножающимся количеством — изъяны качества, покушения на личность. Как удачно выразился Кларк Керр, университет стал мультиверситетом — огромным комбинатом в индустрии знания. Процесс обучения бюрократизировали и обезличили, у профессоров, загруженных платными заданиями корпораций и государства, не хватало времени на студентов. Чтобы запомнить и не потерять, студента занесли на перфокарту и передоверили памяти и попечению ЭВМ. На возделенном пороге взрослой жизни молодые люди, со школы впитавшие азбуку буржуазной свободы и индивидуализма, видели, как их затягивает некая равнодушная машина, обтесывая, выравнивая, штампуя, — изготавливая специалистов, как конвейерный продукт на автозаводах Детройта.

«Прошлым летом я отправился в Миссисипи, чтобы участвовать в движении за гражданские права. Теперь я вовлечен в другую стадию той же борьбы — на этот раз в Беркли. Некоторым эти два поля битвы кажутся совершенно разными, но это неверное представление. В обоих местах речь идет о тех же самых правах — о праве граждан принимать участие в жизни демократического общества... Более того, это борьба против одного врага. В Миссисипи правит автократическое всемогущее меньшинство, подавляя посредством организованного насилия огромное, практически бессильное большинство. В Калифорнии привилегированное меньшинство манипулирует университетской бюрократией, подавляя выступления студенчества. За этой «респектабельной» бюрократией прячутся финансовые плутократы».

Это из статьи Марио Савио в декабре 1964 года. Тогда под его словами подписались бы сотни или немногие тысячи. 'Спустя четыре года две пятых из шести миллионов американских студентов так или иначе участвовали в движении протеста. Большинство не разделяло радикализма Марио Савио, но для многих параллель между университетскими администраторами и миссисипскими расистами уже не казалась чрезмерно смелой. Они могли бы присоединиться и к другим его словам:

«Много студентов здесь в университете, многие люди в нашем обществе блуждают без цели... Это люди, которые не научились компромиссам, которые, к примеру, поступили в университет, чтобы задавать вопросы, расти, учиться... Они должны подавлять свои творческие импульсы — это предварительное условие, чтобы стать частичкой системы... Лучшие из тех, кто сюда поступает, должны четыре года бесцельно блуждать, все время спрашивая себя, зачем они вообще на кампусе, сомневаясь, есть ли какой-либо смысл в том, чем они заняты, видя впереди бессмысленное существование и участие в игре, где все правила давно установлены...»

Хорошо известно, что для американских студентов первой школой гражданственности было участие в борьбе за права негров. В летних экспедициях на Юг, в помощи окрестным гетто, добровольцы находили больше смысла, чем в учебных программах, — находили причастность общественно-полезному делу. Когда они обрушили свой молодой протест на бюрократов от просвещения, их мишенью в Беркли стал Кларк Керр, хотя по официальной оценочной шкале он считался одним из самых уважаемых, деятельных и либеральных университетских руководителей. Президенты США не раз прибегали к его арбитражу при спорах между профсоюзами и предпринимателями, но он так и не сладил со студентами, а затем был скандально изгнан Рональдом Рейганом, севшим в 1966 году в губернаторское кресло.

Вьетнамская война сообщила невиданный размах и страсть студенческому протесту, ибо от миссисипских расистов и университетских бюрократов продлила цепочку до Вашингтона. Маршировали уже не только в Беркли И; не только на Спрол-холл, но в Вашингтоне — на Пентагон и Белый дом. А в Беркли полиция такой частый гость, что ей не нужны карты-схемы, ориентирующие новичков.

Но я опять отвлекся от непосредственных своих впечатлений. В те дни в Беркли было затишье, пора экзаменов, и в его мире я выбрал не площадь перед Спрол-холл, а, подчеркнуто конструктивистские, линии Вурстер-холла, где размещен колледж городского планирования.

Профессор Уильям Уитон, 53-летний декан колледжа, произвел впечатление умного и крупного человека. Видный специалист в своей области, он окончил Принстонский университет, получил докторскую степень в Чикагском, десять лет руководил Институтом исследования городских проблем при Пенсильванском университете, был директором Департамента регионального планирования. в Гарвардском, американским представителем в комиссии ООН по вопросам жилья, строительства и планирования, авторитетным консультантом

госдепартамента и дюжины разных ведомств, комитетов, групп, связанных с проблемами американских городов. Теперь из кабинета на втором этаже Вурстер-холл профессор Уитон руководит крупнейшим в США колледжем, который видит свою задачу в исследованиях «окружающей среды» и подготовке архитекторов, планировщиков, экономистов, public administrators — «общественных администраторов», людей, пытающихся упорядочить человеческие клубки в городах, управляемых законами частной инициативы.

Клубки эти все больше запутываются, попытки обуздать стихию все актуальнее, и Уильям Уитон удовлетворен, как человек, избравший в юности малопонятную область приложения сил, а теперь, когда «кризис больших городов» вырос в самый крупный американский кризис, убедившийся, насколько удачен был его выбор. Первые магистерские дипломы по городскому планированию были выданы в Гарварде в 1928 году. В 1940 году при разных университетах было семь высших школ такого рода, и они выпускали в год около ста человек. Теперь, сообщает Уитон, — около сорока школ выпускают в год тысячу магистров городского планирования.

— У одаренных молодых людей все сильнее тяга к социальным наукам, — говорит мой собеседник. — Ореол, окружавший в послевоенные годы физику, химию и другие точные науки, исчезает. Молодежь идет в социальные науки. Отсюда небывалый интерес и к нашему колледжу.

В 1967 году на четырех отделениях колледжа занималось более 1200 человек — вдвое больше, чем три года назад.

Профессор Уитон следит за пульсациями американских городов как профессионал, оперирующий широкими категориями.

Лос-Анджелес?

— Планировщики считают американские города хаотичными и рассеянными. Архитекторы находят их уродливыми с эстетической точки зрения. Но проникательные экономисты видят, что они продуктивны. И Лос-Анджелес — наиболее эффективный из всех. Экономическая база Лос-Анджелеса — авиационно-космическая промышленность, электроника и связанные с ними научно-промышленные исследования. Этот бизнес колеблется, пульсирует в зависимости от правительственных контрактов, и весь город находится в состоянии качающегося баланса. У его квалифицированной рабочей силы занятость стабильна, хотя место и даже вид работы могут меняться. Но житель говорит: я готов тратить 30—40 минут, чтобы доехать в своей машине до места работы, но иметь

хороший дом и хорошую работу. В отличие от банковских центров типа Нью-Йорк и Сан-Франциско Лос-Анджелес не обязательно должен быть компактным.

Острые проблемы городов?

— Мы отстаем с жильем. Строим полтора миллиона единиц жилья (дома и квартиры. — С. К) в год, а нужно строить два миллиона. Надо увеличить правительственные субсидии на жилищное строительство по меньшей мере на пять миллиардов, до 25 миллиардов долларов за двадцать лет. Неважно с общественным транспортом. И есть большие проблемы в развитии и планировании городских центров. Зажиточные жители, как вам известно, бегут из центра в пригороды, потому что в городах тесно, грязно и небезопасно, к тому же растут налоги, они нужны, к примеру, для покрытия расходов на полицию. Но в пригородах жители стонут от высоких налогов на содержание школ, тогда как в городах налоговый пресс сильнее и сильнее давит бедняков по мере того, как уменьшается прослойка более богатых и более платежеспособных людей, бегущих в пригороды. Получается, что прогрессивный подоходный налог, взимаемый федеральным правительством, существенно сводится на нет регрессивными местными налогами, которые ущемляют бедных больше, чем богатых. Надо выправлять это положение.

— Сейчас американские города населены по принципу концентрических расходящихся кругов, причем, вопреки традиционным концепциям, бедняки живут в самом центре, который загнивает.

Сан-Франциско?

— В Сан-Франциско отчетливо прослеживаются эти концентрические круги. Также и в районе Большого Сан-Франциско, включающего города по берегу залива. Посмотрите на карту: собственно Сан-Франциско, через залив — Окленд, Беркли, Ричмонд. Во всем районе сейчас 13—14 процентов негров. В Беркли их около 25 процентов, в Окленде — почти каждый третий житель. Так вот, если сдавить залив, то снова в самом центре окажутся самые бедные жители, селящиеся ближе всего к берегу.

— Власти начали было расчистку трущоб на Фултон-стрит, на других улицах негритянского района. Но сейчас эту операцию замедлили, — профессор прервал свою уверенную речь, повертел в руках линейку, подбирая точное и академичное слово, — из-за расовой ситуации. Куда девать жителей после расчистки? Приходится учитывать их протест. Теперь усилия сосредоточены на оздоровлении и ремонте трущоб.

— С неграми, как вы знаете, проблемы огромные. Идет, например, процесс перемещения судостроительной и обрабатывающей промышленности из собственно Сан-Франциско в Ричмонд и Окленд. Как быть с неграми, которые были заняты на перемещаемых заводах? Другой пример: автосборочный завод «Дженерал моторе» был переведен из Ричмонда в зажиточный Фэрмонт. Части рабочих-негров обещали сохранить работу и на новом месте. Но не все хотят уезжать из гетто, где кругом свои, кругом негры. С другой стороны, белых жителей Фэрмонта не устраивает соседство с неграми — из-за расовых предрассудков, из-за возможных убытков вроде падения цен на землю и дома, которое обычно происходит, когда район чисто белый становится смешанным, из-за экстра налогов на школы. *И* в гетто взгляды меняются. Часть негритянских лидеров против интеграции, в ней видят измену расе. Подниматься со дна, так всем вместе, а не в одиночку, — вот растущая в гетто идеология, уже не либеральная, а скорее типа марксистской...

Мимоходом Уитон наводит критику на коллег — советских планировщиков, с которыми ему доводилось встречаться на международных конференциях.

— Я говорил вашим и японцам: что же вы, друзья, отказываетесь заглянуть лет на двадцать вперед, строя дома, которым стоять по сорок лет. Почему не создаете гаражей, стоянок для автомашин? Как так не будет массового автомобиля?! Чепуха! Будет, непременно будет!

Из шестидесяти специалистов городского планирования, которые ежегодно получают в Беркли дипломы магистров, треть—иностранцы. Из иностранцев половина, как правило, остается в Штатах, на родину не возвращается. Профессор Уитон говорит, что этот факт его не радует, вызывает тревогу и нечто вроде угрызений совести, хотя не его это вина.

— Индусы остаются практически все. Почему? Потому что здесь с такой квалификацией их ждет приличная работа и приличная жизнь. Он сможет найти работу на десять тысяч долларов в год. А в Индии его ждут две тысячи долларов в год, отсутствие машины, к которой он здесь привык, и хуже всего — чиновники, с которыми невозможно сладить. В добавление ко всему, по статистике средней продолжительности жизни, он умрет через двадцать лет. Короче, я решил не брать аспирантов-индусов, если вижу, что у них нет гарантированной работы на родине. Я не хочу разорять эту страну.

При последних словах он иронически усмехнулся, а я подумал о некоторых истоках американского суперменства. Конечно, не в силах

Уильяма Уитона разорять или не разорять Индию, но и через его кабинет тянется кайналец «утечки мозгов» в Америку из многих стран капиталистического Запада и «третьего мира». И он волен приоткрывать или закрывать этот шлюз. Иностранцам без острого чувства родины со взглядами индивидуалистов и буржуа Америка дает много приманок — в виде высоких окладов, в виде хотя бы этой привлекательной игры молодых сил в кампусе Беркли; зрелищами автострад и сонма машин, прущего отовсюду богатства, настолько ошеломляющего для индийского аспиранта, что оно загораживает в его сознании американскую бедность, тем более что и бедность по-американски кажется зажитком рядом с индийской нищетой, с людьми, умирающими на улицах от голода. Америка манит также полем приложения сил, передовой технической и научной мыслью, зорким вниманием к новым идеям, потому что новые идеи несут прибыль. За это надо платить моральной изменой, отказом от патриотической ответственности перед своим народом и страной, минутами острой тоски и годами нелегкого приспособления к нормам чужой жизни. Увы, находятся люди, — и, судя по статистике «утечки мозгов», их много, — которые готовы заплатить эту цену за право индивидуально попасть в развитое индустриальное общество второй половины двадцатого века, так как поняли, что на протяжении их жизни им не попасть туда вместе со своей страной и своим народом. Они продают свои мозги, обогащая Америку и продлевая отставание народа, который дал им жизнь...

Хаос Калифорнии профессор Уитон раскладывал, как знакомый пасьянс, и это впечатляет. Критическая оглядка пришла позднее: стратег организует стихию преимущественно в своем мозгу. Городские планировщики полномочны вносить лишь небольшие штрихи в калейдоскопическую картину, которую пишет частная инициатива. В штате Калифорния нет, например, центрального планового органа, регулирующего развитие городов. Мечты Уитона скромны — усилить общественный контроль над городской планировкой, дать местным властям хоть какие-то рычаги регулирования в масштабах «метрополий», примыкающих к большим городам. Это мечта не о прямом административном регулировании, которое Уитон отрицает, считая, что динамика прогресса лучше всего обеспечивается частной инициативой. Он имеет в виду регулирование при помощи правительственных субсидий на жилье, на школы, на целесообразное размещение индустрии, которые смягчили бы сегодняшнее противостояние бедности и богатства и уменьшили, растущие запасы социального динамита в городах.

...Вечером я снова отодвигаю занавеску и с восьмого этажа смотрю на кургузые сверху, сплюсненные человеческие фигуры, сведенные к головам, плечам и ногам, к солдатским фуражкам и бутсам, к пышным прическам, и лакированным сапогам проституток. Опыт по преодолению отчуждения, по образованию непрочных молекул продолжается у «Клуба 219». И я думаю: по какой долгой цепочке должны путешествовать социальные лекарства, прежде чем от профессоров дойдут до уличной проститутки?

15

Границы гетто не демаркированы, а концентрические круги, распирающие Сан-Франциско силой внутреннего напряжения, не имеют геометрически правильных линий, — просто у Уильяма Уитона тяга к образным формулам. Дом № 1360 по Турк-стрит вполне приличен и стоит у отдаленного краешка гетто, а не в клокочущем его эпицентре. В небольшом этом доме помещается доктор Карлтон Гудлетт во всех его ипостасях — врачебный кабинет свидетельствует о профессии медика, а тесные редакционные комнатки о том, что он издатель и редактор газеты «Сан рипортер» — «крупнейшей негритянской газеты Северной Калифорнии». Слово «крупнейшая» не надо отрывать от слова «негритянская»! «Сан рипортер» имеет тираж десять тысяч. Кроме того, доктор Гудлетт — член Всемирного совета мира и председатель «Калифорнийской конференции христианского руководства», негритянской организации, примыкающей филиалом к «Конференции южного христианского руководства», которая была основана покойным Мартином Лютером Кингом.

У доктора Гудлетта много энергии и мало времени, в чем я и убедился, подойдя к его оффису и увидев человека, который уже нервничал возле своей машины и уже опаздывал, так как в нерабочую субботу имел две нагрузки — председательствующего на симпозиуме «Черный сегодня» и организатора бойкота телевизионной дискуссии между Юджином Маккарти и Робертом Кеннеди; с утра оба сенатора влетели в Сан-Франциско со своими свитами, мелькали кометами по его улицам, агитируя избирателей, а в четыре дня встречались в местной телестудии для получасового ристалища на глазах нации.

Доктор Гудлетт, как догадался читатель, — негр, и эта доминанта объясняла его гнев и сарказм в субботнее утро 1 июня 1968 года: оба сенатора охотились за голосами негров, не скупилась на слова об их жалкой доле и на обещания доли лучшей, и, однако, среди трех

корреспондентов, которые должны были интервьюировать сенаторов в телестудии, не было ни одного негра. Снова белые будут говорить и спрашивать о неграх. Карлтон Гудлетт хотел задать перцу обоим сенаторам, выставив негритянские пикеты у телестудии. И организовать публичный скандал: пусть они попробуют пересечь эти пикеты...

Но председательское место ждало его на симпозиуме «Черный сегодня», и доктор Гудлетт сунул меня в свою маленькую обжитую машину и, выпуская часть энергии и гнева через педаль акселератора, помчался по улицам и автострадам к Дейли-сити, где на территории Сан-Францисского колледжа имел место упомянутый симпозиум.

Итак, я снова в Дейли-сити, но не в Коровьем дворце, а на территории Сан-Францисского колледжа — совсем другая история. Крутятся стеклянные двери Аудитории искусств. Вместе с доктором Гудлеттом попадаю в уютный зал. За вход 25 долларов: студент платит за право сдавать экзамены и зачеты, а симпозиум включен в динамическую программу, реферат о симпозиуме могут принять как зачет.

В Сан-Францисском колледже негритянская прослойка среди студентов больше, чем в Беркли, и очень активна. Терние студенты требуют изучения «черной истории», отвергая как фальсификацию ту историю СУПА, из которой -выпадают негры. Пока в учебную программу включен «черный курс», который ведет негр Натан Хар.

В руках у меня программка симпозиума, и на ней черные подтеки, черные кляксы, словно стряхнутые небрежной, но сильной рукой, бесформенные и хаотичные, как хаотично ныне самосознание американского негра. Читаю в программке: «Черный сегодня не тот — не тот, что десять лет назад, шесть месяцев назад, даже не тот, что вчера. Что же значит в этот миг истории думать, как черный, чувствовать, как черный, и быть черным? Считают, что всякий может говорить за черных людей. А вот теперь здесь собрались некоторые из самых известных в стране черных мыслителей — теоретики, преподаватели, студенты, и они говорят сами за себя. Это единый большой кулак, утверждающий сегодняшнюю черность» (blackness).

В зале собрались не черные бедняки, а интеллектуальная элита, по-разному нащупывающая мосты к массам. Доктор Гудлетт за председательским столом. На трибуне доктор Натан Хар — красивый негр с сильным лицом, американский негр в голубом африканском одеянии, спадающем с широких плеч; и в этом вызов и начало самоутверждения, разрыв с другой Америкой.

Вызов и в речи.

— Я вижу здесь ряд знакомых лиц, — начинает он, оглядывая зал и выдерживая паузу, — из ФБР, ЦРУ и ККК (ку-клукс-клана)...

Сокращенные обозначения организаций сыска, шпионажа и насилия произносит с ненавистью.

Вызов в мыслях: доктор Хар делит негров на черных, то есть настоящих, праведных, своих, и на «белых негров» — соглашателей и прислужников белой Америки, изменивших своей расе.

— Думать значит жить. Думать, как черный, значит жить, как черный, и, главное, поступать, как черный... В детстве мать пугала меня: если будешь пить черный кофе, станешь еще чернее. Так разрушается черное Я-.

Я слушал и читал такие слова и всегда испытывал смешанное чувство симпатии и раздражения: они ультрарадикальны, но эффект от них, как от заклинаний. Когда не идут дальше словесного радикализма, это лишь очередная форма безнадежности и безвыходности, как, впрочем, и черный расизм.

Но вот другой оратор — Бенни Стюарт, лидер «Черного студенческого союза», созданного в колледже.

Черное мышление, подчеркивает он, должно быть конкретным, реалистичным и целенаправленным. Пример — Патрис Лумумба. Черное мышление должно быть оптимистичным и конструктивным.

— Если мы хотим уничтожить нынешнюю Америку, то надо думать: что будет на ее месте. Если мы хотим уничтожить капитализм, то надо думать, какую систему мы создадим...

Доктор Гудлетт куда-то исчезает, наверное, к телефону. Боясь потерять его и остаться без машины, встаю и иду из зала, в коридор, чувствуя на себе проверяющие взгляды. Все здесь знают друг друга, а кто этот белый незнакомец с блокнотиком? Не из тех ли организаций, которые перечислил доктор Хар?

В коридоре два стола, на них «черная литература». Перелистываю новенькую антологию черной поэзии. И здесь целый мир — страдания, гнева, страсти. В каждой капле — целый мир, и жизни не хватит, чтобы углубиться в эти новые и новые миры. Знакомое имя Лэнгстона Хьюза, недавно умершего барда Гарлема. Мне запомнился его отклик на исход гарлемского мятежа 1964 года. «Будь паинькой, Гарлем! Ложись, Гарлем! Веди себя смирно, Гарлем! — слышны теперь голоса, от которых не дожидаться было Гарлему даже дружеского привета, — писал тогда поэт. — Вряд ли они помогут успокоить эмоционально потрясенную психику или пригнуть поднятый дыбом хвост и заставить его вновь покорно вилять. Гарлем так долго вилял хвостом в

благодарность за кости, что настало время бросить Гарлему не кость, а кусок мяса».

Гарлем перестал вилять хвостом, но вырвет ли он кусок мяса? А в Сан-Франциско не забыли стихи Хьюза и судьбу Лумумбы — затравленный и беспомощный, он убит в Катанге, но мщением воскресает в Америке.

В студенческом кафетерии по-субботнему малоллюдно. Выбиваю из автомата сэндвич с ветчиной и сыром, из другого — картонку с апельсиновым соком. Потом, почти через год, уже в Москве дойдет до меня один фотоснимок и всплывет в памяти дорожка между Аудиторией искусств и студенческим кафетерием. Я увижу на снимке молодого негра, вооруженного подушкой от стула, — не того ли самого стула, на котором я сидел, запивая сэндвич апельсиновым соком? А рядом с негром молодой белый бородач, и в руках у него металлический каркас стула. Оба как дискоболы-любители, как авангард возбужденной толпы, куда-то глядящей. Куда же? Другое фото, другая весточка из Сан-Францисского колледжа, кадр, доставленный машиной времени: два полицейских в щеголеватых темносиних робах, — на широких ремнях кольты, патронташи, и всякие ключи-отмычки, и ножны для дубинок, и противогазы, — на головах каски, на лицах прозрачные плексигласовые забрала. Они волокут здорового негра. Темные подтеки, темные кляксы на его рубашке и большое темное пятно на животе — как расшифровка тех абстрактных клякс, которые художник бросил на программку симпозиума «Черный сегодня». Они темны лишь на черно белом фотоснимке, в жизни они — красны. Это восстали еще раз черные студенты колледжа и их белые союзники и встретили полицейских кирпичами, бутылками и демонтированной мебелью из своего кафетерия.

В 1968 и 1969 годах было много побоищ на лужайках Сан-Францисского колледжа, и президент его Хаякава не стеснялся прибегать к аргументу полицейских дубинок и слезоточивых газов. Аншлагами через первую полосу попадали эти события в сан-францисские газеты, а потом ужимались в размерах на страницах газет нью-йоркских, потому что газетное место нужно было и для событий в Колумбийском университете, в Нью-Йоркском городском колледже, в Гарварде, Корнеле, в десятках других университетов — в какой университет ни ткни пальцем, почти всюду были и сражения с полицией, и захваты ректоров.

До советских газет Сан-Францисский колледж доходил скупыми пяти — десятистрочными заметками. Но другое дело, когда ты был там

и в мирный субботний день видел одно звено. Хоть и длинна цепь, но выкована из того же материала, и в ее ретроспективе симпозиум «Черный сегодня» выглядел словесной репетицией перед действием...

С доктором Гудлеттом я ехал обратно, кругом был город под безоблачным небом, и мне, гостю Сан-Франциско, мой гид рассказывал о симпозиуме как о новой достопримечательности, пусть не столь известной, как «Золотые ворота», но отнюдь не менее интересной.

По взглядам он всего лишь либерал, но...

— Слышали, как выступают молодые? Они воинственнее, чем я. Но я понимаю их. Только представьте, что они видят перед собой, эти молодые черные, — безработицу, дискриминацию, оскорбления. Они готовы к мятежам. Умереть для них — легчайший путь.

По материальному положению он обеспеченный буржуа, но...

— Свобода относительна. Я смог использовать возможности этого общества. Но какая свобода у человека, не имеющего работы, дома, средств, чтобы прокормить семью?! А ведь в известном смысле именно этот человек определяет степень и моей свободы.

Они «ограничивают» его свободу, потому что добиваются своей, потому что в общем балансе его свобода, как и свобода мистера Лэмба, как свобода доктора Райана, который под кофе и ликер обсуждал вопрос о принудительной стерилизации неудачников Америки, достигнута за счет свободы других. Если брать крайние точки, то, с одной стороны, выход видят в принудительной стерилизации или в Голдуотере у власти, а с другой — в мятежах, и мщение обездоленных вырывается огненной лавой социальных подземелий, потрясает и рвет все концентрические круги общества.

Доктор Гудлетт — разумный просвещенный эгоист, черный либерал, понимающий, что надо торопиться, ибо во весь рост встает вопрос, сформулированный Мартином Лютером Кингом после негритянских мятежей 1967 года: «Куда мы пойдем отсюда — к хаосу или сообществу?»

...В офисе на Турк-стрит доктора Гудлетта ждала его белая секретарша Элеонора — смешливая сухопарая старушка. Он не терял ни минуты даром. Стремглав влетев в помещение, стал диктовать лозунги для плакатов пикетчиков. Дело было привычное, лозунги давались ему легко:

Маккарти и Кеннеди! Пересечете ли вы линию пикетов?

— Никаких дебатов без представительства негров!

— Вам нужны голоса! Нужны ли вам негры?

Элеонора записывала в блокноте, а потом, посмеиваясь над

суматошным шефом, принялась за изготовление плакатов на листах ватмана. Маленькая мастерская американской демократии заработала полным ходом.

Доктор Гудлетт засел между тем за телефон в крохотном кабинете, где его врачебные дипломы висели на стенах попеременно с похвальными грамотами газете «Сан рипортер». Он звонил в мэрию, в негритянские организации, в штаб-квартиры двух кандидатов, в редакции газет, драматически предупреждая, что он, Карлтон Гудлетт, покажет, черт побери, американскую кузькину мать двум именитым сенаторам и сорвет их теледискуссию, которую ждет вся нация. Когда он вешал трубку, гремели ответные звонки. Из мэрии сообщили, что пикетирование разрешено. Газеты интересовались, сколько будет пикетчиков. Гудлетт и сам не знал, сколько, но всегда будьте уверены в себе, и он говорил, что около сотни.

— Мы спросим Бобби Кеннеди, как он относится к предложению Маккарти уволить Дина Раска и Эдгара Гувера, — отвечал он кому-то, стоя у телефона. — Кого мы предлагаем из негритянских корреспондентов? Я мог бы сам задать эти вопросы кандидатам. Мы можем найти еще кого-нибудь...

Бросил трубку, довольный, что от его звонков уже пошли круги. Небрежно, но с гордостью и не без тщеславия сообщил:

— Это из штаб-квартиры Маккарти, главный его организатор. Они, в общем, готовы согласиться, если телекорпорация Эй-Би-Си ничего не имеет против. Надо, надо поставить Бобби на место...

Поставить Бобби на место значило вынудить его прямо ответить, готов ли он, как и Юджин Маккарти, уволить государственного секретаря Дина Раска и многолетнего шефа ФБР Эдгара Гувера в случае своего избрания президентом.

Симпатичному доктору Гудлетту нравилось быть в некоем центре внимания, а заодно и показать красному репортеру, как это делается в Америке. Сквозь серьезную мину пробивался веселый, почти мальчишеский азарт и вызов.

Между тем из-под быстрой руки Элеоноры один за другим выскакивали самодельные плакаты, а шеф ее все чаще поглядывал на часы: пора было ехать.

Сложив плакаты в кучу, он понес их к машине. Я шел рядом с пустыми руками, пресекая желание помочь этому спешному делу. Я всего лишь наблюдатель, и выше вежливости святой принцип невмешательства во внутренние дела другой страны. Внутренние дела в данном случае состояли в пикетировании здания на Маккаलिстер-стрит,

где помещается телестудия Кей-Джи-Оу, сан-францисский филиал телекорпорации Эй-Би-Си. А вдруг какой-нибудь местный «охотник за ведьмами» узрит меня выносящим плакаты из редакции «Сан-рипортер»? И доктору Гудлетту навесят такой ярлык, что он проклянет июньский день, когда судьба свела его с красным репортером.

На что уж раскован доктор Гудлетт, но и его посетила эта мысль — вот она телепатия в международных отношениях! Он, правда, подбросил меня почти к отелю «Губернатор», который совсем недалеко от телестудии Кей-Джи-Оу, но, припарковав машину в переулке, и взяв плакаты с заднего сиденья, сказал:

— А теперь нам, пожалуй, лучше расстаться. Могут не так понять...

И бодрой своей походкой отправился за угол, к зданию, где за полицейскими барьерами уже пошумливали толпа сторонников Маккарти и сторонников Кеннеди и просто зевак — из «третьего мира» неприсоединившихся, которые присутствуют всегда и везде.

Я пошел к «Губернатору», чтобы вернуться в телестудию чуть-чуть позднее.

Когда мы пришли, толпа уже заполнила все пространство между полицейскими деревянными барьерами и стеной противоположного дома. Люди плотно стояли и у самого здания студии, и полицейские охраняли лишь проход к дверям, над которым нависали плакаты! «Очистимся с Джином!» и «Бобби — в президенты!»

Я не увидел пикетчиков Гудлетта: наверное, их было много меньше обещанной сотни.

Мы пробились в вестибюль с помощью своих нью-йоркских пресс-карточек, и там тоже была толчея разных дам и господ и, конечно, журналистов. Маккарти в его предвыборных странствиях сопровождал самолет, с журналистами, а Бобби, — пожалуй, и два.

— Приехали ли они? — только и слышалось в этой вестибюльной толчее профильтрованных допущенных людей. Я был у лифта, когда шелест пронесся по толпе, и все головы повернулись в одну сторону и продолжали поворачиваться, следуя за чьим-то движением, и вот из-за этих голов в двух шагах от меня возникла знакомая голова Роберта Кеннеди — с резкими не по годам морщинами на лбу, с опущенными краешками верхних век, под которыми холодно поблескивали светлые глаза. Холодный, готовый к быстрой реакции взгляд и, однако, застенчивость улыбки и, тем не менее, рассчитанные жесты человека, который привык «выдавать» себя толпе и быть кумиром многих, хотя внутренне, может быть, и не избавился от удивления, что так легко стать кумиром. На нем был темно-синий костюм в белую мелкую

полоску — фамильный цвет, цвет Джона Кеннеди. А знаменитый его чуб был тщательно зачесан, как приклеен ко лбу, и оттого на лице сильнее и хищнее выделялся асимметричный крючковатый нос. Спадающий на лоб чуб светлых волос подкупал молодых избирателей, но для старших был доказательством непростительной молоджавости сенатора, и потому, взвесив плюсы и минусы этого чуба, его, видимо, решили убрать на период теледебатов с Маккарти, выглядящим солиднее своего противника. Рядом с сенатором была бледная от беременности и косметики жена Этель, которую в суматохе уже успели задеть плакатом восторженные поклонники.

Толпа ужималась, освобождая сенатору дорогу к лифту, и многие осматривали его, как будто и не глядя, потому что в прямом взгляде был бы некий вызов, а какой вызов ты, простой смертный, можешь бросить этому человеку. Сенатор повернулся ко мне затылком, и меня поразило, как тщательно — волосок к волоску — был причесан этот узкий затылок.

Но тут вдруг вынырнула из толпы фигурка доктора Гудлетта с его покатым лбом и смешными усиками на овальном негритянском лице и заставила Бобби повернуться в профиль ко мне настойчивым обращением: «Сенатор!» И толпа теперь смотрела на обоих, прикидывая, что же может случиться, и самые разные взгляды обежали негра в коричневом костюмчике, среди них и взгляды людей, у которых оттопырены карманы и подмышки и которые в таких вот ситуациях как бы невзначай поглаживают тебя с плеч почти до колен: не обижайся, этими отлаживаниями ты платишь за право быть рядом с теми, о ком говорят они.

— Сенатор! — снова сказал доктор Гудлетт, и репортеры бесцеремонно оттеснили других людей. — Почему вы не согласились допустить негра за стол дебатов?

Доктор Гудлетт волновался. Он должен был идти до конца, хотя уже знал, что дело не удалось. Теперь нужно было произнести еще какие-то слова, которые могли бы попасть в телевизионные новости и газетные отчеты. И, срываясь с голоса, пуская петуха, он нервно крикнул:

— Вам нужны негритянские голоса, а не забота о неграх!

Все заняло секунды. В этой сценке сенатор должен был доказать быстроту реакции, что он и делал десятки раз на дню. Конечно, помощники уже известили его о возможности пикетов и даже заготовили нужные слова. И, не выдав досады, он что-то ответил Гудлетту, спокойно, не повышая голоса, и еще что-то сказал, чтобы не подумали, что он излишне спешит и хочет уклониться, и только после

этого двинулся к лифту, не забыв пропустить вперед свою жену.

— Что он сказал? Что он сказал? — переспрашивали друг друга корреспонденты.

— А как быть с американцами из мексиканцев?— вот что сказал сенатор. И в его ответе была логика: если допустить негров к столу дебатов, то почему бы не допустить и американцев мексиканского происхождения, которых в Калифорнии не меньше, чем негров. А что, если участия потребуют и другие нацменьшинства?

На третьем этаже в коридоре и в комнатах тоже былолюдно и шумно. Больше всего нашего брата-корреспондента— не только американских, но и английских, французских, японских, западногерманских, итальянских и прочих, и прочих, потому что, хоть и далеко Сан-Франциско, всюду следят за тем, что делается в Америке, особенно в выборный год, особенно с двумя людьми, один из которых, чем не шутит черт и избиратель, может стать президентом США на следующие четыре года.

Их было никак не меньше двухсот, все готовы критично оценить performance — исполнение двумя сенаторами своих ролей, и мы тоже влились в это мобильное бывалое воинство. Нас прикрепили к пресс-свите Юджина Маккарти, так как в комнате, отведенной прессе Роберта Кеннеди, яблоку негде было упасть, — все-таки из этих двух нью-йоркский сенатор считался более вероятным.

В нашей большой комнате были и новички, и старожилы, прикрепленные своими редакциями к Маккарти еще с мартовских дней его победы в Нью-Гемпшире, которая, собственно, и положила начало бурным политическим потрясениям года, выявив размах антиджонсоновских настроений и во многом предопределив две другие сенсации — решение Кеннеди «бежать» и отказ Джонсона «бежать» на второй срок. Все они по-разному спелись, изучили объект своего наблюдения, одним Маккарти нравился философичностью, пренебрежением к политиканству и профессорскими манерами, другие обвиняли его в мессианстве и мистицизме деголлевского типа, язвили над его любовью к стихам и над дружбой с поэтом Робертом Лоуэллом. Теперь — прямо из автобусов, прямо с митингов на сан-францисских улицах, уставшие от вечной спешки и суеты, — они толпились около бачка с кофе, подкрепляясь перед новой встряской, моряки в океанах информации, нынче здесь — завтра там.

Вознесенный над людьми, столами и стульями, тускло отсвечивал с передней стены пустой пока экран цветного телевизора.

Маккарти приехал раньше Кеннеди, оба сенатора скрылись в

телестудии, куда допустили лишь пяток корреспондентов.

Экран ожил, все изготавились. На экране возник стол, а за ним, в цвете, два сенатора и три корреспондента Эй-Би-Си — ни одного негра и ни одного из Сан-Франциско, три аса из нью-йоркской штаб-квартиры телекорпорации.

— Добрый вечер, — начал Фрэнк Рейнольдс, главный из них.

В Сан-Франциско был еще день, но Фрэнк сказал «вечер», и не ошибался. Он обращался к телезрителям на атлантическом побережье, где был уже вечер. Им программу показывали «живьем», а для Сан-Франциско и всего Тихоокеанского побережья ее записывали на видеоленту с тем, чтобы прокрутить позднее, в основное телевизионное время.

— Добрый вечер. Сегодня два претендента на пост президента от демократической партии находятся в одной и той же комнате перед одними и теми же телекамерами и радиомикрофонами, чтобы включиться в дискуссию или» если хотите, споры по вопросам, проблемам и возможностям, с которыми американский народ сталкивается в этом году. Эта встреча происходит в значительный, а возможно, - и критический момент как для сенатора Роберта Кеннеди от Нью-Йорка, так и для сенатора Юджина Маккарти от Миннесоты.

Во вторник на первичных выборах демократы-избиратели Калифорнии отдадут свое предпочтение одному из двух. Оба сенатора баллотируются в этом штате, оба вели свою кампанию широко и энергично. Мы будем задавать вопросы каждому из кандидатов, и тот, кому не задали тот или иной вопрос, получит возможность прокомментировать ответ своего оппонента. В начале дискуссии я адресую свой вопрос обоим. Перед передачей мы разыграли очередность монеткой, и сенатор Маккарти ответит первым. Итак, Сенаторы, вы выступаете сегодня перед американским народом и избирателями Калифорнии как кандидаты на пост президента. Если бы вы были президентом, что бы вы сделали для мира во Вьетнаме из того, что не делает президент Джонсон? Сенатор Маккарти?

Сенатор Маккарти потянулся к столу:

— Если бы я был президентом, я бы сделал или по меньшей мере рекомендовал две-три вещи. Я бы деэскалировал войну во Вьетнаме, сократив некоторые наши передовые позиции, хотя и сохранив силу во Вьетнаме... Я думаю, что следовало бы подчеркнуть следующие важные пункты: во-первых, деэскалация войны, во-вторых, признание того, что мы должны иметь новое правительство в Южном Вьетнаме. Меня не очень беспокоит, будет ли оно называться «коалицией», или

«слиянием», или новым правительством иного рода. Но мы должны признать, что это правительство должно включать Национальный Фронт Освобождения. Я считаю это предпосылкой любых переговоров...

— Сенатор Кеннеди?

И Роберт Кеннеди немедленно включился в бой со своим резким бостонским выговором, который сразу же вызывал образ убитого Джона Кеннеди; голоса братьев, как это бывает, почти не отличались.

— Ну что ж, я продолжил бы переговоры в Париже.- В то же время от правительства в Сайгоне я ожидал бы переговоров с Национальным Фронтом Освобождения. Я возражал бы против позиции сенатора Маккарти, если я ее правильно понял, — против навязывания коалиционного правительства правительству в Сайгоне, против коалиции с коммунистами еще до начала переговоров...

Кроме того, конфиденциально и публично я потребовал бы прекращения, коррупции, официальной коррупции, которая существует в Южном Вьетнаме, земельной реформы, которая имела бы смысл, с тем, чтобы они (сайгонские союзники. — *С. К.*) заручились поддержкой народа. Я вывел бы войска из демилитаризованной зоны. Я считаю, что это важный район, но я позволил бы остаться там скорее южновьетнамским, чем американским войскам, ибо на тот район падает треть наших потерь, даже половина. И я бы положил конец операциям «найди и уничтожь», которые ведут американские войска, и возложил бы бремя конфликта на южновьетнамских солдат и войска. И со временем я бы добивался, чтобы южные вьетнамцы все больше брали на себя бремя конфликта. Я никак не могу согласиться с тем, что здесь, в Соединенных Штатах, мы призываем молодого человека и посылаем его в Южный Вьетнам сражаться и, может быть, умирать в то время как в Южном Вьетнаме молодой человек, если он достаточно богат, может откупиться от призыва...

— Ловкий парень — громко пробормотал кто-то, выставляя оценку первому раунду. По шумку, пробежавшему в притихшей комнате, стало ясно, что многие с ним согласились.

Да, сенатор от штата Нью-Йорк, пожалуй, выиграл очко. Оба высказались за деэскалацию войны, но практичный. Кеннеди вернее подцепил телезрителя-избирателя: войну сразу не кончишь, никакой американский политик не пойдет на «капитуляцию», и пусть помирают вьетнамцы — ведь это их война, в конце концов, но важны экстренные меры, чтобы спасти американские жизни, чтобы немедленно сократить потери — «деамериканизация войны». Гробы под звездно-полосатыми

флагами, транспортируемые самолетами и судами на родную землю для погребения на национальных кладбищах, — вот что больше всего задевает американцев. Свежих могил все больше, и здесь, в Сан-Франциско, интенсивно вскрывают землю на военном кладбище возле «Золотых ворот». Итак, деамериканизация войны, — Роберт Кеннеди едва ли не первым выдвинул этот лозунг. Невиданно затяжная война осточертела всем, она просто не в натуре американца, привыкшего быстро решать свои проблемы, но война без американских жертв, с добавочными элементами экономического процветания — плохо ли?..

Между тем, пятеро за столом продолжали свой разговор спокойно и даже небрежно — какой-нибудь очередной телесимпозиум, но для двух это было ристалищем, проверкой выдержки, зрелости, мудрости и опытности — ведь они бились за президентство в ракетно-ядерно-электронный век.

Пресса в нашей комнате фиксировала очки, в общем-то деля их поровну. Оба сенатора физически привлекательны. Оба католики, с ирландскими предками. Кеннеди обосновывает свою заявку на Белый дом тремя годами деятельности в Национальном совете безопасности и на посту министра юстиции, Маккарти — двадцатью годами в конгрессе. Оба выступают на платформе критики Линдона Джонсона и его вьетнамской авантюры. Состязаются в этой критике, и Кеннеди говорит, что по стажу он старший критик, что он начал критиковать Джонсона раньше, а Маккарти, напротив, утверждает, что у его оппонента рыльце в пушку, так как изначальные шаги во вьетнамское болото были сделаны еще при Джоне Кеннеди и не без участия Бобби, который, помнится, был тогда министром юстиции и ближайшим советником брата. Однако оба джентльмены, вульгарной перебранки нет, парламентски вежливы. Оба, конечно, за гражданские права негров, но против мятежей, за закон и порядок. Оба за продажу Израилю пятидесяти истребителей «Фантом»: ведь избирателей евреев несравненно больше, чем избирателей арабов. Оба не хотят видеть Соединенные Штаты «мировым полицейским», без оглядки спешащим наводить порядок всюду, — хватит одного Вьетнама! — но тем не менее за некую разумную верность Америки ее «глобальным обязательствам».

Кеннеди более расчетлив, но, в общем, оба — политические эквилибристы, и сейчас на канате перед 25-миллионной аудиторией. Симпатизируют черным, но так, чтобы не отпугнуть белых, агитируют Смита, но так, чтобы Браун не разобиделся и чтобы Джонс не подумал, что его взгляды не учтены.

Великая загадка блещет в бесстрастных зрачках телевизионных камер: ни один, из сенаторов не знает, сколько голосов он выиграл, явившись для дискуссии на телеэкран, и сколько, не дай бог, проиграл. А джонсы, брауны и Смиты на диванах своих гостиных, с субботними пивными банками в руках? А их жены и непослушные взрослые дети? Могут ли они, просидев час у телевизора, решить, кто лучше, определить для себя победителя и побежденного?

О таинственные трансформации демократии в век всемогущего телевидения,, опросов общественности и коммерческой рекламы, чьи методы заимствует политика! «Миллионы некоординируемых граждан находятся в пределах легкой досягаемости магнетически привлекательных личностей, эффективно эксплуатирующих новейшие средства коммуникации для того, чтобы манипулировать эмоциями и контролировать рассудок», — говорит Збигнев Бжезинский, профессор политических наук и аналитик из категории германов канов.

Минул час, телеэкран без секунды передышки перешел к другой программе, из прокуренной комнаты корреспонденты кинулись в коридор к телефонам, к столам, к которым подносили одну за другой страницы стенограммы. В соседней, еще более прокуренной комнате, где размещалась «пресса Кеннеди», окруженный коллегами стоял обозреватель «Нью-Йорк тайме» Том Уикер, уважаемый полпред известной газеты, допущенный в саму студию, где имели место дебаты. Заглядывая в блокнот, он делился кое-какими деталями. Том Уикер — серьезный и умный журналист, но тут были мелочи, которые, однако, тоже идут в дело. У Маккарти, сообщил он, был легкий грим, Кеннеди обошелся без оного. И корреспонденты понимающе галдели: еще бы, все братья Кеннеди фотогеничны и телегеничны, и на знаменитых телевизионных дебатах 1960 года между Джоном Кеннеди и Ричардом Никсоном последнему пришлось пригласить некоего Стенли Лоуренса, косметиста фирмы «Ревлон». Маккарти держал себя непринужденнее, рассказывал Том Уикер, но пил воду, когда телекамеры переключались на его соперника. Кеннеди чувствовал себя стесненнее, но до воды не дотрагивался.

— Том, как оба парня оценили результаты дебатов?

И это было в блокнотике у Тома. Кеннеди сказал, что, на его взгляд, дискуссия была прекрасной, но что трудно сказать, как она скажется на итогах выборов, — «это предстоит решить избирателю». «Я не собираюсь анализировать, как я сыграл свою роль, — ответил Маккарти, но добавил: — Это было нечто вроде боксерской схватки с тремя рефери, но решить, кто выиграл, невозможно». Маккарти

спросили также, готов ли он повторить теледискуссию, на что он ответил: «Нет, мы успели надоесть друг другу».

— Том, повтори, что сказал Маккарти?

Я тоже слушал Уикера, но знал, что мою газету не интересует ни легкий грим на лице Маккарти, ни нетронутый стакан воды перед Кеннеди, ни вообще наделавшие шуму телевизионные дебаты. Значение событий меняется с расстоянием, при пересечении государственных границ, что велико в Сан-Франциско, бывает незаметно в Москве.

Мы не дождались последних страниц стенограммы и ушли в отель...

На следующий день мои друзья сели в свою «фьюри» и скрылись за поворотом, начав обратный трансконтинентальный пробег, по северному маршруту.

Я остался еще на четыре дня, чтобы передать в газету отчет об итогах калифорнийских выборов.

16

— Первичные выборы больше годятся для того, чтобы убить кандидатов, чем избрать их.

Это сказал мне Юджин Ли, молодой профессор из Беркли, не подозревая, как буквально сбудутся его слова. Он-то просто имел в виду, что на первичных выборах претенденты отсеиваются.

Читателю не догадаться о страданиях корреспондента, который уже две недели ничего не посылал в газету. В киоске на углу я покупал с утра и вечером газет и журналов, заходясь к своим двум-трем страничкам о первичных выборах.

В Сан-Франциско происходила масса событий: неизвестные взорвали опоры линии высоковольтной передачи, оставив на пару часов без света триста тысяч домов; муниципалитет оказался финансово неподготовленным к решению Верховного суда США, объявившего алкоголизм болезнью, а не преступлением; опрос в начальной школе на Вудсайд вскрыл конфликт поколений: родители были больше всего озабочены вопросом о неграх, а также «взрывом населения» и коммунистической угрозой, а дети — ядерной войной, «взрывом населения» и отношениями с Азией; восстановили и открыли для картинной галереи единственное в Сан-Франциско здание, построенное по проекту великого архитектора Фрэнка Ллойда Райта; туман окутывал верхолазов на стальных конструкциях строящегося небоскреба «Бэнк оф Америка»; 22-летний Дэвид Харрис, бывший, президент

студпраздника в Стенфордском университете, муж популярнейшей певицы Джоан Баез, получил три года тюрьмы, отказавшись ехать солдатом во Вьетнам; некий Видал Сассун разработал и успешно сбывал новую дамскую прическу, а чулочные фабриканты возвестили об «эре сумасшедших ног», рекламируя чулки с рисунком из типографских литеров. Но два сенатора — пришельца из, других штатов, почти круглосуточно действуя в лихорадочные последние дни, теснили всех других героев и все другие события на страницах газет, на телеэкранах, в эфире, даже на заборах и стенах домов. Они не жалели энергии и денег, чтобы встряхнуть калифорнийцев в возрасте от 21 года и выше, зарегистрированных демократами (их было 4 347 406), ибо от этих калифорнийцев зависела политическая судьба двух сенаторов. Победителю доставались 174 делегата, которые штат Калифорния посылает на съезд демократической партии.

Конечно, знатоки почти единодушно сходились на том, что эта калифорнийская суэта ничего не даст ни Кеннеди, ни Маккарти и что на съезде в Чикаго демократическим кандидатом в президенты все равно выберут Губерта Хэмфри, у которого, как у преемника Джонсона, была под контролем партийная машина в большинстве штатов. Но тактика двух сенаторов, и особенно Роберта Кеннеди, состояла в том, чтобы добиться репутации «собираателя голосов», любимца избирателя и навязать свою кандидатуру партийным боссам. Кеннеди одолел Маккарти на первичных выборах в Индиане, но последние первичные выборы — в штате Орегон принесли победу Маккарти. По данным опросов, Кеннеди лидировал в Калифорнии, но, чтобы загладить шок орегонского поражения, ему нужен был по-настоящему большой перевес над противником.

Он даже прибегнул к шагу отчаянному, намекнув, что вообще выйдет из игры, если Калифорния окажется неотзывчивой. Саркастичный Маккарти назвал это «угрозой ребенка не дышать, если вы его не ублажите». Кандидаты предлагали себя, как любая корпорация предлагает свой продукт, а выражаясь точно по-американски, продавали себя избирателю — свой облик, взгляды, биографию, обещания, жену и детей, религию, родословную. Но кто купит этот продукт без рекламы, кто вообще узнает о его существовании в стране, где так много самых разных продуктов? Разумеется, обоих знали — больше Кеннеди и меньше Маккарти, но нужна неустанная реклама, чтобы удерживать себя в сознании занятого американца. Нужны деньги на политическую рекламу, — не только на нее, но больше всего на нее.

И деньги лились рекой, и у Кеннеди река эта была много шире. В газетах писали, что кампания в Орегоне стоила Маккарти триста тысяч долларов, Кеннеди — четыреста тысяч. В большой Калифорнии Маккарти, вернее, его доброхоты, оставляли не меньше миллиона долларов, а Кеннеди, как считали, — больше двух миллионов. Лучшие, вечерние, куски телевизионного времени в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе шли по цене более двух тысяч долларов за минуту, и Роберт Кеннеди всюду скупал их. Телеэкран в моем номере на разных своих каналах не расставался с нью-йоркским сенатором — с десятков раз в день передавали его получасовой агитфильм.

К большим деньгам всегда обостренное внимание. Протестовали против «парового катка», которым средний брат хотел раздавить сенатора от Миннесоты так же, как старший брат Джон раздавил в 1960 году другого миннесотского сенатора — Губерта Хэмфри на первичных выборах в Западной Вирджинии. Критики слышали ответ от матери Роберта — Розы Кеннеди, неожиданно агрессивный в устах семидесятивосьмилетней матроны: «Эти деньги наши собственные, и мы вольны тратить их как хотим.

На то он и есть, избирательный бизнес. Когда имеют деньги, их тратят, чтобы победить. И чем больше их у вас, тем больше вы тратите».

И, однако, по всем данным, сын бостонского мультимиллионера должен был победить с помощью бедняков — голосами негров, мексикано-американцев и других. Он был популярен среди пасынков Америки, сумел убедить их, что, как и убитый брат, он искренне обеспокоен их участью и сделает все, чтобы облегчить ее. Его тепло встречали в гетто, на митингах мексиканцев-издольщиков, в индейских резервациях. И он клялся искоренить бедность в Америке.

Маккарти акцентировал свою независимость и принципиальность: «Человек против машины». Студенты, выдвинувшие его на предвыборную авансцену, пришедшие к нему добровольными агитаторами, скандировали: «Очистимся с Джином!» Его поддерживали многие из «среднего класса», интеллигенция, люди науки и искусства.

Философ Эрих Фромм поместил в газете «Сан-Франциско кроникл» платный призыв голосовать за сенатора Маккарти. «Иногда избиратель голосует, чувствуя, что у кандидата есть убеждения, то есть что его слова идут не просто от головы, что они для него органичны, что у него есть тот стержень, который способен противостоять соблазнам оппортунизма. Я вижу этот стержень в сенаторе Маккарти, — писал Фромм. — ...Мы идем к совершенно новой форме общества, когда

человек становится частью машины и запрограммирован следующими принципами: 1) следует делать лишь то, что технически возможно; 2) основные ценности состоят в максимальной эффективности производства, в максимуме потребления и минимуме человеческих качеств... Многие американцы в разных политических и религиозных группах более или менее ясно видят опасность не только ядерной войны, но и полного отчуждения и обесчеловечения человека, понимают, что гуманистические принципы, которые дали жизнестойкость цивилизации, исчезают как реальность и превращаются всего-навсего в лозунги, которыми манипулируют в интересах потребительской культуры».

Накануне дня выборов на сан-францисских улицах раздавали бесплатное предвыборное издание книги Роберта Кеннеди «В поисках обновленного мира». В штаб-квартире Маккарти меня нагроулили значками и литературой. Разрываясь между телефонами и студентами-добровольцами, мистер Холстингер горячо убеждал меня, что Маккарти — «глоток свежего воздуха», «обещание реальной перемены» и «символ того, что молодежь ищет в обществе». Он торговал школьной мебелью, но война во Вьетнаме возмутила его, и, передав заведение партнеру, мистер Холстингер посвятил все свое время сенатору из Миннесоты.

Жизнь, в общем, шла нормально, но она настолько велика, что все зависит от того, какую ее сторону ты берешь. В разговорах с калифорнийцами, даже теми, кто профессионально занимается политикой, я не заметил чрезмерного ажиотажа. Но в газетах гремела канонада. Известный обозреватель Джеймс Рестон, путешествуя в те дни по Калифорнии, писал: «Радиоголоса, дискуссии в университетах и предвыборные речи, — все хотят исправить что-то или что-то улучшить.. Ежеминутно нас побуждают «перейти» к машине марки «крайслер» или на сторону Кеннеди, покончить с дистрофией мускулов или «очиститься с Джином». У каждого «новая идея», и все — от Генри Форда до Ричарда Никсона — призывают нас «увидеть свет». Может быть, жизнь не изменится от всего этого самоанализа и самосовершенствования, но есть что-то вдохновляющее, и даже величественное в этих шумных дебатах. Что бы ни говорили об Америке сегодня, она берется за великие вопросы человеческой жизни. Она спрашивает: В чем смысл всего этого богатства? Является ли бедность неизбежной или ее нельзя долее терпеть? Какую Америку хотим мы видеть в конце концов? И в каких ее отношениях с остальным миром?»

Для многих и вправду это было время самокритичных вопросов и надежд, но кончилось оно так, как с самого начала предвидели далекие от экзальтации политики, а именно — выбором между Ричардом Никсоном и Губертом Хэмфри, и в ноябре он был сделан в пользу первого.

17

Этот день запомнился, и я хочу рассказать о нем подробнее.

На календаре обычном был вторник 4 июня 1968 года.

На политическом — долгожданный день выборов в штате Калифорния.

А на дворе был просто ненастный день. С утра Великий океан нагнал нелетних туч над Сан-Франциско, и нудный дождичек, подхлестываемый ветром, кропил посеревшие улицы, сочился, как некие водяные часы, словно природа с тайным своим умыслом раздробила и замедлила течение времени, намекая, что дню быть долгим.

Но как долгим?

После пяти вечера показалось мне, что день пошел на убыль. В пять вечера увидел я черный тусклый блеск парабеллума, который вдруг извлек из-под бушлата дюжий паренек, чтобы прихвастнуть игрушкой перед своей милой девушкой. Этакий безусый сосунок... Снисходительное словцо, правда, пришло мне на ум с запозданием, а не тогда, когда в приглушенном свете серого дня игрушка испускала вокруг свои матово-вороненные отсветы. Ведь может заморозить тусклый блеск парабеллума в руках незнакомца, да еще в незнакомой квартире, да к тому же в городе, который тоже не очень знаком.

Но отсветы были без вспышек. Паренек даже подбросил меня на своем грузовичке до гостиницы, великодушно махнув на прощание горячей молодой рукой и оставив в моем мозгу драматическое «ну и ну!»

И впечатления вроде бы пошли на убыль, а с ними и странный день. Когда же — по календарю — положено было ему кончиться, он невиданно продлился. Бурно состыковался с ночью, «упал двенадцатый час, как с плахи голова казненного». Ибо в полночь другой человек не в неизвестной сан-францисской квартирке, а как бы на глазах всего мира тоже повстречал молодого незнакомца с пистолетом. И случились не отсветы, а вспышки, и человек упал — как бы на глазах всего мира...

Впрочем, по порядку.

Утром я сел на автобус и по Фултон-стрит мимо лавок негритянских старьевщиков отправился в сторону парка «Золотые ворота», выходящего своим зеленым массивом к океанской равнине. Жители Сан-Франциско любят этот просторный парк — с лужайками и рощами, вольерами для диких животных, с автомобильными аллеями, в которых приятно спастись от городской суеты. Предмет особой гордости — «Японский сад». Декоративно разбросанные камни, журчание ручейков, цветы и кусты сакуры искусно воссоздают гармонию природы.

Но несколько лет назад «Японский сад», как и несравненно более мощный его конкурент, сан-францисский Чайна-таун, потеряли монополию на экзотику. Пошла экзотика отечественного происхождения, ходячая и бродячая.

Сан-Франциско стал «мировой столицей хиппи». Территориально невелика эта столица, расположенная на пересекающихся Хейт-стрит и Эшбери-стрит и упирающаяся вершинкой своего креста в парк «Золотые ворота».

Я вышел на Хейт-стрит, застроенную невысокими и не новыми домами, и на ее тротуарах обитатели непризнанной в ООН столицы, не смущаясь моросящего дождя, по-американски экстравагантно явили себя длинными нечесаными волосами, босыми ногами, библейскими хламидами и мексиканскими пончо на плечах, глухими сюртуками а-ля Джавахарлал Неру, декоративными мйни-веригами с брошами на гладких столбах юношеских шей. Яркий выраженный—долговечный ли? — подвид. Своеобразная партия протеста.

Они были красивы, во всяком случае на первый взгляд, красивы той силой жизни, которая сопровождает молодость. Но они претендовали еще и на значительность. Среди стандартных домов, стандартных машин и стандартно одетых людей своими молодыми бородами и библейскими хламидами они замахивались на титул вероучителей и пророков, и тут-то возникал критический вопрос об их мандате и полномочиях.

Парень лет двадцати трех стоял в нише одного подъезда, грациозно касаясь стены плечом. Лицо супермена с телеэкрана твердый красивый подбородок, прямой римский нос, красивый овал лица. Очень отстраненно стоял парень, смотря куда-то вдаль, и это мешало мне заговорить с ним. Колеблясь, я разглядывал соседнюю витрину, за стеклом которой, сознавая собственное величие и высокую цену, красовались сверхдобротные тяжелые сапоги — удачная копия с оригинала прошлого, а может, и позапрошлого века, и сыромятные

сандалии, тоже тяжелые и тоже удачные, потому что такими, наверное, и были они на ногах библейских пастухов у берегов Мертвого моря и в междуречье Тигра и Евфрата. И парень, величественный, как проверенный временем товар в витрине, сокращал меня в размерах до сегодняшнего суетного дня.

Два хиппи прошли мимо. Негромко, как пароль, парень бросил им какое-то словцо. Из рук в руки перекечевала сигаретка. Он долго чиркал спичкой, отвернувшись в глубину подъезда, а когда, снова возник передо мной красивый профиль, я встал на ступеньку и сказал:

Я иностранный газетчик. Хотел бы задать несколько вопросов.

И тогда он медленно повернулся ко мне, посмотрел на меня невидящим дымчато-пустым взглядом серых глаз. И не ответил.

— Я иностранный газетчик...

Но взгляд оставался таким же прелестно-дымчатым и пустым.

— Эй, приятель, я иностранный газетчик...

Парень плыл по своим, строго индивидуальным, закодированным, не поддающимся подслушиванию волнам наркотического транса.

«Turn on, tune in and drop out» — «Включившись, настройся и выпадай». Включись и настройся — посредством наркотиков — и выпадай из презренной реальности. Формула хиппи, не без насмешки позаимствовавшая технический жаргон времени.

Я оставил его в странном покое и пошел дальше по Лейт-стрит. Американские мощные машины шелестели по мостовой. Американские пожарные гидранты чугунно торчали на бровках тротуаров. Американские универсальные аптеки—драг-стор перехватывали покупателей на перекрестках. Но американские парни и девушки, одетые под индийских дервишей и гуру, под африканских негров и русских мастеровых начала века, отрицали свою страну.

Небольшая лавка называлась «Дикие цвета» — кооперативная лавка художников-хиппи. Огромные, в полматраца подушки отзывались в сердце сладкими картинками детства под эгидой бабушки, от ярчайшей желто-фиолетово-красной пестроты наволочек исходила нирвана Востока. Громадные витые свечи отменяли электросвет и посягали на мебель, ибо место таким царственным свечам на полу, у царственных подушек. Переливающиеся калейдоскопы психоделических плакатов посягали одновременно на телеэкран и живопись. Гроздья цепей и бус,

он на фактическое самоубийство, лишь бы нарушить тикающие ходики бессмысленной, хотя и благополучной жизни.

— А недавно так же неожиданно, как вы, пришли сюда трое черных парней, — продолжал паренек. — И приставили мне нож к груди. Странное было ощущение. Странное... Ведь я, можно сказать, пожертвовал карьерой, чтобы участвовать в движении за гражданские права. А они пришли — и нож к груди.

— Я их понимаю, — как бы извиняется он за парней с ножом. — Я знаю, как виновата белая Америка. Но ведь я-то за них, я всегда им сочувствовал...

Он и тогда, торопясь, желая опередить этот нож у груди, прошептал им о своих симпатиях. Они выслушали и язвительно посмеялись, но не тронули нашего хиппи и не взяли ничего, кроме такой вот штучки. Отомкнув стеклянную витрину над прилавком, паренек извлек латунную брошку — значок Олдермастонского марша, популярный символ сторонников мира и ядерного разоружения.

— Почему же они взяли именно эту штучку?

— Мне кажется, это был символический жест...

Трое черных пощадили его, но, изъав символ мира, жестоко намекнули, что не будет мира и здесь, среди обманчивой вольницы Хейт-стрит, пока рядом лежит гетто.

Прошли по воде те самые концентрические круги, о которых бесстрастно говорил профессор Уитон, волна из большого американского моря подкатила к убежищу нашего паренька, и теперь белокурый хиппи зорче поглядывает на дверь своей лавки, когда с мелодичным звонком, предупреждая о клиентах, поддается она под чьей-то рукой. И, не пробуравив еще в себе непоправимые дырочки, он уже готов нащупать мостик назад и уже присматривал безопасное помещение для «Диких цветов» в даун-тауне — центре города. Но там домовладельцы, увидев его длинные волосы, испугались, что следом нахлынут и другие хиппи и арендная плата упадет, потому что от такого соседства, как от чумы или от негров, побегут другие арендаторы.

Теперь он думает: а не бросить ли все к черту — и эту лавочку и эту страну? Не податься ли в Мексику, благо она недалеко и граница открыта?

Купив фотоальбомчик, в котором танцующие хиппи выглядели коммерчески приемлемыми для среднего американца, я пожелал удачи новому знакомому и отправился туда, откуда явились трое с ножом — в негритянское гетто.

И вскоре дорожными указателями возникли на стенах домов портреты Мартина Лютера Кинга — следы долгого траура по человеку,

мечтавшему о братстве черных и белых в условиях равенства.

Накрапывал дождь, улицы были безлюдны и почти безмашинны...

Любопытен этот белокурый парнишка: испуг и искренность, доверчивость и подозрительность, солидарность с другими обитателями Хейт-стрит и, однако, одиночество.

Богема ядерного века. Поколение любви. Блудные дети кибернетического общества. Американские цыгане... Как только их не называют.

Однажды в Нью-Йорке недели две я знакомился с хиппи и их психоделической практикой «расширения сознания». Встречался с членами секты «диггеров», которые раздают одежду и пищу нуждающимся и, кстати, имеют даровую столовую здесь, на Хейт-стрит. Познакомился с одним хиппи, который очень удачно сбывал музыку своих собратьев, — говорили, что уже к двадцати двум годам он сколотит свой первый миллион. Среди доверчивых, наивных и чистых ребят шныряли уже гангстеры и торговцы наркотиками. Но губит их не столько даже наркомания, сколько коммерция, против которой они восстали и которая умело приспособила их протест к своим нуждам, развернув бизнес на модах, музыке, оригинальных цветах хиппи.

«Хиппи, покинувшие зажиточные предместья в знак протеста против преклонения перед деньгами и собственностью, обнаружили, что на Хейт-стрит о деньгах говорят больше, чем на Уолл-стрит, — пишет сан-францисский писатель Эрл Шоррис. — Джазы хиппи летают первым классом и покупают дополнительные места для своих инструментов. Честер Хелли из джаза «Семейная собака» утверждает, что зарабатывает в год четверть миллиона долларов; владелец крупного танцзала хиппи обзавелся кучей финансовых советников; разбогатели те, кто делает плакаты; джазы хиппи готовы делать музыку для коммерческой рекламы... В эпоху расовых бунтов, вьетнамской войны и водородной бомбы хиппи смогли поколебать уверенность поколения, находящегося у власти, «поколения зла». Конечно, они подняли стоящие вопросы, но они потерпели неудачу в решениях, которые предлагают».

Между тем началась Филмор-стрит — центральная, прямая как меч улица гетто. Началась другая, так сказать, песня, другой протест — не отпрысков буржуа, а детей обездоленных. На стенах домов у Мартина Лютера Кинга появились соперники. Портреты апостола ненасилия соседствовали с портретами людей, которые говорили о том, что только насилие может исправить Америку. Под портретом Стоили Кармайкла, неистового юноши с шоколадным красивым лицом, была вызывающая дерзкая подпись: «Премьер-министр колонизированной Америки».

Еще один черный парень глянул с портретов. Опоясанный патронташами, с винтовкой между колен, он сидел в кресле: «Хью Ньютон — министр обороны колонизированной Америки». От его позы, кресла, похожего на трон, винтовки вместо скипетра веяло вызывающе озорным, почти потешным и отчаянно революционным.

И, наконец, во множестве пошли портреты девушки с тонким красивым лицом и по-детски насупленными бровями: «Кэтлин Кливер. Баллотируется в 18-м округе в ассамблею штата как кандидат «партии мира и свободы». Также кандидат партии «Черная пантера». Вписывайте Кэтлин Кливер в свои бюллетени!»

К этой-то девушке я и спешил на свидание — в дом 1419 по Филмор-стрит, в штаб-квартиру «черных пантер». На деловое свидание. Красивая девушка была замужем. Эдридж Кливер, талантливый журналист и писатель, а также «министр информации» того же правительства, сидел в тюрьме, обвиненный в покушении на полицейского. А в сан-францисских магазинах продавалась его книга «Душа на льду», сборник гневных эссе, плод предыдущей тюремной отсидки. (Позднее его выпустят на поруки, и, отвергая американское правосудие, Эдридж Кливер нелегально покинет Соединенные Штаты. Потом Кэтлин присоединится к мужу и в африканских одеждах предстанут они оба перед корреспондентами в июле 1969 года в городе Алжире, на фестивале культуры народов Африки, —еще два добровольных изгнанника Америки из растущего числа тех, кто избирает второй родиной африканскую прародину, следуя примеру Уильяма Дюбуа. Долго ли может вытерпеть душа на льду?)

«Что мы хотим?»

1. Мы хотим свободы. Мы хотим власти, чтобы определять судьбу черных.
2. Мы хотим полной занятости для нашего народа.
3. Мы хотим прекращения грабежа белым человеком нашего черного населения...
7. Мы хотим немедленного прекращения полицейских зверств и убийств черных...
10. Мы хотим земли, хлеба, жилья, одежды, справедливости и мира.

Во что мы верим?

1. Мы считаем, что черные люди не будут свободны до тех пор, пока они лишены возможности определять свою судьбу.
2. Мы считаем, что федеральное правительство обязано дать каждому человеку работу или гарантированный доход. Мы считаем, что если белые американские бизнесмены не обеспечат полной занятости,

то средства производства нужно взять у бизнесменов и передать общественности с тем, чтобы каждая община могла организоваться и дать всем своим членам работу и высокий уровень жизни.

3. Мы считаем, что это расистское правительство ограбило нас, и требуем теперь выплаты давнишнего долга в сорок акров и два мула. Сорок акров и два мула были обещаны сто лет назад как возмещение за рабский труд и массовое истребление черных людей. Мы примем эту плату в деньгах, которые будут распределены среди наших многих общин. Немцы выплачивали возмещение за геноцид против еврейского народа. Немцы истребили шесть миллионов евреев. Американский расист уничтожил свыше пятидесяти миллионов черных людей, и потому, с нашей точки зрения, мы предъявляем скромное требование...

6. Мы считаем, что черных людей нельзя заставлять сражаться ради защиты расистского правительства, которое не защищает нас...

7. Мы считаем, что со зверствами полиции в черных общинах можно покончить путем организации черных групп самообороны, в задачу которых входит защита черных общин от угнетения и произвола полиции. Вторая поправка к конституции Соединенных Штатов дает нам право носить оружие. Поэтому мы считаем, что все черные должны вооружаться в целях самообороны».

Вот коренные пункты программы «черных пантер». Вот почему правительство отказывается, конечно, принимать эту программу всерьез, а Эдгар Гувер не устает называть «черных пантер» самой опасной подрывной террористической организацией в США.

Многих и многих американцев пугает поступь «черных пантер», хотя «пантеры» уверяют, что никогда не нападают первыми, как и их прототип, что лишь настаивают на праве вооруженной самообороны, защиты от зверств и преследований полиции. Да на святом американском принципе погашения долга. Да на великом «праве народа изменить или устранить» то правительство, которое не обеспечивает гражданам «жизнь, свободу и поиски счастья», — это уже из Декларации независимости, авторы которой не предполагали, каким обличительным эхом отзовется их шедевр через два столетия.

Обложенная охотниками «черная пантера» небезобидна, а зыбкую грань между самообороной и нападением определяют ее противники из полиции и белая лицом дама Фемида. Итог?

«Министр обороны» Хью Ньютон за решеткой.

Душа Элдриджа Кливера не оттаяла в тюремных стенах.

А 23-летняя Кэтлин храбро, но тщетно добивается, чтобы голос «партии мира и свободы» был услышан в 18-м избирательном округе

Сан-Франциско в день выборов...

Первую «пантеру» я увидел у двери дома 1419 по Филмор-стрит. На молодом негре был кастровский берет, пятнистые штаны парашютиста и черная кожаная куртка, перепоясанная широким белым ремнем, как у военного полицейского. На ремне дубинка. Не кустарная самоделка, а фабричный продукт высокого качества.

Дубинка на бедре негра поразила меня, как поражают в устах товарища слова из лексикона врага,

Я вошел и наткнулся на клинки взглядов. Упершись в мое лицо, они предупредили: «Ни шагу дальше!» Спросили: «Кто такой? С какими намерениями?» И я попытался отвести эти клинки, взглядом же ответив им, что намерения мои самые мирные, не более чем доброжелательное любопытство. Взгляды по-прежнему кололи меня: ведь есть и любопытство зевак в зоопарке.

Кэтлин Кливер была почти светлолицая, контур подбородка не негритянский, губы тонкие, но стягом расы венчала лицо копна жестких черных курчавых волос. Кожаная куртка с круглым значком «Освободите Хью!». Черные высокие сапоги. Обилие черного искупало неожиданно светлое лицо и серые глаза предводительницы «черных пантер». Удивленно-веселое, почти детское выражение как бы по забывчивости часто навешало ее лицо. Тогда она спохватывалась, сводила тонкие брови на переносице.

Дела не ладились у юной кандидатки «партии мира и свободы». С утра газеты сообщили, что Кэтлин Кливер — самозванка, официально не зарегистрированная кандидатом в ассамблею штата от 18-го избирательного округа, что голоса, поданные за нее, будут недействительны. Кэтлин избегалась по телестудиям и редакциям, доказывая, что зарегистрировалась с соблюдением всех формальностей, внося положенные 160 долларов. Но всюду был вакуум, как на безвоздушной Луне, где нельзя услышать простой, так сказать, натуральный человеческий голос, а астронавты, даже стоя рядом, разговаривают по радио; такая особая связь была в день выборов у политиков, не посягающих на устои, а голос «черной пантеры» не доходил до избирателя без усилителей телевидения и газет.

Итак, извинившись, Кэтлин исчезла по своим делам. Я разглядывал помещение. На Филмор-стрит от общества открещивались не вещами, как на Хейт-стрит, а героями, портретами знаменитых революционных бородачей наших дней — Хо Ши Мин, Че Гевара, Фидель Кастро. Из центра сан-францисского черного гетто тянулись нити, — пусть скорее эмоциональные, чем осознанно политические, — к тем районам планеты, где обломалась о базальтовые камни сопротивления

империалистическая американская коса.

Вернулась Кэтлин. Воспаленными глазами смотрел на нее со стены бородатый Элдридж Кливер.

— Мы меряем свою силу размерами оппозиции и степенью поддержки. И та, и другая растут. Черная община хорошо нас поддерживает, так называемая большая пресса прокликает. Чем плохо? Но главная наша задача — организация, организация и организованность...

Разговор все время прерывали.

— Поедьте ко мне домой, — предложила Кэтлин. Мы вышли вместе с коренастой белой девушкой — репортершей студенческой газеты «Беркли барб». В старом зеленом пикапчике она отвезла нас к Кливерам.

В квартире, простой и чистой, тоже висели портреты революционных героев и разговаривала по телефону миловидная, небрежно босая, белая девушка — меня порадовало, что знакомства Кэтлин опровергали газетные суждения о расовой нетерпимости «черных пантер». И снова своими воспаленными глазами смотрел на жену Элдридж Кливер, а этот раз с обложки книги «Душа на льду». Подойдя к стеллажам, я обнаружил Достоевского — «Записки из подполья», «Преступление и наказание».

— Самый мой любимый писатель, — отрекомендовала Достоевского предводительница сан-францисских «черных пантер» и, улыбнувшись, добавила, — за исключением, конечно, Элдриджа.

Я принял похвалу великому соотечественнику.

— Он лучше всего раскрыл душу Western man, — убежденно сказала Кэтлин. — Все другие не добавили ничего существенно нового.

— Но не слишком ли он безнадежен?

И тогда Кэтлин взяла Достоевского под свою защиту и сказала мне с вызовом и упреком: «А разве есть надежда на Western man?»

Western man — «человек Запада», а по смыслу, который она вкладывала в эти слова, — человек, искалеченный антигуманистической буржуазной цивилизацией. Достоевский убеждал предводительницу «черных пантер», что ее взгляд на Америку правилен.

Между тем длинноволосая белая девушка, оторвавшись от телефонной трубки, сообщила Кэтлин еще одну неприятную новость: у входа в какой-то избирательный участок стоит полицейский и призывает избирателей не голосовать за «партию мира и свободы», так как это коммунисты.

Чертыхнувшись, Кэтлин направилась к двери, сказав мне взглядом: видите? Какие же могут быть надежды на Western man?

Защелкал лифт, и я остался в одиночестве с девушкой, опять ушедшей в телефон. Глядя, как дождевые капли мягко касаются стекла, я подумал, что, видимо, ничто большое, истинное, подвижническое не проходит даром — ни отчаянный героизм Че Гевары, ни великая боль Федора Достоевского, что ветры, гуляющие по миру, несут семена через континенты, годы и даже поколения и дают неожиданные всходы в самых неожиданных местах.

Еще раз прервала свою телефонную вахту белая девушка и, будто только что увидев меня, спросила: вы американец?

Я ответил.

— Русский?—она ничуть не удивилась и с иронией спросила: — Как вам нравятся свободные выборы в Америке?

А потом раздался звонок. Открыв дверь, я увидел дюжего белого — я вынужден отмечать цвет — парня. А он увидел незнакомца наедине с девушкой — своей девушкой, как вскоре догадался я, — и тень подозрения мелькнула на его добродушном лице. Я постарался стереть ее, приняв прежнюю позу ожидания. В этой квартире люди не представлялись друг другу с первых слов, как принято в Америке.

Теперь нас было трое. Девушка оставила трубку в покое. Он стоял возле телевизора, бережно облокотясь на хрупкое сооружение. Она повернулась к нему, выпрямившись на стуле, откинув на спину длинные прямые волосы, поглаживая пол босыми ступнями красивых ног. Они вели деловой скептический разговор о тех же свободных выборах и в присутствии третьего хотели выглядеть по- взрослому умудренными, но под верхним слоем, их разговора так очевиден был другой, глубинный слой. Словами они нежно касались друг друга, как касаются пальцами влюбленные.

Она прервала разговор минимальным испытанием своей власти — поручением пареньку сходить за сигаретами. И тогда он — не в силах более терпеть—расстегнул куртку и вытащил черный новенький парабеллум. С ним-то он и спешил к девушке, им-то и хотел похвастаться.

Вдруг нас стало четверо в комнате, и от четвертого исходили матово-вороненные блики, а трое молча смотрели на них, пытаясь расшифровать будущее, — с такой штукой течение будущего может быть драматичным и прерывистым.

Не скрою, мне стало не по себе. И не только потому, что не удержишь ведь внезапно выпрыгнувшую на поверхность сознания мысль: а что будет, если поблескивающий значок парабеллума повернется в твою сторону? Но и потому, что не полагалось мне, иностранцу, присутствовать при такой вот, тайной демонстрации

оружия.

Паренек нарушил молчание.

— Ничего игрушка, а? — сказал он голосом нарочито небрежным и задыхающимся от волнения. — Хороша на полицейских, а?

И передал парабеллум недрогнувшей девушке, которая положила его возле телефона.

— Иодержи-ка, пока я за сигаретами сбегаяю!

Ему хотелось и похвастаться игрушкой, и хоть на миг освободиться от ее страшной тяжести.

Чем могла запропавшая Кэтлин дополнить это внезапное интервью парабеллума? Когда паренек вернулся с сигаретами, я стал прощаться. Он вызвался подбросить меня до гостиницы. Парабеллум, прощально мигнув отблеском ствола, исчез в недрах его куртки. Мы спустились на улицу, к грузовичку паренька.

По дороге он рассказывал о себе, о верфи, на которой работает, о «сукиных сынах» из профсоюза, которые кричат о патриотизме, оправдывая вьетнамскую войну, и о том, что есть все-таки, да, есть кое-какие боевые ребята и в общем-то число их растет.

— Они думают, что мы так и будем все время сидеть у телевизора. Черта с два!

Мы простились на перекрестке у гостиницы «Губернатор».
Было пять вечера.

18

Простившись с пареньком, я остался наедине со своими тревожными впечатлениями и с корреспондентской нагрузкой на вечер — надо было на двух-трех страничках сообщить в газету об итогах калифорнийского состязания Юджина Маккарти и Роберта Кеннеди.

Парабеллум, конечно, искушал: вот о нем бы и написать.

Но свидетельства эксцентричных Хейт-стрит и Филмор-стрит опровергались Америкой большой, основательной, кондовой.

Видишь ли ты испуг хиппи или опасный порыв паренька с парабеллумом на этих улицах, где люди идут и едут по своим делам, куда, простившись с пареньком, и ты вышел, чтобы остудить разгоряченную голову? Их нет и в помине.

Все было спокойно в подвальном немецком ресторане, где подкрепился я перед бдением у телевизора. Сидели за столиками мужчины не в кожаных куртках, а в пиджаках, не длинноволосые и совсем не испуганные, а спокойные и уверенные в себе. Конечно, не о потрясениях и революциях думали их спутницы. Хозяин настраивал телевизор, припасенный ради дня выборов, — чтобы клиенты могли следить за шансами Бобби и Джина, не спеша расплатиться.

В злых окрестностях отеля «Губернатор» независимо вышагивали по тротуарам черные и белые проститутки в коротеньких платьицах, а в холлах дешевых пансионатов для престарелых уже заняли привычные места обитатели, безучастно глаза через стекла на улицу, утверждая с вольными девицами принцип мирного сосуществования на основе полнейшего равнодушия друг к другу.

И дождь иссяк к вечеру.

Запасшись сигаретами и банками с кока-колой в мексиканской лавчонке на углу, я уединился в своем номере на восьмом этаже, поглощенный заботой о двух-трех страничках.

И в восемь тридцать вечера на телеэкран явился мой помощник и вечный спутник в Америке- — Уолтер Кронкайт, главный поставщик и координатор новостей по каналу Си-Би-Эс, без которого, как шутили позднее, во время лунной эпопеи «Аполлона-11» вдвойне пусто и одиноко даже в космосе.

Возгордись, я назвал его своим помощником, а он как бог — вездесущий, всевидящий, всезнающий. Всем доступный и имеющий доступ ко всем, и к чему мелкие примеры, если видел я, как отчаянные репортеры Кронкайта уздой накидывали шнурочек портативного микрофона на шею самого президента США, и тот на разделенном по такому случаю экране предстал пред Уолтером, дирижировавшим

освещением событий из своей маленькой студии на 57-й стрит Нью-Йорка. И был доволен, ибо почти половина всех американцев знает Уолтера Кронкайта — больше, чем кого-либо из супердержавы прессы и телевидения, а его вечернюю программу новостей слушают не меньше двадцати миллионов телезрителей, — учтите, это при восьми работающих телеканалах. Не найдешь такого политика, которому не было бы лестно — и полезно для карьеры — показаться в программе Уолтера.

У него серьезная репутация, многолетние поклонники, и, признаться, за мои годы в Америке не было почти ни одного вечера, когда я не уделил бы Уолтеру полчаса — с семи до полвосьмого, когда изменил бы ему ради популярной пары Дэвида Бринкли и Чэта Хантли из Эн-Би-Си, двух его самых упорных конкурентов.

В отличие от этих говорунов Уолтер обычно поставляет hard news — «твердую» информацию.

Итак, устроившись на кровати перед телеэкраном в номере отеля «Губернатор», я вызвал Уолтера Кронкайта, и он возник передо мной в виде пожилого несуетливого джентльмена с солидными усами, морщинами у глаз — они умножились за шесть лет нашего знакомства, энергичным, подкупающим и приятно усталым выражением лица.

На этот раз Уолтер вещал из своей нью-йоркской студии, но — существуют ли для бога расстояния? — волны без помех доставили его на тихоокеанское побережье. Он был в Нью-Йорке, а выборы — в Калифорнии, на другом конце континента. Тем не менее именно от Уолтера ждали самых последних, самых оперативных сведений, — не только обыкновенные телезрители, но и журналисты, политики, даже два главных действующих лица этой очередной американской одиссеи — Роберт Кеннеди и Юджин Маккарти, которые тоже наверняка сидели перед телевизорами.

Этот бог не в трех, а в десятках лиц. К его трону идут радиоволны от высоко профессионального воинства репортеров и операторов, разместившихся в лос-анджелесских штаб-квартирах двух сенаторов, в разных калифорнийских городах и графствах, на избирательных участках, а в резерве его стоят штатные и внештатные комментаторы, профессора политических наук, директора институтов по опросу общественного мнения и т. д. и т. п., готовые без промедления перерабатывать сырье статистики в полуфабрикаты анализа и прогнозов — аж до самих президентских выборов в ноябре.

Уолтер явился и, разведя руками по своему чистому столу, как бы смахнул все мои тревоги.

С зыбкой почвы Хейт-стрит и Филмор-стрит, от какого-то жалкого хиппи, от предводительницы «черных пантер» и паренька с парабеллумом он легко перенес меня в мир большой американской политики, где все расставлено по привычным местам, где можно даже заглядывать вперед, и не наугад заглядывать, а методами научного прогнозирования.

Да, наука и прогнозирование — два идола нашего времени, и Уолтер сразу же дал понять, что и они в числе его верных слуг.

Он сообщил, что подсчитан всего один процент голосов, но—есть ли помехи для науки?! — корпорация Си-Би-Эс на основе «профилей», сделанных в 89 «научно выбранных» избирательных участках, торжественно предсказывает победу Кеннеди (он должен получить 48 процентов голосов) над Маккарти (который получит лишь 41 процент).

Ага, значит Си-Би-Эс всерьез раскошелилась, арендовав ради дня выборов электронно-счетные машины, и Уолтер Кронкайт немедленно бросил на стол главный козырь, гарантируя одновременно и азарт, и электронную точность этого вечера у телевизора.

Но машины машинами, прогнозы прогнозами, а человеческий элемент тоже не помешает.

— Роджер Мадд, выходи! — воззвал Уолтер, приступая к проверке своего воинства.

И на экране, за его спиной, посредством какого-то технического фокуса возник другой экран, а в нем лицо Роджера Мадда с припухшими скулами не дурака выпить и усталыми от недосыпа глазами, — младшего коллеги и верного архангела Уолтера, вашингтонского корреспондента Си-Би-Эс.

Я привык видеть Роджера Мадда на белых ступенях капитолийской лестницы, бодро допрашивающим очередного сенатора или комментирующим очередное голосование в конгрессе. Но месяца два назад он презрел свой пост на холме и остальных девяносто девять сенаторов ради одного, дни и ночи мотался по стране в хвосте у Бобби Кеннеди, среди сонма корреспондентов, следящих за каждым предвыборным шагом, жестом и маневром сенатора от штата Нью-Йорк.

И сегодня Роджер был, конечно, под боком у Бобби, в его временной штаб-квартире в лос-анджелесском отеле «Амбассадор», как всегда неутомимый, готовый к многочасовому репортажу. Как лист перед травой, по первому зову должен был он предстать перед Уолтером. И он предстал на экране в экране и в подкупающе фамильярной и, однако, точной манере доложил, что, да, Уолтер, я, как видишь, в отеле «Амбассадор», сенатор пока в загородном имении одного из друзей, а

не в своем номере — люкс на пятом этаже, у его свиты и сторонников, понятное дело, приподнятое настроение, но, Уолтер, как ты знаешь, подсчитан лишь один процент голосов и мне нечего, увы, добавить к «профилям» наших всемогущих ЭВМ.

— О'кей, Роджер, — принял его рапорт Уолтер, и в дружеской интонации было заложено ненавязчивое, но властное напутствие: «Зри в оба, бди!» Хотя он знал, что старина Роджер не подкачает.

Потом он вызвал другого своего архангела, несущего вахту в лос-анджелесском отеле «Биверли Хилтон», под боком у сенатора Маккарти, и тот так же четко и быстро воплотился за спиной Уолтера, на экране в экране, и отрапортовал, что, да, Уолтер, в стане Маккарти, понятное дело, пока отказываются признавать поражение, но пессимизм уже гложет его приверженцев, — изволь убедиться, и телеоко, обегая другой зал другого отеля, нашло понурые лица.

Так началось большое телевизионное шоу под названием «Первичные выборы в Калифорнии», еще одна демонстрация своеобразного поп-арт — превращать в зрелище, перерабатывать в спектакль любое событие, которое может удержать американца у телеэкрана.

Демииург Уолтер Кронкайт творил текущую историю.

Мелькали его корреспонденты, на табло выскакивали новые цифирьки.

Мудрейшие машины удивляли людей, вдруг меняя свои прогнозы, — прогнав через полупроводниковые сочленения шесть процентов подсчитанных голосов, они зачеркнули свой первый прогноз, обещав Кеннеди уже 51 процент, а Маккарти — лишь 38.

Ах, ах, как интересно! Как интересно!

Ах, если бы я лишь вчера прилетел в Америку...

Через час-другой азарт мой иссяк, я поймал себя на раздражении. Оно росло, хотя по-прежнему я смотрел и слушал, ибо как бросить на половине зрелище, если к тому же оно нужно тебе по работе? Повторяю, что уважаю Уолтера Кронкайта как профессионала и неспроста все эти шесть лет доказывал ему свою лояльность — с семи до полвосьмого вечера по нью-йоркски. И на нашем телеэкране мне хотелось бы видеть такие же максимально документированные, оперативные передачи новостей. Но...

— Какой смысл спешить? — злился я, ерзая перед телевизором.

— Какой смысл спешить, Уолтер? Что за баловство — за большие деньги арендовать электронные мозги, чтобы при одном проценте они делали один прогноз, а при шести — другой? Какой прок в прогнозах, если они отомрут через несколько часов — всего через несколько часов,

когда все голоса будут подсчитаны? Что за детская игра в «угадай-ка» с применением новейшей техники и на глазах у десятков миллионов взрослых людей?

Впрочем, зачем пытаться Уолтера неприятными вопросами. Я и сам могу кое-что разъяснить, хотя и придется вскрыть некий изъян в его божественности. Ищи деньги, а не женщину! — вот американская поправка к французской разгадке тайн, как ни банальна вся эта материя. Ищи деньги, и нешуточные.

Нанимай умные машины и умных людей, используй популярность Уолтера Кронкайта и устраивай шоу из калифорнийских выборов, чтобы приманить к телеэкранам миллионы зрителей.

А будут зрители, будут и корпорации, которые заплатят Си-Би-Эс бешенные деньги за рекламу своих товаров в эти интригующие часы.

Кто победит — Кеннеди или Маккарти? Затеяливая карусель вертелась вокруг политического вопроса, а насажена была на ось коммерции, для которой не столь уж важно, кто победит, — кто бы ни победил, телезритель, следивший за драматическим подсчетом голосов по каналу Си-Би-Эс, запомнит мимоходом и кое-что другое. Что же на этот раз?

Исчезая с экрана, знаменитый Кронкайт время от времени уступал место некоей безымянной и очень любвеобильной бабушке из рекламного фильма. Стоя у аккуратно выкрашенного беленького заборчика, бабушка сокрушалась, что внучек не идет гулять с ней, а мудрая ее соседка произносила магическое слово «листерии» — превосходное средство от дурного запаха изо рта. Другие кадры у того же аккуратного заборчика, но каковы перемены: наша бабушка ласково треплет льнувшего к ней мальчика, обретя последнее, может быть, в жизни счастье. А почему? А потому, что благоухает бабушкин рот, тяжелое ее дыхание уже не озадачивает и не пугает внучка. Листерин во весь телеэкран.

А то вдруг из другой рекламы, как из жизни, занесло на экран лохматого политикана с выпученными глазами — пародийный намек на всем известного сенатора- республиканца Эверетта Дирксена — и хриплым, натруженным, дирксеновским голосом этот новый, из небытия выпрыгнувший чертик церемонно провозглашал: «Великий штат Кентукки с гордостью представляет нашего кандидата полковника Сандерса, который клянется дать каждому избирателю жареного цыпленка каждый день!»

Торжественный туш, маханье плакатами, пляска воздушных шаров — все как взаправду, как на предвыборных съездах, хотя, конечно, и не так шумно, как было в Коровьем дворце. И к восторгу толпы верные

паладины на плечах выносят благообразного старичка в белом костюме южанина, со старомодной, клинышком, седенькой бородкой и галстучком «бабочкой».

Смакуя восторги, раскланиваясь, рассылая воздушные поцелуи, старичок плывет по экрану.

«Полковник Сандерс».

Любимец народа.

Мифический творец жареного цыпленка по-кентуккски

Я впервые познакомился с ним на его родине, в штате Кентукки, весной 1965 года. Добродушный на вид полковник кидался на нас с огромных рекламных щитов. Некуда было спрятаться от его бородки клинышком, белого галстучка и от соблазна пламенных призывов отведать — всего за 1 доллар 19 центов! — жареного цыпленка по-кентуккски.

Однажды в придорожной «стекляшке» мы поддались искушению, ткнули в меню туда, куда он повелевал, и официантка доставила на наш стол нечто заманчиво большое -по массе, но невозможно скучное на вкус — обвалянное в сухарях изделие фабричных конвейеров по производству цыплят. Так я покончил с мифом о жареном цыпленке по-кентуккски, не забыв захватить на память специальную салфетку, на которой красовалось широкое лицо и бородка клинышком — респектабельный обманщик.

А между тем полковник Сандерс с успехом продолжал крестовый поход во имя своего бройлерного цыпленка и, бывало, нападал на меня с рекламных щитов за нью-йоркскими уже поворотами, а теперь вот подстерег и на телеэкране в Сан-Франциско, приспособив к своей агитации- выборный вечер и соперничество двух сенаторов.

Так тянулся вечер у телевизора.

Встреча с полковником позабавила, но не перебила раздражения. Хватит зрелищ, давайте факты, и факты проверенные: кто же победил, как и почему победил? Дайте сырье фактов для двух, максимум трех страничек. А в мозгу уже привычно шелкало: здесь десять вечера, значит, в Москве восемь утра. Одиннадцать вечера —• значит, девять утра, оживают редакционные коридоры» и, может быть, уже вспомнили, что в Калифорнии первичные выборы, что там есть наш корреспондент, и уже ворчат: где информация? Кто там кого — Кеннеди или Маккарти?

Время не терпит. Где информация?

Ржавели остатки кока-колы, горки пепла и окурков росли в пепельницах, а блокнот еще чист, телефон с Москвой не заказан.

И новое препятствие, с которым не мне сладить, выросло на пути к двум-трем страничкам. ЭВМ, арендованные телевизионной

корпорацией Си-Би-Эс, крутились теперь вхолостую, потому что без дела были ЭВМ, арендованные муниципалитетом Лос-Анджелеса.

Гигантский город, где почти половина калифорнийских избирателей и где не хотят отставать от технически быстрого и точного века, первым из американских городов перешел на электронную систему подсчета бюллетеней, о чем успели сегодня прожужжать все уши. Но с избирательных участков к электронно - вычислительному центру бюллетени везли на обыкновенных грузовиках, а те мешкали, держа прожорливые ЭВМ на скудной диете, да и в самом центре случились неувязки. Все застопорилось, как на реке во время лесосплава. Телевизионщики с энтузиазмом верящих в прогресс людей увлеченно болтали, что вот-вот разберут эти заупрямившиеся бревна и тогда-то уж все рванет и рухнет девятым валом, который быстренько рассортируют сверхоперативные кибернетические машины.

Потерпите!

Потерпите? Уж полночь близилась в Сан-Франциско, а в Москве на исходе был десятый час утра, и строчки на второй полосе «Известий» разбирают куда быстрее, чем помехи на электронно - вычислительном центре Лос-Анджелеса.

Я проклял несостоявшиеся две-три странички и пожалел впустую пропавший вечер. К черту прогнозы!

Но сенатор от штата Нью-Йорк верил прогнозам.

Он решил не откладывать ритуал victory speech — победной речи. Как и фирме, производящей листерии, ему нужна была телеаудитория, да побольше, а между тем она катастрофически редела, разбегаясь по спальням, особенно на Восточном побережье, в штате Нью-Йорк, где было уже около трех часов ночи.

Я вдруг увидел его на трибуне Большого бального зала отеля «Амбассадор». Микрофоны жадно вытянули длинные гибкие шеи, телекамеры напряженно всматривались в худое лицо со скошенным носом, в улыбку, которую он сдерживал, наверное, потому, что она обнажала чересчур длинные зубы.

Уверенно-усталый, он жестами рук гасил ликование толпы.

Толпа продолжала ликовать, ибо в этой экзальтации был смысл ее многочасового ожидания в жарком зале, нагретом телевизионными юпитерами.

Стремясь в объективы, вокруг тесно стояли его помощники, но, полуобернувшись, не гася улыбки, Бобби сказал несколько слов, и они расступились. Из-за мужчин показалась бледная, страдальчески улыбающаяся женщина с безукоризненной прической. Его жена Этель. Мать десятих его детей.

Она была беременна одиннадцатым, всего два месяца оставалось до родов, но разве можно уклоняться от предвыборных тяжких испытаний. Шансы кандидата всегда возрастают, если рядом с ним маячит перед избирателем верная жена, многодетная, беременная, самоотверженная.

Она встала рядом с мужем, чтобы с застенчивой улыбкой взглянуть на него и получить свою долю аплодисментов.

Он построил victory speech в традиционном духе — без официальщины, по-семейному. В меру юмор, максимум благодарностей. Он благодарил политических союзников — Джесса Унру, лидера калифорнийских демократов, и Сесара Чевеса, вожака мексиканских издольщиков, друзей в «черной общине», помощников — студентов, 110-килограммового негра Рузвельта Гира, профессионального регбиста и добровольного телохранителя, который «позаботится о каждом, кто не голосует за меня», сенатора Маккарти — за «великие усилия» в организации оппозиции президенту Джонсону, жену Этель — за фантастическое терпение, свою собаку Фреклес: «Она уже отправилась спать, потому что с самого начала знала, что мы победим».

Он говорил сбивчиво, без текста, по коротеньким тезисам, подsunутым помощником. То, что говорил с середины марта, когда вступил в борьбу за Белый дом.

Что страна хочет перемен.

Что последние три года были годами насилия, разочарования, раскола между черными и белыми, бедными и богатыми, молодыми и старыми.

Что пора объединиться и начать действовать сообща.

— Страна хочет идти в другом направлении. Мы хотим решать наши собственные проблемы внутри нашей собственной страны, мы хотим мира во Вьетнаме...

— Итак, снова благодарю вас всех. Вперед в Чикаго, и давайте победим там.

Так закончил он свою речь и под шумные аплодисменты покинул трибуну; до съезда демократов в Чикаго оставалось два с половиной месяца, сейчас же — надо только миновать кухню — его ждали корреспонденты, а потом с друзьями в фешенебельный ночной клуб «Фабрика» — скрыться от телекамер, отвлечься от забот, праздновать победу.

И телевизионные камеры до выхода проследили сенатора, почетно выделяя его затылок среди затылков всей его оживленной свиты. Зал выключили...

Победная речь сенатора поколебала меня, но не заставила

переменить решение. Мучило лишь то, что две-три странички все равно не отменены, а лишь отложены на завтра — как бы не ушел на них еще целый день, последний в Сан-Франциско?

Отель уже уснул. За окном, в тишине, как в немом кино, все еще дефилировали проститутки возле «Клуба 219».

Я сел за стол, раскрыл тетрадь и, перебирая впечатления ушедшего, наконец, дня, думал, что же кратенько записать, чтобы не пропало, чтобы можно было потом оживить, взбодрить и подробнее расшифровать в памяти.

Телевизор был теперь справа, сбоку, ко мне своей пластиковой стенкой. Я не мог видеть изображения и не вникал в пошедшую на убыль болтовню.

Стоит нажать кнопку, и весь уместившийся в нем немалый мир покорно скатится к центру экрана, ужмется до блестящей яркой точки, которая посияет еще миг, но в которой ничего уже не разобрать.

Я не нажал кнопку.

Сидел и строчил в тетради.

И вдруг...

И вдруг справа, в теляшке, словно ветер пронесся...

Словно сама стихия властно смяла и скомкала монотонное бормотание. Та стихия, которая никогда не извещает заблаговременно о своем натиске, о рывке.

И я еще не понял, в чем дело, но и меня вырвала стихия из-за стола и заставила прыжком встать напротив телевизора и впиться глазами в мерцающий экран.

Было ли что на этом экране — не помню, кажется, ничего не было.

А слышался нервный, торопливый, сбившийся с профессионального ритма голос диктора:

Кеннеди застрелили! Кеннеди застрелили...

Это был не Уолтер Кронкайт, который уже попрощался с зрителем, сдавшись под атакой заупрямившихся ЭВМ. Это был диктор конкурирующего канала Эн-Би-Си, не пожелавшего тратиться на научно отобранные избирательные участки и на прогнозы дорогих электронно-вычислительных машин и с самого начала обещавшего old-fashioned suspense — старомодное напряжение, которое видит интригу не в прогнозах, а в том, чтобы не опережать ход событий.

Вышло, как говорят, по-ихнему.

Шел неукротимый девятый вал, да не тот, который обещали: дайте только срок чудодейственным ЭВМ.

Шел девятый вал.

— Кеннеди застрелили! Кеннеди застрелили! — кричал торопливый

голос, как бы перечеркивая все, что было за долгий день, как бы стирая размашистой тряпкой все, что было так обильно написано на доске.

И доска снова чистая, да только поверху, как заголовок, свежо загорались на этой доске страшно девственные, совсем другие письма...

19

— Кеннеди застрелили! Кеннеди застрелили!

Диктор спешил заполнить доску, да быстрее, быстрее, быстрее, чем у конкурентов, раз они — так им и надо с их ЭВМ — все прохлопали, и, конечно, были перед ним контрольные экраны, которые удостоверяли, что соседи отстают.

Не помню точно слова, но отлично помню впечатления этих минут. Голос диктора дрожал от возбуждения, и оно было двояким — возбуждение человека, потрясенного страшной новостью, и азартное возбуждение гончей собаки, напавшей на след невиданной дичи.

— Джон, — говорил он своему репортеру, дежурившему в отеле «Амбассадор», и я ручаюсь не за точность, но за смысл его слов, — Джон, как это произошло? Нам нужны, ты сам понимаешь, подробности..»

И ему отвечал такой же возбужденный, соскочивший с привычных рельсов голос:

— Ты понимаешь, здесь сейчас такое замешательство... Трудно разобраться. Все в панике...

И первый голос с симпатией товарища, но, однако, правом начальника и наставника говорил, уже обретая спокойствие и этим спокойствием как бы ободряя и дисциплинируя второго:

— Мы все понимаем, Джон. Понимаем, что и сам ты потрясен. Но возьми себя в руки, Джон. Постарайся. Ты же знаешь, как нам важны подробности.

Включили зал. Да, паника. Телеоко заскользило по искаженным лицам, мечущимся фигурам. Включили звук. Женские визги и вскрикивания:

— Невероятно! Не -может быть! Невероятно!

И эти крики «невероятно!» первыми, — еще до того, как были произнесены неизбежные слова о «шагах рока», о «поступи греческой трагедии», — углубили смысл случившегося, ибо, как далекий и вдруг внезапно приблизившийся фон, надвинулся на лос-анджелесскую ночь жаркий техасский полдень в Далласе 22 ноября 1963 года.

И еще надвинулось совсем недавнее: ранний вечерний час 4 апреля 1968 года и Мартин Лютер Кинг, опершийся руками о балконные перильца мемфисского мотеля «Лорейн», не ведающий, что он уже на мушке и что вот-вот пуля навсегда опрокинет его на цементный пол.

— Не может быть! — кричат они. Может быть! Почему же не может быть, если это повторяется уже в третий раз. Может быть! И втайне они давно уже предощущали это, но отказывались верить своему предощущению и потому мечутся сейчас по залу с криками: «Не может быть»!

На трибуне перед микрофонами, в которые полчаса назад Роберт Кеннеди крикнул: «Вперед в Чикаго!», — теперь стоял незнакомый мужчина.

— Оставайтесь на своих местах, — кричал он в зал, в панику. — Оставайтесь на местах! Нужен доктор! Есть ли здесь врач?

А Джоны с телевидения обретали выдержку и одного за другим подтаскивали к телекамерам свидетелей, отщипывая их от толпы, наставшей возле распростертого на полу, смертельно раненного сенатора. Гончие собаки побеждали потрясенных людей, шла охота за свидетелями, да не просто за свидетелями, а за теми, что были поближе к месту покушения и видели побольше и могли бы теперь, представ по нашему каналу, вставить перо каналу конкурирующему.

Вершилось на глазах жуткое чудо мгновенного превращения трагедии в сенсацию и зрелище. И люди, дрожащие от горя, паники и испуга, сами заглянувшие в глаза смерти, подавались с пылу, с жару на телеэкран и остывали, отходили, включали какие-то кнопки сознания, становились хладнокровными, умелыми в выражениях людьми, удостоенными — это перевешивало остальное — чести выступить по телевидению и\ показать себя публике.

О век, жадный на информацию!

Что ж, однако, браню я своих верных помощников. Ведь я-то тоже, стряхнув оцепенение первой минуты, сидел на краешке кровати напротив телевизора, и в руках у меня уже был блокнот, куда судорожно заносил я слова репортеров и свидетелей, которые, как судей, дисциплинировались холодным бесстрастным телеоком.

Теперь нужны были другие две-три странички, и я работал, зная, что для этой бомбы найдут место даже на занятой уже газетной полосе и что есть теперь у меня время, так как эти две-три странички примут и в самый последний миг перед выходом газеты.

И сейчас передо мной обрывистые нервные строчки из блокнота, свидетели лихорадочной ночи, первые-? верные и неверные — клочки информации, из которой склеивал я свои странички.

- Стреляли в спину, сзади.
- Несколько выстрелов.
- Одна женщина также ранена.
- Задержан ли стрелявший?^ знают.
- Сенатор на пути в местный госпиталь.
- Подстрелили за занавесом, на выходе из Большого бального зала.
- Сенатора видели лежащим в крови на кухне.

Кадры: ощерившись кольтами и винтовками, стремительно пробивает дорогу через толпу группа полицейских, таща какого-то человека в белой рубашке. Голова человека жестко зажата под мышкой у полицейского. Его суют в машину. Хрипло, сразу на высокой ноте завывла сирена.

Особая взволнованно-приподнятая интонация в голосе диктора: сейчас мы — первыми!—покажем видеоленту с раненым сенатором Кеннеди. Вот оно, коронное. Кто-то работал, кто-то крутил свою камеру. Сейчас мы вам покажем! Вот они, кадры, снятые дрожащей рукой... Паническое мелькание людей... Камера как бы раздвигает их... Вот они, последние из тысяч и тысяч, из миллионов кадров, зафиксировавших политическую и личную жизнь сенатора...

Сколько раз вы видели избранные из них в получасовом рекламном фильме, который без конца крутили по всем телеканалам в предвыборные дни: с братом-президентом в часы кризисов, на митингах перед толпами, тянущими к нему сотни рук, весело играющим в футбол с детьми на лужайке вашингтонского поместья, бегающим по океанскому берегу взапуски с лохматой собакой Фреклес, и снова с братом, поближе к брату, чтобы причаститься к его посмертной популярности, и снова с толпами, жадно протягивающими руки к избраннику судьбы,

А вот они, последние, свежие, только что записанные на видеоленту и без промедления доставленные вам. Сенатор лежит на полу, узким затылком к зрителю, тем причесанным — волосок к волоску — затылком, который я видел три дня назад в двух шагах от себя и который поразил меня контрастом с знаменитым его непокорным чубом. Приближаем затылок. Еще крупнее. Спокойное белое лицо. Страдание чуть-чуть тронуло губы. Темный костюм. Раскинутые ноги, бессильно раскинутые ноги — ох, неспроста лежит сенатор на полу. Слева на короточках непонятный парнишка в белой курточке, в его широко раскрытых глазах недоумение, не успевшее перейти в боль. (Это был посудомойщик с кухни отеля «Амбассадор». Убийца Сирхан Бишара Сирхан несколько раз переспрашивал его, верно ли, что Кеннеди должен пройти через кухню. Ему — последнему из тысяч и

тысяч — пожал сенатор руку, и в этот миг застучали выстрелы, и бедный парнишка почувствовал, как разжалась в его руке сенаторская рука.) А справа склонился еще один человек. Как и парнишка, желая облегчить боль, он бережно приподнимает голову лежащего. Движение губ сенатора, правая его рука ватно оторвалась от пола, и — о ужас! — на тыльной стороне ладони темное поблескивающее пятно, и рука ватно валится в сторону, прочь от тела. А под головой смутно видится, скорее, не видится, а неотвратно угадывается, другое большое пятно...

И чей-то широкий пиджак, закрывая путь телекамере, как занавес „на сцене, обрывает зрелище. Да как он смел, этот дерзкий пиджак! Как смел он лишить нас продолжения!

(Я помню другой популярный фотоснимок тех дней, который, конечно же, фигурировал на разных фотоконкурсах года.

Ладонь...

Непомерно, уродливо большая, растопыренная ладонь, готовая накрыть холодно поблескивающий глазок фотоаппарата, а за ней растрепанная и разъяренная, маленькая, как придаток к собственной своей ладони, жена сенатора — Этель Кеннеди.

Она вся ушла в эту ладонь, и ладонь требует воздуха для мужа, лежащего на кухонном полу, ладонь заслоняет его последние полусознательные мгновения от камер лихорадочно работающих репортеров.

Женщина так называемого высшего света в благородном облике зверя, спасающего свое дитя.

— Не забывайте, леди, — наставительно заметил один репортер, не прерывая своих занятий. — Это нужно для истории.

И гневная ладонь не помнящей себя женщины была квалифицированно отщелкана и пущена в оборот, пригладившись для истории.

Она хотела бы быть с ним наедине, не допуская чужих к таинству агонии, но и в роковые минуты сенатор был тем, кем стремился быть всю жизнь, — публичным достоянием.)

Эту видеоленту пропускали снова и снова, по всем каналам, в том числе и по каналу Си-Би-Эс. Там уже сидел у пульта управления проморгавший кульминацию Уолтер Кронкайт, и вид его, уверенный, хотя и в меру траурный, говорил, что сейчас-то уж кончится неразбериха и волюнтаризм и текущая история снова будет писаться уверенно и без помарок, прямо на скрижали вечности.

Видеолента стала рефреном той ночи и знаком высокого качества телевизионного сервиса. Ею обслуживали новые десятки, а может быть, сотни тысяч и миллионы людей, разбуженных телефонными звонками

своих недаром засидевшихся допоздна друзей, знакомых, родственников.

— А теперь посмотрите вот эту видеоленту!..

И твердела дрожащая рука оператора, нервно мелькали люди, а потом расступались, и— все ближе, ближе на передний план лежащего человека в темном костюме, узкий его затылок.

Сенатор между тем уже был в операционной госпиталя «Добрый самаритянин». Его пресс-секретарь Фред Д^анкевич сообщал, что через пять минут шесть нейрохирургов начнут операцию, которая, как предполагают, продлится около часа.

Возле белеющего в темноте госпитального здания виднелись фигуры полицейских и репортеров.

Пробудился уснувший было отель «Губернатор». В соседнем номере хлопали дверью, загудел телевизор. Зашелестел лифт.

— Вы слышали, что Кеннеди застрелили? — ночной клерк отеля делился по телефону новостью.

Пробуждалась Америка. Журналисты срывали с постелей спящих политиков, требуя комментариев. Сенатор Джэвитс сказал: «Я потрясен». Конгрессмен Джеральд Форд: «Невероятно!»

— А теперь посмотрите вот эту видеоленту...

«Сенатор Роберт Кеннеди был ранен в Лос-Анджелесе сегодня ночью. Как известно, Роберт Кеннеди — брат убитого в 1963 году президента Джона Кеннеди и сам добивается избрания президентом США... Из противоречивых показаний очевидцев ясно, что покушавшийся ждал сенатора за сценой... Согласно сообщениям из Лос-Анджелеса, сенатор жив, но состояние его критическое... Трагедия сменила буффонаду, столь характерную для выборных ночей в Америке... Пока трудно сказать, как отразится покушение в Лос-Анджелесе на общей предвыборной атмосфере и на политической жизни в стране... Полиция усилила охрану сенатора Маккарти, находящегося в лос-анджелесском отеле «Биверли Хилтон»...»

Я писал торопясь, поглядывая на часы, прислушиваясь к телевизору и мучаясь от того, что в скупой информации, как вода сквозь сито, уходили невыраженными главные ощущения...

Пробуждался мир. Да, пробуждался, но не обязательно от лос-анджелесской новости, как думалось мне в сан-францисском ночи, а с вращением Земли и поступью Солнца — в Европе было уже утро, в Азии—день.

Тьма еще окутывала Америку, а в лондонских киосках 3 лежали утренние газеты с сенсационными аншлагами, а где-то на московской улице американский корреспондент перехватил какую-то женщину, и

телевизор в отеле «Губернатор» на углу Джонс-стрит и Турк-стрит уже передал ее простой комментарий: «Какая жалость, что вы живете в стране, где каждого могут застрелить».

— А теперь посмотрите вот эту видеоленту!..

И рука ватно приподнималась с полу... Поблескивало пятно на тыльной стороне ладони... Рука валилась прочь, как бы отделяясь от тела.

Тридцать шагов от трибуны, от позы кумира и победителя, через двойные двери на кухню — и вот ложе на полу. Он хотел контролировать судьбы могущественной страны, а теперь не мог контролировать даже собственную руку. Дистанция в три минуты — и секунды, в которые уложились восемь выстрелов с расстояния в три метра. Где были телохранители? Почему нет кадров и снимков самого покушения? Или не так уж бестрепетны и хладнокровны фотографы и телеоператоры?

Три странички были готовы, а Москву не давали, операторша с холодной любезностью автомата отвечала, что линия не работает. Как не работает, если американские корреспонденты уже передают свои комментарии из Москвы, и я слышал их собственными ушами? Неужели газета окажется без собственной информации, а я — не работающим корреспондентом, а всего лишь потрясенным телезевачкой? Я кричал на операторшу, но, не опускаясь до перебранки, человеко-автомат заученно твердил свое, и в голосе его никак не отражалась кошмарная ночь; Наконец после жалобы старшей операторше в три ночи дали Москву.

Незримый, кажущийся предательски ненадежным волосок связал номер 812 сан-францисского отеля «Губернатор» с шестым этажом дома «Известий» на московской площади Пушкина — через два континента, один океан и десять часовых поясов.

С телефонной трубкой я укрылся под одеялом, чтобы приглушить голос, не мешать людям в соседнем номере, спасти их от ненужного недоумения: что за сумасшедший человек, долго, громко и странно отчетливо говорящий на незнакомом языке? Под одеялом было жарко и неудобно, пот застилал глаза. И перед чутко внимавшей стенографисткой, моим первым слушателем и читателем, мне было неловко, потому что, крича слова через два континента и один океан, я убеждался: не то — не то — не то...

Я не отказываюсь от этих слов. Они были верными в том смысле, что несли в себе частичку информации о случившемся. Но в их голом каркасе не было трудно выразимой, но такой, казалось бы, очевидной взаимосвязи между тревожными впечатлениями долгого дня в Сан-

Франциско, вечера у телевизора и ночной трагедии в Лос-Анджелесе. Ведь я тоже походил в тот день под грозовой тучей и вздрагивал от полыханья зарниц. Молния ударила в другом месте, и мне не дано было знать, где ослепительно распорет она ткань набухшего бурей неба, но и я дышал предгрозовой атмосферой.

Шестеро нейрохирургов все еще колдовали в операционной «Доброго самаритянина», а я лег в постель, соорудив из жиденьких валиков подушек изголовье повыше, чтобы удобнее смотреть на телеэкран.

Операция зловеще затягивалась.

Как бы там ни было, но рабочий долг выполнен, и не моя вина, а трансатлантической телефонной службы, что могут устареть слова, спускаясь из редакции к валам ротационных машин. Придет когда-нибудь время глобальной телефонной автоматики, и мой приемник будет соединяться с Москвой без операторш. Спокойнее ли станут его ночи?..

В открытое окно, шевеля шторой, проникал ветер, холодок раннего утра выветривал табачный дух. Газеты, разбросанные на столе и на полу, брошенное на кресло покрывало, пепел и окурки в пепельницах и мусорном ведерке, — глазами постороннего оглядывал я следы побоища, которое сам же и учинил, сражаясь с телевизором, бумагой, временем.

Каково там — сенатору в операционной? Глядя сквозь дремоту на дьявольский ящик, умильно называемый «голубым экраном», я ждал вестей.

Уолтер Кронкайт реабилитировал себя. Я снова был рабом канала Си-Би-Эс.

Роджер Мадд стоял наготове у госпиталя. Мобильные силы Си-Би-Эс были перегруппированы, действовал новый укрепленный пост, и в унылых тонах раннего утра телеоко вырывало деловито озабоченную фигуру. Роджер Мадд держал в руке портативный передатчик уоки-токи, очевидно настроенный на волну экстренной пресс-службы «Доброго самаритянина». В той же интонации, что девять часов назад, когда начался репортаж об итогах выборов, он докладывал, что нового, Уолтер, пока ничего нет. Но я, как видишь, наготове. Нового было много, но оно уже успело стать старым, а Роджер Мадд имел в виду самое новое новое.

Человеку, только что включившему телевизор, могло показаться, что телекорпорация Си-Би-Эс давным-давно занята оперативным освещением агонии несчастного сенатора Роберта Кеннеди. Аврал кончился. Конвейер нашел правильный ритм, выпускал качественный

продукт скорби, горечи, публичного битья в грудь и самокритичных разговоров о *sick society* — больном обществе.

...Проснувшись в десять утра и первым делом включив телевизор, я узнал, что операция закончилась и сенатор жив. Еще жив, ибо некий нью-йоркский доктор Пул, успевший связаться по телефону с коллегой из «Доброго самаритянина», чертил указкой по схеме человеческого мозга и сообщал, что рана намного опаснее, чем предполагали вначале, что, повреждены жизненно важные центры и что, если даже сенатор выживет, жизнь его будет «ограниченно полезной», — иными словами, жизнь калеки. А по другому каналу шла коммерческая реклама на бессмертную тему о *cash* (наличных), *savings* (сбережениях), да фирма, изгонявшая дурной запах из Америки, крутила свой мини-фильм о бабушке и внуке, убеждая, что счастье так возможно: станьте на уровень века — покупайте листерии!

Клан Кеннеди слетался отовсюду в белые покои госпиталя.

Комментаторы, по возможности избегая слова «смерть», уже толковали о том, как повысились шансы Хэмфри на съезде демократов в августе и шансы Никсона на выборах в ноябре. А что, кстати, будет делать Тедди — последний из братьев Кеннеди? Вступит ли он в бой за Белый дом сразу же после траура — ведь до выборов еще пять месяцев? Или отложит дело до 1972 года?

Из кандидата в президенты человек стал кандидатом в покойники, и в мире, где так важно опередить конкурентов и первым предложить новый товар, пользующийся спросом, уже спешили с догадками, анализом, предположениями.

А прекрасный Сан-Франциско жил обычной жизнью, как будто успел расправиться с ночной новостью за утренней чашкой кофе. Тот же скорый и твердый почерк был у официантки, выписывавшей счет внизу в кафе, тот же спорый шаг. И привычный перезвук кассы, когда по металлическому желобу автоматически выскакивает сдача. В магазине на Маркет-стрит надувала-продавец стучал по бокам элегантных чемоданов, взглядом прицениваясь ко мне и убеждая, что выгоднее купить новый, чем чинить старый мой желтый чемодан.

И не было ничего необычного в пешеходах и машинах, а улицы своим трехмерным пространством, своей подставленностью высокому небу как бы развеивали и разгоняли ту концентрацию трагедии, которая пропитала за долгую ночь комнату в отеле.

Лишь в киосках кричали газеты жирными шапками и фотоснимком недоуменного мальчика в белой куртке, склонившегося над мужчиной, распростертым на полу. Да на Пауэлл-стрит, у поворотного круга кабельного трамвая, прохожих гипнотизировало мерцание телеэкранов

в витринах, — здесь-то еще позавчера агитаторы Роберта Кеннеди совершали последний предвыборный рывок, даром раздавая специальное издание его книги «В поисках обновленного мира».

Хейт-стрит, земля хиппи, присмирела. Лавка «Дикие цвета» была закрыта, мне не удалось поговорить с вчерашним хиппи, который робким шепотком предрекал скорый апокалипсис. Не драпанул ли он в Мексику?

Назавтра утром я улетал в Нью-Йорк и потому вернулся в отель рано — к сборам в дорогу, к телевизору, к не дававшим покоя мыслям о еще двух-трех страничках.

— А теперь посмотрите вот эту видеоленту...

Слова эти звучали реже — видеолентой обслужили всех. У Томаса Реддина, шефа лос-анджелесской полиции, было умное лицо и сдержанная интеллигентная манера речи. Изучив «биографию» пистолета марки «Айвор-

Джонсон-Кадет», его люди установили личность покушавшегося — Сирхан Бишара Сирхан, 24 лет, иорданский араб, с 1957 года проживавший в США, но не получивший американского гражданства. «Зловещих международных аспектов» не обнаружено. Обвиняемый, скорее всего, действовал в одиночку. Говорить пока отказывается, но из слов знавших его людей видно, что Сирхан крайне критически относился к ближневосточной политике США, к поддержке Израиля против арабов.

Я вспомнил первое сильное ощущение тех минут, когда оборвался трагедией балаган ночи выборов, но ничего еще не было известно о преступнике: Роберт Кеннеди энергично навязывал себя в президенты, вызывая полярные токи симпатий и антипатий, — с ним также энергично расправились. Теперь говорили о более конкретной версии. Сенатор избирался от штата Нью-Йорк, где многочисленна и влиятельна группа избирателей евреев. Ему нужны были голоса, и, конечно, он хотел понравиться этой группе. В ближневосточном конфликте его позиция была произраильской, хотя, впрочем, не более произраильской, чем у многих его коллег. Как вел бы он себя, если бы не евреев, а арабов было больше среди его избирателей?

Во взбудораженном сознании Сирхана, замешанном на арабском фанатизме и американском насилии, Роберт Кеннеди вырос в ненавистный символ. Безжалостным рикошетом ударила нью-йоркского сенатора атмосфера его страны, отразившаяся в сознании преступника, ударила — в этом был замысел Сирхана — в канун первой годовщины арабо-израильской шестидневной войны.

Как неожиданно увязан мир! В Лос-Анджелесе откликнулось то, что

аукнулось в Иерусалиме ровно год назад.

Голоса на калифорнийских выборах были между тем подсчитаны. Кеннеди победил Маккарти незначительным большинством: 45 процентов на 42.

Линдон Джонсон выделил охрану для всех, кто хотел попасть на его место, — из президентской секретной службы.

Маккарти, Никсон, Хэмфри следили за бюллетенями, готовясь объявить траурную паузу в предвыборной борьбе. В бюллетенях нарастало неотвратимое—«чрезвычайно критическое состояние».

В позднем вечернем издании газета «Сан-Франциско кроникл» заглянула в ночь огромной шапкой: «Near Death»—«На краю смерти».

На этот раз Москву дали быстро. Слышимость была хорошей, операторша — участливой. К полуночи я разделался с обязанностью корреспондента и опять обратился к телевизору. Передавали шоу Джоя Бишопа из Голливуда. У смертного ложа сенатора теребили старый вопрос: What's wrong with America? — что не так с Америкой?

По контракту с телекорпорацией Эй-Би-Си популярный актер Джой Бишоп ведет каждую среду вечером программу из Голливуда. Очаровательный человек, но что это — траурное шоу.

Что заготовил он впрок на нынешний вечер? Каких комиков, красоток, политиков, секс-профессоров, чечеточников во фраках или, быть может, отчаянно радикальных дам — ниспровергательниц бюстгальтеров, пионерш новейшей прозрачной моды «гляди насквозь»?

Теперь же у него лицо философа и почти мученика. Он обсуждает вопрос: что не так с Америкой? Та же аудитория, заранее купившая билеты в голливудский зал и пришедшая с намерением повеселиться, но иные «гости» у Джоя Бишопа — Чарльз Эверс, брат убитого расистами негритянского лидера Медгара Эверса, какой-то либеральный доктор, какой-то католический священник.

Седой доктор искренне страдает:

— Американцам пора приглядеться к себе! Мы — нация лицемеров. Надо воспитывать гуманизм и изгонять насилие...

Чарльз Эверс тоже говорит, что Америке пора проснуться, что у белых нет сострадания к черным, что национальный климат пропитан насилием и расизмом, что в его штате Миссисипи негру, укравшему цыпленка, дают десять лет тюрьмы, а белого, убившего негра, отпускают безнаказанным.

Священник четким политическим языком обличает «колонизацию, эксплуатацию и деградацию человека».

Джой Бишоп, как царь Соломон, решает уравновесить истину. И, доставленный радиоволнами из своей столицы в Сакраменто, возникает

на телеэкране губернатор Рональд Рейган. Экран делится на две половинки. Справа бывший голливудский актер Рональд Рейган играет роль мудрого, не поддающегося эмоциям государственного мужа. Слева актер Джой Бишоп в роли мыслителя, растерянного, но не прервавшего поиски истины.

— Губернатор, — спрашивает Бишоп, — не пора ли запретить продажу огнестрельного оружия, столь дешевого и доступного в Америке?

Губернатор, сгустив мудрые морщинки возле глаз, словно компенсируя ими убогий лоб киноковбоя, отечески разъясняет Джою, что не в этом дело, что человек найдет оружие, если хочет совершить политическое убийство.

Блеснув эрудицией, он почему-то вспомнил убийство в Сараеве «австро-венгерского императора», имея, очевидно, в виду эрц-герцога Фердинанда.

Разговоры о больной Америке — «чепуха». Всему виною юридическая распущенность и либерализм.

Сейчас, когда тяжело ранен молодой сенатор Кеннеди, «иностранные писатели вострят перья», чтобы еще раз очернить Америку, но это либо ее враги, либо те, кто близоруко забыл, что Америка спасает мир от «варваров».

Он так и сказал — от варваров, и в этот патетический миг в зале зазвучали аплодисменты, и по лицу губернатора пробежала тень удовлетворения.

— Простите, губернатор, нам придется прервать вас, — сказал Бишоп с извинительно-брезгливой гримасой, но не губернатору была адресована его брезгливость.

Опустив руку под стол, наш философ с той же несколько брезгливой миной извлек какую-то штучку.

Была это консервированная пища для собак или менее драматический препарат «дристан» от головных болей? Не помню — в ущерб документальности изложения.

По была, была эта штучка, и, покатав в ладони, Джой Бишоп выдвинул ее в центр, под телевизионные лучи, поставил на свой стол, произнес магическое слово product — продукт и покорно исчез.

Исчез губернатор Рейган.

Все исчезли. На минуту зал отключили.

Пошел рекламный фильм компании, которая в этот вечер оплачивала траурное шоу Бишопу, гневные филиппики его гостей, патриотический раж губернатора.

...К концу шоу Джой Бишоп попросил священника помолиться за раненого сенатора. Все четверо склонили головы, и речитативом священник вознес к богу совокупную просьбу спасти жизнь Роберта Кеннеди, а Америку— от зла колонизации, эксплуатации и деградации человека.

Был час тридцать ночи 6 июня 1968 года. Выключив телевизор, я улегся спать.

В час сорок четыре минуты Роберт Фрэнсис Кеннеди, 42 лет, скончался, не приходя в сознание, в лос-анджелесском госпитале «Добрый самаритянин».

Разбуженный в семь утра телефонным звонком ночного дежурного, который в американских отелях берет на себя функции будильника, я снова кинулся к телевизору. Слово смерть заполнило комнату.

Еще не зная о часе смерти, я понял, что, с точки зрения телевидения, она случилась давно, потому что страшное слово это вертели спокойно, а не как картошку, только что вытащенную из-под горячей золы.

Я увидел грузное лицо Пьера Сэлинджера, который был пресс-секретарем у президента Джона Кеннеди, а в последние недели прыгнул в «фургон» Роберта, когда тот собрался в дорогу к Белому дому. Пьер исполнял последний долг перед сенатором, излагая усталым корреспондентам программу траурных церемоний: что специальный самолет, присланный в Лос-Анджелес президентом Джонсоном, сегодня же доставит тело в Нью-Йорк, что список тех, кто будет сопровождать тело, объявят позднее, что траурная месса состоится в нью-йоркском соборе св. Патрика, а когда — сообщат позднее, что после мессы гроб с телом покойного специальным поездом доставят в Вашингтон, где он будет похоронен на Арлингтонском кладбище, рядом со своим братом.

Скончавшийся человек продолжал обрастать массой подробностей. Последняя точка была поставлена на его жизни, и потому шли уже большие фильмы-некрологи, которые впрок монтировались и клеились, пока он еще лежал на смертном ложе.

Отдаляясь от живых, Бобби Кеннеди мемориально возникал перед толпами. Любимый жест—вниз большим пальцем правой руки. Бостонский говор, так схожий с говором старшего брата.

20

Перевязав ремнями чемодан, разваливавшийся от дряхлости и обильной информации двух калифорнийских недель, я бросил взгляд на

телевизор. Наше прощание было коротким. Нажал кнопку, и весь не по-утреннему траурный и все-таки пестрый и динамичный мир сократился до яркой точки. Исчез. В опустевшем оконце отразились мои ботинки и брюки.

Какая рука коснется сегодня же его кнопки и рычажков? Что пробежит в другом мозгу? Какие картины непроницаемого будущего ворвутся в мерцание экрана?

Я расплатился за отель и взял такси до городского аэровокзала. Газетный киоск на углу был еще пуст. Утренние улицы серы и малолюдны. И грустны, как грустны всегда улицы города, с которым расстаешься, не зная, вернешься ли. Ведь если не вернешься, значит, крест на том кусочке жизни, который провел ты там.

В аэровокзале я первым делом разыскал глазами газетную стойку и поспешил к ней, чтобы перепроверить неопровержимые сведения телевидения и убедиться, оперативны ли сан-францисские газеты. Лежала кипа свежих газет. «Кеннеди мертв», — кричал аншлаг на первой полосе «Сан-Франциско кроникл». Короче и громче, пожалуй, не крикнешь. В крике были траур и скрытое торжество прорицателя; ведь мы не обманули вас, сообщив в вечернем издании, что Кеннеди на краю смерти.

И кинув десять центов продавщице, я осторожно, за уголок, подхватил номер, жирно поблескивающий свежей краской.

Клерки, регистрирующие билеты, работали четко, без болтовни и заминок. Пассажиры у стоек регистрации, в кафетерии, у торговых точек, в креслах зала ожидания вели себя так, как обычно ведут себя спустившиеся с неба или собирающиеся взлететь люди. Как ведут себя американцы, оказавшиеся — каждый по своему делу — в публичном месте: не касаясь Друг друга ни «физически, ни взглядом, ни словом.

...«Боинг-707» компании «Транс Уорлд Эрлайнс» тяжело оторвался от сан-францисского бетона ровно по расписанию — в 10. 10 утра. Слева темно и пасмурно блеснул океан, внизу серые полосы автострад, домишки предместий и — как разноцветные личинки — тысячи машин на парковках. Ушли от океана в глубь континента, перемахнули бесплодные желто-розовые горы и забрались высоко-высоко, где тускнеют краски земли, прикрытой сизоватым маревом, а солнце так мощно и ласково льет свой свет, такой делает легкой и праздничной кабину самолета, что сама собой приходит на память выведенная Маяковским формула блаженства: «Так вот и буду в Летнем саду пить мой утренний кофе...»

Небрежно уверенный, домашний голос капитана сообщает по радио, что о'кей по всей трассе и что, судя по всему, мы безо всяких

треволнений приземлимся в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. А дальше, но уже не Для меня, — Рим, ибо «Транс Уорлд Эрлайнс» слила свои внутренние рейсы с международными, демонстрируя слитность мира.

Скользят по ковру прохода стюардессы, на этот раз в синтетично-бумажных платяницах-распашонках, которые усиливают золотистый утренний колорит, — чего только не проделывают с этими девчонками! — да и само солнце, кажется, специально вывели на небо в таком вот его наилучшем виде.

Раздают глянцевитые карточки меню, которые подтверждают, что все без обмана, что и впрямь предстоит нам полет с иностранным, французским на сей раз, акцентом: говядина по-бургундски, или цыпленок в вине, или телятина под соусом с грибами. И стюардесса-негрityнчка — о знаки прогресса и десегрегации в воздухе! — мило улыбается пухлыми губками, откидывая столик и ставя на него широкий устойчивый стакан с виски-сода.

А после ленча мы, временные небожители, будем смотреть в страто-кинематографе комедию «What's Bad About Feeling Good?» — «Чем плохо чувствовать себя хорошо?» «Транс Уорлд Эрлайнс» держит свое слово. Когда ты неделю назад заказывал билет на этот рейс, разве не пропел в телефонную трубку девичий голосок, что полет будет с иностранным акцентом, что на ленч будет выбор из трех, именно этих, блюд и что после ленча покажут именно эту кинокомедию?

Чем плохо?..

Даже если застыл на взлетной полосе, а может, уже оторвался от лос-анджелесского бетона точно такой же на вид, но еще более комфортабельный внутри президентский «Боинг-707» с запечатанным гробом. Может, он уже чертит вдгонку нам безбрежное американское небо. Только южнее. Только без кинокомедии...

Чем плохо? Я так и не узнал, плохо ли. Как и тогда, на пути в Лос-Анджелес, я сунул наушники в карман кресла и почти не смотрел на экран, где в стандартно комфортном мирке беззвучно разевали рты стандартно благополучные люди, устраняя какие-то мелкие юмористические недоделки в своей стандартно счастливой жизни. Иной, яростный, реальный мир требовал, чтобы в нем разобрались.

Полмесяца назад крутили в самолетном, чреве, вот так же высоко над Америкой, «День злого револьвера» и актера Артура Кеннеди, всего лишь однофамильца, уволакивали за длинные ноги в пыли кинематографического городка. А потом в гетто тот безусый дюжий паренек, как игрушкой, хвастался парабеллумом перед своей милой девушкой. А потом пистолет взаправду выстрелил в руке Сирхана

Бишары Сирхана, и сенатор Роберт Кеннеди упал — взаправду, чтобы не подняться. Впрочем, подальше от этой чертовщины. Сенатор убит, но ведь цепь замкнулась лишь в моем сознании. Хотя с игривым оптимизмом авиакомпания TWA хочет придать моим пестрым заметкам сюжетную законченность: «Чем плохо чувствовать себя хорошо?»

Самолет шел ровно и мощно, не болтало, и строчки хорошо ложились в тетрадь. Я заносил на память тонконогую негритяночку с пухлыми губами, страто-кинематограф, говядину по-бургундски, весь американский идеал комфорта и покоя, поднятый на высоту десяти километров, и пытался нащупать какую-то обвинительную связь между этим идеалом и зрелищем сенатора, лежащего в крови на кухонном полу, последним публичным зрелищем внезапно оборвавшейся жизни. Связь казалась такой явной и, однако, неуловимой. А может, и не связь это, а некая антисвязь. Мир не только слитен и связан, каким видел я его на телеэкране в ночь трагедии, но и необыкновенно, равнодушно огромен и разорван и свободно вмещает в себя два «Боинга» — с гробом и с кинокомедией.

Как организовать в мозгу сумбур двух последних дней и всей двухнедельной поездки по Калифорнии, полярные и, однако, сливающиеся впечатления динамичного, технически чрезвычайно развитого общества, где все вроде бы взвешено и измерено и загадано наперед и где вдруг страшными пульсациями пробивается темный, как хаос, непредсказуемый ход жизни? Впечатления современной империи, связанной с миром системой мстительных сообщающихся сосудов: в своей глобальной бухгалтерии она привыкла обретать дополнительный зажим от сожженных нищенских деревень во вьетнамских джунглях и вдруг заносит в графу расходов блестящего сенатора, аплодировавшего израильскому блиц-кригу и потому сраженного рукой лос-анджелесского араба, который судорожно и слепо мстит за унижение своих единоверцев в Иерусалиме.

Казалось, что синтез, который я шесть лет искал в Америке и отчаялся найти, — не сухой и рассудочный синтез, а пропущенный через сердце, — что вот он под рукой, но снова он выскальзывал, как рыба, которую ты нечаянно ухватил в родной ее стихии.

Я вспомнил Кармел, очаровательный городишко, искрививший свои улицы и тротуары, чтобы не спиливать погнутые вечным ветром приокеанские сосны. В полуденную майскую теплоту, безмятежно блаженствуя, я бродил по его маленьким картинным галереям, и в одной меня поразили полотна Лесли Эмери, художника необычного и сильного таланта. Особенно порастил портрет старика, очевидно индейца. Это полотно было вытянуто не в длину, а в ширину, чтобы

глаза старика заняли самое центральное место. Ибо в глазах и была вся мысль и вся сила.

Тяжелые, набрякшие круглые веки, резкая сетка морщинок, выпуклые, как бы выпирающие из орбит глаза. Во взгляде история человека, как история мира, — человека, долго жившего, много думавшего самою своей судьбой, много страдавшего, смирившегося, но не покорно, не рабски, а мудро и стоически, — понявшего, что он с-мртен, а жизнь вечна. И в выстрадавшем, рационально-интуитивном равновесии мудрости и опыта доживающего свой век, зная, что он уйдет, но придут другие таким же глазам, такому же взгляду. Нет страха, есть мудрый стоицизм, объективный и прочный, как сама природа. И часть этого взгляда, но только часть, обращена на самоуверенную, крикливую, напролом прущую, бездумную толпу. Не то чтобы это критикующий взгляд, — в нем удел мудреца, завидный и горький. Он знает, что его могут раздавить, но не боится — и это пройдет, и это он впитает, не изменив себе. Он шире и выше и потому — в этом вся штука! — бессмертен.

И другой взгляд пришел на память — молодого хиппи из подъезда на Хейт-стрит. У него было красивое лицо телевизионного супермена, и больше, чем Рональд Рейган в молодости, подошел бы он на роль ковбоя. Твердый подбородок, римский нос, красивый овал лица и прочие неотразимые аксессуары силы, мужества и уверенности. Но взгляд больших серых глаз — дымчато-пустой. Физически рядом, а на самом-то деле в неведомых землях, в наркотическом трансе. Прекрасная оболочка, из которой в молодые годы успела уйти жизнь. Пустой сосуд.

Что надо передумать и пережить, что видеть вокруг, чтобы создать глаза старика? Наверное, то же, что видел парень с Хейт-стрит.

Потом мысли вернулись к Роберту Кеннеди и дальше — к Мартину Лютеру Кингу, первой жертве года. Мне стало обидно за Кинга, обидно, потому что, — я это чувствовал, — убийство его не приняли у нас так близко к сердцу, как убийство Роберта Кеннеди. Странная обида и странный запал в час, когда летучая похоронная процессия сопровождает мертвое тело из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, но почему же все-таки подвижник и истинный герой Мартин Лютер Кинг, положивший жизнь за великое дело равенства и справедливости, не вызывает того сострадания, какое, конечно же, вызовет у нашего человека убийство Роберта Кеннеди? Смерть подводит итог жизни, но не переписывает его, хотя мученическая смерть облегчает рождение мифа...

В Нью-Йорке было по-летнему жарко и потно. Тревогой веяло от экстра-нарядов полиции у модернистской раковины здания TWA. Мы

сели в аэропорту имени Джона Кеннеди, который был еще аэропортом Айдлуайлд, когда я впервые попал на американскую землю в конце 1961 года. Автобус-экспресс, мягко пружиня на «Гранд Сэнтрал парквей», понесся мимо Куинса к Манхэттену. Через зеленоватые защитные стекла мелькали знакомые дорожные развязки. С жиганьем обгоняя нас, проскакивали легковые машины. И пыль, особая унылейшая пыль автострад, серела вдоль обочин. Пыль да редкие ржавые банки из-под пива и прохладительных напитков; «Не засоряйте хайвеи! Штраф пятьсот долларов!»

С лихим шелестом автобус одолел Мидтаун-тоннель под Ист-Ривер и подкатил под крышу Ист-Сайдского аэротерминала. Я взял такси до дома на Риверсайд-драйв. Редкий случай — таксист была женщина, обалдевшая за день от жары и суматохи. Был уже восьмой час вечера, на западе в просветах стритов закатно разгоралось небо, машины схлынули, но таксистка продолжала сводить какие-то свои счета, ругая *crazy city, crazy people, crazy world* — сумасшедший город, сумасшедших людей и весь сумасшедший мир. Я вполне был готов к этим истинам, но только смущало меня, что они чересчур легко слетали с ее языка.

Ну что ж, чемодан у порога, тепло жены и детей — и сразу к чудо-ящику, уже включенному, работающему, как будто северо-американский континент — это всего лишь расстояние между двумя телеэкранами.

Большой мир врывался в нью-йоркскую квартиру, как и в номер отеля «Губернатор».

За окном горел красивейший библейский закат, стеклянно вспыхивал грустный вечерний Гудзон, а мы глядели на телевизионные сумерки аэропорта Ла Гардиа.

Тот самолет уже пришел, уже подтягивался с посадочной полосы, уже слышался за кадром свист его двигателей. Но вот он вошел в кадр, обдутый тысячами пространствами, и человек в белой робе и шлемофоне взмахивал перед ним руками, подтягивая его к себе, приказывая стать, — аэродромный рабочий, такой же случайно пойманный в кадр участник истории, как и тот недоуменный паренек-посудомойщик в белой куртке, склонившийся над сенатором на полу.

Свист оборвался, самолет замер. С дюжими полицейскими на флангах встречающие двинулись к самолету.

Теперь телекамеры обшаривали фюзеляж, гадая, какой из люков откроется первым. Дверь отошла в сторону на сложных своих шарнирах, и, вознесенная над людьми, в проеме возникла стюардесса.

Почему же не подают трап? Ах, нужен ведь не трап, а подъемник для гроба. Встречают гроб, и он должен быть первым. И подъемник появился — как крытый кузов грузовика, аккуратно сработанный, даже изящный со своими никелированными боками, прошитыми строчками заклепок. Родственники и друзья сенатора, не поспевшие к смертному ложу в госпитале «Добрый самаритянин», ступили на платформу подъемника. Она пошла вверх, к проему люка, к гробу и вдове, и в траурном свете прожекторов и юпитеров я увидел на платформе щеголеватые мужские фигуры и стройные ноги женщин в мини-юбках и мини-платьях.

1968—1970 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА	2
ГРАНИ ХАРАКТЕРА	5
Откинув вуаль траура	11
Рождественская быль	18
Техас без ковбоев	22
Он видел Хиросиму сверху	25
Человек из «Восточной башни»	34
Дааят ли небоскребы!	47
Кетчумская история	59
Хромосомы Бьюта	68
Процесс о полутора миллионах	74
Огонь протеста?	

Мир за семь центов	77
Ширпотреб Бродвея	84
Герострат из Аризоны	90
У индейцев навахо	95
Усмешка хиппи	107
Киноэкскурсия с продолжением	115
Утром на Черч-стрит	126
Молодежь, год 1967-й	129
Разговор с доктором Споком	141
НЕДАЛЕКО ОТ НЬЮ-ЙОРКА	
СМЕРТЬ КИНГА	229
ЯРОСТНАЯ КАЛИФОРНИЯ	267